

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2020

№ 57

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Гапонов А.С. Условия познания в контексте постметафизической онтологии	5
Зайцев Д.В., Беликов А.А. Моделируя аргументацию: оценки и рассуждения	13
Ламберов Л.Д. Понятие доказательства в контексте теоретико-типového подхода, III: доказательства как (некоторые) типы	25

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Каčerauskas T. The creative sector and class of society	33
Глухов П.П. Философско-антропологические основания дидактики открытого образования	43
Заякина Р.А. Социальное конструирование в сетевом подходе	52
Магун А.В., Микиргумов И.Б., Пархоменко А.А. Нарратив и аффект в анализе внешнеполитической риторики	60
Карпов Г.В. Нравственное измерение речевых актов адресованных себе	74
Куликов М.В. Институт наказания в структуре дисциплинарного общества: попытка преодоления разграничения микро-макроуровней анализа социальных процессов	90
Оводова С.Н. Влияние дискурса «глобального» и «локального» на методологические сдвиги в теории и философии культуры	100
Сыров В.Н. Историческая ответственность: за пределами проблемы соотношения свободной воли и детерминизма	108
Шиповалова Л.В. О возможности свободы науки от политики	128

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Ахматов В.В. Апостасия и апостасийный человек в эсхатологических предчувствиях русской религиозно-философской мысли	141
Гарин С.В. "Ενδοξα: от «Топики» Аристотеля к <i>fuzzy logic</i>	153
Кочнев Р.Л. Теория истины в философии Фридриха Ницше	163
Хамидулин А.М. Роль символизма в философии истории Н.А. Бердяева	171
Хитрук Е.Б. «Два обращения» в контексте постсекулярной философии религии	180

СОЦИОЛОГИЯ

Бодрова О.А. Партнерство в социальной сфере: трансформация межинституционального взаимодействия	190
Мартыненко Т.С. Инвайронментальное неравенство: современные подходы к концептуализации понятия	200
Полянина А.К. Феномен медиашума: рискогенность фонового медиапотребления	215

ПОЛИТОЛОГИЯ

Каминька М.М. Юный революционер? Уровень радикализма как фактор протестных настроений украинской молодежи	224
Мартынов М.Ю., Габеркорн А.И. О концептуализации понятия «патриотизм» в исследованиях современного гражданского общества	236
Кочетков А.П., Моисеев В.В. Российская политическая элита как субъект социально-экономической политики	244
Титов В.В. К вопросу о конструировании национально-гражданской идентичности российской молодежи в цифровую эпоху	257
Щербинин А.И., Севостьянов А.В. Имиджевая стратегия в смысловом пространстве региональной политики	265

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Пустовойт Ю.А. Протест как крик, работа и вера: формирование протестной идентичности (по результатам исследований в сибирских городах)	277
--	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	285
---------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Gaponov A.S. Conditions of Cognition in the Context of Postmetaphysical Ontology.....	5
Zaitsev D.V., Belikov A.A. Modelling Argumentation: Valuations and Reasoning.....	13
Lamberov L.D. The Concept of Proof in the Context of a Type-Theoretic Approach, III: Proofs as (Some) Types	25

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Kacerauskas T. The Creative Sector and Class of Society	33
Glukhov P.P. Philosophical and Anthropological Foundations of Open Education Didactics	43
Zayakina R.A. Social Constructing in the Network Approach	52
Magun A.V., Mikirtumov I.B., Parkhomenko A.A. Narrative and Affect in the Analysis of Foreign Policy Rhetoric.....	60
Karpov G.V. Selfward Speech Acts in the Context of Kant's Ethics and More.....	74
Kulikov M.V. The Institution of Punishment in the Structure of a Disciplinary Society: An Attempt to Overcome the Limitation of the Micro- and Macrolevels of Social Processes Analysis	90
Ovodova S.N. The Influence of the Discourse of "Global" and "Local" on Methodological Changes in the Theory and Philosophy of Culture.....	100
Syrov V.N. Historical Responsibility: Beyond Free Will and Determinism.....	108
Shipovalova L.V. On the Possible Autonomy of Science from Politics.....	128

HISTORY OF PHILOSOPHY

Akhmatov V.V. Apostasy and the Apostate Man in Eschatological Presentiments of Russian Religious and Philosophical Thought	141
Garin S.V. "Ενδοξα: from Aristotle's <i>Topics</i> to Fuzzy Logic.....	153
Kochnev R.L. The Theory of Truth in Friedrich Nietzsche's Philosophy	163
Khamidulin A.M. The Role of Symbolism in Nikolai Berdyaev's Philosophy of History	171
Khitruk E.B. "Two Conversions" in the Context of the Post-Secular Philosophy of Religion	180

SOCIOLOGY

Bodrova O.A. Partnership in the Social Sphere: Transformation of Inter-Institutional Interac- tion	190
Martynenko T.S. Environmental Inequality: Modern Approaches to Conceptualizing the Concept.....	200
Polyanina A.K. The Phenomenon of Media Noise: Riskiness of Background Media Con- sumption.....	215

POLITICAL SCIENCE

Kamionka M. A Young Revolutionary? The Level of Radicalism as a Factor Determining Ukrainian Youth's Mood to Protest.....	224
Martynov M.Yu., Gaberkorn A.I. Conceptualization of Patriotism in the Studies of Modern Civil Society	236
Kochetkov A.P., Moiseev V.V. Russian Political Elite as a Subject of Socioeconomic Policy	244
Titov V.V. On the Creation of the National Identity of Russian Youth in the Digital Age	257
Shcherbinin A.I., Sevostianov A.V. Image Strategy in the Semantic Space of Regional Policy.....	265

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Pustovoyt Yu.A. Protest as Scream, Work, and Faith: The Formation of a Protest Identity (Based on Studies in Siberian Cities).....	277
--	-----

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	285
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 1:3; 001.8:3

DOI: 10.17223/1998863X/57/1

А.С. Гапонов

УСЛОВИЯ ПОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ¹

Рассматривается проблема поиска необходимых условий познания в горизонте пост-метафизической онтологии. Рассмотрев теорию познания Канта и основные идеи постметафизической философии, автор делает вывод, что ориентация на поиск условий истинности и общезначимости результатов познания не противоречит утверждению принципов контекстуализма и релятивизма в постметафизической эпистемологии.

Ключевые слова: основания познания, постметафизическая онтология, трансцендентализм, жизненный мир, коммуникация.

В современной эпистемологии мы видим повышение интереса к вопросам, которые вследствие произошедших в философии XX в. изменений, казалось, прочно заняли место в музее истории европейской мысли. Так, через критическое обсуждение идеи самореферентности аналитическая философия вновь ставит вопрос об основаниях познания, исследует возможность построения универсалистского эпистемологического дискурса [1] и указывает на несостоятельность релятивизма в теории познания [2]. Кроме того, мы можем встретить интерес к обсуждению темы, связанной с исследованием роли феноменологической очевидности в обосновании логико-теоретического познания [3]. Современные исследователи, учитывая развитие философии XX в., артикулируют новые аспекты классических эпистемологических проблем, а также эксплицируют новые возможности их осмысления и решения.

Данная работа также посвящена фундаментальной теоретико-познавательной проблеме – проблеме поиска необходимых оснований познания, а также выявлению условий, которые обеспечивают истинность и общезначимость результатов познавательной деятельности. Известно, что эта проблема являлась определяющей для новоевропейской философии. Считается, что именно она привела к появлению классической теории познания. В современной же эпистемологии мы можем встретить неоднозначное отношение к данной теме. С одной стороны, существует позиция, которая исходит из того, что нацеленность на поиск предельных условий, обеспечивающих общезначимость результатов познания, является анахронизмом [4]. С другой стороны, позиция, для которой установка на поиск необходимых условий познания остается конститутивной для самосознания философии как таковой [5].

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках научного проекта № 18-18-00057.

В данной статье мы попробуем ответить на вопрос о том, есть ли основания употреблять понятие «общезначимость знания» в контексте постметафизической онтологии. Нас будет интересовать возможность совместимости ориентации на поиск условий истинности и общезначимости знания с базовыми принципами постметафизической философии. Для решения этой проблемы мы рассмотрим представления об основаниях познания в классическом трансцендентализме, обозначим основные принципы постметафизической онтологии и тематизируем условия получения «общезначимого» знания в горизонте постметафизической онтологии.

1. Основания познания в классической трансцендентальной философии

Известно, что основоположником классического трансцендентализма является Иммануил Кант. Трансцендентальной он называет философию, которая нацелена на поиск необходимых условий познания, тематизацию его форм и видов, а также выявление закономерностей и границ употребления наших познавательных способностей.

Новация, которую совершает Кант в представлении о сути познавательной деятельности, связана с тезисом о том, что хотя наше познание и начинается с чувственного опыта, но им не ограничивается. В «Критике чистого разума» он утверждает, что «наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой» [6. С. 36]. Знание, которое имеет источник в чувственном опыте, Кант называет апостериорным, знание же, которое берет исток в разуме, – априорным. Если апостериорное знание имеет вероятностный характер, то для априорного знания характерны «необходимость и строгая всеобщность» [6. С. 37]. Таким образом, всеобщность и необходимость знания связывались с априорными условиями, фундаментом которых являлся чистый разум.

Определив необходимые условия познания, Кант установил границу нашей познавательной деятельности, границу применимости познающего разума. В его теории познания необходимые условия познания одновременно являются условиями возможности объектов опыта. Априорные принципы нашего рассудка определяют способы данности предметов. С точки зрения Канта, «опыт сам есть вид познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, а priori; эти правила должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало быть, все предметы опыта должны необходимо соотносываться и согласоваться» [Там же. С. 23]. Поэтому нам доступно познание только явлений, а не вещей в себе, реальность которых постулируется нашим разумом, но никогда не будет нам открыта.

Итак, с точки зрения классической трансцендентальной философии единый универсальный горизонт познания имеет свой фундамент в априорных принципах чистого разума. Необходимые условия познания определяются не объектами физического мира, а природой сознания познающего субъекта. Таким образом, в теории познания Канта, с одной стороны, обосновывается возможность получения всеобщего и необходимого знания, а с другой сторо-

ны, устанавливается граница познания: мы можем иметь дело лишь с миром явлений.

2. Основные принципы постметафизической онтологии

Понятие «постметафизическое мышление» было введено Юргеном Хабермасом. Наряду с «лингвистическим поворотом», ситуированием разума и преодолением логоцентризма, он видел в нем один из ключевых признаков современной философии [7. S. 14]. Сегодня термин «постметафизическое мышление» употребляется не просто как одна из характеристик, но как выражение сущности современного типа философского мышления как такового. В отечественной литературе указывают на становление так называемой «постметафизической онтологии», которая принципиально отличается от классических онтогносеологических построений [8]. В данной части нашего исследования мы остановимся на особенностях постметафизической онтологии, связанных с деструкцией модели сознания кантианского типа и с утверждением представления о языке как универсальном горизонте познания.

Один из главных принципов постметафизической философии связан с утверждением сущностной взаимосвязи сознания познающего субъекта с тем социокультурным контекстом, в котором осуществляется деятельность этого сознания. Происходит деконструкция субъект-объектного отношения как базового онтологического принципа. Сознание не противостоит миру, который оно познает. Сознание и мир – это не разные полюса, разделенные пропастью. Сознание изначально в мире, оно оформляется в результате повседневной внутримировой практики. В отличие от классических метафизических концепций, структуры, выступающие в качестве оснований и условий познания, находятся не в трансцендентальном сознании, которое за пределами мира и времени, а в мире повседневного. Выявляется, что познание фундировано такими явлениями, как «жизненный мир» [9], «бытие-в-мире» [10], «традиция» [11], «коммуникативное сообщество» [5] и др. Данные феномены образуют пространство нашего повседневного опыта. Специфика данных феноменов в том, что они не являются чем-то неизменным и абсолютным, но они, с одной стороны, направляют наше мышление и фундируют наш опыт, а с другой стороны, сами подвержены изменениям в результате осуществления нашей деятельности. Таким образом, мир повседневной практики выступает условием и основанием практической и теоретической деятельности. Сознание и любые научные объективации оказываются чем-то вторичным по своему статусу, так как являются производными от иных бессубъектных инстанций. По своей природе разум ситуативен; это значит, что наша познавательная деятельность всегда несет на себе отпечаток того социокультурного контекста, к которому мы принадлежим. И никакие методические процедуры не могут выявить всю сеть предрассудков, предпосылок и смысловых связей, которые направляют нашу познавательную деятельность. С точки зрения постметафизической философии предпосылочность мышления не может быть преодолена. Данный тезис ставит под вопрос возможность получения всеобщих и необходимых истин, так как оказывается, что наше знание всегда будет включено в локальные социокультурные контексты и обусловлено ими.

Итак, постметафизическая философия исходит из тезиса об историчности нашего бытия и мышления. Историчность в данной концепции рассмат-

ривается не только в эпистемологическом, но также и в онтологическом ключе. Наша сущностная обусловленность историей мыслится не как неустранимое ограничение на пути познания истины, но как ее необходимая предпосылка. В гносеологическом отношении это значит, что любая теоретическая деятельность всегда несет на себе печать той ситуации, в которой она осуществляется. В этих условиях происходит переосмысление сущности процесса познания. Как замечает в одной из своих статей И.Т. Касавин, «...мы приходим к пониманию познания как целостной коммуникативно-деятельностной ситуации и ее окружения, т.е. познания, конструктивно задающего свой социокультурный контекст и одновременно осуществляющегося благодаря ему» [12. С. 50].

Другой онтологический принцип постметафизической философии связан с рассмотрением языка не только в качестве средства передачи информации, но и в качестве необходимого условия нашего опыта мира, который всегда предстает перед нами в языковой оформленности. Основными характеристиками языка являются его вариативность и фактичность. Свое сущностное воплощение язык получает в разговоре, в процессе коммуникации, основной интенцией которого является интенция на достижение взаимопонимания. Язык – не замкнутая система, он способен взаимодействовать с другими языковыми мирами. Язык приобретает здесь трансцендентальный характер в силу того, что он представляет собой универсальную среду, в которой «Я» и «мир» выражаются в изначальной взаимопринадлежности друг другу. Об универсальности языкового измерения с точки зрения постметафизической философии свидетельствуют такие явления, как «немолчаливое удивление», «немая очарованность», онемение. Как замечает Г.-Г. Гадамер, «отказ языка служит нам свидетельством о его способности искать выражение для *чего бы то ни было*, а сама утрата дара речи есть уже некоторый вид речи; эта утрата не только не кладет конец говорению, но, напротив, позволяет ему осуществиться» [13. С. 44]. Таким образом, универсальность языкового измерения связана с тенденцией к артикуляции в языке и коммуникации всего нашего познавательного опыта.

С точки зрения постметафизической философии язык и коммуникация выступают необходимым условием возможности общественно-практической деятельности людей, в том числе и научной (познавательной) деятельности. Язык науки вырастает из естественного (повседневного) словоупотребления. Это означает, что образование научных понятий, которое начинается внутри некоторой истолкованности мира, никогда не начинается с чистого листа. Создание понятий нельзя понимать по аналогии с процессом создания орудия из какого-то случайного материала. Процесс образования понятий есть продолжение нашего мышления на языке, на котором мы мыслим и говорим, и внутри уже определенной языковой картины мира. Таким образом, образование понятий всегда опосредовано уже реальным словоупотреблением.

Итак, принципы постметафизической онтологии связаны, во-первых, с представлением о сущностной взаимосвязи теоретической деятельности с миром повседневной практики, а во-вторых, с представлением о том, что язык и коммуникация являются необходимыми условиями возможности осуществления нашей познавательной деятельности. В методологическом ключе оба представления тесно связаны с утверждением принципа контек-

стуализма в теории познания. Согласно данному принципу любая теоретическая деятельность обусловлена тем социокультурным контекстом, в рамках которого она осуществляется.

3. Условия общезначимости знания в горизонте постметафизической онтологии

В условиях преодоления идеи автономного трансцендентального субъекта меняется и представление о сущности самого процесса познания. Например, как замечает В. Фурс, в новых условиях философствования «становится нерелевантным понимание знания как репрезентации, в соответствии с которым познающий субъект противостоит независимому от него миру объектов и более или менее точно воспроизводит последний в своем знании» [14. С. 14]. Как мы уже заметили, преодолевается оппозиция субъекта и объекта; выявляется, что, во-первых, наше знание вырастает из определенного «пред-понимания» мира, а во-вторых, необходимым условием самой возможности познания мира является наша сущностная принадлежность к нему.

В горизонте постметафизической онтологии знание предстает как результат коммуникативного взаимодействия внутри некоторого коммуникативного сообщества. Внутренним телосом коммуникации является взаимопонимание. При этом взаимопонимание трактуется не просто как одинаковое понимание некоторыми участниками коммуникации смысла языкового выражения. Взаимопонимание в данном случае – это достижение согласия относительно чего-то, что имеет место в мире, взаимная прозрачность намерений и консенсус по поводу правильности высказывания в отношении intersubъективного нормативного фона. Важно, что при коммуникативном согласии должно иметь место не вынужденное признание, обусловленное какими-то внешними факторами; оно должно быть признано значимым самими участниками коммуникативного взаимодействия.

Любопытно, что, с одной стороны, принципы постметафизической философии ведут к утверждению контекстуализма и релятивизма в теории познания, однако, с другой стороны, представители постметафизической философии сохраняют установку на артикуляцию условий истинности и общезначимости знания, переинтерпретируя их в горизонте своих философских взглядов. Так, принципом истины оказывается диалог. Как замечает Гадамер, «...слово подтверждается и оправдывается лишь тогда, когда другой человек воспринимает его, выражая согласие с ним; лишена обязательности последовательная мысль, если в ее движении ее не сопровождает мысль другого» [13. С. 86]. Общезначимость знания в горизонте постметафизической онтологии связана с достижением согласия по поводу истинности знания внутри некоторого коммуникативного сообщества. При этом данное согласие не ограничивается контекстом его возникновения. Границы коммуникативных сообществ легко проницаемы.

Язык оказывается трансцендентальным условием возможности получения общезначимого знания. В самой коммуникации обнаруживаются структуры, которые генерируют intersubъективную значимость знания. Для иллюстрации этого тезиса можно привести в пример концепцию формальной прагматики Ю. Хабермаса и концепцию трансцендентальной прагматики К.-О. Апеля.

Так, в формальной прагматике необходимыми условиями познания являются притязания на значимость, обнаруживаемые при перформативном (или коммуникативном) использовании языка. Эти притязания критически оцениваются, и в результате их intersubjectивного признания формируются условия для рационально мотивированного консенсуса. Природа данных притязаний парадоксальна, так как, с одной стороны, посредством них преодолеваются локальные ситуации, в которых происходит коммуникативное общение (участники коммуникации при достижении консенсуса получают знание, значимость которого не ограничивается локальным контекстом). С другой стороны, эти притязания выдвигаются в конкретной коммуникативной ситуации и связаны с координацией планов конкретных участников коммуникации. Притязания не являются универсальными априорными условиями, неизменными и абсолютными, они тесно связаны с повседневными социальными практиками. Кроме того, возможность артикуляции этих условий связана с рационализированным миром модерна. В трансцендентальной прагматике Апеля для конституирования факта познания необходимо, чтобы «очевидность моего созерцания была связана с “языковой игрой” посредством прагматически-семантических правил, т.е. в смысле позднего Витгенштейна возвышалась до “парадигмы” языковой игры» [5. С. 195]. Только при этом условии субъективная очевидность, доступная лишь индивидуальному сознанию, может быть преобразована в intersubjectивную априорную значимость высказываний и может иметь статус «априори обязательного познания». Новаторство Апеля состоит в том, что он признал, наряду с существованием множества эмпирически данных языковых игр, наличие *трансцендентальной языковой игры*, которая является условием существования всех реальных. Эта трансцендентальная языковая игра содержит правила, которые не устанавливаются с помощью «конвенций», а сами делают эти «конвенции» возможными. Она выступает условием, делающим возможным взаимопонимание между представителями разных языковых игр.

Таким образом, можно утверждать, что в рамках постметафизической онтологии происходит переориентация трансцендентального измерения. В качестве инстанции, обеспечивающей общезначимость познания, выступают язык и коммуникация. На наш взгляд, ориентация на поиск условий истинности и общезначимости знания совместима с базовыми принципами постметафизической философии, несмотря на то что эти принципы ведут к утверждению релятивизма и контекстуализма в теории познания.

Литература

1. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 11–24.
2. Ладов В.А. Идея ограничения теории типов в философии математики в контексте критики эпистемологического релятивизма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 51. С. 43–52.
3. Антух Г.Г. Очевидность, мышление, следование правилу // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 5–16.
4. Рорти Р. Философия и зеркало природы / пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.
5. Апель К.-О. Трансформация философии. М. : Логос, 2001. 344 с.
6. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. Симферополь : Реноме, 2003. 464 с.

7. *Habermas J.* Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. 86 S.
8. *Борисов Е.В.* Основные черты постметафизической онтологии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 120 с.
9. *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / пер. с нем. Д.В. Складнев. СПб. : Владимир Даль, 2004. 399 с.
10. *Хайдеггер М.* Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М. : Академический проект, 2013. 460 с.
11. *Гадамер Г.-Г.* Истина и метод: основы философской герменевтики : пер. с нем. / общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. 704 с.
12. *Касавин И.Т.* Критерии знания: собственно эпистемические или социальные? // Эпистемология: перспективы развития / отв. ред. В.А. Лекторский. М. : Канон+, 2012. С. 50–61
13. *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного / пер. с нем. Ал.В. Михайлова. М. : Искусство, 1991. 367 с.
14. *Фурс В.Н.* Контуры современной критической теории. Минск : ЕГУ, 2002. 164 с.

Alexander S. Gaponov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: gaponov@sibmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 5–12.

DOI: 10.17223/1998863X/57/1

CONDITIONS OF COGNITION IN THE CONTEXT OF POSTMETAPHYSICAL ONTOLOGY

Keywords: foundations of knowledge; postmetaphysical ontology; transcendentalism; life world; communication.

The article is devoted to a fundamental cognitive-theoretical problem: the problem of finding the necessary foundations of cognition and identifying conditions that ensure the truth and validity of the results of cognitive activity. In modern epistemology, we can find an ambiguous attitude to this topic. On the one hand, there is a position that proceeds from the fact that the focus on the search for limit conditions that ensure the general validity of the results of cognition is an anachronism. On the other hand, there is a position for which the orientation towards the search for the necessary conditions of cognition remains constitutive for the self-awareness of philosophy as such. The author answers the question of how justified the use of the concept of general significance of knowledge in the context of postmetaphysical ontology is. To solve the problem discussed in the article, the author (1) examines ideas about the foundations of knowledge in classical transcendentalism, (2) indicates the basic principles of postmetaphysical ontology, and (3) discusses the conditions for obtaining universally valid knowledge in the horizon of postmetaphysical ontology. The author establishes that postmetaphysical philosophy proceeds from the thesis of the historicity of our being and thought. Our essential conditionality by history is conceived as a necessary premise on the path to knowledge of the truth rather than as an unavoidable restriction. In epistemological terms, this means that any theoretical activity always bears the imprint of the situation in which it is carried out. Also, in the horizon of postmetaphysical ontology, language and communication are necessary conditions for the possibility of people's social and practical activity, including scientific (cognitive) activity. The language of science grows out of the natural usage of words. This means that the formation of scientific concepts, which begins within a certain interpretation of the world, never starts from scratch. The author concludes that, within the framework of postmetaphysical ontology, the transcendental dimension is reoriented. Language and culture turn out to be a transcendental condition for the possibility of obtaining universally valid knowledge. In communication itself, structures are found that generate the intersubjective significance of knowledge.

References

1. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 44. pp. 1–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2
2. Ladov, V.A. (2019) The Idea of Limiting the Type Theory in the Philosophy of Mathematics in the Context of the Criticism of Epistemological Relativism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo*

universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 51. pp. 43–52. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/51/5

3. Antukh, G.G. (2019) Evidence, Thinking, Rule-Following. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 49. pp. 5–16. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/49/1

4. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

5. Apel, K.-O. (2001) *Transformatsiya filosofii* [The Transformation of Philosophy]. Translated from German by V. Kurennoy, B. Skuratov. Moscow: Logos.

6. Kant, I. (2003) *Kritika chistogo razuma* [The Critique of Pure Reason]. Translated from German by N. Lossky. Simferopol: Renome.

7. Habermas, J. (1988) *Nachmetaphysisches Denken*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

8. Borisov, E.V. (2009) *Osnovnye cherty postmetafizicheskoy ontologii* [Basic features of post-metaphysical ontology]. Tomsk: Tomsk State University.

9. Husserl, E. (2004) *Krizis evropeyskikh nauk i transtsendental'naya fenomenologiya* [The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology]. Translated from German by D.V. Sklyadnev. St. Petersburg: Vladmir Dal'.

10. Heidegger, M. (2013) *Bytie i vremya* [Being and Time]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Akademicheskii Proekt.

11. Gadamer, G.-G. (1988) *Istina i metod: osnovy filosofskoy germenевtiki* [Truth and Method: Foundations of Philosophical Hermeneutics]. Translated from German. Moscow: Progress.

12. Kasavin, I.T. (2012) Kriterii znaniya: sobstvenno epistemicheskie ili sotsial'nye? [Criteria of knowledge: proper epistemic or social?]. In: Lektorsky, V.A. (ed.) *Epistemologiya: perspektivy razvitiya* [Epistemology: Development Prospects]. Moscow: Kanon+. pp. 50–61

13. Gadamer, G.-G. (1991) *Aktual'nost' prekrasnogo* [The Relevance of the Beautiful]. Translated from German: by. Al.V. Mikhaylov. Moscow: Iskusstvo.

14. Furs, V.N. (2002) *Kontury sovremennoy kriticheskoy teorii* [The Contours of Modern Critical Theory]. Minsk: European Humanities University.

УДК 162

DOI: 10.17223/1998863X/57/2

Д.В. Зайцев, А.А. Беликов

МОДЕЛИРУЯ АРГУМЕНТАЦИЮ: ОЦЕНКИ И РАССУЖДЕНИЯ¹

Рассматривается проблема формального моделирования аргументации. Выявляются основные характеристики аргументативных рассуждений, играющие ключевую роль в оценке аргументации. Авторы предлагают формальную экспликацию отношения подтверждения между аргументами и тезисом, которая учитывает вариативность отношения следования, т.е. позволяет иметь дело как с дедуктивным, так и с правдоподобным следованием в одном формальном контексте.

Ключевые слова: аргументация, аргументативные рассуждения, оценка аргументации, формальные модели аргументации.

Введение

Несмотря на многовековую историю, изучение феномена аргументации все так же далеко от идеалов строгой научности, пример следования которым демонстрирует ее младшая сестра – логика, не менее тесно связанная с исследованием рассуждений. По сути дела, аргументация представляет собой сегодня, как, впрочем, и сотни лет назад, нечто наподобие сакрального текста – разновидности магического заговора или заклинания, вызывающего как минимум некоторые вербально оформленные действия (выражение согласия с обосновываемым тезисом), а как максимум – изменения в сознании рационального агента (переубеждение оппонента). В отличие от так называемых «малых фольклорных текстов» аргументация все-таки явно предполагает опору на рациональные средства убеждения, что в целом соответствует парадигме рациональной мультиагентности. Соответственно, изучение этого волшебного феномена протекает в широком спектре от сугубо практически ориентированных «цифровых самоучителей игре на гармошке без нот» до попыток истолкования – теоретического осмысления того, «что же стоит за аргументацией» и «почему она бывает убедительной». Чуть в стороне от этого многообразия идей располагаются работы в области формального моделирования аргументации (formal argumentation), инспирированные преимущественно потребностями искусственного интеллекта и computer science. При этом любой подход или направление напрямую или косвенно оказывается связанным с решением, можно сказать, «основного вопроса аргументации» – каковы критерии оценки аргументации? Для каких бы целей ни предпринимались попытки описать, систематизировать, моделировать аргументацию, каких бы философскометодологических позиций ни придерживались их авторы, обойти вопрос о том, в каких терминах и на каких основаниях оценивается аргументация, не удастся.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках научного проекта № 20-18-00158.

Эти небольшие вводные наблюдения приводят к очевидному, казалось бы, выводу: прежде чем предпринимать какие бы то ни было попытки «аргументативного теоретизирования», необходимо четко сформулировать эффективные критерии оценки аргументации. Однако все не так просто, существует целый ряд возможных параметров оценки аргументации, в разной степени поддающихся формализации и строгому учету. К примеру, субъективная, прагматическая эффективность аргументации, характеризующая личностные цели агента, в большинстве случаев остается неактуализированной, и мы как объективные исследователи аргументации можем только догадываться о том, какие цели ставил перед собой участник аргументативного процесса и оказались ли эти цели достигнуты. Кроме того, применительно к формальным моделям аргументации оказывается, что выбор инструментов моделирования уже накладывает определенные ограничения на возможности оценки аргументации. Таким образом, получается, что выбор исходной модели и параметров оценки аргументации тесно связаны.

Данная работа, с одной стороны, продолжает цикл наших исследований в области аргументации [1–4], а с другой – вызвана к жизни запуском амбициозного проекта «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» (грант РНФ № 20-18-00158), участниками которого являются авторы. Мы оптимистично надеемся, что эта статья откроет новый цикл наших работ, посвященных формальному анализу аргументации. Принимая во внимание изложенное выше, в этой статье мы попытаемся предложить некоторый достаточно абстрактный подход к формализации аргументативных рассуждений и обсудить те возможности оценки аргументации, которые он предполагает. В соответствии с этими задачами и строится дальнейшее изложение. В первом разделе излагаются наиболее общие характеристики так называемой «аргументативной семантики». Второй раздел посвящен неформальному рассмотрению типов рассуждений, используемых в аргументации. Наконец, третий раздел содержит набросок формализации аргументативных рассуждений.

1. Формальная аргументация и аргументативная семантика

Процесс аргументации характеризуется несколькими структурными компонентами, среди которых принципиальное значение имеет учет субъектов аргументации (рациональных когнитивных агентов). Активное развитие компьютерных наук и искусственного интеллекта оказывает значительное влияние и на развитие исследований аргументации, которая уже не трактуется как неформальная и сугубо практическая дисциплина, описывающая те или иные виды аргументов, уловок и полемических ситуаций. Наряду с человеком в категорию «субъект аргументации» теперь попадает и компьютер, что вполне предсказуемо породило новую волну интереса не только к точному и строгому изучению базовых понятий аргументации, но и к переосмыслению самой теории в целом.

Эти обстоятельства стимулировали развитие уже упоминавшейся формальной аргументации, подхода, в рамках которого значительно проще пытаться строить более или менее строгую модель аргументации. Ключевыми понятиями формальной аргументации стали понятия аргументативного фрейма и аргументативной семантики, предложенные Ф. Дунгом [5]. Именно

благодаря результатам Дунга мы имеем возможность использовать единый формализм для моделирования аргументативных рассуждений, что, безусловно, очень важно в контексте компьютерных наук. Еще один плюс подхода Дунга – удивительная простота формальных построений. Это, в свою очередь, позволяет расширить границы применимости данного подхода и распространить его на широкую область гуманитарных дисциплин: когнитивные науки, философию и пр.

Формализм Дунга может быть описан следующим образом. Базовым понятием является понятие аргументативной структуры, состоящей из множества аргументов (высказываний) и бинарного отношения «атаки» на множестве аргументов.

DF.1. Аргументативная структура (argumentative framework) – это пара $(Arg, attacks)$, где Arg – множество аргументов, а $attacks$ – бинарное отношение на множестве Arg .

Очевидной характеристикой любой аргументации является конфликт субъектов аргументации, состоящий в том, что аргументы одной стороны направлены на опровержение (или критику) аргументов другой, и наоборот. Именно эта простая интуиция выражена в использовании отношения «атаки» между аргументами. Уже из этих примитивных понятий мы можем вывести ряд интуитивно приемлемых свойств, которым должны удовлетворять аргументативные структуры, направленные на моделирование позиции абстрактного субъекта аргументации.

DF.2. Множество аргументов S называется неконфликтным (conflict-free), если не существует таких аргументов A и B из S , что $attacks(A, B)$.

DF.3. Аргумент называется приемлемым относительно множества S , если для всякого аргумента B из Arg верно: если B атакует A , то S атакует B .

DF.4. Неконфликтное множество S называется допустимым, если всякий аргумент из S приемлем относительно S .

Наконец, мы подошли к самому главному. Структуры, построенные в соответствии с определениями 1–4, могут использоваться для моделирования конкретных полемических ситуаций. Таким образом, следующая задача заключается в том, чтобы установить, какими именно критериями мы должны руководствоваться, чтобы выявить максимально выигрышный набор аргументов в рамках той или иной ситуации. Подобные критерии и есть то, что Дунг называет «аргументативной семантикой».

Далее Дунг вводит понятие «расширения» (E , от *extension*) для построения аргументативной семантики. Под расширением понимается некоторое подмножество аргументов из базового множества Arg . Выделяется два основных типа расширений:

- предпочтительное расширение (preferred extension) – это максимальное (относительно теоретико-множественного включения) допустимое множество аргументов E из Arg ,

- стабильное расширение (stable extension) – это множество аргументов E из Arg такое, что оно атакует каждый аргумент из множества $Arg \setminus E$.

Стоит отметить, что Дунг выделяет два дополнительных типа расширений – основательные (grounded) и полные (complete) (подробно см.: [5]).

Разработка различных по своей структуре и свойствам аргументативных семантик является сегодня одной из горячих тем в формальном моделирова-

нии аргументации. Следуя работе [6], аргументативные семантики можно классифицировать на три основных группы: семантики расширений (extension semantics), оценочные семантики (weighting semantics) и ранжированные семантики (ranking semantics). Различие между ними состоит в том, какого рода результат мы получаем после применения той или иной семантики. Руководствуясь, скажем, семантикой расширений, мы получаем некоторое подмножество аргументов, а если мы используем оценочную семантику, то результат состоит в некотором наборе оценок аргументов, которые позволяют нам сравнивать аргументы между собой по силе, основываясь лишь на некоторых числовых значениях этих аргументов. В свою очередь, ранжированная семантика дает на выходе структуры типа пред-порядка на множестве аргументов, тем самым фиксируя информацию об упорядочивании аргументов относительно того, насколько сильно они атакованы. Это, опять-таки, позволяет сравнивать аргументы по силе.

В работе [7] рассматриваются различные подходы к оценке аргументов в рамках ранжированных семантик. Так, оценка аргументации может быть основана на силе атакующих аргументов [8], их социальной поддержке [9], весе и длине атакующей цепи [10], а также учете всех атакующих и поддерживающих эти аргументы предшественников в атакующей цепи [11].

Хотя абстрактный характер аргументативных фреймов Дунга ранее оценивался нами как преимущество, в некоторых контекстах подобные обобщения избыточны и, возможно, лишают нас другого взгляда на вещи. Один из возможных путей развития подхода Дунга состоит в уточнении структуры аргументов. Это позволяет использовать аппарат дедуктивных логических теорий, что уже полезно для анализа не только аргументативных рассуждений, но и чисто логических проблем, связанных, например, с экспликацией немонотонных рассуждений. По существу, в рамках данного подхода мы можем рассматривать множество *Arg* как замыкание некоторого формального языка (например, пропозиционального) относительно логического следования. Таким образом, множество *Arg* уже не будет состоять из каких-то абстрактных и не специфицированных объектов, которые мы называем «аргументами»; теперь под «аргументами» понимаются упорядоченные пары типа (Γ, A) , репрезентирующие утверждения о следовании между множеством формул Γ и формулой A . Этот подход послужил основой для возникновения целой области под названием «логическая аргументация» (logic-based argumentation).

Как уже было сказано, аргументативная семантика полезна для решения проблем на пересечении аргументации и логики. Хорошо известно, что начиная с 70-х гг. прошлого века в логике особый статус заняли исследования семантических моделей, допускающих ту или иную степень противоречивости информации. Среди разделов логики, касающихся этой проблематики, можно выделить, например, паранепротиворечивые и релевантные логики. Любопытно, что некоторые подходы были инспирированы в том числе и моделированием рассуждений компьютеров, искусственного интеллекта и пр. (см.: [12, 13]). В то же время они подвергались критике как подходы, не вполне адекватные реальной практике компьютерных рассуждений [14]. На сегодняшний день логическая аргументация дает возможность не только анализировать процесс аргументативных рассуждений, учитывая логическую

структуру аргументов, но и в некотором смысле ответить на критику упомянутых логических теорий. В последние годы опубликовано множество работ по моделированию аргументативных рассуждений, основанных на паранепротиворечивых [15–17], немонотонных [18], релевантных [19] и модальных логиках [20]. Важно, что выбор логического инструментария влияет не только на выразительные возможности построенных на его основе моделей аргументации, но и на возможности оценки аргументации.

2. Рассуждения в аргументации

В данном разделе мы постараемся наметить некоторые перспективы моделирования аргументации, обеспечивающего различные возможности для ее оценки.

Первый вопрос, касающийся аргументации, связан с трактовкой аргументативных рассуждений. Имеют ли они какую-то специфику, тождественны ли тому, что мы привыкли называть естественными рассуждениями, или для рассуждений в рамках аргументативного контекста оправданно говорить о каких-то специальных требованиях и критериях, что позволило бы характеризовать их, скорее, как «искусственные» (пусть и не в той степени, как, скажем, строгие математические рассуждения)? Этот вопрос в определенном смысле является риторическим, поскольку предполагает не столько ответ, сколько просто констатацию выбранной позиции. С нашей точки зрения, которая в этом отношении близка к идеям Х. Мерсье и Д. Сперберга [21], естественные рассуждения аргументативны, а аргументативные рассуждения естественны. Другими, менее метафоричными, словами, любое рассуждение, по сути дела, представляет аргументацию по отношению к некоторому внутреннему субъекту (суб-личности). В противном случае, если бы отсутствовала необходимость кого-то (в том числе, и себя) в чем-то убеждать, если бы истинность или приемлемость некоторого утверждения была бы очевидна и бесспорна, то и необходимость в конструировании рассуждения тоже бы не возникла. Раз так, то становится очевидным, что аргументативные рассуждения должны обладать «трудными» чертами естественных рассуждений: немонотонностью (модифицируемостью) и правдоподобностью. Остановимся на этих характеристиках рассуждений чуть подробнее.

В современной логике принят подход, согласно которому отношение между посылками и заключением в правильном рассуждении представляет собой логическое следование. Таким образом, из посылок логически следует заключение, если и только если не существует такой интерпретации нелогических параметров в их составе, при которой посылки оказались бы истинными, а заключение ложным. Этот критерий носит явный дедуктивный характер, логическое следование гарантирует, что в правильном рассуждении при истинности посылок заключение обязательно будет истинным. Применительно к естественным рассуждениям требование наличия логического следования между посылками и заключением является слишком сильным.

Во-первых, далеко не все примеры естественных рассуждений ему в полной мере соответствуют. Очень часто посылки не гарантируют истинности заключения, а лишь подтверждают его, делают более вероятным, правдоподобным. Скажем, схема рассуждения «Если А, то В. Имеет место А. Следовательно, имеет место В» не является дедуктивно корректной, но

достаточно часто используется в естественных рассуждениях. По данным исследований (см., напр.: [22]), до 60% респондентов считают такое рассуждение правильным. Более того, примерно 70% людей склонны считать правильные рассуждения (например, *Modus Tollens*) неправильными. Конечно, эти хорошо известные «когнитивные омрачения» можно считать следствием недостаточной логической грамотности, но даже такое возражение не снимает проблемы – как вести аргументацию с такими «неграмотными» оппонентами. Следовательно, адекватное моделирование аргументации требует возможности учета и подобных правдоподобных рассуждений.

Во-вторых, у отношения следования (и ассоциированного с ним синтаксического отношения выводимости) есть еще одно «лишнее» в контексте естественных рассуждений свойство – это монотонность следования. Монотонность означает возможность произвольным образом расширять множество посылок, не разрушая полученных ранее следствий:

$$\frac{\Gamma \models A}{\Gamma \cup \Delta \models A}.$$

Очевидно, что многие случаи естественных рассуждений демонстрируют нарушение этого условия. Применительно к аргументации немонотонность рассуждений проявляет себя в том, что под действием критики исходное обоснование тезиса вполне может быть разрушено благодаря новым (контр) аргументам.

Таким образом, необходимыми условиями моделирования рассуждений является возможность формальной экспликации немонотонности и правдоподобности перехода от посылок (аргументов) к заключению (тезису).

Важно отметить, что выполнение этих условий одновременно предоставляет дополнительные возможности для оценки аргументации. Так, можно предусмотреть различную качественную оценку дедуктивной и правдоподобной аргументации. Также в принципе можно отследить использование особых «немонотонных» правил, что будет свидетельствовать об эффективности критики и т.п.

Итак, возникает необходимость особым образом квалифицировать и представить формально те типы рассуждений, которые не соответствуют базовой логике (кстати, совершенно не обязательно классической), но принимаются и используются одним или несколькими участниками аргументации. Представляется, что добиться такого результата можно разными способами. Например, Дж. Поллок в своей компьютерной программе OSCAR проводит различие между «окончательными» (*conclusive*) рассуждениями и потенциально опровержимыми «рассуждениями при отсутствии доказательств в пользу противного» (*prima facie*) [23]. Для этого он использует так называемые показатели силы посылок и заключения, которые в случае дедуктивных рассуждений имеют бесконечно большое значение, а для правдоподобных следствий определяются по минимуму показателей посылок. Обобщая, можно сказать, что основные возможные стратегии распадаются на три типа: использование своеобразной «штрафной» (*penalty*) логики, когда рассужденческое действие разного типа имеет свою цену; постулирование методом грубой силы для каждого конкретного случая набора приемлемых типов рассуждений, релятивизированных относительно рационального агента и / или предметной области; разведение тем или иным способом двух отношений

типа следования – базового логического и правдоподобного. В данной работе мы попробуем представить последний вариант экспликации правдоподобных рассуждений.

Что касается немонотонности (модифицируемости рассуждений), здесь формальных экспликаций еще больше. Хороший обзор можно найти в Стэнфордской энциклопедии [24]. Ниже мы будем использовать вариант формализации «рассуждений по модулю» (см. напр.: [25, 26]). В основе этого подхода лежит очень прозрачная идея: A является следствием B по модулю множества допущений K тогда и только тогда, когда из $K \cup B$ логически следует A . При фиксированном множестве K это отношение является вполне монотонным, модифицируемость появляется при варьировании K .

3. Аргументативное отношение подтверждения

Начнем с основных определений, проясняющих суть нашего подхода. Позднее вернемся к более детальному рассмотрению введенных понятий.

Итак, что означает, что некоторое утверждение A (пока для простоты изложения ограничим себя случаем однопосылочной аргументации) обосновывает (или поддерживает, подтверждает) тезис T ? С нашей точки зрения, формальная трактовка аргументативного рассуждения должна учитывать (1) возможность как дедуктивного, так и правдоподобного обоснования, (2) его немонотонность (опровержимость в свете новых аргументов) и (3) надежность использованных в обосновании аргументов (в нашем случае это отдельное высказывание A). Как будет показано ниже, для формализации условия (3) нам потребуется ввести отношение «атаки» между высказываниями.

Таким образом, A подтверждает тезис T ($A \Leftrightarrow T$), если и только если аргумент A является неотбитым (т.е. надежным – $!A$) и при этом из A дедуктивно следует T ($A \models T$) или из A правдоподобно следует T ($A \Vdash T$). Аргумент является неотбитым, если на всякий атакующий его аргумент найдется контратакующий аргумент. Аргумент A атакует аргумент B , если A влечет (в широком, пока не уточненном смысле) отрицание B .

Прежде чем перейти к формальным экспликациям этих определений необходимо сделать еще одно важное замечание. Мы будем опираться на некоторое базовое отношение (дедуктивного) следования ($\models$). В качестве такого может быть выбрано и неклассическое отношение того или иного типа, но мы на данном этапе будем рассматривать базовое следование как классическое следование между формулами языка пропозициональной логики.

DF.1. $A \models_C T \Leftrightarrow A, C \models T$ и $A \not\models T$ и $C \not\models T$.

Таким образом, отношение следования задается с использованием формализма «рассуждений по модулю» с определенными модификациями. Первая часть определяющей части просто констатирует наличие базового отношения следования между множеством, включающим посылку и принимаемое фиксированное допущение C . Вторая и третья части приближают вводимое отношение следования к релевантному: из посылки и фиксированного допущения по отдельности тезис не следует, т.е., другими словами, в обосновании тезиса должны быть использованы все посылки и допущения.

DF.2. $A \models_C T \Leftrightarrow A \models T$ и $C \models T$.

Предлагаемая трактовка отношения правдоподобного следования в определенном смысле выражает интуицию о том, что правдоподобные, но дедуктивно не корректные рассуждения являются приемлемыми для многих рациональных агентов, поскольку они похожи на определенные виды дедуктивных рассуждений. Так, например, поскольку очевидно $A \supset B \models_A B$, будет иметь место $A \supset B \Vdash_B A$. Аналогично обстоит дело с «отрицающим» модусом условно-категорического умозаключения: $A \supset B \models_{\neg B} \neg A$, следовательно, $A \supset B \Vdash_{\neg A} \neg B$.

Кроме того, в силу второго условия в определяющей части вводимое отношение правдоподобного следования не обобщает дедуктивное следование, а является альтернативой ему.

DF.3. $A \Vdash T \Leftrightarrow \exists B(A \models_B T \text{ или } A \Vdash_B T)$.

Зато отношение $\Vdash$ достаточно прозрачно обобщает понятие следования, объединяя его дедуктивный и правдоподобный варианты.

Теперь можно ввести отношение атаки в полном соответствии с высказанной ранее интуицией.

DF.4. $A > B \Leftrightarrow A \Vdash \text{not} B$.

Мы намеренно используем метазнак отрицания *not*, оставляя тем самым возможность для различных формальных трактовок отрицания и соответствующего уточнения определения 4.

DF.5. $!A \Leftrightarrow \text{Если } \exists \Psi(\Psi > A \text{ и } \Psi = C), \text{ то } \exists \Phi(\Phi > C)$

Здесь Ψ и Φ – это переменные для аргументов, а само определение в точности выражает интуицию относительно неотбитого аргумента. Теперь в нашем распоряжении есть все для формулировки главного определения отношения подтверждения (обоснования).

DF.6. $A \Rightarrow T \Leftrightarrow !A \text{ и } A \Vdash T$.

Кратко остановимся на некоторых важных свойствах введенных отношений. Во-первых, уже отношение следования по модулю является немонотонным. В самом деле, пусть $A \models_C T$. По определению 1 это означает, что $A, C \models T$, но при этом $A \not\models T$ и $C \not\models T$. Означает ли это, что для всякого Ψ верно, что $\Psi, A \models_C T$? Естественно для всякого Ψ выполняется $\Psi, A, C \models T$ и $C \not\models T$, но при этом вполне может найтись такая формула Ψ , что $\Psi, A \models T$, в частности это верно для $\Psi := T$. Все это заставляет следующим образом сформулировать условие ограниченной монотонности:

$$\frac{A \models_C B; \Psi, A \not\models B}{\Psi, A \models_C B}.$$

Во-вторых, отношение следования по модулю над базовым (классическим) следованием не совпадает с ним. Некоторые стандартные дедуктивные постулаты (например, принцип введения дизъюнкции) для следования по модулю не проходят. В общем случае имеет место следующее утверждение: Если $A \models B$, то существует такая формула Ψ , что $A \not\models_\Psi B$.

В-третьих, отношение подтверждения (определение 2) также не является вполне монотонным относительно расширения множества допущений. Пусть имеет место $A \Vdash_C B$; в частности, это означает, что $A \models_B C$. Но этого явно недостаточно, чтобы получить $A \Vdash_{C \& D} B$, необходимым условием для чего является $A \models_B C \& D$.

Наконец, и само отношение подтверждения не является монотонным в силу условия неотбитого аргумента. В обобщенном случае определения от-

ношений типа следования между множествами посылок, множествами гипотез и заключением-тезисом это нарушение немонотонности выглядело бы более привычно – как запрет перехода от $\Gamma \Rightarrow B$ к $\Gamma \cup \Delta \Rightarrow B$. В нашем упрощенном варианте немонотонность отношения подтверждения запрещает переходить от $!A$ к $!(A \& D)$. В свою очередь, такой переход требует получения $C \succ A$ на основании допущения $C \succ (A \& D)$. Однако это невозможно, поскольку имеет место только выводимость в обратную сторону, что в принципе представляется вполне естественным и соответствующим нашим интуициям относительно атаки аргументов. В самом деле, критика одного конкретного аргумента означает критику конъюнкции аргументов, но не наоборот.

Заключение

Резюмируя, можно констатировать, что предложенные формальные экспликации аргументативных рассуждений (критики и обоснования) позволяют различить разные типы немонотонности (модифицируемости) аргументативных рассуждений. Кроме того, явным образом разграничивается несколько типов возможных отношений между посылками (аргументами) и заключением (тезисом): дедуктивное «рассуждение по модулю», правдоподобное следование и (аргументативное) отношение подтверждения.

Все это позволяет уже на данной стадии исследования ввести целый спектр оценок, основанных на специфике использованных в обосновании и критике типов рассуждений. Было ли рассуждение немонотонным и в каком смысле? Основано ли обоснование только на дедуктивном следовании или в нем использованы правдоподобные рассуждения? Ответ на первый вопрос косвенно свидетельствует о степени состоятельности полемики. Отвечая на второй вопрос, мы получаем возможность оценить «строгость» рассуждений.

Наконец, отдельной, весьма интересной темой, заслуживающей самостоятельного исследования, является возможная формализация так называемых «рассуждений по модулю».

Таким образом, намеченные в статье направления дальнейшей работы открывают широкий спектр исследований аргументации с формальных позиций.

Литература

1. Беликов А.А. Логика Данна–Белнапа, ее родственники и формальное моделирование аргументации // РАЦИО.ru. 2017. Т. 18 (1). С. 36–48.
2. Зайцев Д.В. Теории аргументации и их практические реализации // РАЦИО.ru. 2015. № 14. С. 4–15.
3. Зайцев Д.В. Логика и принятие решений // РАЦИО.ru. 2013. Т. 10, доп. вып. С. 21–22.
4. Zaitsev D.V. Who's the Tsar? Towards the True Science of Argument and Reasoning the 7th International Conference on Cognitive Science. 2016. Vol. 13, № 2. P. 231–232.
5. Dung P.M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games // Artificial Intelligence. 1995. Vol. 77 (2). P. 321–357.
6. Amgoud A. Replication study of semantics in argumentation // Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence, main track (10–16 August 2019). Macao, 2019. P. 6260–6266. DOI: 10.24963/ijcai.2019/874.
7. Bonzon E. et al. A comparative study of ranking-based semantics for abstract argumentation // Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (12–17 February 2016). Phoenix, 2016. P. 8.

8. *Besnard P., Hunter A.* A logic-based theory of deductive arguments // *Artificial Intelligence*. 2001. Vol. 128 (1-2). P. 203–235.
9. *Leite J., Martins J.* Social abstract argumentation // *Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (19–22 July 2011)*. Barcelona, 2011. P. 2287–2292.
10. *Amgoud L., Ben-Naim J.* Ranking-based semantics for argumentation frameworks // *Proceedings of the 7th International Conference on Scalable Uncertainty Management (16–18 September 2013)*. Washington, 2013. P. 134–147.
11. *Cayrol C., Lagasque-Schiex M.* Graduality in argumentation // *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2005. Vol. 23. P. 245–297.
12. *Belnap N.* A useful four-valued logic // *Modern Uses of Multiple-Valued Logic* / ed. by J.M. Dunn, G. Epstein. Boston : Reidel Publishing Company, 1977. P. 7–37.
13. *Belnap N.* How a computer should think // *Contemporary Aspects of Philosophy* / ed. by G. Rule. Stockfield : Oriol Press, 1977. P. 30–56.
14. *Dubois D.* On Ignorance and Contradiction Considered as Truth-Values // *Logic Journal of the IGPL*. Vol. 16. (2). P. 195–216. DOI: 10.1093/jigpal/jzn003.
15. *Amgoud L., Ben-Naim J.* On Argumentation-based Paraconsistent Logics // *Computational Models of Rationality*. London : College Publications, 2016. P. 377–391.
16. *Ben-Naim J.* Argumentation-Based Paraconsistent Logics // *21st International Conference on Conceptual Structures (27–30 July 2014)*. Iasi, 2014. P. 19–24.
17. *Arieli O.* A sequent-based representation of logical argumentation // *International Workshop on Computational Logic in Multi-Agent Systems (16–18 September 2013)*. Corunna, 2013. P. 69–85.
18. *Borg A., Strasser C.* Relevance in structured argumentation // *Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (13–19 July 2018)*. Stockholm, 2018. P. 1753–1759. DOI: 10.24963/ijcai.2018/242.
19. *Borg A., Arieli O., Strasser C.* Hypersequent-Based Argumentation: An Instantiation in the Relevance Logic RM // *International Workshop on Theories and Applications of Formal Argumentation (19–20 August 2017)*. Melbourne, 2017. P. 17–34.
20. *Borg A., Arieli O.* Hypersequential Argumentation Frameworks: an Instantiation in the Modal Logic S5 // *Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems (10–15 July 2018)*. Stockholm, 2018. P. 1097–1104.
21. *Mercier H., Sperber D.* Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory // *Behavioral and Brain Sciences*. 2011. Vol. 34. P. 57–74.
22. *Evans J., Over D.* Rationality and reasoning. Psychology Press, 2013. 192 p.
23. *Pollock J.* Oscar: An architecture for generally intelligent agents // *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. 2008. Vol. 171 (1). P. 275–286.
24. *Strasser C., Antonelli G.* Non-monotonic Logic // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 ed.) / E.N. Zalta (ed.) URL: <https://plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/> (accessed: 01.05.2020).
25. *Gärdenfors P., Makinson D.* Nonmonotonic inference based on expectations // *Artificial Intelligence*. 1994. Vol. 65 (2). P. 197–245.
26. *Makinson D.* Bridges between classical and nonmonotonic logic // *Logic Journal of IGPL*. 2003. Vol. 11 (1). P. 69–96.

Dmitry V. Zaitsev, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Lomonosov Moscow State University (MSU) (Moscow, Russian Federation).

E-mail: zaitsev@philos.msu.ru

Alexander A. Belikov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Lomonosov Moscow State University (MSU) (Moscow, Russian Federation).

E-mail: belikov@philos.msu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 13–24.

DOI: 10.17223/1998863X/57/2

MODELLING ARGUMENTATION: VALUATIONS AND REASONING

Keywords: argumentation; argumentative reasoning; evaluation of arguments; formal models of argumentation.

This article discusses the formal modelling of argumentation. The fundamental characteristics of argumentative reasoning, which play the key role in evaluating arguments, are examined. The authors focus on the distinctive features of natural reasoning. Real practice of reasoning is frequently accom-

panied by usage of deductively incorrect arguments as justifications of certain statements that arise within polemical situations. Another peculiarity of natural reasoning the authors analyse consists in its nonmonotonicity, i.e., extending the set of premises of a certain valid argument affects its validity. Thus, the possibility of constructing a simple and intuitively plausible formal theory that allows grasping the aforementioned phenomena is the main aim of the article. The authors suggest a formal explication of the evidence relation between an argument and a thesis. This explication can take into account the variability of the entailment relation, i.e., allows dealing with both deductive and inductive arguments within the same framework. The suggested explication of evidence relation is substantially grounded on the notion of reasoning by modulo, which, in turn, is a suitable tool for analysing deductively incorrect arguments. The suggested explication of argumentative reasoning (critique and refutation) allows distinguishing between different kinds of nonmonotonicity (modifiability) of argumentative reasoning and, furthermore, drawing the distinction between several types of relations between premises (arguments) and conclusion (thesis): deductive reasoning by modulo, inductive consequence, and (argumentative) evidence relation.

References

1. Belikov, A.A. (2017) Logika Danna-Belnapa, ee rodstvenniki i formal'noe modelirovanie argumentatsii [Dunn-Belnap's logic, its relatives and formal modeling of argumentation]. *RATsIO.ru*. 18(1). pp. 36–48.
2. Zaytsev, D.V. (2015) Teorii argumentatsii i ikh prakticheskie realizatsii [Theories of argumentation and their practical implementation]. *RATsIO.ru*. 14. pp. 4–15.
3. Zaytsev, D.V. (2013) Logika i prinyatie resheniy [Logic and decision making]. *RATsIO.ru*. 10. pp. 21–22.
4. Zaitsev, D.V. (2016) Who's the Tsar? Towards the True Science of Argument and Reasoning. *The Seventh International Conference on Cognitive Science*. 13(2). pp. 231–232.
5. Dung, P.M. (1995) On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games. *Artificial Intelligence*. 77(2). pp. 321–357. DOI: 10.1016/0004-3702(94)00041-X
6. Amgoud, A. (2019) Replication study of semantics in argumentation. *Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Main Track. August 10–16, 2019. Macao. pp. 6260–6266. DOI: 10.24963/ijcai.2019/874
7. Bonzon, E. et al. (2016) A comparative study of ranking-based semantics for abstract argumentation. *Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Phoenix, February 12–17, 2016. p. 8.
8. Besnard, P. & Hunter, A. (2001) A logic-based theory of deductive arguments. *Artificial Intelligence*. 128 (1–2). pp. 203–235. DOI: 10.1016/S0004-3702(01)00071-6
9. Leite, J. & Martins, J. (2011) Social abstract argumentation. *Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Barcelona, July 19–22, 2011. pp. 2287–2292.
10. Amgoud, L. & Ben-Naim, J. (2013) Ranking-based semantics for argumentation frameworks. *Proceedings of the 7th International Conference on Scalable Uncertainty Management*. Washington, September 16–18, 2013. pp. 134–147.
11. Cayrol, C. & Lagasque-Schiex, M. (2005) Graduality in argumentation. *Journal of Artificial Intelligence Research*. 23. pp. 245–297. DOI: 10.1613/jair.1411
12. Belnap, N. (1977) A useful four-valued logic. In: Dunn, J.M. & Epstein, G. (eds) *Modern Uses of Multiple-Valued Logic*. Boston: Reidel Publishing Company. pp. 7–37.
13. Belnap, N. (1977) How a computer should think. In: Rule, G. (ed.) *Contemporary Aspects of Philosophy*. Stockfield: Oriel Press. pp. 30–56.
14. Dubois, D. (2008) On Ignorance and Contradiction Considered as TruthValues. *Logic Journal of the IGPL*. 16(2). pp. 195–216. DOI: 10.1093/jigpal/jzn003
15. Amgoud, L. & Ben-Naim, J. (2016) On Argumentation-based Paraconsistent Logics. In: Beierle, Ch., Brewka, G. & Thimm, M. (eds) *Computational Models of Rationality*. London: College Publications. pp. 377–391.
16. Ben-Naim, J. (2014) Argumentation-Based Paraconsistent Logics. *21st International Conference on Conceptual Structures*. Iasi, July 27–30, 2014. pp. 19–24.
17. Arieli, O. (2013) A sequent-based representation of logical argumentation. *International Workshop on Computational Logic in Multi-Agent Systems*. Corunna, September 16–18, 2013. pp. 69–85.
18. Borg, A. & Strasser, C. (2018) Relevance in structured argumentation. *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Stockholm, July 13–19, 2018. pp. 1753–1759. DOI: 10.24963/ijcai.2018/242

19. Borg, A., Arieli, O. & Strasser, C. (2017) Hypersequent-Based Argumentation: An Instantiation in the Relevance Logic RM. *International Workshop on Theories and Applications of Formal Argumentation*. Melbourne, August 19–20, 2017. pp. 17–34.
20. Borg, A. & Arieli, O. (2018) Hypersequential Argumentation Frameworks: An Instantiation in the Modal Logic S5. *Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*. Stockholm, July 10–15, 2018. pp. 1097–1104.
21. Mercier, H. & Sperber, D. (2011) Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory. *Behavioral and Brain Sciences*. 34. pp. 57–74. DOI: 10.1017/S0140525X10000968
22. Evans, J. & Over, D. (2013) *Rationality and Reasoning*. Psychology Press.
23. Pollock, J. (2008) Oscar: An architecture for generally intelligent agents. *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. 171.
24. Strasser, C. & Antonelli, G. (2019) Non-monotonic Logic. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/> (Accessed: 1st May 2020).
25. Gärdenfors, P. & Makinson, D. (1994) Nonmonotonic inference based on expectations. *Artificial Intelligence*. 65(2). pp. 197–245. DOI: 10.1016/0004-3702(94)90017-5
26. Makinson, D. (2003) Bridges between classical and nonmonotonic logic. *Logic Journal of IGPL*. 11(1). pp. 69–96. DOI: 10.1093/jigpal/11.1.69

УДК 160.1, 165.0, 510.20
DOI: 10.17223/1998863X/57/3

Л.Д. Ламберов

ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИКО-ТИПОВОГО ПОДХОДА, III: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАК (НЕКОТОРЫЕ) ТИПЫ¹

Рассматривается понятие доказательства в связи с соответствием Карри–Говарда. Исследуются особенности этого понятия, а также различия классической доктрины «высказывания как типы» и современной доктрины «высказывания как некоторые типы». Особое внимание уделяется проблеме статуса логического в математике. Настоящая статья – третья в серии о понятии теоретико-типового доказательства.

Ключевые слова: доказательство, логика, математика, теория типов, соответствие Карри–Говарда, гомотопическая теория типов, интуиционизм.

Настоящая статья представляет собой третью часть исследования эпистемологических особенностей понятия доказательства в рамках теоретико-типового подхода. Первая статья [1] была посвящена эпистемологии доказательства корректности программного обеспечения, в ней рассматривались проблемы обозримости, вопрос о социальной роли таких доказательств, а также соотношение доказательства с пониманием абстракции в компьютерных науках. Вторая статья [2] касалась вопросов применения компьютерных средств в доказательстве теорем (в смысле математических результатов). В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием доказательства с точки зрения классического варианта доктрины «пропозиции как типы» (соответствие Карри–Говарда) и современного варианта доктрины «пропозиции как некоторые типы» (вариант соответствия Карри–Говарда с точки зрения гомотопической теории типов). Данная тематика частично затрагивалась и в предыдущих статьях, тем не менее в настоящей работе более подробно освещается ряд важных аспектов и нюансов, рассматривается современное состояние исследований и предлагаются некоторые эпистемологические выводы.

Соответствие Карри–Говарда [3] представляет собой нетривиальную связь логики и типизированных вычислений (в частности, типизированного лямбда-исчисления). В наиболее очевидном виде эта связь проявляется между интуиционистской пропозициональной логикой и просто типизированным лямбда-исчислением и позволяет утверждать, что у всякого доказательства соответствующей логической системы имеется некоторое вычислительное содержание, а всякое вычисление, производимое в соответствующем варианте типизированного лямбда-исчисления, имеет некоторое математическое содержание. Необходимо отметить, что благодаря указанному обстоятельству рассматриваемая доктрина является одним из центральных постулатов теории языков программирования, поскольку позволяет удобно и эффективно использовать математические методы при разработке, построении и исследовании различных языков и методов программирования.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00301.

Хотя различные варианты типизированного лямбда-исчисления соответствуют различным логикам (например, классическая логика описывает вычисления в стиле передачи продолжений, а линейная логика соответствует лямбда-исчислению, моделирующему потребление ресурсов), базовой логикой является интуиционистская логика, так как именно она соответствует наиболее простому варианту типизированного лямбда-исчисления, на основе которого строятся все остальные варианты. Таким образом, в дальнейшем для простоты в качестве логики будет использоваться именно она, а также соответствующая ей семантика.

В отличие от классической логики, в которой рассуждения представляются своего рода «с божественной точки зрения» и предполагается, что всякое высказывание является либо истинным, либо ложным вне зависимости от каких-либо связанных с человеческим знанием факторов, интуиционистская логика представляет собой логику «с человеческой точки зрения». Наиболее очевидным это становится при рассмотрении ВНК-интерпретации интуиционистской логики, названной так в честь Л.Э.Я. Брауэра, А. Гейтинга и А.Н. Колмогорова. Семантика для интуиционистской логики в соответствии с ВНК-интерпретацией [4. Р. 161] традиционно дается в терминах доказательств (например, доказательство для конъюнкции дается путем представления доказательств для конъюнктов, а доказательство для импликации является построением, позволяющим трансформировать доказательство для антецедента в доказательство для консеквента и т.д.). Хотя вариант, предложенный А.Н. Колмогоровым, формулировался в терминах задач и решений (соответственно, импликация является задачей по сведению решения для консеквента к решению для антецедента; другими словами, требуется решить задачу консеквента, имея решение для задачи антецедента), в дальнейшем А. Гейтингом было показано, что для интуиционистского подхода эти варианты аналогичны. Соответственно, высказывание признается истинным, если для него имеется доказательство, и признается ложным, если для него имеется опровержение. В случае же, когда для некоторого высказывания нет ни доказательства, ни опровержения, такое высказывание является неразрешимым (что, конечно, может измениться в процессе накопления знания либо не измениться, если речь идет о принципиально неразрешимых высказываниях).

Рассмотрение натурального исчисления для интуиционистской логики позволяет интерпретировать правила введения логических терминов как правила, определяющие «прямые» доказательства, а правила удаления – как «непрямые» доказательства. Причем из «непрямого» доказательства нельзя получить какую-либо дополнительную информацию сверх той, что была заложена в соответствующем «прямом» доказательстве. Такой анализ позволяет явно обсуждать формы доказательств, что в рамках теоретико-типового подхода отражается в синтаксической форме принадлежности (некоторого) терма (некоторому) типу. То есть запись $t:T$ в таком случае означает не просто, что терм t имеет тип T , а что t является доказательством для T (терм t в таком случае может быть назван термом-доказательством или объектом-доказательством). В ряде случаев нам не важно, какую форму имеет доказательство той или иной теоремы, зачастую нам нужно иметь любое доказательство, чтобы иметь тем самым уверенность в рассматриваемом математическом результате, однако в некоторых случаях оказывается важным

отличать разные доказательства одной и той же теоремы, что может быть легко выполнено и формально проанализировано при помощи рассматриваемого теоретико-типового подхода.

Помимо прочего, ВНК-интерпретация позволяет говорить о динамике доказательства, которая наиболее явным образом проявляется при использовании интерпретации интуиционистской логики как исчисления задач по А.Н. Колмогорову, причем динамика в данном случае понимается в соответствии с принципом Г. Генцена (ср.: [5. Р. 246–247]), согласно которому правила удаления являются обратными по отношению к правилам введения. В этом смысле (1) доказательство, построенное с помощью правил введения, сохраняет информацию, которая в дальнейшем может быть «восстановлена» с помощью правил удаления, а также (2) доказательство является обратимым и может быть «восстановлено» обратно, используя информацию, полученную с помощью правил удаления. Таким образом, динамика доказательства, связанная с (обратимым) применением правил введения и удаления, оказывается аналогичной соответствующим (типизированным) вычислительным аспектам: например, правило введения конъюнкции соответствует построению пары, а два правила удаления конъюнкции – двум функциям, вычисляющим первую и вторую проекции данной пары; правило введения импликации соответствует лямбда-абстракции (т.е. построению функции), а правило удаления импликации – применению функции к аргументу. В этой связи очевидно, что и статика доказательства, касающаяся форм высказываний, тоже оказывается аналогичной соответствующим (типизированным) термам: конъюнкция соответствует паре, а конъюнкты – соответствующим частям данной пары; импликация соответствует функции, консеквент – аргументу функции, антецедент – значению.

Благодаря рассмотренному выше соответствию теоретико-типовой подход является вариантом интерпретации логических понятий и, соответственно, новым взглядом на логику¹. Причем следует обратить внимание на то, что этот подход позволяет обнаружить определенного рода «вертикальное единство» логического, которое проявляется в первую очередь с помощью зависимых типов. Дело в том, что выражение с квантором существования, утверждающее существование объекта, для которого выполняется некоторая подформула, в качестве значения предполагает пару, первым элементом которой является этот объект, а вторым – сертификат (или свидетельство), что этот объект выполняет данную подформулу (это функция, возвращающая для данного объекта доказательство того, что этот объект выполняет данную подформулу). Такая пара обычно называется зависимой суммой. В случае же, когда второй элемент пары является константной функцией, мы просто имеем дело с типом произведений, т.е. с обычным декартовым произведением, которое является интерпретацией конъюнкции. Поскольку с теоретико-типовой точки зрения тип произведений является частным случаем типа зависимых сумм, то конъюнкция при таком подходе может пониматься как частный случай выражения с квантором существования. Для выражений с квантором общности имеет место аналогичная ситуация: значением этого выражения является функция, превращающая любой объект в доказательство того, что этот объект выполняет данную подформулу. В случае, когда эта

¹ О сведениях логики к теории типов см., напр.: [6].

функция не зависит от объекта, мы имеем обычный тип функции. Таким образом, с теоретико-типовой точки зрения импликация является частным случаем выражения с квантором общности.

Изложенное выше составляет основу доктрины «высказывания как типы». Получается, каждому высказыванию соответствует некоторый тип, термы которого представляют собой доказательства данного высказывания. Наибольший вклад в изучение рассмотренного соответствия внести Х. Карри [7, 8], У.А. Говард [9], а также Н.Г. де Брёйн [10], использовавший эту идею при построении системы *Automath* для проверки математических доказательств. Это соответствие может быть дополнено связью теории типов и некоторыми вариантами теории категорий, что может быть названо соответствием Карри–Говарда–Ламбека, или «вычислительным триединством» (термин принадлежит Р. Харперу). В этом отношении [11, 12] теория типов может пониматься как формальный синтаксис для теории категорий, а теория категорий – как семантическая интерпретация теории типов. Следует отметить, что эта связь не настолько очевидна, как в случае с интуиционистской логикой и типизированным лямбда-исчислением, однако она предоставляет возможность построения более выразительных формализмов.

Обновленный взгляд на связь логики, типизированного лямбда-исчисления и теории категорий может быть обозначен как доктрина «высказывания как некоторые типы». Уже само это обозначение говорит о том, что при таком подходе не все высказывания соответствуют каким-то типам. Другими словами, высказывания рассматриваются как типы строго определенного вида, другие же типы уже высказываниями *напрямую* не считаются. Это не связано с какими-либо ограничениями на использование высокопорядковых логик, в теории типов вполне естественным образом можно представить любую формулу логики любого порядка. В случае с формулами логик высоких порядков это может быть достаточно легко сделано с помощью универсумов, которые в любом случае нужны для определения предикатов (как функций из объектов некоторого типа в универсум).

Итак, доктрина «высказывания как некоторые типы» может быть проиллюстрирована обращением, например, к внутренней логике топосов или к гомотопической теории типов, в которых высказывания соответствуют типам с не более чем одним термом. Причем в гомотопической теории типов типы могут пониматься как гомотопические типы или как геометрические гомотопические типы.

Доктрина «высказывания как типы» предполагает, что всякое высказывание соответствует некоторому типу, а доказательства этого высказывания соответствуют термам данного типа. Другими словами, построение термина некоторого типа является построением доказательства для соответствующего этому типу высказывания. При построении интуиционистской теории типов П. Мартин-Лёф [6, Р. 5] выделил четыре формы суждений (которые не следует путать с высказываниями¹): (1) A является множеством (= типом); (2) множество (= тип) A

¹ К высказываниям могут быть применены логические термины, и они являются истинными / ложными. Суждение же – это, скорее, наше полагание некоторого высказывания, например, истинным (см.: [13]). Таким образом, суждение связывается с актуальными знаниями рассуждающего и истолковывается в близком интуиционизму духе. Доказательствами суждения являются деревья выводов, а доказательствами высказываний – конкретные объекты-доказательства.

равно множеству (= типу) B ; (3) a является элементом множества (= типа) A ; (4) a и b являются равными элементами множества (= типа) A . Эти формы суждений получают несколько различных прочтений, которые в конечном счете представляют собой разные стороны одного и того же феномена. Например, для П. Мартин-Лёфа первая форма суждения может быть прочитана как утверждение, (1) что A является множеством (= типом); (2) что A является высказыванием; (3) что A является интенцией (ожиданием); (4) что A является проблемой (задачей). Поскольку для П. Мартин-Лёфа эти разные прочтения представляют собой, по сути, одно и то же, постольку особое выделение логического как специально области или формы знания оказывается для него нерелевантным.

По-другому обстоят дела с пониманием логического в рамках доктрины «высказывания как некоторые типы». Гомотопическая теория типов не порывает с интуиционистским подходом, однако предлагает некоторое уточнение статуса логического и связанных с ним понятий. Термы, относящиеся к некоторому типу, все еще понимаются как разные доказательства (объекты-доказательства), от различий между которыми мы вполне можем абстрагироваться, применив процедуру -1 -обрезания, с помощью которой происходит «усечение» типа любого уровня (начиная с 0) до уровня типов, соответствующих высказываниям. Это вполне согласуется с «чисто» логическим подходом, при котором важным является само наличие доказательства, а не его конкретная форма. Процедура -1 -обрезания превращает любой тип в тип-высказывание, имеющий не более одного терма. Все многообразие типов (в смысле числа подпадающих под них термов) сводится к достаточно простой ситуации, когда если тип заселен, то он соответствует истинному высказыванию, а если же тип не заселен, то он соответствует ложному высказыванию. Если некоторый тип с помощью -1 -обрезания может быть сведен к типу-высказыванию, имеющему один терм, то это означает, что данное высказывание истинно, и имеется свидетельство в пользу существования доказательства для этого высказывания. Другими словами, тип в доктрине «высказывания как некоторые типы» представляет собой множество доказательств для типа-высказывания, полученного с помощью процедуры -1 -обрезания, а доказательства как термы указанного типа отождествляются друг с другом и сводятся к одному единственному терму, выполняющему роль положительного истинностного значения (т.е. истины). Соответственно, уровень «чисто» логического (ср.: [14]) (в его традиционном смысле) в гомотопической иерархии ограничивается -1 уровнем, а логика становится «частным случаем геометрии» [15. Р. 329].

Такая ситуация со сведением разных доказательств к одному истинностному значению (их можно понимать как разные компоненты истинностного значения) возможна в гомотопической теории типов благодаря мощному понятию тождества (см.: [16]). Благодаря этому на уровне «чисто» логического мы имеем правила введения и удаления, а на более высоких уровнях, на которых типы понимаются как фундаментальные группоиды, мы имеем правила построения математических структур, лежащих за пределами «чистой» логики. Безусловно, логические структуры сохраняются на более высоких уровнях иерархии и играют нечто вроде формообразующей роли, однако они недостаточны для различения разных форм доказательств одного и того же высказывания и для проведения более тонких различий в рамках уже извест-

ных результатов. К примеру, традиционная «чисто» логическая интерпретация теорем К. Гёделя о неполноте не позволяет увидеть возможности построения формализмов, обладающих теми или иными выходящими за границы «чисто» логического подхода формами автореферентности, что демонстрирует как слабость «чисто» логического подхода, так и то, что мы до сих пор не имеем адекватного понимания феномена автореферентности¹. При таком подходе «логические операции оказываются специальными случаями математических операций более общего вида» [18]. Теория типов, таким образом, представляет собой более мощный инструмент для анализа понятия доказательства, чем традиционная «чистая» логика, что позволяет строить системы для автоматических и интерактивных доказательств, во многом приближенные к обычным математическим доказательствам и математической интуиции².

Литература

1. Ламберов Л.Д. Понятие доказательства в контексте теоретико-типового подхода, I: доказательство программ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 6. С. 49–57.
2. Ламберов Л.Д. Понятие доказательства в контексте теоретико-типового подхода, II: доказательство теорем // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 34–41.
3. Sørensen M.H., Urzyczyn P. Lectures on the Curry-Howard Correspondence. Amsterdam : Elsevier, 2006. 456 p.
4. Troelstra A.S. History of Constructivism in the 20th Century // Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies / ed. by J. Kennedy, R. Kossak. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. P. 150–179.
5. Harper R. Practical Foundations for Programming Languages. New York : Cambridge University Press, 2013. 487 p.
6. Martin-Löf P. Intuitionistic Type Theory. Napoli : Bibliopolis, 1984. 91 p.
7. Curry H. Functionality in Combinatory Logic // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1934. Vol. 20, № 11. P. 584–590.
8. Curry H., Feys R. Combinatory Logic. Amsterdam : North-Holland, 1958. Vol. I. 417 p.
9. Howard W.A. The Formulae-as-Types Notion of Construction // To H.B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism / ed. by J.P. Seldin, J.R. Hindley. Cambridge, MA : Academic Press, 1980. P. 479–490.
10. De Bruijn N. Automath, a Language for Mathematics // Automation and Reasoning / ed. by J. Siekmann, G. Wrightson. Berlin ; Heidelberg : Springer, 1983. Vol. 2: Classical papers on computational logic, 1967–1970. P. 159–200.
11. Lambek J. Deductive Systems and Categories III // Toposes, Algebraic Geometry and Logic / ed. by F.W. Lawvere. Berlin : Springer, 1972. P. 57–82.
12. Lambek J., Scott P.J. Introduction to Higher Order Categorical Logic. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 304 p.
13. Martin-Löf P. On the Meanings of Logical Constants and the Justifications of the Logical Laws // Nordic Journal of Philosophical Logic. 1996. Vol. 1. P. 11–60.
14. Rodin A. Extra-Logical Proof-Theoretic Semantics in HoTT // Proof-Theoretic Semantics: Assessment and Future Perspectives / ed. by T. Piecha, P. Schroeder-Heister. Tübingen : University of Tübingen, 2019. P. 45–46, 765–785.
15. Lawvere F.W. Quantifiers and sheaves // Actes du congrès international des mathématiciens / ed. by M. Berger, J. Dieudonné et al. Nice : Gauthier-Villars, 1971. P. 329–334.
16. Ladyman J., Presnell S. Identity in Homotopy Type Theory, Part I: The Justification of Path Induction // Philosophia Mathematica. 2015. Vol. 23, № 3. P. 386–406.

¹ О построении самоинтерпретатора для одного из вариантов строго типизированного лямбда-исчисления см.: [17].

² О математической интуиции и доказательстве см.: [19–23].

17. Brown M., Palsberg J. Breaking Through the Normalization Barrier: a Self-Interpreter for F-omega // POPL'16: Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages. New York : Association for Computing Machinery, 2016. P. 5–17.
18. Rathjen M. Constructive Hilbert Program and the Limits of Martin-Löf's Type Theory // Synthese. 2005. Vol. 147, № 1. P. 81–120.
19. Родин А.В. Делать и показывать // Доказательство: очевидность, достоверность и убедительность в математике / под ред. В.А. Бажанова, А.Н. Кричевца, В.А. Шапошникова. М. : Либроком, 2014. С. 222–255.
20. Целищев В.В., Хлебалин А.В. Формальные средства в математике и концепция понимания // Философия науки. 2020. № 2. С. 45–58.
21. Целищев В.В. Эпистемология математического доказательства. Новосибирск : Параллель, 2006. 212 с.
22. Целищев В.В. Интуиция, финитизм и рекурсивное мышление. Новосибирск : Параллель, 2007. 220 с.
23. Хлебалин А.В. Интерактивное доказательство: верификация и генерирование нового математического знания // Философия науки. 2020. № 1. С. 87–95.

Lev D. Lamberov, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 25–32.

DOI: 10.17223/1998863X/57/3

THE CONCEPT OF PROOF IN THE CONTEXT OF A TYPE-THEORETIC APPROACH, III: PROOFS AS (SOME) TYPES

Keywords: proof; logic; mathematics; type theory; Curry–Howard correspondence; homotopy type theory; intuitionism.

The article is the third part of a study of the epistemological features of the concept of proof within the framework of a type-theoretic approach. The article discusses issues related to the concept of proof from the point of view of the classical version of the “propositions-as-types” doctrine (the Curry–Howard correspondence) and the modern version of the “propositions-as-some-types” doctrine (a version of the Curry–Howard correspondence from the point of view of homotopy type theory). This topic was partially discussed in the previous article. This article highlights a number of important aspects and nuances, examines the current state of research, and offers some epistemological conclusions. The Curry–Howard correspondence is a non-trivial connection between logic and typed computations. The semantics for intuitionistic logic according to the BHK-interpretation is traditionally given in terms of proofs. A statement is considered true if there is an evidence for it, and is considered false if there is a refutation for it. The BHK-interpretation allows us to talk about the dynamics and statics of proof. The type-theoretic approach is a variant of the interpretation of logical concepts and, accordingly, a new look at logic. This approach allows one to discover a certain kind of a “vertical unity” of logic. An updated view of the relationship between logic, typed lambda calculus, and category theory can be termed the doctrine of “propositions-as-some-types”. Propositions are considered as types of a strictly defined type, while other types are not directly considered as propositions. This point of view can be illustrated by referring, for example, to the internal logic of topos or to homotopy type theory. The “propositions-as-types” doctrine assumes that every proposition corresponds to some type, and the proofs of a given proposition correspond to terms of that type. The situation is different with the understanding of logic within the framework of the “propositions-as-some-types” doctrine. Homotopy type theory offers some clarification of the status of logic and its concepts. Terms related to a certain type are still understood as different proofs (or rather objects-proofs), and differences between them can be easily abstracted away. The level of “pure” logic in the homotopy hierarchy is limited to -1 level, and logic becomes a “special case of geometry”. This reduction is possible thanks to the powerful concept of identity. At the level of “pure” logic, there are rules for introduction and elimination, and, at higher levels, at which types are understood as fundamental groupoids, there are rules for constructing mathematical structures that lie outside of “pure” logic. Type theory is a more powerful tool for analyzing the concept of proof than traditional “pure” logic, which allows one to build systems for automatic and interactive proofs, much closer to ordinary mathematical proofs and mathematical intuition.

References

1. Lamberov, L.D. (2018) The concept of proof in the context of a type-theoretic approach, I: Proof of computer program correctness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 46. pp. 49–57. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/46/6
2. Lamberov, L.D. (2019) The Concept of Proof in the Context of a Type-Theoretic Approach, II: Proofs of Theorems. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 49. pp. 34–41. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/49/4
3. Sørensen, M.H. & Urzyczyn, P. (2006) *Lectures on the Curry-Howard Correspondence*. Amsterdam: Elsevier.
4. Troelstra, A.S. (2011) History of Constructivism in the 20th Century. In: Kennedy, J. & Kossak, R. (eds) *Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 150–179.
5. Harper, R. (2013) *Practical Foundations for Programming Languages*. New York: Cambridge University Press.
6. Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*. Naples: Bibliopolis.
7. Curry, H. (1934) Functionality in Combinatory Logic. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 20(11). pp. 584–590. DOI: 10.1073/pnas.20.11.584
8. Curry, H. & Feys, R. (1958) *Combinatory Logic*. Vol. I. Amsterdam: North-Holland.
9. Howard, W.A. (1980) The Formulae-as-Types Notion of Construction. In: Seldin, J.P. & Hindley, J.R. (eds) *To H.B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*. Cambridge, MA: Academic Press. pp. 479–490.
10. De Bruijn, N. (1983) Automath, a Language for Mathematics. In: Siekmann, J. & Wrightson, G. (eds) *Automation and Reasoning*. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer. pp. 159–200.
11. Lambek, J. (1972) Deductive Systems and Categories II. In: Lawvere, F.W. (ed.) *Toposes, Algebraic Geometry and Logic*. Berlin: Springer. pp. 57–82.
12. Lambek, J. & Scott, P.J. (1986) *Introduction to Higher Order Categorical Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Martin-Löf, P. (1996) On the Meanings of Logical Constants and the Justifications of the Logical Laws. *Nordic Journal of Philosophical Logic*. 1. pp. 11–60.
14. Rodin, A. (2019) Extra-Logical Proof-Theoretic Semantics in HoTT. In: Piecha, T. & Schroeder-Heister, P. (eds) *Proof-Theoretic Semantics: Assessment and Future Perspectives*. Tübingen: University of Tübingen. pp. 45–46; pp. 765–785.
15. Lawvere, F.W. (1971) Quantifiers and sheaves. In: Berger, M., Dieudonné, J. et al. (eds) *Actes du congrès international des mathématiciens*. Nice: Gauthier-Villars. pp. 329–334.
16. Ladyman, J. & Presnell, S. (2015) Identity in Homotopy Type Theory, Part I: The Justification of Path Induction. *Philosophia Mathematica*. 23(3). pp. 386–406. DOI: 10.1093/phimat/nkv014
17. Brown, M. & Palsberg, J. (2016) Breaking Through the Normalization Barrier: A Self-Interpreter for F-omega. In: *POPL'16: Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*. New York: Association for Computing Machinery. pp. 5–17.
18. Rathjen, M. (2005) Constructive Hilbert Program and the Limits of Martin-Löf's Type Theory. *Synthese*. 147(1). pp. 81–120.
19. Rodin, A.V. (2014) Delat' i pokazivat' [To do and to]. In: Bazhanov, V.A., Krichevskiy, A.N. & Shaposhnikov, V.A. (eds) *Dokazatel'stvo: ochevidnost', dostovernost' i ubeditel'nost' v matematike* [Proof: obviousness, reliability and conviction in mathematics]. Moscow: Librokom. pp. 222–255.
20. Tselishchev, V.V. & Khlebalin, A.V. (2020) Formal tools in mathematics and the concept of understanding. *Filosofiya nauki – Philosophy of Sciences*. 2. pp. 45–58. (In Russian).
21. Tselishchev, V.V. (2006) *Epistemologiya matematicheskogo dokazatel'stva* [Epistemology of mathematical proof]. Novosibirsk: Parallel'.
22. Tselishchev, V.V. (2007) *Intuitsiya, finitizm i rekursivnoe myshlenie* [Intuition, Finitism, and Recursive Thinking]. Novosibirsk: Parallel'.
23. Khlebalin, A.V. (2020) Interactive proof: verification and generation of new mathematical knowledge. *Filosofiya nauki – Philosophy of Sciences*. 1. pp. 87–95. (In Russian).

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 304.3

DOI: 10.17223/1998863X/57/4

T. Kačerauskas¹

THE CREATIVE SECTOR AND CLASS OF SOCIETY²

Creative sector consists of such areas as advertising, architecture, art, crafts, design, fashion, films, music, publishing, software, toys, television etc. The creative areas are described and grouped in different lists suggested both by government and by scholars. The workers in creative sector formate the creative class although the latter is a broader concept. Creative class covers economic and creative aspects. Here, we face the problems of definition and of demarcation. Scholars (R. Florida) identify the following features of the creative class: individuality, meritocracy, diversity and openness. Creative class can be defined only by comparing it with a less creative class but is hardly possible in the context of creative society.

Keywords: creative sector, creative class, creative society, creative workers, creative environment, governmental list of CS, creative activity, creative lifestyle.

Introduction

Creativity concepts are ambivalent [1]. We have also a variety of creative sector lists defined by both scientists and governments. As regards creative sector theorists, Howkins is one of the few scholars who explicitly presents this list: in his book *Creative Economy*, he consistently examines various areas of the creative sector. The creative sector is also being studied by other scientists from the creative class [2], creative city [3–5], art [7, 8], economic relations [9–12], innovative

¹ Автор Томас Качераускас.

Название статьи: Креативные сектор и класс общества.

Аннотация: Креативный сектор состоит из таких областей, как реклама, архитектура, искусство, ремесла, дизайн, мода, фильмы, музыка, книгоиздательство, программное обеспечение, игры, телевидение и т.д. Творческие области описаны и объединены в различные группы, предложенные как правительством, так и учеными. Работники креативного сектора формируют креативный класс, хотя последний является более широким понятием. Креативный класс охватывает экономические и креативные аспекты. Здесь мы сталкиваемся с проблемами определения и демаркации. Ученые (Р. Флорида) выделяют следующие черты креативного класса: индивидуальность, меритократия, разнообразие и открытость. Творческий класс можно определить только путем сравнения его с менее креативным классом, но это вряд ли возможно в контексте творческого общества.

Ключевые слова: креативный сектор, креативный класс, креативное общество, творческие работники, творческая среда, правительственный список креативного сектора, творческая деятельность, творческий образ жизни.

² This research was supported by Erasmus+ KA2 project “CSB Cultural Studies in Business”, 2018-1-IT02-KA203-048091.

economy [13], regional studies [14, 15], tourism studies [16], political economy [17], gender studies [18], pedagogy [19–23], media [24, 25], sport [26] and other perspectives. Below is a list of the creative sector of the UK Department for Digital, Culture, Media & Sport, which we will compare with the creative sector list presented by John Howkin [27].

Karl Marx [28], who opposed different classes, raised workers class greater or lesser creative role in society. For example, the class of workers is destined to recreate the social environment in a revolutionary way. Marx reflected the industrial society with all its contradictions and clashes. The post-industrial society, often called as the creative society, is no less contradictory, and the larger or smaller creative aspirations were held by all influential historical classes and creatures.

The main theorist of creative class is R. Florida [2]. Scholars develop this concept by appealing to economic growth [29], political studies [30], regional studies [31] etc.

Creative sector government list

What does the creative sector's list formed by the government mean? What does it mean that some countries have such lists and others do not? The mere presence of a list in the government shows some focus on the creative sector: in these countries they are not only supported but recognized as having an important role in the national economy. On the other hand, the list of the government shows some bureaucratic tricks: any classifier is already a sort of division into areas that are very difficult to overcome – it is the contr-creative principle. In the reality, the creative areas are not cut off from each other, moreover they remain creative in communicating with each other. In addition, the entire creative sector is a lively, bustling region where new areas are born and old ones die. The officially established list of the creative sector does not allow to pick up new areas that are not recorded in it and, conversely, unreasonably reanimates already dead areas. In addition, the interflowing of several areas raises the problem of how one or the other creative phenomenon belongs to them. Since the government list is followed by the money that finances one or another area of the creative sector, the existence of such a list has both advantages and disadvantages.

First we look at the list of the creative sector in the UK Department for Digital, Culture, Media & Sport [32]. This and other lists are shown in Table.

If we compare this list with previous one formed some years ago (see [33] in Table) we see the tendency to join the areas of creative sector.

All of these areas have their own sources of funding. Some of them have funding mechanisms in the state budget in order to be developed. In other words, they have a certain place in national cultural policy that varies from country to country. Because they form a single sector supervised by the same department (at least in UK), which redistributes part of the state budget, they are fighting each other, both in terms of focus and funding. Therefore, they can also be called competing areas.

**Creative sector according to UK Department for Digital, Culture, Media & Sport [32, 33],
and Howkins [27]**

Creative areas	Source
Advertising and marketing	[32]
Advertising	[27]; [33]
Architecture	[27]; [32]; [33]
Crafts	[27]; [32]; [33]
Arts and Antiques	[33]
Art	[27]
Design: Product, Graphic and Fashion Design	[32]
Design	[27]; [33]
Designer Fashion	[33]
Fashion	[27]
Film, TV, video, radio and photography	[32]
Films, Video & Photography	[33]
Films	[27]
TV & Radio	[27]; [33]
IT, software and computer services	[32]
Software, Electronic Publishing	[33]
Software	[27]
Publishing	[27]; [32]; [33]
Museums, galleries and libraries	[32]
Music, performing and visual arts	[32]
Performing arts	[27]
Music, visual and theatrics	[33]
Music	[27]
Digital & Entertainment Media	[33]
Scientific researches and technologies	[27]
Toys and games (except computer games)	[27]
Computer Games	[27]

List of Howkins' creative sector

When we move to another (Howkins') list of creative sector, we see some adjustments. As shown in Table, Howkins examined each of these areas separately and thus presented his list, which is not the same as the DCMS list.

In addition, there are lists of other researchers [2, 9] that can be reconstructed from their field of research. Areas such as advertising, architecture, crafts, design, fashion, publishing, partly television and radio have their own subdivisions and coincide with the list of DCMS. Some areas are divided by Howkins, and some are connected, such as television and radio, into one area. Some areas of the creative sector are distinguished by focusing on the dynamics and high economic growth and potential of these areas. This is typical of computer games that the author examines as a completely separate and very fast growing area of the creative sector. In addition, as a separate area, the author identifies toys and games that are not directly related to rapidly developing technologies, especially digital media.

Computer games are extremely dynamic. They develop rapidly to conquer an increasingly large market and a wider audience (not just of children). Therefore, it is one of the fastest growing areas of the creative sector. Electronic publishing attributed to publishing also occupies an increasing place, but it takes away the place of traditional publishing. Traditional publishing has a strong position, although it loses 1–2% a year to electronic publishing. These two types of publishing often complement and duplicate each other while books and magazines usually have both traditional and electronic versions.

Howkins quite rightly distinguishes music, art and performing arts from other arts, because they are very different areas. There is no reason to think that performing arts are obsolete and that the theater is a “dying” area of the creative sector. Broadway’s performing arts (musicals) generate no less money than Hollywood. In addition, performing arts have a reputation for “live music” and a “live action”, so appealing to an exclusive (hence, richer) audience. Similarly, considerable financial resources, including government grants, are generated by classical opera productions.

Howkins distinguishes a separate area of scientific researches and technology. On the one hand, the question arises of how creative scientific researches and technologies are, if we attribute them to the creative sector? On the other hand, the question arises as to how much scientific researches and technologies are economically reasoned and what part of the economy they generate?

Creating and developing new technologies is definitely a creative activity. In addition, technologies contribute to the development of other areas of the creative sector, such as computer games or software. The latter are inseparable from the development of information and digital technologies.

As a completely separate creative sector area, Howkins also mentions software. Software developers have created tremendous added value. Emerging technologies have created certain social order, appreciated the new software products that are being developed, and the developers of the latest technologies offer not only the latest product but also a new lifestyle for consumers. This has fundamentally changed the social priorities of society.

Films in the DCMS list are grouped together with video production and photography (later also with radio), while the latter is not on the Howkins’ list. Film is a special area of the creative sector. It is very cumulative, encompassing many different areas: music, fashion, acting (performing arts), writing, directing. The success of all these aspects can guarantee the success of the film. The films are special in that it is a collective creation. Successful work in the film area can create many jobs, but film production is inseparable from distribution and from the market.

In short, the presence of creative sector’s list in the government shows some focus on the creative sector since they are supported and recognized as having an important role in the national economy. Since the government list is followed by the money that finances one or another area of the creative sector, the existence of such a list has both advantages and disadvantages. We see the tendency to join the areas of creative sector. Beside government list, there are also lists of researchers who analyse the tendencies in creative sector and theorize creative class.

Creative class: Problems and definition difficulties

It seems that the workers in creative sector form the creative class. On the one hand, this discourse continues the Marxist discourse of antagonistic or at least competitive social classes. On the other, the concept of creative society presupposes very different – post-industrial and neoliberal – approach that there is no more class as power holder in contemporary society.

According to Florida [2], creative class is the people who produce economic values through their creative activities. In other words, it is people creativity of which contribute to economic prosperity, to society and to the economic growth of the state. Thus, their creativity is twofold: on the one hand, their activity is crea-

tive, on the other, they create a certain national product, so they participate in economic life. Thus, according to this definition, creative class representatives create a twofold value – creative (in the narrow sense – artistic) and economic (in the narrow sense – purse).

The question is how the people who create but do not contribute to economic development are to be treated. Suppose a writer, for some reason (self-critical approach or failure to persuade publishers), does not publish his stories and novels, and after his death he (she) asks to burn them (the case of Franz Kafka). Another example is Vincent van Gogh, who had not sold any of his paintings being alive (except one for his brother). According to the above definition, these people do not belong to the creative class without being involved in economic life. Here we are approaching one of the problems in the context of the Florida issues – how to define the creative class?

Another problematic issue with this name is creative activity. What is creative activity? When it comes to creative activities, first and foremost, we mean those people who, according to the definition of Florida, would not get into the creative class. These are writers and painters. If they do not create any economic product and do not participate in the economic life of the state, then they are in no way a creative class. For example, they do not sell their creative product, which could be exchanged for other products with economic value, such as bicycle or bread. However, they can contribute to economic activity indirectly or after a certain period of time.

So the creative class name has two important things: economic and creative aspects. According to Florida, if at least one piece is missing, creative class criteria are not met.

We can discuss about the creative class only if we separate some other less creative or non-creative classes from it. Thus, we can speak about creative class by defining other classes of society, such as the service class, the working class and the rural class, as Florida defines them. There are other issues relevant in the context of our subject matter. On what basis do we deny the right of these classes to creativity inseparable from human activity in general? What is the role of identification with the creative class in defining the creative worker? Whether also non-creative individuals can prosper in creative environment? Whether less creative (non-creative) classes can only be defined only in a negative way (as a lack of creativity)?

Features of the creative class

Florida [2] identifies the following features of the creative class: individuality, meritocracy, diversity and openness. Individuality means that the creative class consists of individuals whose creative activity is individual. There is not only the idea that creativity needs loneliness and exclusion: every creative worker sees the world in its own way. There is also the idea that any work is unique and original. True, it should not be too original, because it will be misunderstood – originality is earned in the society step by step. However, in terms of creative sector, i. e. of those creative activities that have the greatest economic potential we face rather mass-product of creativity and collective creativity (for example, film). How to combine individuality and this collectivism?

The question is, what does unite the creative class. Florida [2] admits that many creators do not understand they belong to a creative class. For example, bankers, financiers, and surgeons assigned by Florida to the creative class are a weak link in this regard. They are not conscious enough to be identified with the creative class without understanding that they have a sense of belonging. However, they are somehow involved in forming creative capital that is purportedly contrary to social capital. However, here, in terms of the unity of the creative class, it is not so much a creative as a social capital that is supposed to be a sense of commonality supported by certain institutions, rather than of difference and individuality. Self-assignment to the creative class is a part of the creative worker's identity, as self-attribution to one or another nation or religion.

The creative class is characterized by both cultural integrity and cultural diversity. On the one hand, they are educated at the universities, as a result, they are people with a wide range of interests and pursuits. On the other, they are specialized professionals who hardly find a common language. Although the idea of specialization is raised in antiquity, it is essentially a heritage of an industrial society dictated by the factory conveyor principle, which is inseparable from the knowledge dosing in the factory: by knowing only a narrow area, the employee will not only work more efficiently, and thus create more added value for the employer. As a result, he (she) is easier to replace with another easy-to-train worker.

Florida [Ibid.] formulates creative class goals as follows: 1) Attracting investment to creative activities that stimulate economic growth; 2) Overcoming class divisions; 3) Expanding new social relationships in the face of growing diversity and social fragmentation.

Comparing the creative class with other classes mentioned by Florida [Ibid.], such as the class of workers, service, and rural people, we see that the latter do not have such ambitious goals as a creative class that seeks to unite society through creative communication. On the one hand, the creative class is different, separate from the other classes, and on the other, it is like a mediator of society that connects

different classes and ensures smooth links between different classes. According to Florida, communities and regions must constantly develop creativity. When asked why they need to do this, the answer is simple: it is effective in economic terms. During the economic crisis, the creative sector is experiencing a somewhat greater decline, although it provides a slightly higher economic growth under conditions of economic growth.

Creative class structure

Florida compares the creative class to other groups in society: service, work and rural classes. As far as the first is active, the latter are reactive, as the first is proactive and the latter are passive, as the first is innovative, the latter are traditional, as the first radical and the latter are conservative. The creative class closest to its goals, the nature of the work and the way of life – the service class, the furthest – the rural class. Therefore, the contradiction of the creative class to purify its identity is best done with the rural class, and the separation from the service class is the most problematic.

Speaking of the creative class, Florida mentions two concentric circles: a superactive core and the creative professionals. Broadly speaking about creative ac-

tivity and creative class, he distinguishes more and less creative people. In a sense, the latter serve the first and mediate in front of other classes. On the one hand, these mediators conclude an economic contract with the creative workers, in exchange for their creative production, to be placed on the free market, offering more or less stable remuneration and at least minimal social guarantees. Their task is communication and management: to present the creative worker as widely as possible and to sell his work more expensive. On the other hand, because of the principle “nobody knows” [9] characteristic to super-active core, the mediators take part in the risk of failing to sell creative production. In order to protect himself from unnecessary risk, the creative worker must be evaluated as much as possible: the more expensive the work, the greater the amount of money left to the manager, although the agreed percentage of remuneration does not change. Finally, this manager and communicator protects the rest of society from the rebellion of the creative worker, explaining the artist’s excesses to the public as the price of his creativity, and the public’s miserliness as being not ready to meet a new genius.

Super-active core is the most creative group with biggest role in the creative class: IT specialists and mathematicians; architects and engineers; scientists of natural and social sciences; artists, designers, entertainment and sports organizers; teachers and librarians. This list is both too wide and too narrow. The list is too broad, because super-active creative workers include engineers, mathematicians, scientists, entertainment and sport organizers, educators and librarians who are not considered as creative workers (artists) in the narrow sense. True, all of them are influential members of society changing their face, i. e. making it more or less creative.

Here, we see a parallel between this list and the lists of creative sector. However, the suggested by Florida list of creative workers is too narrow. Firstly, it does not include the scientists of humanities: their work is not only as creative as of social scientists, but they are always at the forefront of social change (social engineering). Secondly, there are also no representatives of technological sciences, although they initiate new public technologies that are inseparable from media development. Thirdly, there are no workers of museums and galleries here, although they, like librarians, not only protect the values of art, but also form the taste of creative class. Fourth, there are no interpreters, although they present (communicate) creative ideas, developed in other languages and in other cultures. Fifth, there are no publishers, although they organize more significant things than entertainment and sports. This list of “disappeared” creative workers could be continued by appealing to the list of creative sector (see Table).

As mentioned, creative professionals are creative workers around the super-active core in several meanings. On the one hand, they are the professionals who serve the creative workers. Their professionalism is associated with their role: the creative product with an economic value has been spread by the specialists of management and business, its creation and distribution need financial support, the health of exhausted creative workers is restored by doctors assisted by technical medical personnel, and copyrights are protected by lawyers. However, these professionals also have their own creative potential: one can talk about creative aspects in both management (market must be created), financial sector (creative solutions for investment), medicine (creative solutions using new methods of treatment) and law (creative legislation). In addition, one can talk about their active

role in shaping the creative class, although it is smaller than the role of the super-active core. Creative professionals are also the most abundant consumers of the super-active core's creative product. It is its clientele, not only by forming a diverse group of cinema, theater, gallery visitors, but also by spreading its ideas.

So the creative class is very varied and has many different fields. Therefore, in order to distinguish (identify) it, we have to compare with other classes, of which the closest neighbor is a service class, with which the creative class competes not only by its size but also by its influence on society. However, in the post-industrial society, the creative class is not equal to the size of the service class, although we have seen that the latter, by serving the creative workers, is attributable to the creative professionals. As mentioned above, Florida considers the service class to be lower in terms of incomes, prestige, and impact on society.

By attributing managers, lawyers, doctors, businessmen and financiers to the service class, this would greatly enlarge and the creative class would decline. Although the size of the class does not directly influence its impact on society, the statement about the great impact of the creative class not only on government decisions, but also on the society as a whole, becomes questionable.

Conclusions

The creative sector plays an important role both in the development of culture and in the development of the national economy. Its lists show the attention of the state or the scholars to developing the economy and culture in general. Comparison of different lists shows not only the condition of creative sector after culture interflows with the economy in a mediated post-industrial society, but also the trends of social development. The concept of creative class implies problems both in the identity and boundaries of this class and in the impact in a democratic society although it is not the most abundant class. The division of the creative class into subgroups does not solve the mentioned problems since any division is dangerous to the integrity of the social entity. Although the creative class is the core of creative sector, its uncertainty stems from its nature while creativity transfuses every activity.

References

1. Adomaitytė, G., Žilinskaitė, V., Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ž., Valantinaitė, I. & Navickienė, V. (2018) Shift of creativity concepts: From mysticism to modern approach. *Filosofija Sociologija*. 29(3). pp. 203–210. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i3.3777
2. Florida, R.L. (2002) *The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. New York: Basic Books.
3. Landry, C. (2000) *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. London: Earthscan Publications.
4. Lange, B. & Schuessler, E. (2018) Unpacking the middleground of creative cities: Spatiotemporal dynamics in the configuration of the Berlin design field. *Regional Studies*. 52(11). pp. 1548–1558. DOI: 10.1080/00343404.2017.1413239
5. Gwiazdziński, E., Kaczorowska-Spychalska, D. & Moreira Pinto, L. (2020) Is it a smart city a creative place? *Creativity Studies*. 13(2). pp. 460–476. DOI: 10.3846/cs.2020.12190
6. Ulger, K. (2020) A review of the criteria of the prediction of students' creative skills in the visual arts education. *Creativity Studies*. 13(2). pp. 510–531. DOI: 10.3846/cs.2020.11860
7. Safina, A., Gaynullina, L. & Cherepanova, E. (2020) A work of art in the space of network culture: creativity as bricolage. *Creativity Studies*. 13(2). pp. 257–269. DOI: 10.3846/cs.2020.12264
8. Szostak, M. & Sułkowski, L. (2020) Manager as an artist: creative endeavour in crossing the borders of art and organizational discourse. *Creativity Studies*. 13(2). pp. 351–368. DOI: 10.3846/cs.2020.11373

9. Caves, R. (2002). *Creative industries: Contracts between arts and commerce*. Cambridge: Harvard University Press.
10. Danko, L., Bednář, P. & Matošková, J. (2017) Managers' activities within cultural and creative clusters: an essential element for cluster development in the Visegrád countries. *Creativity Studies*. 10(1). pp. 26–42. DOI: 10.3846/23450479.2016.1266049
11. Formánek, I. & Krajčík, V. (2017) Identification of creative and innovative companies / Kūrybiškų ir inovatyvių bendrovių identifikavimas. *Creativity Studies*. 10(2). pp. 111–121. DOI: 10.3846/23450479.2017.1344735
12. Saeidi, S.P., Othman, M.S.H., Štreimikienė, D., Saeidi, S.P., Mardani, A. & Stasiulis, N. (2018) The Utilitarian Aspect of the Philosophy of Ecology: The Case of Corporate Social Responsibility. *Filosofija. Sociologija*. 29(1). pp. 39–51. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i1.3630
13. Zhu, H., Chen, K. & Lian, Y. (2018) Do temporary creative clusters promote innovation in an emerging economy? – A case study of the Beijing design week. *Sustainability*. 10(3). Article No 767. DOI: 10.3390/su10030767
14. Coll-Serrano, V., Abeledo-Sanchis, R. & Rausell-Koster, P. (2018) Design of an interactive self-assessment platform for the integration of cultural and creative sectors in regional development strategies: CreativeMed Toolkit. *Profesional de la Information*. 27(2). pp. 395–401.
15. Townsend, L., Wallace, C., Fairhurst, G. & Anderson, A. (2017) Broadband and the creative industries in rural Scotland. *Journal of Rural Studies*. 54. pp. 451–458. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.09.001
16. Dias-Sardinha, I., Ross, D. & Gomes, A.C. (2018) The clustering conditions for managing creative tourism destinations: The Alqueva region case, Portugal. *Journal of Environmental Planning and Management*. 61(4). pp. 635–655. DOI: 10.1080/09640568.2017.1327846
17. Lee, H.-K. (2017) The political economy of “creative industries”. *Media Culture & Society*. 39(7). pp. 1078–1088. DOI: 10.1177/0163443717692739
18. Hennekam, S. & Bennett, D. (2017) Sexual harassment in the creative industries: Tolerance, culture and the need for change. *Gender Work and Organization*. 24(4). pp. 417–434. DOI: 10.1111/gwao.12176
19. Yasmin, M. & Sohail, A. (2018) A creative alliance between learner autonomy and English language learning: Pakistani university teachers' beliefs. *Creativity Studies*. 11(1). pp. 1–9. DOI: 10.3846/23450479.2017.1406874
20. Yasmin, M., Sohail, A., Sarkar, M. & Hafeez, R. (2017) Creative methods in transforming education using human resources. *Creativity Studies*. 10(2). pp. 145–158. DOI: 10.3846/23450479.2017.1365778
21. Grincevičienė, V., Barevičiūtė, J., Asakavičiūtė, V. & Targamadžė, V. (2019) Equal Opportunities and Dignity as Values in the Perspective of I. Kant's Deontological Ethics: The Case of Inclusive Education. *Filosofija. Sociologija*. 30(1). pp. 80–88. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3919
22. Trakšėlys, K. & Martišauskienė, D. (2019) Social stratifications in applications in education institutions: Lithuanian case. *Filosofija. Sociologija*. 30(4). pp. 272–276. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i4.4152
23. Ulger, K. (2020) A review of the criteria of the prediction of students' creative skills in the visual arts education. *Creativity Studies*. 13(2). pp. 510–531. DOI: 10.3846/cs.2020.11860
24. Pečiulis, Ž. (2020) TV media uin the Soviet system: The collision of modernity and restrictions. *Filosofija. Sociologija*. 31(1). pp. 34–42. DOI: 10.6001/fil-soc.v31i1.4176
25. Kalpokas, I., Sabaliauskaitė, E. & Pegushina, V. (2020) Creating students' algorithmic selves: shedding light on social media's representational affordances. *Creativity Studies*. 13. pp. 292–307. DOI: 10.3846/cs.2020.10803
26. Dadelo, S. (2020) The analysis of sports and their communication in the context of creative industries. *Creativity Studies*. 13(2). pp. 246–256. DOI: 10.3846/cs.2020.12206
27. Howkins, J. (2013) *The creative economy*. London: Penguin.
28. Marx, K. (1977) *Capital: a critique of political economy*. Vol. 1. Translated by B. Fowkes. New York: Vintage Books.
29. Batabyal, A.A. & Yoo, S.J. (2018) Schumpeterian creative class competition, innovation policy, and regional economic growth. *International Review of Economics & Finance*. 55. pp. 86–97. DOI: 10.1016/j.iref.2018.01.016
30. Kananovich, V. & Durham, F.D. (2018) Reproducing the imprint of power: Framing the “creative class” in Putin's Russia. *International Journal of Communication*. 12. pp. 1087–1113. DOI: 10.1080/09668130701655135

31. Ostbye, S., Moilanen, M., Tervo, H. & Westerlund, O. (2017) The creative class: Do jobs follow people or do people follow jobs? *Regional Studies*. 52. pp. 745–755. DOI: 10.1080/00343404.2013.770140

32. DCMS. (2016) *Creative Industries Statistical Estimates Statistical Bulletin*. London: Department of Culture, Media and Sport.

33. DCMS. (2011) *Creative Industries Statistical Estimates Statistical Bulletin*. London: Department of Culture, Media and Sport.

Tomas Kacerauskas, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).

E-mail: tomas.kacerauskas@vgtu.lt

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 33–42.

DOI: 10.17223/1998863X/57/4

THE CREATIVE SECTOR AND CLASS OF SOCIETY

Keywords: creative sector; creative class; creative society; creative workers; creative environment; governmental list of CS; creative activity; creative lifestyle.

Creative sector consists of such areas as advertising, architecture, art, crafts, design, fashion, films, music, publishing, software, toys, television etc. The creative areas are described and grouped in different lists suggested both by government and by scholars. The workers in creative sector formate the creative class although the latter is a broader concept. Creative class covers economic and creative aspects. Here, we face the problems of definition and of demarcation. Scholars (R. Florida) identify the following features of the creative class: individuality, meritocracy, diversity and openness. Creative class can be defined only by comparing it with a less creative class but is hardly possible in the context of creative society.

УДК 37.012.1

DOI: 10.17223/1998863X/57/5

П.П. Глухов

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ¹

Вводятся понятия дидактики «закрытого» и «открытого» образования, описываются их социокультурные параметры и соответствующие им антропологические проекты. Обосновывается роль дидактики как объективированной логики образовательной деятельности. Описываются категории дидактики открытого образования как социокультурные феномены, обеспечивающие становление взрослого человека.

Ключевые слова: антропологический проект, открытое образование, дидактика, образовательная логика, социокультурное конструирование, социокультурный объект, воспроизводство, конструирование, естественно-искусственные системы.

Введение

Любая образовательная система в одно и то же время представляет собой общественный институт, социокультурную структуру искусственно-естественного характера и гуманитарную технологию. В «связке» они выполняют функцию воспроизводства и / или развития культурных способов деятельности людей. С общих позиций перед любой системой образования встает два взаимосвязанных фундаментальных вопроса: Какую культуру (или ее элементы) необходимо дальше воспроизводить и развивать? И какой человек нужен культуре? В зависимости от ответов на данные вопросы складывается дидактика – объективированная логика образовательной системы, интегрирующая ее главные компоненты. Можно утверждать, что за каждой образовательной системой (или эпохами, которые проходят образовательные системы) стоит то или иное представление о человеке как результате работы системы, его характеристиках, компетенциях, знаниях, которыми он должен обладать благодаря воздействиям образовательной практики. Комплекс таких представлений оформляется в антропологический проект, который реализует образовательная система и который, как правило фиксируется описанием образовательных результатов. Сегодня происходит активная трансформация антропологического проекта. Мировое сообщество систематически фиксирует, что современные вызовы диктуют нам новые требования к человеку, к тому, что он должен уметь и знать, какими мыслительными способностями должен обладать. Например, одним из наиболее обсуждаемых сегодня образовательных результатов является функциональная грамотность, которая оценивается в рамках международной исследовательской программы PISA. С 2018 г. структура функциональной грамотности включает в себя такой компонент как «глобальная компетентность» [1]. Данный образовательный результат предполагает, что учащиеся владеют содержанием глобальных и местных проблем, способны работать с разными точками зрения на данные

¹ Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС при Президенте РФ.

проблемы и готовы к межкультурному взаимодействию. Но насколько возможно достигнуть подобных результатов средствами традиционной системы обучения? Достижение новых образовательных результатов связывается с внедрением новых форматов, методик и приемов обучения, основанных на ценности активного действия ученика. Однако если мы обсуждаем принципиально новый антропологический проект, выстроенный по нетрадиционным антропологическим основаниям, то, возможно, необходимо принципиально пересматривать всю логику (дидактику) обучения, которая на основании своих принципов и целей объемлет и связывает между собой такие важные для образования категории, как форма, метод, процесс, содержание и результат образования.

Традиционный взгляд на построение дидактики строится на представлениях о том, какие единицы специально оформленного культурного материала необходимо освоить человеку для успешного вхождения в культуру [2]. Классическая дидактика основывается на пронизывающем принципе подчинения человека оформленной культурной норме в широком смысле слова. Такую логику мы будем далее называть дидактикой «закрытого» образования, так как она стремится к тому, чтобы подчинить человека универсализированным нормам.

Обратную логику, которая выстраивает образовательный процесс исходя из норм и интенций человека, мы будем называть дидактикой «открытого» образования. Открытое образование как социокультурный конструкт принципиально отличается от иных типов образовательной деятельности. Оно максимально вовлекает ученика в процессы «взрослой» деятельности, от которых ранее образование было жестко обособлено. Оно меняет функцию специалиста: от трансляции нормативного материала к организации самостоятельной деятельности ученика, что всегда особым образом подчеркивается при описании современных образовательных результатов. Оно предполагает не воспроизводство культурных образцов, а процесс культурного конструирования, направленного на выход за пределы этих образцов.

Перед нами встает два ключевых вопроса:

1. По каким параметрам различаются дидактики «открытого» и «закрытого» образования?
2. Какое содержание может стоять за категориями новой логики образовательной системы, направленной на реализацию неклассического антропологического проекта?

Различение «закрытого» и «открытого» образования

Уже в начале своего исторического становления образование было многоаспектным феноменом, предполагавшим как освоение взрослеющим человеком частных прикладных знаний, так и, в гораздо большей степени, конструирование определенного типа мышления, а также само-образа в сакрализованной картине мира. Этот принцип «преломился» в классической образовательной модели Я.А. Коменского, которая формально давала конкретные знания, но притом по своей системообразующей функции обеспечивала освоение всеобщей мудрости («пансофии»), а по фактической реализации – помещала взрослеющего человека в «должную» онтологию [Там же]. В связи с данной социокультурной функцией С.И. Гессен описал образование

как «практическую философию», обозначающую «правила или нормы нашей деятельности», на основе фундаментальных онтологических и эмпирических представлений [3. С. 10].

Образовательная деятельность сочетает в себе «точечное» преобразующее действие педагога с построением специального пространства как микро-модели мира, где взрослеющий человек может формировать способы деятельности и паттерны поведения, комплементарные этому миру. А с функциональной точки зрения образование *одновременно* обеспечивает освоение актуальных видов и логики деятельности и воспроизводство / конструирование соответствующих им антропотипов.

Многоаспектная «гетерогенность» системы образования была зафиксирована философской мыслью начиная с XVIII в. Так, И. Кант различал в образовательной деятельности дисциплинирование мышления (работу с когнитивной сферой), формирование широкого умственного кругозора (функциональной онтологии взрослеющего человека), повышение уровня цивилизованности (работу со способами продуктивной и коммуникативной деятельности), «воспитание нравственности» (работу с основаниями для решений). Базовые принципы онтологии и гносеологии И. Канта задавали заведомо гетерогенный характер освоения человеком мира: присутствовало несколько типов мышления как способов освоения мира человеком; рациональная непознаваемость внутреннего устройства вещей в сочетании с познаваемостью их частных проявлений предполагала заведомо гетерогенный характер освоения человеком представлений о действительности [4].

Дифференцированный подход к осмыслению образования как социокультурного феномена воспроизвели другие ведущие представители немецкой классической философии: И.-Г. Фихте и Г.Ф.В. Гегель. В работе «Основы общего наукоучения» Фихте разделяет освоение знаний на два блока – освоение частных представлений о действительности и методах действия в ней (освоение пространства «не-Я») и практическую часть, связанную со способностью иметь собственный интерес («желание») и реализовывать его в процессе деятельности (становление «Я» как субъекта) [5]. Гегель, казалось бы, «снял» дифференциацию образовательной деятельности, введя единое понятие «Bildung» как «становление» человека. Но сам процесс такого «становления» он рассматривал как сочетание трех базовых компонент: а) освоения внешних по отношению к человеку факторов окружающего мира; б) становления внутренней структуры личности; в) становления способности к активной внешне-преобразующей деятельности [6].

Карл Маркс, опираясь на методологию Гегеля, поставил вопрос о конкретных формах, в которых происходит гегелевский «Bildung». Ряд его работ указывает на то, что «Bildung» происходит в основном в редуцированных / «превращенных» формах, обусловленных социальным положением людей и заведомой подменой *результата* деятельности, обращающегося в новые *возможности и целеполагания* ее субъекта, отчужденным *продуктом*, воплощающем в себе частные компетенции этого субъекта [7, 8]. Представление об отчуждении сущностных сил человека в процессе производства культурных продуктов и о возможности снятия отчуждения в процессе освоения этих продуктов позволило задать деятельностные основания для умозрительных представлений И.Г. Фихте и Г.Ф.В. Гегеля о становлении субъекта в процессе

освоения частных объектов окружающей действительности и задать направления для строго научных изысканий.

Эти изыскания были проведены уже в XX в. Л.С. Выготским [9] и его последователями. Они показали, что специально организованное освоение знаний влечет за собой развитие ключевых установок и способностей личности, становление определенного типа мышления. Другая научно-философская школа XX в., условно называемая «постструктуралистской» (М. Фуко, П. Бурдьё и др. [10, 11]), выделила еще один фактор социокультурной «гетерогенности» образования: самостоятельную роль системы отношений учеников с наставниками, а также самостоятельную роль знаково-символического пространства образовательного процесса.

В совокупности разработки XX в. показали следующее:

а) гетерогенность образования состоит не в одновременном совершении нескольких разнородных действий, а в реализации разнонаправленных процессов в рамках целостного действия субъекта;

б) «естественно-искусственный» образовательный процесс предполагает, что ряд искусственных структур должен приобрести «естественный» характер и начать задавать нормы и образцы уже вне сознательной воли управляющего субъекта.

Как уже говорилось, *логикой разворачивания и сопряжения* всех необходимых компонент образования, является *дидактика*.

Фактически все существующие типы дидактики можно свести к двум: «закрытому» и «открытому». То, какая разновидность дидактики – открытая или закрытая – соответствует данной конкретной образовательной практике, определяется следующими параметрами этой практики:

– статус действий ученика относительно культурных норм: воспроизводство или конструирование;

– характер и статус базового действия ученика в рамках образовательного процесса: *естественное* действие в стихийно сложившемся пространстве и *искусственное* действие в специально сконструированном пространстве (подробно категории «искусственных» и «естественных» систем человеческой деятельности описал О.И. Генисаретский [12]).

Совмещение этих критериев задает матрицу типов образовательных практик [13, 14] (рис. 1).

	Естественный характер образования	Искусственный характер образования
Воспроизводство	Педагогика отражения. Содержание образования: образец (как правило реализации деятельности)	Педагогика освоения. Содержание образования: закон (как норма существования деятельности)
Конструирование	Педагогика оспособления. Содержание образования: предмет (как способ организации деятельности)	Педагогика самоопределения. Содержание образования: социокультурный объект (как онтологические основания деятельности)

Рис. 1. Матрица типов образовательных практик

Педагогика отражения лежит в основе практически любой практики ученичества у мастера своего дела, происходящего как оформление и присвоение его выигрышных способов действия.

Педагогика освоения обеспечивает становление у взрослеющего человека нормативно заданных представлений о действительности и культурных способов деятельности в ее рамках.

Педагогика оспособления предполагает решение деятельностных задач в сочетании с рефлексивными процедурами и за счет этого освоение основных способов и базовых инструментов деятельности как *частных* персональных характеристик.

Педагогика самоопределения предполагает создание для ученика ситуаций, в которых он совершает системное целеполагание и формирует соответствующую программу деятельности.

Данная матрица позволяет определить, какому типу образовательной практики соответствует «закрытое» или «открытое» образование. С одной стороны, любая «естественность» в становлении человека является фактором «закрытости»: частный случай не может охватить всего многообразия явлений, способных лечь в основу самоопределения. С другой стороны, в рамках процесса воспроизводства человек должен соответствовать внешне заданным нормам, а не собственным целям и ценностям.

Следовательно, к открытому образованию можно отнести лишь педагогику самоопределения, поскольку именно она предполагает конструирование учеником собственного образовательного движения и специально конструируется для ученика как исчерпывающе воспроизводящее окружающую действительность.

Оба типа образования опираются на особые «*антропологические проекты*». Они представляют собой синтез философских и педагогических знаний / методов, задающих одновременно ключевые характеристики будущего человека и «порождающий» их тип деятельности.

Антропологический проект «закрытого образования» предполагает становление человека как «агента» некоей заведомо внешней по отношению к нему деятельности. В рамках педагогик «отражения» и «освоения» предполагалось, что он должен освоить внешне заданную норму. В рамках педагогики «оспособления» речь идет о проработке учениками состоявшихся ситуаций успеха или о решении открытых, но частных задач, а значит, о приведении себя в соответствие если не *норме деятельности*, то *нормативному результату* этой деятельности.

Исходно антропологический проект «закрытого образования» появился в связи с преобразованием традиционного общества в индустриальное, с переходом людей от реализации канона к выполнению производственной и / или социальной функции. Он предполагал потерю людьми свободы в принятии ситуативных решений, но, с другой стороны, делал их соучастниками и нередко бенефициарами крупного проекта. Однако к настоящему времени он все в большей степени предполагает становление конформных членов общества, не готовых конкурировать за управляющие позиции, но и не готовых участвовать в процессах развития. Классическим образом это описал известный теолог и организатор образования в Латинской Америке второй половины XX в. И. Иллич [15].

Антропологический проект «открытого образования» предполагает становление человека, который заведомо сам конструирует систему отношений и деятельности, реализующих его интересы (пользуясь понятиями

немецкой классической философии и К. Маркса – его императив, его «Я», его сущностные силы). Он совершает это в пространстве реализации конкретной социальной позиции. Но сама эта позиция выступает не как конечная цель освоения, а как опора («отправная точка») в реализации собственных намерений. Поэтому в открытом образовании сегодня обретает все большую популярность концепция «образования длиною в жизнь», где не может быть установлена какая-либо конечная и до конца универсализированная цель. Таким образом, сама дидактика открытого образования должна предполагать работу с незавершенными единицами, постоянно достраивая образовательный процесс исходя из многообразия индивидуальных образовательных программ и жизненных стратегий людей.

В основе реализации любого антропологического проекта лежит соответствующий ему тип мышления. «Закрытому образованию» полностью соответствует теоретическое мышление, предполагающее понимание действительности и структурирование ее объектов вокруг объяснительных принципов. В свою очередь, в основе «открытого образования» лежит описанное И. Кантом и И.-Г. Фихте *практическое мышление* как способность человека конструировать и удерживать в практическом действии собственную позицию (функционально-деятельностный образ) по поводу принятия решений и их реализации [16]. Это представление о «ядре» личности как о феномене, который лишь приобретает свою *завершенную форму* в деятельности, но существует еще *до* нее, в научной психологии нашло свое выражение в концепции смысловых образований личности [17].

Вопрос о типе мышления как базовой характеристике антропологического проекта является определяющим для всей логики обучения. Если мы намереваемся формировать иное мышление, то должны воспользоваться или построить иную дидактику. Часто можно столкнуться с попытками достигнуть нового образовательного результата, используя старую логику построения образовательного процесса. Но следует понимать, что, меняя содержание одной категории дидактики, необходимо соответствующим образом изменить и другие. Ключевой категорией дидактики, связанной с образовательным результатом, может являться содержание образования. Для классической дидактики в этом качестве выступают учебные предметы, которые представляют собой комплекс адаптированного систематизированного знания, соответствующего той или иной научной области. Также важно, что знание упорядочено, исходя из принципа «от простого к сложному». Однако открытое образование ставит перед собой задачу преодоления предметно-организованной картины мира. Для неклассической дидактики в качестве содержания образования выступает социокультурный объект, который является ненатуральной, гуманитарно-удерживаемой структурой и целостностью социальной реальности, исторически сконструированной посредством культурных практик. *Социокультурный объект* не может быть «внешне заданным» для развивающегося субъекта, поскольку всегда актуализируется в рамках конкретного отношения (подробно об этом писал Р. Ингарден [18. С. 227–308]). И если при изучении наукообразных предметов главная задача ученика заключается в том, чтобы их последовательно изучить и возможно переоткрыть в ходе учебного процесса, то социокультурный объект ученик реконструирует / конструирует в ходе пробного действия.

Заключение

Ориентируясь на достижение новых образовательных результатов, которые несвойственны традиционным системам образования, необходимо учитывать необходимость менять всю образовательную логику, а не отдельные ее элементы. Современные представления образовательного результата базируются на необходимости формировать у учащихся субъектную позицию как к собственному образовательному процессу, так и к проблемам глобального масштаба. Это формирует потребность перехода образовательных систем от логики «закрытого образования» к логике «открытого образования», вытекающей из представлений о системе образования как о гетерогенной структуре.

Система образования может быть отнесена к «открытым» лишь в том случае, если она основывается: а) на самостоятельной реконструкции учениками предмета своего освоения / апробации; б) на собственных интенциях и запросах учеников относительно предмета такой реконструкции / конструирования.

Литература

1. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris : OECD Publishing, 2019. 308 p. DOI: 10.1787/b25efab8-en.
2. *Лордкипанидзе Д.* Ян Амос Коменский. 2-е изд., испр. М. : Педагогика, 1970. 268 с.
3. *Гессен С.И.* Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. М. : Школа-Пресс, 1995. 448 с.
4. *Кант И.* Основы метафизики нравственности / под общ ред. В.Ф. Асмуса и др. М. : Мысль, 1999. 1472 с. (Классическая философская мысль).
5. *Фихте И.Г.* Сочинения : в 2 т. СПб. : Мифрил, 1993. Т. 1. 688 с.; Т. 2. 798 с.
6. *Гегель Г.Ф.В.* Феноменология духа. М. : Академический проект, 2016. 495 с.
7. *Маркс К.* К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М. : Политиздат, 1956. С. 345–383.
8. *Маркс К.* Капитал : критика политической экономии : пер. с нем. СПб. : Лениздат, 2013. 511 с.
9. *Выготский Л.С.* Психология развития человека. М. : Смысл : Эксмо, 2005. 1136 с.
10. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. : А-сэд, 1994. 408 с.
11. *Бурдье П.* Социология социального пространства. М. : Ин-т эксперим. социологии; СПб. : Алетейя, 2007.
12. *Генисаретский О.И.* «Искусственные» и «естественные» системы // Вопросы методологии. 1995. № 1-2. С. 50–62.
13. *Попов А.А., Ермаков С.В.* Дидактика открытого образования. М. : Национальный книжный центр, 2019. 264 с.
14. *Попов А.А.* Открытое образование: философия и технологии. 3-е изд. М. : URSS, 2016. 256 с.
15. *Иллич И.* Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир = Deschooling society. Proportionality and the contemporary world. М. : Просвещение, 2006. 149 с.
16. *Попов А.А.* Практическое мышление и методологизация современных практик образования // Чтения памяти Г.П. Щедровицкого 2010 года. «Понятие практики и претензии на практичность мышления в Московском методологическом кружке» / под ред. В.Г. Марача. М. : Некоммерческий научный фонд Институт развития им. Г.П. Щедровицкого, 2011. URL: <https://www.fondgp.ru/old/lib/chteniya/xvi/mat/discussion/2.html>
17. *Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Зейгарник Б.В., Петровский В.А., Субботский Е.В., Хараш А.У., Цветкова Л.С.* О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности // Вопросы психологии, 1979. № 4. С. 35–46.
18. *Ингарден Р.* Исследования по эстетике. М. : Изд-во иностр. лит., 1962. 388 с.
19. *Щедровицкий П.Г.* Педагогика свободы // Кентавр. 1993. № 1. С. 18–24.

Pavel P. Glukhov, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: gluhovpav.pav@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 43–51.

DOI: 10.17223/1998863X/57/5

PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF OPEN EDUCATION DIDACTICS

Keywords: anthropological project; open education; didactics; educational didactics; sociocultural construction; sociocultural object; reproduction; construction; natural and artificial systems.

The article was prepared as part of a research under the state assignment to the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. It shows that didactics is a practically realizable logic of educational activity understood as a sociocultural phenomenon. The key object of the description is the didactics of open education as a specialized educational system that corresponds to the modern realities of culture reproduction and development, and at the same time differs in key parameters from the educational systems that existed before. The article deals with the problem of the lack of philosophically grounded ideas about the status of didactics in educational practice as a sociocultural system, about the sociocultural components of didactics that ensure the formation of necessary anthropological results after its application. The article aims to substantiate the multidimensional heterogeneous nature of education as a sociocultural phenomenon and the need for didactics as a tool for integrating its various aspects, and to describe the key categories of open education didactics as sociocultural constructs. The research involved: (a) analysis of the evolution of philosophical ideas about education as a heterogeneous sociocultural phenomenon; (b) classification of types of didactics; (c) identification of the key components of each of these types, the structural relation of the components to each other. The basic research methods were: content and genetic analysis of sociocultural phenomena; structure-and-content comparison of explanatory philosophical models with complexes of empirical facts; content analysis of materials for the implementation of specific practices. During the research, the author: (a) reconstructed the evolution of conceptual and philosophical ideas about the heterogeneous nature of education; b) made a classification of the types of pedagogy as a sociocultural phenomenon: pedagogy of model, pedagogy of law, pedagogy of subject, pedagogy of self-determination; (c) identified two main types of didactics corresponding to the types of pedagogy: didactics of closed education and didactics of open education; (d) determined anthropological projects corresponding to each type of didactics (the project of man as an agent of activities obviously external in relation to them for didactics of closed education; the project of evolution of man that constructs their relations and activities independently for didactics of open education); identified the types of thinking that underlie these projects: theoretical thinking as the basis for didactics of closed education, practical thinking as the basis for didactics of open education.

References

1. PISA. (2019) *Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/b25efab8-en
2. Lordkipanidze, D. (1970) *Yan Amos Komenskiy* [Jan Amos Comenius]. 2nd ed. Moscow: Pedagogika.
3. Gessen, S.I. (1995) *Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnyuyu filosofiyu* [Fundamentals of Pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Shkola-Press.
4. Kant, I. (1999) *Osnovy metafiziki* [Foundations of the Metaphysics]. Translated from German. Moscow: Mysl'.
5. Fichte, I.G. (1993) *Sochineniya v 2 tomakh* [Works in 2 vols]. Translated from German. St. Petersburg: Mifril.
6. Hegel, G.F.V. (2016) *Fenomenologiya dukha* [The Phenomenology of Spirit]. Translated from German. Moscow: Akademicheskii proekt.
7. Marx, K. (1956) *K kritike gegelevskoy filosofii prava* [Critique of Hegel's Philosophy of Right]. In: Marx, K. & Engels, F. *Iz rannikh proizvedeniy* [From Early Works]. Translated from German. Moscow: Politizdat. pp. 345–383.
8. Marx, K. (2013) *Kritika politicheskoy ekonomii* [Critique of Political Economy]. Translated from German. St. Petersburg: Lenizdat.
9. Vygotsky, L.S. (2005) *Psikhologiya razvitiya cheloveka* [Psychology of human development]. Moscow: Smysl: Eksmo.
10. Foucault, M. (1994) *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and Things. Archeology of the Humanities]. Translated from French by V.P. Vizgin, N.S. Avtonomova. St. Petersburg: A-cad.

11. Bourdieu, P. (2007) *Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aletyya.
12. Genisaretsky, O.I. (1995) "Iskusstvennye" i "estestvennye" sistemy ["Artificial" and "natural" systems]. *Voprosy metodologii*. 1–2. pp. 50–62.
13. Popov, A.A. & Ermakov, S.V. (2019) *Didaktika otkrytogo obrazovaniya* [Didactics of Open Education]. Moscow: Natsional'nyy knizhnyy tsentr.
14. Popov, A.A. (2016) *Otkrytoe obrazovanie: filosofiya i tekhnologii* [Open Education: Philosophy and Technology]. 3rd ed. Moscow: URSS.
15. Illich, I. (2006) *Osvobozhdenie ot shkol. Proportsional'nost' i sovremennyy mir* [Deschooling Society. Proportionality and the Contemporary World]. Moscow: Prosveshchenie.
16. Popov, A.A. (2011) Prakticheskoe myshlenie i metodologizatsiya sovremennykh praktik obrazovaniya [Practical thinking and methodologization of modern educational practices]. In: March, V.G. (ed.) *Chteniya pamyati G.P. Shchedrovitskogo 2010 goda. Ponyatie praktiki i pretenzii na praktichnost' myshleniya v Moskovskom metodologicheskom krughe* [Readings in memory of G.P. Shchedrovitsky – 2010. The concept of practice and claims to the practicality of thinking in the Moscow methodological circle]. Moscow: NonProfit Scientific Foundation "Institute for Development named after G.P. Shchedrovitsky".
17. Asmolov, A.G., Bratus, B.S., Zeygarnik, B.V., Petrovsky, V.A., Subbotsky, E.V., Kharash, A.U. & Tsvetkova, L.S. (1979) O nekotorykh perspektivakh issledovaniya smyslovykh obrazovaniy lichnosti [On some perspectives of research of semantic formations of personality]. *Voprosy psikhologii*. 4. pp. 35–46.
18. Ingarden, R. (1962) *Issledovaniya po estetike* [Studies in Aesthetics]. Translated from German by A. Ermolov, B. Federov. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.
19. Shchedrovitsky, P.G. (1993) *Pedagogika svobody* [Pedagogy of Freedom]. *Kentavr*. 1. pp. 18–24.

УДК 141.3:316

DOI: 10.17223/1998863X/57/6

Р.А. Заякина

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В СЕТЕВОМ ПОДХОДЕ

Рассматривается вопрос соотношения онтологических и эпистемологических позиций, сложившихся внутри сетевого подхода. Исследуются пути решения ключевых вопросов, актуализированных различными направлениями сетевого подхода, с помощью выстраивания конструкта «социальная сеть». Доказывается необходимость привлечения социального конструирования для всестороннего изучения социальных сетей, а также определяются некоторые погрешности, допускаемые при их конструировании.

Ключевые слова: *сетевой подход, социальная сеть, социальный конструкт.*

Введение

Активно развивающийся в социологии и сопряженных с ней областях научного знания сетевой подход представляет собой устойчивый тренд, возникший в прошлом веке и любопытный, кроме прочего, своей масштабностью. Являясь зонтичным термином, сетевой подход включает в себя относительно автономные направления. Так, становление анализа социальных сетей прослеживается от социометрии, через деятельность Массачусетской лаборатории групповых сетей, теорию «маленького мира» и антропологические изыскания к бурному развитию с 1970-х гг., прежде всего, в недрах Гарвардской школы. Теоретический каркас реляционной социологии оформляется в 1990-е гг. в Нью-Йорке, вырастая, во-первых, из критических замечаний в адрес анализа социальных сетей, связанных с излишним увлечением структуризмом в ущерб более широкому видению общего смыслового контекста, а во-вторых, из известного «культурного поворота», произошедшего в социальных науках и породившего попытки привлечь внимание к «встроенности» людей в трансформирующиеся надличностные отношения. Основываясь на достижениях семиотики, в недрах социологии науки и техники на рубеже 1970–1980-х гг. оформляется также акторно-сетевая теория, «обнуляющая» онтологический статус действующих акторов, демонстрирующая ранее неизвестный взгляд на социальное мироустройство и порождающая уникальный аналитический инструментарий. Кроме указанных направлений сетевого подхода параллельно развиваются теории информационного и сетевого общества, мобильности, коммуникации и новых медиа, нетократии и киберпространства, для которых понятие сети также играет ключевую роль.

Между тем широкая практика использования концепта социальной сети в качестве плодотворной научной метафоры, нежели строгой научной дефиниции, приводит к смысловому разнобию в сетевой терминологии. Такая непоследовательность наблюдается не только между направлениями сетевого подхода, но порой и внутри них, затрудняя достижение научной согласованности и идейного взаимообогащения. Исходя из этого, необходимо соотнести использование сетевого инструментария как средства постижения мира и

конструирования социальной реальности с попытками исследовать сети как социальные феномены, определить их онтологический статус и способ существования.

Центральные вопросы сетевого подхода

Сетевой взгляд на социальные феномены направлен на решение ряда основных социально-философских проблем, связанных с ролью и значением действующего социального субъекта, соотношением его целей и используемых для их достижения средств, свободой воли во взаимодействиях человека и общества, формами совместной деятельности людей и влиянием на их выбор окружающих вещей, культуры и механизмов направленного управления. Выявляя теоретический фундамент общественной статистики, динамики и социального порядка, пытаясь найти предельные основания сущности и существования социальной реальности, в конечном счете сетевой дискурс актуализирует дилемму о природе социального знания. Если учитывать неоднородность как базальных теоретических оснований, так и методологического фундамента ключевых направлений сетевого подхода [1. С. 6–11], вычленив и сформулировать центральный вопрос, на решение которого направлена в границах «сетевой рефлексии» современная мысль, довольно проблематично. Однако решение этой задачи необходимо если не в масштабах всеобщей исследовательской договоренности, то хотя бы в рамках каждого конкретного исследовательского случая.

В интерпретации анализа социальных сетей упрощенная постановка искомого вопроса может звучать так: «Каким образом люди объединяются, чтобы сделать то, чего они не могут сделать поодиночке?» [2. С. 7] и «Почему это работает?» [3. Р. 340]. В поиске ответов анализ социальных сетей фиксирует сеть как соединение акторов [4. Р. 198], т.е. в самом примитивном виде – совокупность точек, связанных линиями [3. Р. 1], и видит свою задачу в построении модели таких соединений для дальнейшего изучения структуры сети [5. Р. 10].

Реляционная социология сосредоточивается вокруг вариаций вопроса: «Что другие имеют в виду, когда они действуют или говорят?» [6. Р. 140]. Или, широко интерпретируя классический вопрос: как культурные и политические дискурсы влияют на социальные отношения?¹ [7. Р. 1430]. Для нахождения ответов на авансцену выводятся социокультурные изменения, разворачивающиеся в динамике надличностных отношений. Именно процессы транзакции наделяются главенством и становятся единицами анализа, любые же дискретные социальные единицы, будь то индивиды, сообщества или институты, обесцениваются и отвергаются [8. Р. 287]. Социальное упорядочение в реляционном ключе предстает через поиск идентичностями социальной опоры, порождающей смысл социальной активности и дающей контроль над окружающим хаосом [9].

Основатели и адепты акторно-сетевой теории согласятся с постановкой серии вопросов примерно в такой последовательности: «Как мы можем знать, из чего состоит социальный мир?» [10. С. 65], «Как мы можем узнать о не-

¹ Подразумевается вопрос, поставленный М. Эмирбайером и Дж. Гудвином: «What role did political ideologies and cultural discourses play in sustaining or even expanding relations of solidarity?»

определенном или несвязном?» [11. С. 38], «Кто еще действует, когда действуем мы?» [10. С. 64] и «Что заставляет всех одновременно делать одно и то же?» [Там же. С. 66]. Ответ предполагает понимание обмена свойствами любых по своей природе участников социального действия – полноценных посредников, разделяющих «производство» и «манипуляцию» им [12. С. 189] и не подразумевает сеть как относительно статичную модель коннектов или комплекс intersубъективных смыслов.

Конструирование как способ нахождения ответов на поставленные вопросы

В поиске оптимального инструментария, способного разрешить очерченный круг вопросов, необходимо задать еще один: какова природа социальных сетей? Вопрос не праздный, ведь сам концепт «социальная сеть» представляется реально существующим потому, что в процессе его конструирования исследователи символически «договорились» считать его таковым [13. С. 25–26]. Безусловно, он необходим, так как служит своего рода мостом между эмпирическим и теоретическим «берегами», связывая всю матрицу сетевого подхода воедино. С этой точки зрения сетевой взгляд на социальное – это эпистемологическая позиция, которая, как и любая познавательная линза, позволяет находить тот научный аппарат, который наиболее пригоден для конкретно заданного направления исследований.

Не стоит замалчивать, что некоторые сомнения и скепсис, окружающие социальное конструирование, в частности в области исследования сетей, имеют под собой весомые основания. Связаны они с известной дискуссией, смысл которой точно передан Латуром: «Сконструированная реальность – это конструкция или реальность?» [14. С. 377]. Социальные сети, обладающие онтологическим статусом и являющиеся полноправными объектами социальной реальности, не могут в полной мере претендовать на роль референта, с которым соотносятся производимые знания. Прежде всего потому, что выстраиваемый в каждом исследовательском случае теоретический конструкт социальной сети много шире и, помимо не отрицаемой опоры на реальные примеры, формируется за счет допущений, посредством «достраивания» ненаблюдаемых процессов, связей и предполагаемых свойств конструируемого объекта. В конечном счете «можно со всей определенностью представить себе конструирование фактов способами, возможно, отражающими некоторые наши интуиции относительно данной проблемы и не ведущими к онтологическому коллапсу» [15. С. 79]. Иными словами, социальные сети – это объекты такого рода, вычленив которые можно только сквозь призму рациональных операций исследователя, основанных на следовании определенным правилам их «распознавания» и практике их изучения [13. С. 25]. Исходя из изложенного, конструирование социальной сети есть мыслительная операция, направленная на формирование абстрактного объекта [16. С. 104–105]. Сеть же представляет собой сконструированный абстрактный объект хотя бы потому, что она есть, перефразируя Д. Блура, изобретенная идея понимания социального мироустройства, «которая в итоге прижилась» [17. С. 106].

Согласимся с Латуром, что в создании конструкции «социальная сеть» следует признать преемственность идей структурализма в смысле «изучения производства значений» и востребованность некоторого структуралистского

инструментария, который «может помочь в понимании конструирования сущностей» [18. С. 183]. Отметим, что тщательная проработка «историй» упорядочения действий и метода «собираания» сетей акторно-сетевой теории, так же как и методология других направлений сетевого подхода, несмотря на различия онтологических позиций и принципиальные методологические расхождения, вполне укладываются в понимание, выражаясь языком Латура, «возведения строений» социальных сетей. Так или иначе, смысловое наполнение теоретических понятий определяется контекстом самой теории, следовательно, конструкции анализа социальных сетей, реляционной социологии и акторно-сетевой теории дистанцируются друг от друга, позволяя исследовательским направлениям сохранять автономию и возводить, подобно архитекторам, собственные уникальные «постройки». В конце концов, «пример с архитекторами показывает, что единственная реальная пропасть разделяет хорошую и плохую конструкцию, а не конструкцию и автономную реальность...» [14. С. 376].

Однако множественные примеры работ, в которых исследователи пытаются «снимать фотографии» социальных сетей, чтобы затем анализировать различные измеряемые характеристики, демонстрируют наличие некоторой убежденности в исключительной реальности и абсолютной автономности объекта. Построение таких единичных знаковых моделей может отражать закономерности существования социальной сети, но лишь в узких, редуцированных рамках. Прежде всего потому, что исследователи работают с усеченной частью сетевого конструкта, «вершиной айсберга», и очень многое в силу ряда причин остается «за кадром».

Что остается «за кадром»?

Например, сетевая мобилизация, при которой сеть мыслится в состоянии потенциальной готовности к функционированию при возникновении условий для устойчивого протекания обменных сетевых процессов и возможности зарождения между акторами сетевого информационного взаимодействия. Выстраивая этот этап сетевой динамики, исследователь вынужден опираться на наличие комплекса предикторов, маркирующих предпосылки зарождения сетевых образований, и фактически конструировать протосеть. Другой пример: сетевое объединение, т.е. социальная сеть, состоящая из всех акторов хотя бы еще одной социальной сети. Объединение важно конструировать с различных сетевых позиций: как сеть А и как сеть Б, – так как, включая весь акторный состав обеих сетей, сети А и Б остаются самоценными и автономными в смысле возможности достижения ими различных целей, установления разных типов связей, наделения акторов разной значимостью и т.д. Кроме того, сами связи между акторами с позиций сети А и сети Б строятся по-разному, а значит, иными будут и рисунки потенциально активного сетевого окружения [19. С. 107].

Вообще, зачастую «угол зрения» в сетевых исследованиях задают интерпретация наблюдателем первого порядка смыслов и истинных мотивов сетевых отношений, личная заинтересованность конкретного исследователя в изучении определенного аспекта сетевой жизни. В результаты наблюдений вносятся субъективные смыслы и индивидуальные трактовки, соответствующие прежде всего традициям научной школы, а также особенностям процес-

сов познания сетевого объекта, устроенного таким образом, что наблюдатель не может иметь над ним полного интеллектуального контроля. Это приводит к искажениям прочтений социальной ситуации, на что, например, указывает реляционная социология. Ведь в конечном счете люди, наблюдаемые наблюдателем, являются для него «идентичностями» [9. Р. 5–9], а не существуют в определенной ситуации, при определенных обстоятельствах, сообщающих дополнительные сведения. Исследовательский взгляд не может уловить все полиморфные отношения в сети и учесть множественные дискурсивные интерпретации. С другой стороны, именно «люди и их действия – ущербные строительные блоки для социальной теории, хотя бы потому, что большинство людей, как и большинство их действий, не наблюдаемы...» [20. Р. 16]. Например, упреки в адрес представителей анализа социальных сетей, связанные с экстраполяцией выводов и пролиферацией исследований [21. Р. 333], во многом порождены именно этой причиной. Впрочем, это уже отдельный вопрос соотношения научного этоса с человеческим фактором, актуальный при организации любого научно-познавательного процесса.

Следует учитывать, что при дальнейшем конструировании социальной сети нередко ускользают предыдущие наработки. Наблюдатель второго порядка пытается ответить на вопрос, как то, что наблюдается наблюдателем первого порядка, обособляется от прочего социального окружения, как «устраивается», как «работает». В итоге генерируется ряд теоретических установок, порождающих, в свою очередь, методологические инструменты, задача которых – обнаруживать некоторые фундаментальные свойства и закономерности сетей независимо от ситуационных контекстов, масштабов и природы самих акторов [20. Р. 66–67]. При этом наблюдатель второго порядка сосредотачивается уже исключительно на конструкциях; изолирующая и аналитическая абстракции таких мыслительных операций неизбежно выводят его на уровень отвлечения от изменчивости сетевого объекта, «схватывая» только основные, явные, существенные для дальнейшего анализа свойства. Вследствие этого из аналитического поля могут ускользать пластичность как ключевое свойство сетевых феноменов, уникальные характеристики сложноустроенных сетевых акторов и происходящие с ними метаморфозы, аксиологическая и мировоззренческая общность людей, схожесть будничных фоновых практик, целевая диверсификация и пр. Главным же критерием допустимости того или иного элемента создаваемых наблюдателем второго порядка конструкций остается достаточная теоретическая мотивированность его появления.

Таким образом, чтобы восполнить указанные пробелы сетевых исследований, применение процедур конструирования абстрактного сетевого объекта неизбежно должно предполагать как критику предопределенности сетевого объекта научному познанию, так и пересмотр аксиоматических допущений некоторых его ненаблюдаемых параметров, характеристик и свойств.

Заключение

Примечательно, что, ставя вопрос в такой, явно эпистемологический ракурс, мы неизбежно вторим Д. Блуру, а именно его «постулату симметрии», утверждающему, что объектами социологического исследования должны быть любые идеи «в той мере, в какой их придерживаются коллективно» [17. С. 90]. Именно идеи, и это важно, – объяснению подлежит «не природа, а

разделяемые нами представления о природе. Исследуются особенности и причины знания или того, что считается знанием, а не сами объекты знания» [17. С. 94]. В этом смысле неуместно говорить о каком-то конкретном направлении сетевого подхода, наиболее других согласующемся с реальностью. Да и вообще следует избегать наивного реализма, убежденного в прямом соответствии теоретических терминов объектам мира [Там же. С. 104], поскольку не существует сколь-нибудь убедительных доказательств неоспоримых преимуществ конкретной научной теории, иначе мы и вовсе исчерпали бы потенциал науки. Если же мы стремимся объяснять социальное, делая это посредством выстраивания конструкторов, то подобный способ имеет право на существование не более и не менее других инструментов объяснения.

Здесь уместно остановиться и вспомнить мудрые слова Альберта Эйнштейна, адресованные Николаю Лосскому письмом от 28 июня 1951 г.: «Все понятийное является конструктивным и не выводимо логическим путем из непосредственного переживания. Поэтому мы в принципе совершенно свободны также в выборе тех начальных понятий, на которых мы основываем наше изображение мира. Все зависит только от того, насколько наша конструкция пригодна к тому, чтобы вносить порядок в видимый хаос мира переживаний» [22. С. 86].

Литература

1. Мальцева Д.В. Сетевой подход как феномен социологической теории // Социологические исследования. 2018. № 4. С. 3–14.
2. Кристакис Н., Фаулер Дж. Связанные одной сетью: как на нас влияют люди, которых мы никогда не видели / пер. с англ. Н. Сашиной. М. : Юнайтед Пресс, 2011. 361 с.
3. Newman M.E.J. Networks: an Introduction. New York : Oxford University Press, 2010. 784 p.
4. Ali M.Z., Salhieh A., Snanieh R.T.A., Reynolds R.G. Boosting cultural algorithms with a heterogeneous layered social fabric influence function // Computational and Mathematical Organization Theory. 2012. № 18. P. 193–210.
5. Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. New York : Oxford University Press, 2012. 264 p.
6. White H., Godart F.C., Thiemann M. Turning Points and the Space of Possibles: a Relational Perspective on the Different Forms of Uncertainty // Applying Relational Sociology: Relations, Networks and Society / eds. F. Depelteau, C. Powel. New York : Palgrave Macmillan, 2013. P. 137–154.
7. Emirbayer M., Goodwin J. Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency // American Journal of Sociology. 1994. Vol. 99, № 6. P. 1411–1454.
8. Emirbayer M. Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. № 2. P. 281–317.
9. White H. Identity and control: How Social Formations Emerge. Princeton, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2008. 456 p.
10. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. М. : Изд-во НИУ ВШЭ, 2014. 384 с.
11. Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / пер. с англ. под ред. С. Гавриленко. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 352 с.
12. Латур Б. Об интеробъективности // Социология вещей / под ред. В.С. Вахштайна. М. : Территория будущего, 2006. С. 169–198.
13. Труфанова Е.О. Субъект в мире социальных конструкций // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2018. Т. 1, № 2. С. 24–36.
14. Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей / под ред. В.С. Вахштайна. М. : Территория будущего, 2006. С. 365–389.
15. Дэвидсон Д. Истина и интерпретация / пер. с англ. А.А. Веретенникова, Т.А. Дмитриева, М.А. Дмитриевской и др. М. : Праксис, 2003. 448 с.
16. Степин В.С. Теоретическое знание. М. : Прогресс-Традиция, 2003. 744 с.
17. Блур Д. Анти-Латур // Логос. 2017. Т. 27, № 1. С. 85–134.

18. Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще большими усложнениями // Логос. 2017. Т. 27, № 1. С. 173–200.
19. Заякина Р.А. Синтетическая топология социальных сетей. Новосибирск : НГТУ, 2018. 251 с.
20. Fuchs S. Against Essentialism: A theory of culture and society. Cambridge : Harvard University Press, 2001. 398 p.
21. Mizuchi M.S. Social Network Analysis: Recent Achievements and Current Controversies // Social Networks. 1994. Vol. 37, № 4. P. 329–343.
22. Сердюкова Е.В. Материалы из архивов Н.О. Лосского и А. Эйнштейна: Дискуссия о пространстве и времени (1950-е гг.) // Вопросы философии. 2017. № 1. С. 81–90.

Raisa A. Zayakina, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: raisa_varygina@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 52–59.

DOI: 10.17223/1998863X/57/6

SOCIAL CONSTRUCTING IN THE NETWORK APPROACH

Keywords: network approach; social network; social construct.

This article discusses the role of social constructing as an epistemological position essential for the development of the network approach and for the expansion of network tools. Differences both in the theoretical grounds and in the methodological foundation of the key directions of the network approach are stated. The main questions that are to be answered by the three trends of the network approach: social network analysis, relational sociology, and actor–network theory, are identified. The ontological status of social networks is specified. The continuity and relevance of the network approach to the ideas of structuralism are recognized. The idea is substantiated that finding optimal tools to answer the questions requires a “social network” construct presented as an abstract object. It is argued that researchers’ work with a truncated part of a network construct, aimed at analyzing only the measured characteristics of an object, can produce inaccurate and distorted results. Thus, researchers of social networks often do not take into account unobserved network characteristics: predictors of the proto-network’s potential readiness for objectification, network unification, and errors of first-order observers’ interpretations. In addition, when working with an already made construct, second-order observers may miss such characteristics of social networks as the plasticity of the network structure, the axiological commonality of network actors and the similarity of their everyday background practices, target diversification. The procedures for constructing an abstract network object are designed to fill these gaps and “complete” the theoretical framework, forming a set of ideas about social networks that are consistent with reality. It is stated that, when constructing a social network, it is necessary to avoid the conviction that the social object is autonomous in relation to the cognizing subject and to reconsider the axiomatic assumptions of some unobserved parameters, characteristics, and properties of the object.

References

1. Maltseva, D.V. (2018) Network Approach as a Phenomenon in Sociological Theory. *Sociologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 4. pp. 3–14. (In Russian). DOI: 10.7868/S0132162518040013
2. Christakis, N. & Fowler, J. (2011) *Svyazannye odnoy set'yu: kak na nas vliyayut lyudi, kotorykh my nikogda ne videli* [Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives]. Translated from English by N. Sashina. Moscow: Yunayted Press.
3. Newman, M.E.J. (2010) *Networks: An Introduction*. New York: OUP.
4. Ali, M.Z., Salhie, A., Snanieh, R.T.A. & Reynolds, R.G. (2012) Boosting cultural algorithms with a heterogeneous layered social fabric influence function. *Computational and Mathematical Organization Theory*. 18. pp.193–210. DOI: 10.1007/s10588-012-9116-z
5. Kadushin, Ch. (2012) *Understanding social networks: theories, concepts and findings*. New York: OUP.
6. White, H., Godart, F.C. & Thiemann, M. (2013) Turning Points and the Space of Possibles: A Relational Perspective on the Different Forms of Uncertainty. In: Depelteau, F. & Powel, C. (eds)

Applying Relational Sociology: Relations, Networks and Society. New York: Palgrave Macmillan. pp. 137–154.

7. Emirbayer, M. & Goodwin, J. (1994) Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency. *American Journal of Sociology*. 99(6). pp. 1411–1454. DOI: 10.1086/230450

8. Emirbayer, M. (1997) Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*. 103(2). pp. 281–317. DOI: 10.1086/231209

9. White, H. (2008) *Identity and control: How Social Formations Emerge*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

10. Latour, B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network-Theory]. Translated from English by I. Polonskaya. Moscow: HSE.

11. Law, J. (2015) *Posle metoda: besporyadok i sotsial'naya nauka* [After Method: Mess in Social Science Research]. Translated from English by S. Gavrilenko. Moscow: The Gaidar Institute.

12. Latour, B. (2006a) Ob interob"ektivnosti [On interobjectivity]. In: Vakhshhtayn, V.S. (ed.) *Sotsiologiya veshchey* [Sociology of Things]. Moscow: Territoriya budushchego. pp. 169–198.

13. Trufanova, E.O. (2018) The Subject in the World of Social Constructions. *Tsifrovoy uchenyy: laboratoriya filosafo – The Digital Scholar: Philosopher's Lab*. 1(2). pp. 24–36. (In Russian). DOI: 10.5840/dspl20181214

14. Latour, B. (2006b) Nadezhdy konstruktivizma [The promises of constructivism]. In: Vakhshhtayn, V.S. (ed.) *Sotsiologiya veshchey* [Sociology of Things]. Moscow: Territoriya budushchego. pp. 365–389.

15. Davidson, D. (2003) *Istina i interpretatsiya* [Inquiries into Truth and Interpretation]. Translated from English by A.A. Veretennikov, T.A. Dmitriev, M.A. Dmitrovskaya et al. Moscow: Praxis.

16. Stepin, V.S. (2003) *Teoreticheskoe znanie* [Theoretical Knowledge]. Moscow: Progress-Traditsiya.

17. Bloor, D. (2017) Anti-Latur [Anti-Latour]. *Logos*. 27(1). pp. 85–134. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-1-85-131

18. Latour, B. (2017) On Actor-Network Theory. A Few Clarification, Plus More Than a Few Complications. *Logos*. 27(1). pp. 173–200. (In Russian). DOI: 10.22394/0869-5377-2017-1-173-197

19. Zayakina, R.A. (2018) *Sinteticheskaya topologiya sotsial'nykh setey* [Synthetic Topology of Social Networks]. Novosibirsk: NSTU.

20. Fuchs, S. (2001) *Against Essentialism: A Theory of Culture and Society*. Cambridge: Harvard University Press.

21. Mizuchi, M.S. (1994) Social Network Analysis: Recent Achievements and Current Controversies. *Social Networks*. 37(4). pp. 329–343. DOI: 10.1177/000169939403700403

22. Serdyukova, E.V. (2017) Materials from the archives of N.O. Lossky and A. Einstein: The discussion of space and time (the 1950s). *Voprosy Filosofii – Russian Studies in Philosophy*. 1. pp. 81–90. (In Russian).

УДК 162.5, 162.6
DOI: 10.17223/1998863X/57/7

А.В. Магун, И.Б. Микиртумов, А.А. Пархоменко

НАРРАТИВ И АФФЕКТ В АНАЛИЗЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ¹

Исследуется нарратив внешнеполитической риторики РФ. Анализируются этапы его формирования (с 1994 г.), содержание, сюжетная структура и основание эффективности. Действие рассматриваемого нарратива в настоящее время состоит в реактивном амбивалентном аффекте, подпитывающем постоянную и пассивную возбужденность.

Ключевые слова: политическая риторика, нарратив, аффект, истерия.

В последние 15 лет во всем мире происходит то, что можно назвать *эмоционализацией* внешней политики и, в частности, ее риторики. Эта эмоционализация проявляется в мимике и жестикуляции (слезы, улыбки и т.д.), в интонационно-стилевом строе внешнеполитических речей (обилие восклицаний, прямых обращений к аудитории и риторических вопросов к отсутствующему собеседнику, яркие метафоры и просторечные выражения с позитивной и негативной окраской), а также в косвенных признаках, таких как повторы одного и того же аргумента, муссирование темы различными представителями государства и основными СМИ, политические действия, выглядящие скорее как жесты, нежели как целенаправленные стратегические ходы (например, террор или демонстративные ракетные обстрелы). Вот яркий пример эмоционального риторического стиля Президента РФ Владимира Путина в его Валдайской речи 2014 г.: «Зачем это надо было делать, смысл какой? Это что, цивилизованный способ решения вопросов? Видимо, те, кто без конца ляпают все новые и новые “цветные революции”, считают себя гениальными художниками и никак остановиться не могут» [1].

Довольно обширная уже литература по данному вопросу выделяет различные доминирующие эмоции и объяснения этих эмоций. Преобладает вполне очевидная версия о том, что данная риторика представителей РФ может быть объяснена некоторой коллективной психологией России как персонифицированного актора. Если такую персонификацию можно действительно провести (см.: [2, 3]), то получается, что основным аффектом «России» будет требование признания окружающих и фрустрация из-за отсутствия такого признания. Другими словами, мы имеем дело с аффектом «статуса», или, выражаясь языком Лии Гринфельд [4], с «рессентиментом», т.е. с негативной реакцией, раздраженностью против актора, обладающего, по мнению носителя рессентимента, более высоким статусом, но при этом не приводящей к разрыву с этим актором или к восстанию против него. Гринфельд рассматривает данную эмоцию как базовую для *националистической* идеологии.

¹ Исследование проведено в рамках проекта «Нарративы публичных коммуникация в современной России»: грант НИР за счет средств Санкт-Петербургского государственного университета, HUM 2018–2019, ID: 37602730.

О тревоге и гневe представителей РФ по поводу неподтвержденного статуса этой державы пишут многие авторы, в частности Т. Форсберг, Р. Хеллер [5, 6].

Еще один родственный непризнанию фактор, способствующий эмоциональной интенсивности тревоги и гнева, – это отсутствие ответа на запрос субъекта. Дмитрий Медведев, в частности говорил в 2008 г.: «Часто приходится слышать обращенные к Москве призывы к сдержанности. Сдержанность требуется от всех, чтобы остановить эскалацию по любому вопросу, разорвать порочный круг односторонних действий и реакции на эти действия. Отказаться от попыток форсировать развитие событий и проводить политику уже свершившихся фактов. Для начала неплохо бы просто взять паузу и осмотреться, где мы оказались и во что погружаемся, будь то Косово, расширение НАТО или противоракетная оборона... Предлагаю подумать над идеей и общеевропейского саммита, на котором можно было бы дать старт процессу разработки такого договора» [7].

Эмоционализация, против которой Медведев уже в 2008 г. призывает к «сдержанности», не представляет в целом тайны. В данной статье мы обратимся к частному вопросу о нарративной рамке эмоциональной риторики российской внешней политики и ее эволюции в последние 30 лет.

Как утверждал один из нас в 2016 г. [8], с 1990-х гг. российское общество с точки зрения доминирующего в СМИ аффекта проделало путь от коллективной «меланхолии» к коллективной «истерии», в том смысле что тенденция обращать негативные эмоции на себя в режиме самообвинения и разочарования в идеале (1990-е) сменилась течением 2000-х гг. экстерииоризацией негативности и проекцией ее на отношения с «Большим Другим» (Западом), выступающим одновременно и как идеал, и как соперник. Риторика ламентации (литании) в 1990-х гг. сменяется в 2000–2010-х гг. риторикой обвинения и провокации, направленной на внешних акторов.

Аффект аудитории – один из трех основных компонентов риторического воздействия, описанных еще Аристотелем (*Rhet.* II, 1). Традиционно в риторике под аффектом, или страстью (*pathos*), понимается не сама по себе эмоция (радость, грусть и пр.) и не интенциональная установка (желание, сомнение, убеждение и пр.), но комплекс, в который эмоции и установки входят, но центром которого является пропозициональное содержание. Пропозиция указывает на некоторое положение дел, эмоции отражают субъективный модус реакции на него, а установки разнообразными способами связывают данное положение дел с другими, воображаемыми. Как и у Аристотеля, у Томаса Гоббса [9. С. 83–96] аффекты (за несколькими исключениями) также предстают в качестве социальных конструкторов, которые, во-первых, существуют длительно и независимо от возможных разрешений или реализаций в действиях, во-вторых, сопряжены с тем, что Гоббс называет «*deliberation*» – обсуждение или размышление. Его можно понимать как дискурсивное рациональное обоснование выбора стратегии поведения в ситуации, вызвавшей аффект. Интернализированная субъектом дискурсивная природа аффекта делает его для новой риторики XX в. состоянием, порождающим проекцию реальности по дискурсивным схемам культуры [10. С. 264–268], так что каталог аффектов соответствует каталог заданных картин мира, способов их связывания и форм их переживания. С такого рода конструкторами работают и

некоторые направления современной теории аргументации, для которой компонентами коммуникативной задачи – риторической ситуации [11] – становятся не формализованные выражения языка, но совокупность сопровождающих их эмоциональных и интенциональных установок¹. При таком подходе всякое риторическое взаимодействие есть разрешение когнитивного или коммуникативного аффекта. Это позволяет дифференцировать функции дискурсивных форм, в частности нарратива, который, по-видимому, обладает наибольшей эффективностью при формировании массовых и длительно устойчивых аффектов (см.: [12]), локализуясь в частных схемах аргументации, таких как ссылка на свидетелей, рассуждение по аналогии, от примера и от прецедента [13. Р. 314–316, 344]. Нарратив редко присутствует в политической риторике в чистом виде: он фрагментарен, переплетен с элементами рассуждения и поучения и т.д.

В этой статье мы попытаемся ответить на вопрос о том, какими путями сегодня традиционный, но ослабленный нарратив продолжает воздействовать на коллективные аффекты в политической сфере. Материалом исследования послужит внешнеполитическая риторика российского правительства в период с середины 1990-х гг. до настоящего времени, в которой характеризуются место страны в мире и ее отношения с миром. Мы полагаем, что эта риторика имела форму нарратива, имеющего специфические жанровые и сюжетные черты. Для их описания мы будем использовать *две системы категорий*. Первая из них – это типизация «объяснения посредством построения сюжета» Хейдена Уайта [14. С. 26–29], предложенная им для историографии и включающая трагедию, комедию, роман и сатиру. Трагическое для Уайта соответствует ситуации, когда герой сталкивается с силами, на которые он никак не может повлиять и по отношению к которым у него не может быть ни заслуг, ни провинностей, а исход действия обнаруживает для зрителя пределы доступного для человека². «Романический» же нарратив предполагает активное взаимодействие героя со средой и контрагентами, его выход за предел действительного, конфликт, в котором герой претерпевает внутреннюю трансформацию, развитие и, возможно, одерживает победу, приводя действительность к новому состоянию. Вторая система категорий восходит к исторической поэтике (ср.: [15, 16], но классификация в данном случае наша собственная) и включает сентиментальное, сказочное и мифическое. Так, если героя трагедии лишить активности сопротивления, оставив ему на долю только способность испытывать негативные аффекты (печаль, слезы, скорби), то такой сюжет будет соответствовать либо средневековому жанру «страстей», либо сентиментальному роману XVIII в., где протагонист проходит через серию испытаний и страдает, вызывая сочувствие зрителя или читателя. В мифическом нарративе (восходящем либо к собственно архаическому мифу, либо к ранней мифологической сказке) либо в более позднем жанре «готики» герой противостоит чудовищу и триумфально побеждает его. Сказочный тип повествования тоже происходит из рассказа о героях, борющихся с чудовищами, но при этом несправедливо терпящих от сильных мира сего (например, Геракл или Иван-Дурак). В рассказе же мифическом герой, став

¹ Среди всех подходов к анализу аргументации наиболее определенно эта позиция заявлена в Non-formal logic.

² Ср.: у Аристотеля (*Poet.* 1452b38–1453a6).

воплощением сил добра как таковых, окончательно побеждает чудовище. В истории культуры такое повествование напрямую не связано с романом, отсюда параллельный характер этой классификации по отношению к вне-исторической классификации Уайта.

Эти два набора категорий, которые мы будем использовать для характеристики российского внешнеполитического нарратива, будут уточнять друг друга. Если следовать типизации Уайта, то, на наш взгляд, в этом нарративе присутствуют черты трагедии и романа, а в категориях исторической поэтики он колеблется между сентиментальным, мифическим и сказочным (не обязательно в этом порядке). В обеих системах координат, как мы увидим, наблюдается переход от преобладания одних элементов к другим: от литании в поисках сочувствия (трагическое, «страсти») к героическому самоутверждению (роман, сказка), которое в риторическом контексте оборачивается вызовом сильному врагу, и, наконец, к триумфу над силами зла без оглядки на авторитеты (миф).

Цель создания российскими политиками «рассказа» о новейшей истории страны очевидна и состоит в легитимации политических действий. Содержание этого «рассказа» формировалось в связи с несколькими ключевыми эпизодами, к числу которых относятся первая чеченская война (1994–1996), неудача России повлиять на ход разрешения конфликта в Косово (1998–1999), вторая чеченская война (1999), антизападный разворот в мюнхенской речи В. Путина (2007), попытки заключить соглашение с ЕС (2008–2009), конфликт с Грузией (2008), конфликт с Украиной и первый посткрымский период (2014–2017), риторика военного превосходства и новое обострение отношений с Западом (2018–2019). Ниже, опираясь на выступления президентов РФ Бориса Ельцина и Владимира Путина, а также на результаты, полученные другими авторами [17–23], мы, во-первых, воспроизведем основные смысловые элементы самого «рассказа», во-вторых, проанализируем их как выражение аффекта и инструмент управления аффектом аудитории.

От трагического к романическому

Центральным элементом содержания публичных коммуникаций власти с обществом в период начала первой чеченской войны (1994–1996) являлась идея выживания государства, недопущения его распада в «трагически» или сентиментально описываемых обстоятельствах. Преувеличенные угрозы, повсеместная негативная повестка при отсутствии какой-либо позитивной программы работали на формирование массовых аффектов страха, тревоги, неуверенности и установки безнадежности и бессилия. Это позволило, например, в обращении Президента РФ Ельцина к гражданам 27 декабря 1994 г. ограничиться следующим нарративом: существованию Российского государства угрожают профессиональные террористы, наемники, бандиты, в Чечне нет легитимной власти, а критики военного решения пытаются заработать себе политический капитал [24]. Позже, в выступлении Ельцина 17 июля 1995 г. на саммите в Галифаксе, Чечня была охарактеризована как центр международного терроризма, коррупции и мафии. Тогда же прозвучала фраза об «оголтелых бандитах с черными повязками» [25]. Для риторики Ельцина в целом характерны нарочитый «мужичий» примитивизм, псевдонародность языка и образности. В коммуникации это позволяет игнорировать факты, не

соблюдать последовательность в рассуждениях, перескакивать с темы на тему, отвечать на вопросы репризами (самая знаменитая – «38 снайперов»). В этой риторической стратегии обществу был представлен трагически (сентиментально) окрашенный нарратив, в котором Россия предстает как жертва немотивированного нападения извне неизвестных сил криминального характера, цель которых – разрушение страны. Враждебные силы остаются непонятными, лишены субъектности, обществу предлагается чувствовать себя жертвой непреодолимых обстоятельств и надеяться на чудесное избавление. В столкновении с иррациональными силами зла сентиментальное описание страданий переходит в мифическое (или готическое) противостояние «чудовищам». Данный нарратив характеризовал не только риторику российского руководства, но и общее отношение мирового сообщества к терроризму на протяжении 1990–2000-х гг. В то же время чеченские боевики действительно прибегли к террористической тактике, которая, помимо собственно военного, сама включает в себя риторический компонент в духе именно того же самого нарратива из обратной перспективы («пусть помучаются» и «мы – страшные чудовища»). Поэтому негативные аффекты в российской риторике были воспроизведены на Западе. Риторическим инструментом, который сделал это возможным, снова оказывается формула «страна стала трагической жертвой бандитов», позволяющая собеседникам выражать сочувствие и не задавать вопросов.

Статус жертвы «трагических» или «сентиментальных» обстоятельств в чем-то привлекателен и возвышен. С самого начала Перестройки это предопределило симпатию на Западе к реформировавшемуся СССР и его гражданам, вылившуюся в конечном счете в значимую помощь постсоветским странам в самые трудные для них времена. Но сочувствие к страдающим не переходит автоматически в признание их интересов или в уступки им в конфликтных ситуациях. В этом российскому руководству пришлось убедиться после длительных и неудачных попыток мирного урегулирования конфликта в Косово. Отмена визита тогдашнего премьера Евгения Примакова в США и его возвращение с полпути было ярким демаршем и риторическим жестом, но последовавшее на следующий день телеобращение Ельцина имело характер ламентации, нелепо-наивного призыва, направленного мировой общественности с позиции обиженного: «Это удар по всему международному сообществу... Я обращаюсь ко всему миру... Давайте, пока еще остались какие-то минуты, мы убедим Клинтона не делать того трагического драматического шага» [26]. Подобный дискурс властей в этот период коррелирует с общекультурной установкой на ламентацию в российском обществе [27, 28]. Следует обратить внимание на контраст данного телеобращения с высказываниями российских политиков, особенно антизападного и националистического направления, например с заявлением некоего Народно-Патриотического союза, под которым стояла и подпись лидера КПРФ Геннадия Зюганова, где говорилось о мерах, «способных остановить технотронный фашизм Америки» [29], а также с заявлениями самого Примакова.

Год спустя, уже после отставки, в книге «Президентский марафон» Ельцин, комментируя «принуждение к миру» Сербии, напишет: «...Скоро сила, и только сила, одной страны или группы стран будет решать в мире все. Вместо психологии всемирного миротворца явно просматривается психология все-

мирного вышибалы, а в конечном итоге – психология страны-диктатора» [30. С. 254]. Антиамериканский и антизападный нарратив изначально принадлежал противникам Перестройки, а затем радикальной и маргинальной оппозиции новому российскому режиму. Но, начиная с косовского эпизода, он постепенно становится частью публичного дискурса правительства как компенсация неудачи. Сентиментальный, ламентационный модус страдания вследствие активности *непонятно откуда* и почему вредящих тебе сил логично сменяется здесь, скорее, сказочной фабулой отношений с сильным и недружественным контрагентом – обидчиком, с которым возможны тем не менее личные отношения диалога (Давид и Голиаф, Иван-Дурак и Царь и т.д.).

Вторая чеченская война, последовавшая за августовским вторжением в Дагестан и серией терактов осени 1999 г., не потребовала нового нарратива. 11 августа 1999 г. «Российская газета» приводит спокойные по тону слова Путина: «Комплекс мер по наведению порядка и дисциплины в Дагестане одобрен Президентом России и будет последовательно претворяться в жизнь... мы имеем дело с нарушением законности и проявлениями терроризма... необходимо искоренить условия, причины, порождающие явления такого рода» [31]. 16 августа 1999 г., выступая в Государственной Думе, Путин воспроизводит уже известные позиции – единство страны, борьба с террористами, но добавляет указание на необходимость «повышения авторитета России», которая «на протяжении столетий была и остается великой державой», у которой «есть и останутся свои законные интересы в ближнем и дальнем зарубежье», которых «не нужно стыдиться» [32]. Если первая чеченская война отразилась на поддержке власти исключительно негативно (в частности, в силу общего сентиментального настроения, способствующего состраданию к жертвам), то вторая в гораздо большей степени воспринималась обществом как оправданная и способствовала политической мобилизации. В правительственной риторике этого периода используются оппозиции мифологического типа «порядок–хаос», «порядок–беспорядок», «власть–безвластие», «единство–развал». Здесь есть преимущество по отношению к дискурсу «порядка» в 1990-е гг., но рядом с сентиментальным нарративом постепенно встает матричный, сугубо мифический, а в терминах Уайта – романский, нарратив о смелом герое, при помощи которого культура побеждает хаос. Последовавшая вскоре внутривластная реакция сделала морально-сентиментальные вопросы о жертвах войны и нарушениях прав человека частью *оппозиционной* повестки, тем самым их в значительной степени обесценив. Происходившие в следующие годы в разных странах террористические акты и развернувшаяся борьба с группировками исламских радикалов позволили, во-первых, избежать формирования негативного общественного мнения в отношении России в связи с чеченской войной, во-вторых, использовать мифоготическую риторику о террористах и бандитах, обходясь без образа конкретного врага, игнорируя природу конфликта и субъектность противника. Подобная риторика на Западе легитимировала различные ограничительные меры государства, карательные операции, нелегальные тюрьмы, тотальную слежку за обменом информацией и пр., вызвавшие, впрочем, острую критику (см. напр.: [33]).

Следующий поворот в «рассказе» о России произошел в так называемой Мюнхенской речи Путина 10 февраля 2007 г. В ней прозвучала критика им-

периализма США, риторически обращенная к политикам Запада. Отмечалось, что мир в эпоху противостояния СССР и США был «страшноватый», но надежный, а «сегодня» он стал ненадежным. США представляли, в частности, как угроза существующему режиму власти в РФ¹. Эта речь стала предметом бесчисленных комментариев, которые здесь нет смысла обсуждать, мы же реконструируем ее нарратив:

«Россия – это миролюбивое государство, а США и их союзники, сами по себе авторитетные государства и адресаты данной речи, будучи одержимыми ложными амбициями, проводят политику глупую и безуспешную. Они пытаются достичь абсолютного доминирования всеми средствами, в том числе военными. Их неверные действия дестабилизируют мир, чем провоцируют терроризм. Обещаний своих они не выполняют, доверять им нельзя. Россию пытаются подавить в военном отношении, ущемляют ее экономические интересы, используют внутренних агентов влияния. Россия морально права, она не давала поводов для этой враждебности и вынуждена на нее отвечать».

Прежняя ламентативная нота беспричинного страдания сменяется здесь обвинением-вызовом контрагенту, который «узнан» как противник². В этом «рассказе» ключевым моментом является указание на иррациональную враждебность Запада, к которому тем не менее идет риторическая апелляция. Констатировать ошибочную и недальновидную политику Запада («Царя») может только разумное и доброе начало, каковым, следовательно, и является Россия. Тем самым ей приписывается статус не только правой, но и вменяемой стороны, на плечи которой ложится бремя ответственности за все происходящее в мире, которое, возможно, делится с другими вменяемыми носителями доброй воли, альтернативными странам Запада центрами силы. Россия, однако, выступает здесь как бунтарь, оппозиционер – роль, которая ранее приписывалась, скорее, террористам и силам хаоса. В терминах Уайта имеет место переход от трагедии к роману. В наших же терминах нельзя не заметить, что происходит своего рода диалектический синтез логики ламентации и логики мифа, подобный тому, что исторически произошел в волшебной сказке: Россия – и консервативная опора порядка, и ревизионистский бунтарь против этого порядка, а Запад – и ненавистный авторитарный тиран, и опора, правда, ненамеренная, сил хаоса (террористов). Здесь формируется весьма живучая идеологическая матрица современной российской политика, объединяющая – что характерно для идеологии – две противоречивых истории в одну.

Новые элементы рассматриваемого нами «нарратива» были привнесены в начале 2014 г., после того как украинский внутривластный кризис перерос в российско-украинский конфликт. 18 марта 2014 г. Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием в ходе принятия Республики Крым в состав РФ³. Первые ноты речи фаталистические, сентиментальные, причем даже с элементами трагизма: распался СССР, «то, что казалось невероятным, стало реальностью» вследствие неизвестных причин, русские стали «разделенным народом», Россия «опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду», но на самом деле «смириться с вопиющей исторической несправед-

¹ Цит. по сайту <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034> (дата обращения: 20.05.2019).

² На роль «узнавания» в трагедии указывает Аристотель (*Poet.* 1452a30-1452b2).

³ Цит. по сайту <http://kremlin.ru/events/president/news/20603> (дата обращения: 25.05.2019).

ливостью» – принадлежностью Крыма Украине – не могла. Далее описывается враждебная и «непрофессиональная» политика США и стран НАТО, что продолжает логику Мюнхенской речи и переходит в мобилизационный «фрасказ» о попытке Запада в лице США и НАТО подчинить себе Украину и захватить Крым как военный плацдарм. Действует Запад, как всегда, без каких-либо разумных оснований и без всяких поводов со стороны России, видимо, в силу своих безмерных амбиций и просто невменяемости. Россию атакуют на ее исторических землях, в братской стране руками «боевиков-неофашистов», внутри же России поддерживают внутренних врагов, собираясь устроить «цветную» революцию. Запад здесь предстает как иррациональный актер, наподобие террористов, хотя ранее он подавался как недалекий властитель, действующий в своей ущербной логике. Это эмоциональный момент, который в дальнейшем из риторики Путина уходит, но он знаменателен как симптом перехода от сказочного обратно к мифическому нарративу.

Последним поворотным пунктом «рассказа» о месте России в мире, который мы пытаемся воспроизвести, становятся послания Президента Федеральному Собранию 2018 и 2019 гг., из которых первое наиболее значимо. Внешнеполитический и военный разделы представляют собой одно целое: «Сдержать Россию не удалось», в сфере вооружений – «все восстановлено»¹. Недавнее прошлое описывается нотами печали, уже известными по Мюнхенской и Крымской речам, но центральным элементом речи становятся обретение голоса и обращение к Западу, где в трудный для страны период «сложилось устойчивое мнение, что... нет и никакого смысла считаться с мнением России...» Путин указывает: Россия предупреждала, что подобный подход неприемлем, но не была услышана: «...Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Эти слова имеют многоплановую прагматику: вначале адресатом является аудитория, затем оратор идентифицирует себя с ней и, наконец, совершает общее обращение к отсутствующему собеседнику, о котором известно, что он «не хочет разговаривать и не слушает». Перед нами своеобразная «диатриба», общение с отсутствующим собеседником, которое является характерным для определенного типа эмоций, инсценирующих магический нарратив по заклинанию внешних сил, потенциализации того, что потенциала не имеет [34], но в то же время действенных, поскольку они приводят к насильственному обращению внимания «собеседника». В нарративном смысле мы переходим здесь от сказки о герое и царе-обидчике к архаическому нарративу прямого действия, где герой напрямую торжествует над чудовищем, а общение с царями отходит на второй план. Мы видим, что этот третий нарратив возвращает нас к первому – он опять не диалогичен и опять сталкивает культурного героя с иррациональными силами зла. Речь построена как рапорт об отражении всех угроз, на которые указывалось ранее, начиная с Мюнхенской речи, но из текста выламывается ламентационный тезис о нежелании партнеров разговаривать; упоминание о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Китаем и о хороших отношениях с рядом других стран говорит об альтернативах признания, а рассказ о новых вооружениях завершается избыточной эмфазой «это не блеф, поверьте».

¹ Цит. по сайту <http://kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения: 27.05.2019).

Можно констатировать, что по крайней мере с 1994 г. содержание «рассказа» о месте России в мире нарастает кумулятивно и образует единое целое. Это подтверждается и исследованием Оксаны Дроздовой и Поля Робинсона, которое основывается на обработке сотен текстов. Они отмечают постоянство содержания правительственной риторики во многих аспектах, а в отношении внешней политики делают вывод о двух этапах. Первый из них – до Мюнхенской речи – был временем надежд на успешное сотрудничество с Западом, а второй связан с разочарованием Путина в Западе вследствие его отказа поддержать идею «Европы от Лиссабона до Владивостока» и сохранения приверженности системе блоков [16. С. 12–14, 15]. Этот вывод требует уточнения. В своей работе Дроздова и Робинсон обрабатывают текстовые материалы, но намеренно избегают анализа их прагматики. Сказанное и написанное принимается поэтому как презентация мнений автора, но не как инструмент воздействия на аудиторию, заявления намерений, перехвата повестки и аргументов противника или же отвлечения внимания. Иными словами, если речь идет об анализе риторической самопрезентации российской власти, то вывод о «разочаровании» оказывается ее частью и должен прочитываться аудиторией, удерживающей в памяти весь нарратив. Имеет ли это отношение к действительности, – вопрос, выводящий именно на прагматику текстов, которая не анализируется. Приведенные выше и относящиеся к 1999–2000 гг. комментарии событий в Косово показывают, что образ Запада, стремящегося к мировому диктату, ограниченно использовался в официальной риторике уже тогда. Это позволяет причислить мотив «разочарования» к числу риторических маневров, занимающих свое место в нарративе, в котором как раз в Мюнхенской речи запечатлено «узнавание» врага. Разочарование – аффект, фиксирующий во временном аспекте амбивалентность риторики российских властей по отношению к Западу: очевидная «очарованность», идентификация с западными лидерами и политикой (Россия как часть Европы, мира порядка и процветания) столкнулись с пренебрежением контрагента, что, в соответствии с классическим анализом Аристотеля в «Риторике», вызвало *гнев*, сопровождаемый печалью относительно собственных прошлых иллюзий. Амбивалентность подобного рода в целом способствует усилению и долговременности аффекта (ср.: [35]).

Суммируем теперь кратко предлагаемый властными авторитетами «рассказ» о судьбе и месте России в международных отношениях в последние 25 лет.

СССР распался в силу трагических обстоятельств, и в силу таких же обстоятельств Россия в 1990-е гг. оказалась в глубоком кризисе и на грани распада. Враждебные агенты проникали извне и извне же поддерживались. Амбициозный, маниакальный и недалекий царь-Запад (США и НАТО) притворялся дружественным, но, пользуясь слабостью России, попытался стать мировым диктатором, повсеместно применяет силу, разжигает конфликты. Он отказывается от сотрудничества, обманывает, пытается вмешиваться в наши внутренние дела и учить нас жизни, обкладывает Россию военными базами, финансирует ее внутренних врагов и препятствует экономическому развитию. Все это не от какой-то особой ненависти, а, скорее, из преступного пренебрежения к России как великой державе.

Эпизодом враждебной и бессмысленной активности Запада стала попытка подчинения Украины силами боевиков-неофашистов, которая была пресе-

чена. В целом же у Запада ничего не получается в силу его внутреннего разложения, непонимания того, как устроен мир, неспособности слушать и сотрудничать, а также потому, что в мире есть сдерживающие его силы. Россия – одна из таких сил, на ней держится глобальная безопасность, и у нее есть соответствующие интересы. Россия восстановила статус сверхдержавы, возвратила себе исконные земли, наладила стратегическое партнерство с рядом мировых держав. Запад, однако, продолжает «нас» игнорировать и «нам» вредить, хотя все его усилия бесполезны.

Этот нарратив последователен, но он ломает рамки как одномерного нарратива – уайтовских «трагедии» и «романа», так и сентиментальной lamentации и мифически-готической борьбы с чудовищами. Два начала «рассказа» – сентиментальное и мифическое (прорыв сил зла и страдания народа) относятся к 1990-м гг., а в его сказочном продолжении разочарование в одном предмете (Запад) через внутренний рост переходит в сопротивление ему и в столкновение с ним, в котором обретается хрупкая символическая победа (герой, столкнувшись с пренебрежением, тем не менее завоевывает признание, прыгает «из грязи в князи»). Попутно возникает гармонический союз с другим предметом (альтернативные центры силы на Востоке), а первый наказан и теряет разум в бессильной злобе. Здесь снова возникает готически-мифический момент, ибо враждебность и безумие Запада необъяснимы¹. Но это же и придает «рассказу» оттенки романического, по Уайту, ибо сказочная трансформация героя происходит в игре любви и ненависти – конфликте с контрагентом, имеющим неполную субъектность. Победа над судьбой здесь намного значимее победы над людьми, что должно воплощаться и в структуре аффектации, которая вызывается различными элементами нарратива. По отношению к злу, причиняемому неуправляемыми силами и безо всякой вины, возникает не страх, а ужас, – аффект негативный, деморализующий и приводящий к установкам бессилия и безнадежности. Освобождение от него происходит в пространстве мифического. С узнаванием же противника в Западе (США и НАТО) возникает субъект, в отношении которого испытываются как вызванный его пренебрежительным отношением гнев, так и негодование. Становящаяся результатом соперничества победа вызывает аффект удовольствия, открывающий путь для возвышающей иронии по поводу провалившихся планов соперника и его неполной вменяемости. Но провозглашение победы оказывается двусмысленным, поскольку ему сопутствуют постоянные эмоциональные обращения к Западу. Они ставят под вопрос и разрыв с ним, и независимость от него, возвращают к несбывшимся надеждам и к травме разрыва, конструируя, таким образом, истерическую модель переживания сюжета нарратива, которая подпитывает постоянную и пассивную возбужденность.

Заключение

Современная интенсификация аффекта в политике часто объясняется психологическими и даже неврологическими причинами, однако мы в данной статье попытались поместить ее в риторический и литературный контекст.

¹ Безумие здесь следует толковать уже в иной системе понятий, ибо оно не инфернально и не священо, но представляет собой патологию.

Политики, формирующие национальную политику РФ, исходят из определенных нарративных конструкций, которые, в согласии с классическими концепциями риторики, канализируют негативные эмоции аудитории и усиливают их. Эмоциональность политики связана с амбивалентностью отношений, которая в рамках любого нарратива распределяется во времени и осмысливается как неожиданное столкновение со злыми силами или как фрустрация надежд и отталкивание обращений. В первом случае нарратив («трагический» или «сентиментальный») рассказывает о стремлении России к светлому будущему, которое наталкивается на ее злую судьбу и нападения варваров. Во втором случае добрые намерения и дружеские инициативы России наталкиваются на глухую стену пренебрежения со стороны Запада, и все это в контексте непрекращающихся столкновений со злыми силами. В этот момент идентичность России определяется *амбивалентно*, как идентичность жертвы и как идентичность героя, что и рождает огромное напряжение, выливающееся периодически в международные конфликты. В третий, текущий, период, фрустрации и атаки злых сил вытесняются в прошлое, и «рассказ» исходит из уже произошедшей победы и успешного самоутверждения страны, не нуждающейся больше во внешнем признании: происходит возврат к исходной модели политического одиночества, которая теперь должна вызывать уже не печаль, но гордость.

Как становится видно из нашего анализа, из интенсивного общения с Западом по модели романа, героической сказки или «истерии» есть выход к более замкнутой мифической модели «триумфа героя над чудовищем», в котором он в большей мере опирается на свои силы и уходит от бессмысленного диалога с «царями». При всей своей условности этот нарратив менее эмоционально заряжен, чем первые два, и, возможно, мог бы уменьшить напряженность внешнеполитического процесса, если только он не является одной из фаз гнева, конструируемого диалогически в духе гомеровского Ахилла: обида, уход с международных форумов, ожидание уговоров.

Литература

1. Путин В.В. Выступление на заседании международного дискуссионного клуба Валдай, 24.10.2014. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860> (дата обращения: 30.09.2019).
2. Wendt A. The State as Person in International Theory // Review of International Studies. 2004. Vol. 30 (02). P. 289–316.
3. Sucharo M. The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israeli-Palestinian Peace. Albany, NY : State University of New York Press, 2005.
4. Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1992.
5. Forsberg T. Status conflicts between Russia and the West: Perceptions and emotional biases // Communist and Post-Communist Studies. 2014. Vol. 47. P. 323–331.
6. Heller R. More Rigor to Emotions! // Research in Emotions in International Relations / eds.: M. Clement, E. Sangard. London : Palgrave, 2018.
7. Медведев Д. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных кругов Германии 5 июня 2008 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/320> (дата обращения: 30.09.2019).
8. Magun A. Hysterical Machiavellianism: Russian Foreign Policy and the International Non-Relation // Theory & Event. 2016. Vol. 19, № 3.
9. Гоббс Т. Левиафан / пер. с англ. А. Гутермана // Избранные произведения : в 2 т. М. : Мысль, 1964. Т. 1.
10. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкаберг Ж.-М., Мэнгре Ф., Пир Ф., Тринон А. Общая риторика. М. : Прогресс, 1986.

11. Bitzer L. The Rhetorical Situation // *Philosophy and Rhetoric*. 1968. Vol. 1. P. 1–14
12. Fisher W.R. Human Communication as Narration. Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action. Columbia : University of South Carolina Press, 1987.
13. Walton D., Reed Ch., Macagno F. Argumentation Schemes. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
14. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. // пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитоновой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002.
15. Мелетинский Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М. : Наука, 1986.
16. McLeone M. Theory of the Novel: A Historical Approach. Baltimore : John Hopkins University Press, 2000.
17. Drozdova O., Robinson P. A Study of Vladimir Putin's Rhetoric // *Europe-Asia Studies*. 2019. Vol. 71 (4). P. 1–19. DOI: 10.1080/09668136.2019.1603362.
18. Korgunov Y. Populist tactics and populist rhetoric in political parties of Post-Soviet Russia // *Societate e Cultura*. Goiânia. 2010. Vol. 13, № 2. P. 233–245.
19. Duță A.-E. Case study: the expression of nationalism in Vladimir Putin's rhetoric // *Research and Science Today*. 2017. Vol. 2 (14). P. 12–22.
20. Kupfer M., de Waal T. Crying Genocide: Use and Abuse of Political Rhetoric in Russia and Ukraine // Carnegie Endowment for International Peace. URL: <https://carnegieendowment.org/2014/07/28/crying-genocide-use-and-abuse-of-political-rhetoric-in-russia-and-ukraine-pub-56265> (accessed: 30.09.2019).
21. Bershidsky L. The return of 1980s rhetoric in Russia // *The Japan Times*. 2014. Feb 21. URL: <https://www.japantimes.co.jp> (accessed: 30.09.2019).
22. Borgen Ch. Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea // *International Law Studies*. 2015. Vol. 91. P. 218–280.
23. Tchapanian V. A critical analysis of speeches by President Vladimir Putin and President Barack Obama concerning the Crimean events // *Arts and Humanities in Higher Education*. 2016. Vol. 1-2 (20). P. 31–38.
24. Обращение Президента РФ Б.Н. Ельцина к гражданам Российской Федерации в связи с ситуацией в Чеченской республике 27 декабря 1994 г. URL: <https://yeltsin.ru/archive/audio/9036/> (дата обращения: 30.09.2019).
25. Канадский бенефис Бориса Ельцина // *Коммерсантъ*. 1995. 20 июня. № 122. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/111315> (дата обращения: 30.09.2019).
26. Телеобращение президента России Бориса Ельцина 24 марта 1999 г. // *Коммерсантъ*. 1999. 25 марта. № 48. С. 2.
27. Русские Разговоры. М. : НЛЮ, 2003.
28. Магун А.В. Отрицательная революция. СПб. : ЕУ СПб, 2008.
29. Камышев А. Коммунисты готовы к войне // *Коммерсантъ*. 1999. 26 марта. № 49. С. 3.
30. Ельцин Б.Н. Президентский марафон: размышления, воспоминания, впечатления. М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008.
31. Комплекс мер по наведению порядка и дисциплины в Дагестане одобрен Президентом России и будет последовательно претворяться в жизнь», – заявил Владимир Путин // *Рос. газ*. 1999. 11 авг. С. 1–2.
32. Владимир Путин говорит о главном // *Рос. газ*. 1999. 17 авг. С. 1, 3.
33. Глюксман А. Достоевский на Манхэттене / пер. В. Бабинцев. М. : У-Фактория, 2006.
34. Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / пер. с фр. Е.Е. Насиновской и А.А. Пузыря // *Психология эмоций / сост. В.К. Вилноас*. СПб. : Питер, 2008.
35. Reddy W. The Navigation of Feeling. Cambridge University Press, 2004.

Artemy V. Magun, European University at Saint Petersburg (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: amagun@eu.spb.ru

Ivan B. Mikirtumov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: i.mikirtumov@spbu.ru

Andrey A. Parkhomenko, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: aap-91@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 60–73.
DOI: 10.17223/1998863X/57/7

NARRATIVE AND AFFECT IN THE ANALYSIS OF FOREIGN POLICY RHETORIC

Keywords: policy rhetoric; narrative; affect; hysteria.

The article is devoted to the narrative aspects of the foreign policy rhetoric of Russia. It singles out the stages of its development (since 1994), its content, and its plot. The current intensity of affect in politics is often explained through psychological or even neurological reasons, but, in this article, the authors tried to place it into the literary and rhetorical context. The politicians responsible for framing the Russian national policy use narrative constructions that are supposed to channel the audience's negative feelings and to reinforce them. The emotionality of politics has to do with the ambivalence of international relations conceived either as an unexpected encounter with evil forces or as a frustration of hopes and rejection of appeals by a superior power. In the former case, the narrative (both tragic and sentimental) tells of Russia's striving for its shining future which constantly fails through the intervention of bad luck. In the latter case, Russia's kind and friendly intentions and initiatives meet with neglect on the part of the West, all this in the context of the incessant clashes with the "evil". Russia's identity is defined ambivalently, as the identity of a victim and of a hero, which produces tension periodically spilling into international conflicts. In the current period, the frustrations and the attacks of evil forces are ousted into the past, and the narrative proceeds from Russia's victory that is supposed to have already happened. However, these victory claims remain ambivalent because they are accompanied by emotional appeals to the West. These appeals put into question both the rupture with it and the independence from it, they bring us back to the failed hopes and to the trauma of rupture, thus producing a *hysterical* model of living the narrative's plot: the model that supports permanent and passive anxiety. Ceasing the intense communication with the West through the script of a novel, heroic fairy tale, or "hysteria" is possible with the *mythical* format of a "triumph of the hero over the beast", in which the hero would rely on his/her forces and depart from the meaningless dialogue with the "kings". With all its fictional nature, this narrative is less emotionally charged than in the first two cases. Therefore, it could potentially reduce the strain of the foreign policy process, unless it is just a phase of a dialogical anger reminding of Homer's Achilles: the offended hero withdraws to his ship and feasts there alone.

References

1. Putin, V.V. (2014) *Vystuplenie na zasedanii mezhdunarodnogo diskussionnogo kluba Valday, 24.10.2014* [Speech at a meeting of the Valdai International Discussion Club, October 24, 2014]. [Online] Available from: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860> (Accessed: 30th September 2019).
2. Wendt, A. (2004) The State as Person in International Theory. *Review of International Studies*. 30(02). pp. 289–316. DOI: 10.1017/S0260210504006084. 289
3. Sucharo, M. (2005) *The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israeli-Palestinian Peace*. Albany, NY: State University of New York Press.
4. Greenfeld, L. (1992) *Nationalism: Five Roads to Modernity*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
5. Forsberg, T. (2014) Status conflicts between Russia and the West: Perceptions and emotional biases. *Communist and Post-Communist Studies*. 47. pp. 323–331. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2014.09.006
6. Heller, R. (2018) More Rigor to Emotions! In: Clement, M. & Sangard, E. (eds) *Research in Emotions in International Relations*. London: Palgrave.
7. Medvedev, D. (2008) *Vystuplenie na vstreche s predstavitel'yami politicheskikh, parlament'skikh i obshchestvennykh krugov Germanii 5 iyunya 2008 g.* [Speech at a meeting with representatives of political, parliamentary and public circles in Germany on June 5, 2008]. [Online] Available from: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/320> (Accessed: 30th September 2019).
8. Magun, A. (2016) Hysterical Machiavellianism: Russian Foreign Policy and the International Non-Relation. *Theory & Event*. 19(3).
9. Hobbes, T. (1964) *Izbrannye proizvedeniya v dvukh tomakh* [Selected Works in two vols]. Vol. 1. Translated from English. Moscow: Mysl'.
10. Dubois, J., Edeline, F., Klinkenberg, J.-M., Mengre, F., Peer, F. & Trignon, A. (1986) *Obshchaya ritorika* [General Rhetoric]. Moscow: Progress.
11. Bitzer, L. (1968) The Rhetorical Situation. *Philosophy and Rhetoric*. 1. pp. 1–14
12. Fisher, W.R. (1987) *Human Communication as Narration. Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action*. Columbia: University of South Carolina Press.
13. Walton, D., Reed, Ch. & Macagno, F. (2008) *Argumentation Schemes*. Cambridge: Cambridge University Press.

14. White, H. (2002) *Metaistoriya: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX v.* [Metahistory: The Historical Imagination in 19th Century Europe]. Translated from English by E.G. Trubina, V.V. Kharitonov. Ekaterinburg: Ural State University.
15. Meletinsky, E. (1986) *Vvedenie v istoricheskuyu poetiku eposa i romana* [Introduction to the Historical Poetics of the Epic and the Novel]. Moscow: Nauka.
16. McLeon, M. (2000) *Theory of the Novel: A Historical Approach*. Baltimore: John Hopkins University Press.
17. Drozdova, O. & Robinson, P. (2019) A Study of Vladimir Putin's Rhetoric. *Europe-Asia Studies*. 71(4). pp. 1–19. DOI: 10.1080/09668136.2019.1603362
18. Korgunuyuk, Y. (2010) Populist tactics and populist rhetoric in political parties of Post-Soviet Russia. *Sociedade e Cultura. Goiânia*. 13(2). pp. 233–245. DOI: 10.5216/sec.v13i2.13427
19. Duță, A.-E. (2017) Case study: the expression of nationalism in Vladimir Putin's rhetoric. *Research and Science Today*. 2(14). pp. 12–22.
20. Kupfer, M. & de Waal, T. (2014) *Crying Genocide: Use and Abuse of Political Rhetoric in Russia and Ukraine*. Carnegie Endowment for International Peace. [Online] Available from: <https://carnegieendowment.org/2014/07/28/crying-genocide-use-and-abuse-of-political-rhetoric-in-russia-and-ukraine-pub-56265> (Accessed: 30th September 2019).
21. Bershidsky, L. (2014) The return of 1980s rhetoric in Russia. *The Japan Times*. 21st February. [Online] Available from: <https://www.japantimes.co.jp> (Accessed: 30th September 2019).
22. Borgen, Ch. (2015) Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea. *International Law Studies*. 91. pp. 218–280.
23. Tchapanian, V. (2016) A critical analysis of speeches by President Vladimir Putin and President Barack Obama concerning the Crimean events. *Arts and Humanities in Higher Education*. 1 – 2(20). pp. 31–38.
24. The Russian Federation. (1994) *Obrashchenie Prezidenta RF B.N. El'tsina k grazhdanam Rossiyskoy Federatsii v svyazi s situatsiyey v Chechenskoy respublike* [Address of the President of the Russian Federation B.N. Yeltsin to the citizens of the Russian Federation in connection with the situation in the Chechen Republic]. [Online] Available from: <https://yeltsin.ru/archive/audio/9036/> (Accessed: 30th September 2019).
25. *Kommersant*". (1995) Kanadskiy benefis Borisa El'tsina [Canadian performance of Boris Yeltsin]. 20th June. [Online] Available from: <https://www.kommersant.ru/doc/111315> (Accessed: 30th September 2019).
26. *Kommersant*". (1999) Teleobrashchenie prezidenta Rossii Borisa El'tsina 24 marta 1999 goda [Television address of the President of Russia Boris Yeltsin on March 24, 1999]. 25th March. p. 2.
27. Ris, N. (2003) *Russkie Razgovory* [Russian Conversations]. Moscow: NLO.
28. Magun, A.V. (2008) *Otritsatel'naya revolyutsiya* [Negative revolution]. St. Petersburg: EU SPb.
29. Kamyshev, A. (1999) Kommunisty gotovy k voyne [Communists are ready for war]. *Kommersant*". 26th March. p. 3.
30. Eltsin, B.N. (2008) *Prezidentskiy marafon: Razmyshleniya, vospominaniya, vpechatleniya* [Presidential Marathon: Reflections, Memories, Impressions]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).
31. The Russian Federation. (1999) "Kompleks mer po navedeniyu poryadka i distsipliny v Dagestane одобрен Президентом России и бюджет последовател'но претворят'ся в жизнь", – заявил Владимир Путин [A set of measures to restore order and discipline in Dagestan has been approved by the President of Russia and will be consistently implemented," said Vladimir Putin]. *Rossiyskaya gazeta*. 11th August. pp. 1–2.
32. *Rossiyskaya gazeta*. (1999) Vladimir Putin govorit o glavnom [Vladimir Putin talks about the main thing]. 17th August. pp. 1, 3.
33. Glucksman, A. (2006) *Dostoevskiy na Mankhettene* [Dostoevsky in Manhattan]. Translated from English by V. Babintsev. Moscow: U-Faktoriya.
34. Sartre, J.-P. (2008) *Ocherk teorii emotsiy* [Essay on the theory of emotions]. Translated from French by E.E. Nasinovskaya, A.A. Puzirey. In: Vilyunas, V.K. (ed.) *Psikhologiya emotsiy* [Psychology of Emotions]. St. Petersburg: Piter.
35. Reddy, W. (2004) *The Navigation of Feeling*. Cambridge University Press.

УДК 164.08

DOI: 10.17223/1998863X/57/8

Г.В. Карпов

ПРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ, АДРЕСОВАННЫХ СЕБЕ¹

Показано, что отличия между типами речевых актов, которые адресованы себе, во-первых, существуют, во-вторых, являются фундаментальными для некоторых областей философского знания (например, этики). Утверждается, что декларативный речевой акт, адресованный себе, – форма всеобщего законодательства, посредством которой свободный произвол обязывает себя к соблюдению морального закона. Комиссивный и директивный речевые акты, адресованные себе, – форма частного практического основоположения (максимы), форма принуждения свободного произвола к конкретному поступку.

Ключевые слова: адресованные себе речевые акты, обязательства, этика, логика действий.

Джон Серл, взяв за основу классификацию Джона Остина [1] и выбрав основанием деления цель, которую преследует говорящий, когда осуществляет речевой акт, подразделяет речевые акты на следующие пять типов:

- ассертивы (например, агент α сказал, что...),
- комиссивы (агент α пообещал, что...),
- директивы (α отдал указание, чтобы...),
- декларативы (α объявил, что...),
- экспрессивы (α попросил прощения за то, что он...) [2].

Все типы речевых актов, упомянутые здесь, обращены вовне и адресованы слушающему. Это касается в том числе и речевых актов комиссивного типа. Хотя они и связывают самого говорящего, например, обещанием поступить определенным образом, предназначаются такие речевые акты, в общем, слушающему, ведь обещание дается именно ему.

Заметим, однако, что в некоторых ситуациях, когда один агент обещает что-то другому агенту, то он одновременно с этим обещает что-то (и, может быть, то же самое) и себе. Например, если α обещает β , что α принесет β завтра взятую какое-то время назад книгу, то, вероятно, это же самое, а именно что α в действительности вернет β его книгу, α обещает также и самому себе. Если это не так, то как минимум такое одностороннее обещание не следует рассматривать как полноценное и действительно состоявшееся обещание. Это наблюдение наводит нас на мысль о том, что, возможно, наряду с обещаниями себе существуют и другие типы адресованных себе речевых актов. Тогда классификация Серла затрагивает только часть речевых актов, и ее следует расширить, включив в нее те, которые говорящий адресует себе. В табл. 1 дан пример такого расширения.

¹ Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-011-00895 «Логическое исследование сигнификативных явлений: семантика и прагматика».

Таблица 1. Предполагаемое расширение классификации речевых актов Серла

Тип по Серлу	Пример	Дополнительный тип	Пример
Ассертив	Сказал другому	Ассертив себе	Сказал себе
Комиссив	Пообещал другому	Комиссив себе	Пообещал себе
Директив	Попросил другого	Директив себе	Попросил себя
Декларатив	Объявил другому	Декларатив себе	Объявил себе
Экспрессив	Попросил прощения у другого	Экспрессив себе	Попросил прощения у себя

Безусловно, подобное расширение классификации Серла является только одним из возможных. Так, наряду с речевыми актами, которые осуществляются для другого, и теми, которые говорящий осуществляет для себя, можно выделить те, что осуществляются агентом одновременно и для себя, и для другого. Более того, среди последних можно было бы указать на симметричные речевые акты, когда для себя и для другого осуществляется один и тот же по своему типу речевой акт (как, например, это может иметь место в случае обещания), и несимметричные речевые акты – в этом случае их типы для другого и для себя различаются. Это наблюдение дает нам основание предположить, что большинство речевых актов классификации Серла, за исключением ассертивов, в действительности является речевыми актами или первого типа, когда они осуществляются для других, или третьего типа, когда все они осуществляются одновременно и для себя, и для другого.

Предположение существования множества адресованных себе речевых актов, отличающихся друг от друга по типу, вызывает сомнение, которое нельзя назвать необоснованным. Так, разница между обещанием себе сделать так, что будет реализовано некоторое положение дел, такое что ϕ будет истинно (комиссив себе), и адресованной себе просьбой сделать так, чтобы стало истинным некоторое ϕ (директив себе), является едва ли уловимой. И если она все же существует, то она может быть обоснована указанием на оттенки словоупотребления, указанием в большей степени на стилистику или на психологические особенности говорящего, а не на логическую и онтологическую структуры, которые вовлечены в соответствующие речевые акты. Вместе с тем мы без труда различаем, например, комиссив и директив тогда, когда они переназначены другому, т.е. слушающему, а не тому, кто произносит соответствующие формулы. То же замечание оказывается справедливым и в отношении адресованных себе комиссивов в сравнении с адресованными себе декларативами: указать на отличие, например, обещания воздерживаться от совершения поступка, такого что ϕ (комиссив, адресованный себе), от торжественного самопровозглашения (например, в своей внутренней речи) самого себя свободным от действия, такого что ϕ (декларатив, адресованный себе), не так просто.

Исследование адресованных себе речевых актов может быть названо новым направлением философии языка. На лето 2019 г. запрос selfward / self-directed speech act, сделанный в WoS и Google Scholar, возвращает совсем немного результатов. Среди них оказываются статьи преимущественно в области возрастной психологии и психологии образования. Единственное известное нам исключение – статья [3], в которой речь идет об адресованных себе ассертивах. На данном этапе мы видим свою задачу в том, чтобы снять сомнения в существовании различных типов речевых актов, адресованных себе. Таким образом, цель этой статьи заключается, во-первых, в том, чтобы

показать, что существуют адресованные себе речевые акты комиссивного, директивного и декларативного типов, и, во-вторых, в том, чтобы воспроизвести их строение, объяснить принцип действия и указать на то, как может быть использовано в области философии понятие речевого акта, адресованного себе. Для того чтобы достигнуть поставленной цели, мы используем классические для философского исследования методы, которые прилагаем к области нравственности, где действие адресованных себе комиссивов, директивов и декларативов, как мы надеемся показать, наиболее очевидно. Наряду с этим мы обосновываем предполагаемое различие между типами адресованных себе речевых актов с помощью формально-логических методов, описывая их структуру и истолковывая характер обращения с ними агентов.

Проблема различения типов речевых действий, адресованных себе, в области нравственности и неформальный подход к ее решению

Продemonстрировать предполагаемое «видовое разнообразие» адресованных себе речевых актов или как минимум различить несколько их типов, аналогично тому, как это было сделано сначала квазиформально Серлом [2], а затем формально с использованием методов математического моделирования в [4] в отношении речевых актов, адресованных другим, мы надеемся через обращение к тем областям, где действие разных по типу адресованных себе речевых актов может быть показано достаточно строго и с очевидностью. Одной из таких областей, по нашему мнению, может выступать область нравственности. В этом отделе статьи мы вкратце реконструируем понимание морали, данное Кантом во второй Критике и в трактате «Религия в пределах только разума», и покажем, как именно можно использовать конструкцию, предложенную немецким философом, для того чтобы убедиться в существовании различных типов речевых актов, адресованных себе, и в значимости данного явления для некоторых отраслей философского знания.

Рассмотрим схему нравственной жизни, которую предлагает Кант в своем позднем трактате «Религия в пределах только разума» 1793 г. [5]. Он написан спустя пять лет после «Критики практического разума», и в нем Кант излагает основание своего этического учения компактнее и стройнее. По Канту, человек обладает волей, независимой от закона причинности, он сам связывает себя безусловным законом посредством своего разума и затем поступает в соответствии с ним. Для целей нашего исследования важно указать, что, по Канту, поступки являются производными от двух последовательных актов определения свободного произвола практическими основоположениями, т.е., во первых, моральным законом как таковым и, во-вторых, субъективными практическими основоположениями, или максимами. Нравственная жизнь человека разбивается, таким образом, как бы на два этапа, где на первом этапе свободный произвол ищет для себя определяющее основание (эмпирическое, рациональное или формальное), а на втором, обнаружив это основание, принуждает себя к поступку в соответствии с ним. Такова о общих чертах данная Кантом схема нравственной жизни. На ее первом этапе человек дает определяющее основание для своего свободного произвола и принимает решение о том, следовать чувству долга или нет. Будем ссылаться на этот первый этап как на связывание 0. На втором этапе, обозначим его как

связывание 1, человек соотнобразует свои субъективные практические принципы, или максимы, с первоначальным определением для своей воли.

Так как обязательства создаются прежде всего различными речевыми действиями, как, например, обязательство прийти на встречу или дать на время книгу возникают тогда, когда произносятся соответствующие принятые в обществе формулы, речевые действия, адресованные себе, играют в кантовской схеме нравственной жизни, когда свободный произвол посредством связываний 0 и 1 обязывает себя к поступку, первостепенное значение. Попытаемся выяснить, каким образом, в какой именно форме свободный произвол связывает себя практическими основоположениями. Этот вопрос, на основании установленного ранее, идентичен вопросу о том, в какой форме, при помощи каких адресованных себе речевых актов происходит два указанных связывания.

С одной стороны, связывание 0, когда свободный произвол решает руководствоваться в своих поступках высшим принципом долга, можно рассматривать как такое обещание свободного произвола, данное самому себе, когда он как бы говорит: «Обещаю отныне и навсегда поступать в соответствии с моральным законом». С другой стороны, так как связывание 0 касается наложения на свободный произвол обязательств следовать общему правилу, например поступать так, чтобы мир, который можно было создать его поступками, был добрым миром, то в этом случае свободный произвол не может приказывать себе выбрать то или иное правило. Ведь подобно тому, как свободный произвол перестает быть свободным всякий раз, как его определяет или рациональное, или эмпирическое основание, т.е. всякий раз, как его определяет материальное, а не формальное основание, – свободный произвол перестает быть свободным и тогда, когда он начинает приказывать сам себе. Это означает, что не всякое формальное основание может выступать для свободного произвола определением, т.е. тем, исходя из чего он далее определяет свои максимы. Так, приказ на исполнение требований морального закона, который свободный произвол мог бы отдать сам себе, вероятно, сделал бы свободный произвол несвободным.

Напротив, так как действие, определяющее свободный произвол к конкретному поступку (связывание 1), можно рассматривать как наложение обязательств по исполнению требований морального закона, принятых в качестве своих личных максим, то такие обязательства могут возникать в результате осуществления речевых действий, подобных самому себе адресованному приказу.

Таким образом, связывание 0, или первоначальное определение свободного произвола законом, – это раз и навсегда данное обещание свободного произвола самому себе, а последующее определение его к конкретному поступку, т.е. связывание 1, – это приказ свободного произвола самому себе повиноваться свободно принятому закону и соотнобразовывать свои максимы в соответствии с ним. И в том и в другом случае свободный произвол определяется речевыми актами, адресованными себе: в первом случае он обещает себе поступать в соответствии с моральным законом, во втором, когда дело касается конкретного поступка и, следовательно, конкретного практического принципа, он требует от себя таких действий, которые бы обнажали соответствие этого принципа ранее обещанному.

Разумеется, мы не утверждаем, что подобное толкование источников обязательств, составляющих содержание нравственной жизни, когда, следуя терминологии [2], на первом этапе свободный произвол осуществляет адресованный самому себе речевой акт комиссивного типа, а на втором – речевой акт директивного типа, является бесспорным или окончательным. В действительности единственное, что мы знаем достоверно, это то, что свободный произвол не может свободно приказать себе следовать моральному закону, так как приказывают тому, кто уже связан некоторым обязательством – обязательством выполнять отдаваемые указания. Действительно, связыванию 0, по Канту, не предшествует никакое другое связывание, и оно – начало нравственной жизни. Однако утверждать, что связывание 0 протекает непременно в форме речевого акта комиссивного типа, преждевременно. То же можно сказать и о характере утверждения относительно типа речевого акта, организующего связывание 1.

Посмотрим, удастся ли нам лучше обосновать подобное толкование или внести в него коррективы в том случае, когда мы привлечем к исследованию методы формальной философии. Такой методологический ход оправдан как самим предметом (формальные исследования речевых актов имеют давнюю и славную историю), так и удобством метода, который мы собираемся привлечь, а также его доказанной эффективностью (к основным результатам использования формально-логического метода в области речевых актов мы отнесем [4–7]).

Формальный подход к решению проблемы различения речевых актов, адресованных себе, в контексте нравственной жизни

Мы возьмем на вооружение STIT-логику (одну и, возможно, самую знаменитую представительницу семейства логик действия), скрещенную с пропозициональной динамической логикой (PDL-логикой), так, как это предложено в [8]. Такое соединение предлагает инструмент, который объединяет сильные стороны STIT- и PDL-логик: получившийся формализм позволяет схватывать действия как с точки зрения их результатов (когда действие в некотором данном состоянии оценивается исходя из того, какие формулы оказываются истинными в последующих состояниях), так и с точки зрения того, какие процессы они представляют (когда действие рассматривается, кроме того, как специфический уникальный переход между состояниями, или мирами). Обозначим результат такого скрещивания как PDLA, пропозициональную динамическую логику действий (propositional dynamic logic of action).

Язык L_{PDLA} . Пусть Φ есть множество пропозициональных переменных, а A – множество агентов $\{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$. Правильно построенное выражение ϕ языка L_{PDLA} определяется следующим образом:

$$\phi ::= p \mid \sim \phi \mid \phi \ \& \ \psi \mid [\alpha]^c \phi \mid [\alpha]^d \phi \mid O\phi.$$

Модельная структура S для L_{PDLA} задается как упорядоченная четверка элементов $\langle W, \{\sim_A\}, \{\approx_A\}, \{\sim_O\} \rangle$, где W есть множество возможных состояний, или миров. Элемент $\sim_A$ модельной структуры есть отношение на W , такое что для каждого мира w $\sim_A$ указывает миры, достижимые для агента α из A , совершающего действие в мире w . Элемент $\approx_A$ модельной структуры, в

свою очередь, для каждого мира w указывает миры, которые остаются недостижимыми для агента α из A в том случае, если он совершает действие, обеспечивающее переход по отношению $\sim_A$. Таким образом, отношения $\sim_A$ и $\approx_A$ разбивают набор возможных последующих миров, или состояний, на два класса эквивалентности. Пусть α принадлежит множеству агентов A , тогда для мира w , в котором α осуществляет некоторое действие, отношение $\sim_\alpha$ укажет все миры, в которых истинна формула, отражающая результат действия агента α в мире w , а отношение $\approx_\alpha$ укажет все те миры, которые недостижимы для агента α из мира w по отношению $\sim_\alpha$. Наконец, отношение $\sim_O$ каждому миру w ставит в соответствие мир w^* из $Ought_{(w)}$, где $Ought_{(w)}$ является множеством наилучших миров, достижимых из мира w .

В агентных модальностях $[\alpha]^c$ и $[\alpha]^d$ будет нетрудно узнать модальности классической STIT-логики. Формула $[\alpha]^c\phi$ – это *cstit* (Chellas stit) формула, названная так в честь логика и философа Брейна Челласа (Brain Chellas), а формула $[\alpha]^d\phi$ – это *dstit* (от англ. *deliberation* – рассуждение, обдумывание того, как поступить) – *stit*-формула, введенная Нуэлем Белнапом и Джоном Хорти в [9]. Семантика деонтического оператора O для логики действий была впервые разработана Джоном Хорти в 2001 г. [10] и с тех пор получила широкое распространение среди специалистов благодаря своей простоте и большим выразительным возможностям (см., напр.: [11], где деонтический оператор и соответствующая семантика хоритиевского типа используются для моделирования этических конфликтов, возникающих между агентами и группами агентов).

Семантика PDLA. Будем считать моделью M для L_{PDLA} набор элементов $\langle S, v \rangle$, где S – модельная структура PDLA, описанная выше, а v – функция означивания, которая ставит в соответствие атомарным пропозициям языка L_{PDLA} множество миров из W , в которых эти пропозиции истинны. Условия истинности формул языка L_{PDLA} задаются следующим набором правил:

$M, w \models p$ е. т. е мир w принадлежит $v(p)$.

$M, w \models \sim\phi$ е. т. е $M, w \not\models \phi$.

$M, w \models \phi \& \psi$ е. т. е $M, w \models \phi$ и $M, w \models \psi$.

$M, w \models [\alpha]^c\phi$ е. т. е для всех миров v , принадлежащих W , если верно, что каждый такой мир v достижим из мира w через отношение $\sim_\alpha$ (или, что то же, – если верно, что $w \sim_\alpha v$), то $M, v \models \phi$.

$M, w \models [\alpha]^d\phi$ е. т. е для всех v , принадлежащих W , если $w \sim_\alpha v$, то $M, v \models \phi$, и существует такой мир v' , что $w \approx_\alpha v'$ и $M, v' \not\models \phi$.

$M, w \models O\phi$ е. т. е для всех v^* , таких, что $w \sim_O v^*$, верно, что $M, v^* \models \phi$.

Так как адресованные себе речевые акты касаются случаев, когда объектом действия агента становится он сам, для их отображения в формальном языке мы будем использовать формулы с суперпозицией агентных операторов вида $[\alpha][\alpha]\phi$. Отметим, что подобная конструкция занимает специалистов в области логики действий уже второй десяток лет. Однако если пионерам этого направления формулы с суперпозицией агентных операторов представлялись интуитивно многообещающими способами отразить взаимовлияние агентов, которые тем не менее оказывались (особенно в том случае, когда речь шла о паре агентов, отличных друг от друга) непригодными для этой цели в силу наличия ряда семантических ограничений (подробнее об этом см.: [12. Р. 31; 13. Р. 503–506]), то сегодня исследователи смотрят на такие

формулы иначе. Так, в частности, смена семантики логики действия с BTS (семантика ветвящегося времени) на NEXT (семантика, где используются структуры с отношением частичного порядка, а действия агентов представлены композициями переходов на таких структурах, «переключающих» различные множества точек соотнесения: моменты времени и истории; наиболее подробно она описана в [14]) открыла возможность использовать формулы вида $[\alpha][\beta]\phi$, равно как и формулы вида $[\alpha][\alpha]\phi$, для того чтобы моделировать намерения и стратегии одних агентов, которые они имеют и которых они придерживаются, в связи с намерениями и стратегиями других агентов. Семантика, используемая в этой статье, так же как и NEXT-семантика, позволяет формулировать на языке исследователя осмысленные и непротиворечивые утверждения о формулах вида $[\alpha][\alpha]\phi$.

Наконец, для того чтобы отразить в L_{PDLA} результаты осуществления речевых актов, адресованных себе, т.е. различные обязательства, которые таким образом накладывают на себя агенты, мы снабдим формулу $[\alpha][\alpha]\phi$ деонтическим оператором O так, что она примет вид $[\alpha]O[\alpha]\phi$. Формулу $[\alpha]O[\alpha]\phi$ следует читать как «агент α делает так, что у агента α возникает обязательство сделать так, что ϕ ».

Напомним, что цель нашей работы заключается в том, чтобы продемонстрировать существование различных типов речевых актов, адресованных себе, а также указать на важность в философском отношении различия между речевыми актами, адресованными другому, и речевыми актами, адресованными себе. Для этого необходимо найти, в соответствии с методологическими установками нашего исследования и всего направления, в рамках которого оно реализуется, формальное, структурное отличие между типами речевых актов, адресованных себе, аналогичное тем отличиям, на которые указывали Дж. Серл и Д. Вандервекен [4, 6] в случаях с множеством типов речевых актов, адресованных другим. Для этого мы обращаемся к области нравственности, понимаемой в соответствии с тем, как она изложена в практической части философии Канта, так как здесь, по нашему предположению, различие типов речевых актов, адресованных себе, вероятнее всего обнаружить и относительно легко установить.

По нашему предположению, речевые акты, адресованные себе (по крайней мере некоторые их типы), отличаются друг от друга так же, как отличаются между собой действия свободного произвола, обозначенные нами как связывания типов 0 и 1. Это значит, что действиям свободного произвола в каждом из двух случаев можно сопоставить адресованный себе речевой акт конкретного типа. Связывание 0, как мы определили выше, реализовано таким образом, что агент, который является и его исполнителем, и его объектом, принимает на себя некоторое фундаментальное в нравственном отношении обязательство следовать моральному закону. Мы предполагаем, что структура такого действия, порождающего это фундаментальное и неотменяемое обязательство, может быть передана формулой $[\alpha]^dO[\alpha]^c\phi$. Такой выбор видов агентных операторов объясняется соображением, в силу которого рассматриваемое действие свободного произвола интерпретируется в первую очередь как действие делиберативного агента, где свободный произвол действительно принимает некоторое решение, а не действует на манер автомата, и где он реализует в этом решении свою свободу, т.е. всегда имеет возмож-

ность поступить по-другому. Вместе с тем свободный произвол, в том случае когда он своим действием порождает некое, по нашему предположению, неотменяемое обязательство, далее теряет через такое действие свое делиберативное измерение. В этом случае действие, необходимость которого он сам себе приписывает, теперь оказывается лишенным делиберативного измерения и рассматривается аналогично действию простого «агента-автомата», могущего быть выраженным с помощью *cstit*-оператора. Таким образом, формула $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$, по нашему предположению, соответствует типу связывания 0.

Напротив, случай, когда агент создает обязательство, на основании которого он должен поступать определенным образом, обязательство, которое руководит его конкретными поступками и которое тем не менее допускает возможность неповиновения, уклонения, отказа от исполнения назначенного, может быть зафиксирован с помощью формулы $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$, где показано, что приписываемое, обязательное действие реализуется *dstit*-агентом, т.е. агентом, не теряющим своего делиберативного измерения, как это происходит в случае связывания 0. Формула $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$ соответствует типу связывания 1. Покажем далее, что структура и поведение, работа формул $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$ и $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$, соответствуют содержанию двух последовательных актов определения свободного произвола к поступку, которые реализуются, по нашему предположению, через осуществление отличающихся по типу речевых актов, адресованных себе.

Особенности, которые отличают речевые акты различных типов друг от друга, можно выснить через изучение условий отказа от выполнения того, что было, например, обещано или приказано. Этот отрицательный, апофатический метод широко распространен в аналитической традиции еще со времен исследований Джона Остина. Остин, разрабатывая определение перформативного действия, отталкивался от описания ситуаций неуспешности перформативов, так как анализ причин таких неудач, того, что именно не сработало или было сломано в механизме действия, позволяет понять, как устроен сам механизм [15. С. 262–281]. В случае нашего исследования, благодаря работам Н. Белнапа, в частности [16], в формальной философии действия не составит труда различать: осуществление такого действия, когда некоторое положение дел признается отсутствующим; отсутствие такого действия, которое бы приводило к некоторому положению дел; уклонение агента от осуществления действия.

Покажем на примере, как это отличие работает. Пусть агент α получает от какого-то другого агента во временное пользование книгу. Пусть действие $[\alpha]\phi$ – это обещание агента α вернуть книгу назад. Тогда формула $[\alpha] \sim \phi$ (агент α делает так, что имеет место ситуация, когда истинно $\sim\phi$) выражает действие агента α , который обещает, что не вернет книгу. Формула $\sim[\alpha]\phi$ (неверно, что агент α делает так, что истинно ϕ) используется для того, чтобы показать отсутствие действия агента α , такого что он обещает вернуть книгу. Формула $[\alpha] \sim [\alpha]\phi$ (агент α делает так, что неверно, что он делает так, что истинно ϕ) выражает такое действие агента α , когда он делает так, что он не обещает вернуть книгу, это ситуация «деятельного» уклонения от совершения поступка, в соответствии с нашим допущением об интерпретации фор-

мулы $[\alpha]\phi$, – сознательный и явным образом выраженный отказ агента α обещать.

Семантические модели в PDLA для формул, иллюстрирующих типы связывания. Покажем, что в том случае, когда свободный произвол реализует посредством осуществления адресованного себе речевого акта действие, обозначенное как связывание 0, которому, по нашему предположению, соответствует формула $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$, то он в рамках семантических определений L_{PDLA} не может осуществить действие уклонения от назначенного к исполнению, которое мы обозначим формулой $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$.

Пусть существует модель M и мир w_0 , такие что $M, w_0 \models [\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$. Тогда для каждого мира w_1 , отличного от w_0 и связанного с ним отношением $\sim_\alpha$, верно, что $M, w_1 \models O[\alpha]^c \phi$, и найдется такой мир w_2 , отличный от w_0 и связанный с ним отношением $\approx_\alpha$, для которого верно, что $M, w_2 \not\models O[\alpha]^c \phi$. Далее, $M, w_1 \models O[\alpha]^c \phi$ выполняется только в тех случаях, когда во всех мирах, связанных с миром w_1 отношением $\sim_\alpha$, в модели M выполняется формула $[\alpha]^c \phi$. Пусть найдется такой деонтически идеальный мир w_3 , что $w_1 \sim_\alpha w_3$; тогда $M, w_3 \models [\alpha]^c \phi$. Наконец, $M, w_3 \models [\alpha]^c \phi$ истинно, если и только если во всех мирах, связанных с миром w_3 отношением $\sim_\alpha$, в модели M выполняется ϕ . Тогда пусть найдется мир w_4 , такой, что $w_3 \sim_\alpha w_4$, и $M, w_4 \models \phi$.

Перед тем как ввести в данную модель формулу уклонения $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$, мы хотим обратить внимание на ряд ограничений в отношении модельных структур, неявных, но само собой разумеющихся некоторых редакций логики действий, и для PDLA в частности.

Первое ограничение, накладываемое на модельную структуру S , касается элементов множества W . Будем считать, что элементы W вместе образуют ветвящуюся структуру, где недопустимы рефлексивные переходы и каждое действие ассоциируется с достижением нового мира или состояния, отличного от предыдущего (см., напр., похожее определение модельной структуры STIT (STIT frame) в [17. Р. 345]). Во-вторых, примем в качестве обязательного условие, в соответствии с которым все переходы на W являются агентными переходами, т.е. осуществляются как следствие или выполнения агентом некоторого действия, или уклонения от выполнения действия. Любое изменение положения дел в мире является, следовательно, непосредственным или опосредованным результатом действия одного из агентов (об этом ограничении см., напр.: [18. Р. 791]). В-третьих, будем считать, что переход $\sim_0$ так же, как и переходы $\sim_\alpha$ и $\approx_\alpha$, имеет агентное измерение, а все миры, достижимые из данного мира w по отношению $\sim_0$, являются подмножеством одного из агентных отношений на W , $\sim_\alpha$ или $\approx_\alpha$. Отсюда, в частности, следует то, что любое обязательство, возникающее у агента, имеет своим началом, источником именно агентное действие. Все обязательства, о которых мы говорим на языке L_{PDLA} , являются как бы «авторскими» агентными обязательствами. Помимо этого, объединение первого и третьего оговариваемых ограничений на модельных структурах S имеет в качестве следствие утверждение, в соответствии с которым деонтически идеальным миром по отношению к данному миру w не может быть он сам.

С учетом сказанного посмотрим на то, как ведет себя на описываемой модели M формула уклонения $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$. Предположим, что в следующем возможном состоянии после состояния w_0 , т.е. после того, как агент α издает

сам для себя распоряжение, обязывающее его выполнить уже неделиберативным образом действие, такое что ϕ , он совершает деятельное уклонение от необходимости выполнять ϕ . Это можно отобразить, предположив, что в мире w_1 , следующим за w_0 , истинной оказывается формула $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$. Тогда найдется такой мир, связанный с миром w_1 отношением $\sim_\alpha$, что в этом мире выполняется формула $\sim[\alpha]^c \phi$. Так как любой переход между мирами на модельных структурах S – это агентный переход, то среди всех миров, связанных отношением $\sim_\alpha$ с миром w_1 , обязательно найдется мир w_3 , такой что, во-первых, $w_3 \models [\alpha]^c \phi$ и, во-вторых, $w_3 \models \sim[\alpha]^c \phi$, так как $w_1 \models [\alpha]^c \sim[\alpha]^c \phi$ и $w_1 \sim_\alpha w_3$. Здесь возникает противоречие, которое указывает на то, что уклонение $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$ от исполнения обязательства, которое является результатом действия $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$, в L_{PDLA} невозможно адекватно выразить и затем проинтерпретировать средствами предложенной семантики. На рис. 1 дано изображение описанной модели.

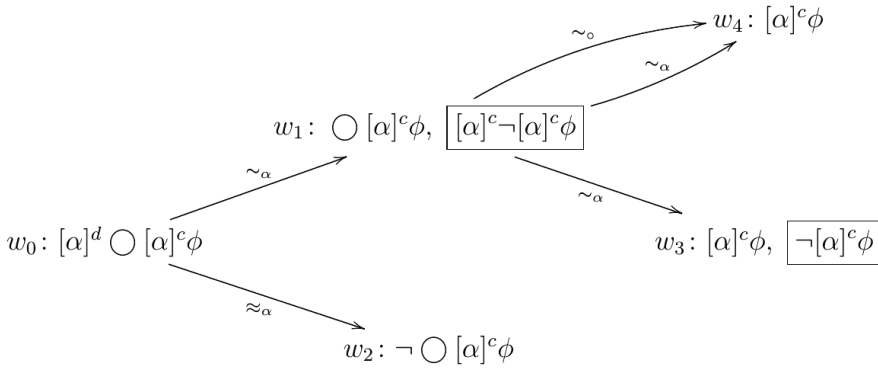


Рис. 1. Формула $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$ несовместима с формулой $[\alpha]^c \sim [\alpha]^c \phi$, выражающей уклонение от наложенных агентом α обязательств

Теперь покажем, что когда свободный произвол, будучи связанным обязательством следовать моральному закону, реализует посредством адресованного себе речевого акта связывание 1, для которого мы предложили использовать формулу $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$, то в этом случае в рамках семантических определений L_{PDLA} оно согласуется с действием возможного уклонения, переданного с помощью формулы $[\alpha]^d \sim [\alpha]^d \phi$.

Модель для формул $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$ и $[\alpha]^d \sim [\alpha]^d \phi$ будет повторять модель, данную на рис. 1, в том, что касается первых переходов по $\sim_\alpha$ и $\approx_\alpha$ от мира w_0 к мирам w_1 и w_2 соответственно. Мы опишем и воспроизведём в виде рисунка лишь ту ее часть, которая ответственна за различие между формулами $[\alpha]^d O[\alpha]^c \phi$ и $[\alpha]^d O[\alpha]^d \phi$. Пусть в мире w_3 выполняется $O[\alpha]^d \phi$. Тогда во всех мирах, связанных отношением $\sim_o$ с миром w_3 , должна выполняться формула $[\alpha]^d \phi$. Пусть множество таких миров ограничивается миром w_4 : $w_4 \models [\alpha]^d \phi$. Теперь, как и в предыдущем случае, предположим, что α в состоянии, следующем за состоянием, где он связывал себя обязательством выполнить действие, такое что ϕ , решает уклониться от осуществления ϕ : $w_1 \models [\alpha]^d \sim [\alpha]^d \phi$. Это верно только в том случае, если среди всех последующих миров мы обнаружим такой класс миров, связанный с миром w_1 отношением $\sim_\alpha$ либо от-

ношением $\approx_a$, для каждого элемента которого истинной будет формула $\sim[\alpha]^d\phi$. Пусть таким миром будет мир w_4 , такой, что $w_3 \approx_a w_4$ и $w_4 \models \sim[\alpha]^d\phi$. При этом в мире w_4 снова оказывается истинной формула $[\alpha]^d\phi$ как следствие выполнения второй части определения для $w_1 \models [\alpha]^d\sim[\alpha]^d\phi$.

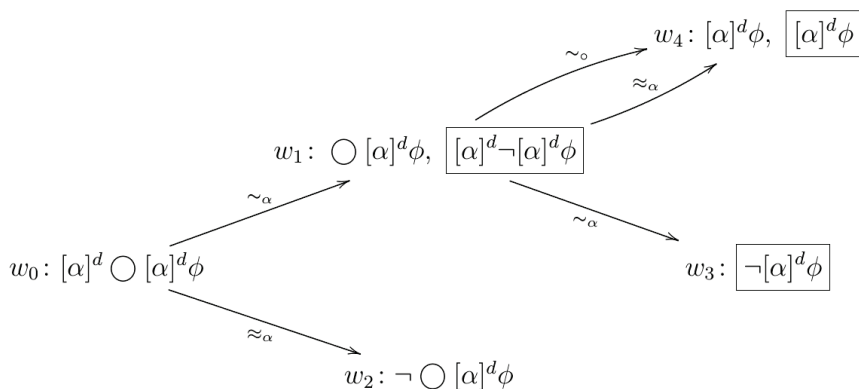


Рис. 2. Формула $[\alpha]^d \bigcirc [\alpha]^d \phi$ совместима с формулой $[\alpha]^d \sim [\alpha]^d \phi$, выражающей уклонение от наложенных агентом α обязательств

Модель, показывающая совместимость формул $[\alpha]^d \bigcirc [\alpha]^d \phi$ и $[\alpha]^d \sim [\alpha]^d \phi$, представлена на рис. 2.

Содержательная интерпретация семантических моделей в контексте возможной типологии речевых актов, адресованных себе

Формула $[\alpha]^d \bigcirc [\alpha]^d \phi$, так как она сохраняет для свободного произвола возможность уклониться от исполнения назначенного, – это форма адресованного себе речевого акта, в которой протекают наложения на себя агентом обязательств по совершению определенных поступков. Неотменяемый характер формулы $[\alpha]^d \bigcirc [\alpha]^c \phi$, напротив, свидетельствует о том, что с ее помощью можно описать случаи, когда свободный произвол (действующий здесь один единственный раз и в ноуменальном мире, лишенным причинности, как написал бы Кант) налагает на себя обязательство не совершать конкретные поступки, а вообще следовать моральному закону. Обратимся к табл. 1 для того, чтобы отыскать в ней те типы речевых актов, адресованных себе, которые будут наилучшим образом подходить под указанные формулы и их содержательные интерпретации.

Все типы адресованных себе речевых актов, упомянутые в табл. 1, так или иначе ассоциируются с действиями, накладывающими обязательства на их автора. При этом если ассертиву, адресованному себе, можно сопоставить обязательство верить в то, что сообщаемое себе, а экспрессиву себе, например, – обязательство испытывать при осуществлении соответствующего речевого акта определенные переживания, то трем оставшимся типам можно сопоставить обязательства определенным образом поступать. Адресованные себе речевые акты комиссивного, директивного и декларативного типов, в соответствии с известной идеей Серла о реализации направления соответствия между их пропозициональным содержанием и действительным поло-

жением вещей (см.: [2. Р. 349 et al.]), могут быть разделены на две группы: в одну попадают адресованные себе комиссивы и директивы (где направление реализации соответствия обращено от мира к словам), в другую – адресованные себе речевые акты декларативного типа (где направление реализации соответствия двойное и обращено одновременно и от слов к миру, и от мира к словам). Именно декларативы представляются нам наилучшей кандидатурой на роль адресованного себе речевого акта, выраженного формулой $[\alpha]^d O [\alpha]^c \phi$; формула $[\alpha]^d O [\alpha]^d \phi$, напротив, ассоциируется нами с адресованными себе комиссивами и директивами.

Основным аргументом, выступающим в поддержку предлагаемой содержательной интерпретации формул $[\alpha]^d O [\alpha]^c \phi$ и $[\alpha]^d O [\alpha]^d \phi$ как комиссивов и директивов, адресованных себе, и как декларативов, адресованных себе, соответственно является тот факт, что формула $[\alpha]^d O [\alpha]^c \phi$, как и в большинстве случаев декларатив, описывает (в отличие от формулы $[\alpha]^d O [\alpha]^d \phi$ и комиссивов и директивов, адресованных себе) действие, накладывающее неотменяемое обязательство. Для того чтобы если не уничтожить возможные сомнения в необратимом характере декларативного речевого акта, адресованного себе (ведь он – действие, как мы допускаем здесь, реализованное посредством слов, а слова, хоть и обладают огромными убеждающими возможностями, все же не являются, в буквальном смысле, чем-то непоправимым, как, например, непоправима смерть), то хотя бы их пошатнуть, заметим, что декларатив (и тем более – декларатив себе) – это не только и не столько открытие собрания, в соответствии с хрестоматийным примером Остина. Напротив, он преимущественно является формой речевого действия, совершающегося в «пограничных», поворотных для человека ситуациях, меняющих его жизнь. Например, это ситуации, подобные крещению, ритуальному наречению имени или вообще отправлению культа. Затем, это политические ситуации, связанные, например, со сложением полномочий или даже с отречением от престола. Кроме того, это трагические, экзистенциальные ситуации, как, например, ситуации разрыва родственных связей или других подобных отношений. Во всех этих случаях невозможно, осуществив соответствующий декларативный речевой акт, который является в том числе и декларативом, осуществленным для себя, затем изменить наложенные на себя таким образом новые обязательства, просто отказавшись от них и снова согласившись исполнять прежние или противоположные. К множеству этих случаев, где декларативный речевой акт носит необратимый характер, может быть причислено и связывание 0, также осуществляемое через адресованный себе декларатив и могущее быть выражено, как мы условимся считать, формулой $[\alpha]^d O [\alpha]^c \phi$. В тех же случаях, где отказ выполнять назначенное, является не только допустимым, но и чем-то само собой разумеющимся и изначально принимаемым во внимание тем агентом, который издает соответствующее обязательство, имеет место комиссив или директив, адресованный себе, который в L_{PDLA} выражен формулой $[\alpha]^d O [\alpha]^d \phi$.

Таблица 2. Отличие комиссивов и директивов, адресованных себе, от декларативов, адресованных себе, в контексте нравственной жизни

Тип связывания	PDLA формула	Тип адресованного себе речевого акта
Связывание 0	$[\alpha]^d O [\alpha]^c \phi$	Декларативный речевой акт
Связывание 1	$[\alpha]^d O [\alpha]^d \phi$	Комиссивный или директивный речевой акт

Таблица 2 показывает, как сводятся в одно тип связывания, формула L_{PDLA} , выражающая тип связывания, и соответствующий им адресованный себе речевой акт.

Заключительные замечания

Наше предположение о том, что в области речевых актов, адресованных себе, существует такое же «видовое разнообразие» как и в случае с речевыми актами, в общем предназначенными для другого, которое может быть схвачено логико-философскими средствами, при том что оно не сводится исключительно к выяснению и описанию некоей феноменологической картины, укорененной преимущественно в языке или психике, получает свои первые подтверждения. Обратившись к области нравственности, где, как мы допустили, обнаружить искомые отличия проще и где они будут яснее всего видны (ведь мы обещаем себе и приказываем себе там, где дело касается прежде всего поступков, а областью, где существуют поступки в их философском измерении, является в первую очередь мораль), мы выяснили, что первоначальные обязательства, когда принимается решение о том, следовать моральному закону или нет, совершаются посредством обращенного к самому себе речевого акта, напоминающего декларативный речевой акт в большей степени, чем другие типы речевых актов. Напротив, адресованный себе речевой акт, с помощью которого выдвигается требование следовать частным практическим основоположениям, так как в этом случае допустимо уклонение от действий, признанных самим агентом обязательными, ассоциирован нами, по аналогии с классификацией речевых актов Остина и Серла, с директивным или комиссивным типами речевого акта, с помощью которого выдвигаются требования и принимаются на себя обязательства повиноваться или не повиноваться долгу не вообще, а уже при совершении конкретных поступков.

Используя неформальный метод ведения философского исследования, нам удалось указать направление, двигаясь в котором, можно добиться прояснения вопроса об отличии комиссива и директива от декларатива, данных себе. Привлечение методов формальной философии (средств, предоставленных нам пропозициональной динамической логикой действий, $PDLA$) показало, что процессы наложения обязательств по исполнению требований морального закона и требований максим отличаются друг от друга так же, как отличаются между собой речевые акты декларативного и комиссивно-директивного типов. Тем самым множество речевых актов, адресованных себе, получает свое первое очертание.

Особый интерес для будущих исследований в этой области должны представлять следующие темы. Речевые акты, направленные на себя, являются частью того, что мы можем условно называть разговорами с собой. Мы говорим с собой, когда читаем, разучиваем наизусть стихотворение, продумываем структуру аргумента или, наконец, когда мы рассуждаем. Рассуждение, мышление – действие, которое изначально организовано именно как действие для себя. Мы, безусловно, размышляем вместе с другими, однако и в этом случае – это все же наше собственное рассуждение. И здесь можно предположить такой же дуализм, как и в области известных нам речевых актов: мы допускаем существование феноменов рассуждения для себя и рассуждения для другого. Интересно, что напряжение, которое возникает на по-

люсах этого противопоставления, имеет – снова – этическое измерение. В том числе у Канта мы можем отыскать фрагменты, в которых содержится формула, напоминающая императив и адресованная всякому, кто собирается мыслить самостоятельно. Философ призывает его рассуждать для себя так, как если бы он рассуждал в то же самое время и для другого, т.е. так, как если бы его мысли могли незамедлительно поверяться мыслями других людей. Возможно здесь, в области, объединяющей феномены мышления для себя и мышление для другого, мы обнаружим те же различия между актами мышления для себя и для других, которые аналогичны различиям между обещаниями и обещаниями себе, командами и командами себе и т.д.

Кроме того, естественно то, что, помимо индивидуальных речевых актов (адресованных себе, адресованных другим и, наконец, предназначенных и для себя, и для других), существуют коллективные, или групповые, речевые акты. Такое отличие является чем-то само собой разумеющимся, например, в логике действий. В теории речевых актов оно используется и разрабатывается с меньшей охотой. Коллективные речевые акты тем не менее представляют интерес прежде всего в связи с вопросом об обязательствах и об ответственности, которые они в этом случае влекут. В «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена» Лоренса Стерна в одном из эпизодов описывается путешествие в карете двух монахинь. Путь им внезапно преграждает осел. Заставить животное освободить дорогу, как уверяют крестьяне, можно только произнесением бранных слов. Монахини решаются на коллективное речевое действие, когда одна из них произносит первую часть ругательства, не являющуюся ругательством как таковым, а другая – вторую. Так они рассчитывают одновременно и заставить осла сойти на обочину, и избежать ответственности за вынужденное прегрешение или хотя бы разделить ее. Размышления для себя, равно как и коллективные речевые действия, – предмет будущих исследований, аналогичных тому, о котором шла речь в этой статье.

Литература

1. Austin J. How to Do Things with Words. Oxford : Clarendon, 1962. 168 p.
2. Searle J. A taxonomy of illocutionary acts // Language. Mind and Knowledge / ed. K. Gunderson. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1975. P. 344–369.
3. Geurts B. Making Sense of Self Talk // Review of Philosophy and Psychology. 2018. Vol. 9, № 2. P. 271–285.
4. Searle J., Vanderveken D. Foundations of Illocutionary Logic. Cambridge University Press, 1985.
5. Кант И. Трактаты и письма. М. : Наука, 1980. 709 с.
6. Vanderveken D. Meaning and Speech Acts. Cambridge University Press, 1991. Vol. 1: Principles of Language Use. 256 p.
7. Vanderveken D. Meaning and Speech Acts. Cambridge University Press, 1991. Vol. 2: Formal Semantics of Success and Satisfaction. 193 p.
8. Benthem J. van, Pacuit E. Connecting Logics of Choice and Change // Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action / ed. by T. Müller. Springer, 2014. P. 291–314.
9. Horty J., Belnap N. The Deliberative Stit: a Study of Action. Omission. Ability, and Obligation // Journal of Philosophical Logic. 1995. Vol. 24, № 6. P. 583–644.
10. Horty J.F. Agency and Deontic Logic. Oxford : Oxford University Press, 2001. 192 p.
11. Kooi B., Tamminga A. Moral Conflicts Between Groups Of Agents // Journal of Philosophical Logic. 2008. Vol. 37, № 1. P. 1–21.
12. Belnap N., Perloff M. In the realm of agents // Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 1993. № 9. P. 25–48.

13. Chellas Brian F. Time and Modality in the Logic of Agency // *Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic*. 1992. Vol. 51, № 3/4: Logic of Action. P. 485–517.
14. Broersen J. Making a Start with the stit Logic Analysis of Intentional Action // *Journal of Philosophical Logic*. 2011. Vol. 40, № 4. P. 499–530.
15. Остин Дж. Три способа пролить чернила. СПб. : Алетейя : Из-во СПб. ун-та, 2006. 334 с.
16. Belnap N. Before Refraining: Concepts for Agency // *Erkenntnis*. 1991. Vol. 34, № 2. P. 137–169.
17. Xu M. Group Strategies and Independence // *Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action*. Springer, 2014. P. 343–376.
18. Belnap N. Backwards and Forwards in the Modal Logic of Agency // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1991. Vol. 51, № 4. P. 777–807.

Gleb V. Karpov, Saint Petersburg State University. (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: glebsight@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 74–89.

DOI: 10.17223/1998863X/57/8

SELFWARD SPEECH ACTS IN THE CONTEXT OF KANT'S ETHICS AND MORE

Keywords: selfward speech acts; obligations; ethics; logic of action.

The author assumes that, alongside with a variety of speech acts that are addressed to the other, there are speech acts that are addressed to the speaker himself. These are selfward commands, promises, declaratives, and others. The aim of this article is to show that types of selfward speech acts can be distinguished between each other, and that these differences are fundamental within some areas of philosophical knowledge (ethics, for example). On the basis of Kant's goodwill ethical doctrine, the author shows that the distinction between selfward commissive/directive (roughly, selfward promise / command) and selfward declarative (roughly, selfward manifestation/proclamation) is fundamental. The major result is obtained due to the usage of formal philosophy of action tools, namely, a variation of the propositional dynamic logic. Using these tools, the author manages to demonstrate that free will defines itself with respect to the law of moral action as a deliberative agent (which reflects in formalism with the help of dstit-operator), while the act of free will of defining itself to a certain action is not deliberative (which reflects in formalism with the help of cstit-operator). The analysis of the way these two corresponding formulas show themselves on frames reveals the fundamental distinction between free will modes of action. Selfward declarative is the form of a universal code that is used by free will to make it respect the law of moral action. Selfward commissive/directive is the form of private practical principles (maxims), a form of making free will perform a certain act.

References

1. Austin, J. (1962) *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon.
2. Searle, J. (1975) A taxonomy of illocutionary acts. In: Gunderson, K. (ed.) *Language. Mind and Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp. 344–369.
3. Geurts, B. (2018) Making Sense of Self Talk. *Review of Philosophy and Psychology*. 9(2). pp. 271–285. DOI: 10.1007/s13164-017-0375-y
4. Searle, J. & Vanderveken, D. (1985) *Foundations of Illocutionary Logic*. Cambridge University Press.
5. Kant, I. (1980) *Traktaty i pis'ma* [Treatises and Letters]. Translated from German. Moscow: Nauka.
6. Vanderveken, D. (1991a) *Meaning and Speech Acts*. Vol. 1. Cambridge University Press.
7. Vanderveken, D. (1991b) *Meaning and Speech Acts*. Vol. 2. Cambridge University Press.
8. Benthem, J. van & Pacuit, E. (2014) Connecting Logics of Choice and Change. In: Müller, T. (ed.) *Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action*. Springer. pp. 291–314.
9. Horty, J. & Belnap, N. (1995) The Deliberative Stit: A Study of Action. Omission. Ability, and Obligation. *Journal of Philosophical Logic*. 24(6). pp. 583–644. DOI: 10.1007/BF01306968
10. Horty, J.F. (2001) *Agency and Deontic Logic*. Oxford. DOI: 10.1093/0195134613.001.0001
11. Kooi, B. & Tamminga, A. (2008) Moral Conflicts Between Groups of Agents. *Journal of Philosophical Logic*. 37(1). pp. 1–21. DOI: 10.1007/s10992-007-9049-z

12. Belnap, N. & Perloff, M. (1993) In the realm of agents. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*. 9. pp. 25–48.
13. Chellas, B.F.(1992) Time and Modality in the Logic of Agency. *Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic*. 51(3/4). pp. 485–517. DOI: 10.1007/BF01028972
14. Broersen, J. (2011) Making a Start with the stit Logic Analysis of Intentional Action. *Journal of Philosophical Logic*. 40(4). pp. 499–530. DOI: 10.1007/s10992-011-9190-6
15. Austin, J. (2006) *Tri sposoba prolit' chernila* [Three ways of Spilling Ink]. Translated from English. St. Petersburg: Aleteyya: St. Petersburg State University.
16. Belnap, N. (1991) Before Refraining: Concepts for Agency. *Erkenntnis*. 34(2). pp. 137–169. DOI: 10.1007/BF00385718
17. Xu, M. (2014) Group Strategies and Independence. In: Müller. T. (ed.) *Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action*. Springer. pp. 343–376.
18. Belnap, N. (1991) Backwards and Forwards in the Modal Logic of Agency. *Philosophy and Phenomenological Research*. 51(4). pp. 777–807. DOI: 10.2307/2108182

УДК 172.1

DOI: 10.17223/1998863X/57/9

М.В. Куликов

ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБЩЕСТВА: ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МИКРО-МАКРОУРОВНЕЙ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Осуществляется попытка нахождения «точки сопряжения» между микро- и макро-уровнями анализа правовых институтов дисциплинарного (в терминологии Фуко) общества. В качестве основы этого сопряжения представлена «меновая» теория права раннесоветского исследователя Е. Пащуканиса, в которой автор выводит все многообразие юридических отношений и социальной структуры, в том числе и институты исполнения наказаний, из частных обменных экономических отношений.

Ключевые слова: дисциплинарное общество, паноптикон, «меновая» теория права, марксизм, микро-макроуровни социальной структуры.

Одна из актуальных проблем социальной теории – проблема сопряжения микро- и макроуровней анализа социальных процессов. В настоящей статье предпринята попытка найти возможность для этого сопряжения через рассмотрение области юридического вообще и института наказания в частности. Особый вклад в анализ форм и практик дисциплинарной власти внес, конечно же, М. Фуко: «Писать сегодня о наказании и разделении, не обращая внимания на Фуко, – все равно, что говорить о бессознательном, не обращая внимания на Фрейда» [1. С. 82]. Центральное место в процессе становления дисциплинарного общества занимают институты исполнения наказания: «Карательная система – это форма, где власть в наиболее явном обличье показывает себя в качестве власти» [2. С. 71]. Вместе с тем Фуко интересуют именно техники, процедуры, практики наказания, при этом он не акцентирует внимание на причинах, порождающих такой тип обществ и такой тип властизнания. Эту позицию можно объяснить как особым исследовательским приемом дистанцирования, так и представлением самого автора о наличии мощной традиции, объясняющей эти причины. И главным кандидатом на роль такой традиции, конечно, является марксизм, который, анализируя общественно-экономические формации, движущие силы истории, изучая законы диалектики, выступает как теория изучения макропроцессов в противоположность «микрофизике власти» Фуко.

Сформулируем проблемы, рассматриваемые в настоящей статье следующим образом: существует ли возможность связать представления М. Фуко о тюрьме как особом типе института исполнения наказаний, ставшего своего рода прообразом, моделью для паноптического общества, с марксистскими представлениями о праве? Как связаны между собой частные отношения по поводу обмена товаров с дисциплинирующими практиками? И как можно соотнести марксистские представления об «отмирании» государства и права с представлениями Фуко об «избыточности» тюрьмы, о наполнении наказа-

ния в виде лишения свободы дополнительным содержанием в виде комплекса воспитательных, медицинских, психологических и тому подобных практик?

Учитывая чрезвычайно богатую марксистскую традицию, для решения поставленной проблемы необходимо найти точку сопряжения идей дисциплинарного общества, классовой борьбы и уголовно-правовой теории. И в качестве таковой нами будет рассматриваться так называемая «меновая» теория права во многом забытого в нашей стране представителя раннесоветской юридической науки Е. Пашуканиса. Работы Фуко не содержат в себе ссылок на его исследования, однако в работе «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» автор, говоря о предшественниках его взглядов на природу наказания, адресует слова благодарности Г. Руше и О. Киришхаймеру, чью работу «Наказание и социальные структуры» 1939 г., он именует «великим трудом» [3. С. 16], в котором они «сопоставили различные системы наказания с системами производства, в рамках которых они действуют» [Там же]. Вместе с тем подход указанных авторов во многом связан с подходом Пашуканиса, основная работа которого «Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических понятий» вышла за 15 лет до выхода их книги и во многом определила ее. Среди прочих, кто говорит о Пашуканисе как о «великом теоретике права» [4. С. 342], есть и современник Фуко – видный философ, политический теоретик и участник коммунистических политических групп Антонио Негри. В своей статье «Перечитывая Пашуканиса: заметки к дискуссии», впервые опубликованной в 1973 г., он оценивает идеи Пашуканиса о товарном обмене как фундаменте права, о частнособственническом характере всякой юридической нормы, о фетишизации товара и права как о «ключках к расшифровке этого мира» [Там же. С. 337], раскрывающих связь институтов стоимости, государства и капиталистического господства у Маркса с юридической формой и генезисом права при капитализме: «Пашуканис действительно был в числе первых (и, к сожалению, в числе последних марксистских теоретиков права), кто верно уловил марксовскую точку зрения, в оптике которой – по ту сторону от абстрактного и схоластического противопоставления базиса и надстройки – право диалектически рассматривается как форма реального процесса обмена, лицевая сторона меновой стоимости» [Там же. С. 307]. Таким образом, необходимость прояснения связи политико-правовых идей Пашуканиса и взглядов Фуко на власть, наказание и дисциплину представляется вполне обоснованной.

В связи с тем, что основные идеи Фуко о власть-знании довольно хорошо известны читателю, обратимся к менее знакомым для нас взглядам Пашуканиса. Становление молодого советского государства сопровождалось бурной дискуссией среди представителей раннесоветской юридической науки. Если критика Пашуканисом доктрины «естественных прав» вполне отвечает общему духу марксистской мысли, то его критика нормативистского представления о праве во многом отличала его от коллег М. Рейснера и П. Стучки, которые буквально интерпретировали тезис Маркса о праве как «возведенной в закон воле экономически господствующего класса» [5. С. 77]. Пашуканис справедливо отмечает, что нормативно-правовые акты являются продуктом деятельности государственного аппарата, бюрократии, а не господствующего класса напрямую, а значит, отношение между экономическим базисом и правовыми нормами сложнее, чем может показаться, если воспринять формулу

Маркса буквально. Слабость инструментального подхода к праву связана с его неспособностью объяснить объективный характер права, отстраненный от непосредственно частных интересов. Слабость формального подхода связана с рассмотрением права как явления, обособленного от социума, существующего только по законам внутренней логики. Его «меновая» теория права стала попыткой преодоления противоречий инструментальных и формальных юридических теорий. Автор предлагает оригинальную правовую концепцию, которая выводит содержание права из рыночных отношений. Он полагает, что правовые явления аналогичны явлениям, возникающим при товарном обмене, а базовые понятия права – «правовая норма», «правоотношение», «субъект права» – являются выражением экономических отношений; в свою очередь, базовые понятия рыночной экономики – «товар», «стоимость» – имеют свое «юридическое» содержание. Эквивалентный обмен выступает основой коммуникации в обществе. Так, например, поступки человека обусловлены действиями других людей, в своем поведении мы соотносим себя с другими, даже «золотое правило морали» («относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе») имеет «меновое» содержание.

Правоотношения, по мнению автора, возникают в условиях конкуренции на рынке, когда мы сталкиваемся с несовпадением целей его субъектов (тогда и возникает необходимость в их согласовании), и не возникают в момент единства целей (в этом случае возникает не правовая норма, но некоторый административный регламент, просто определяющий правила действия в данной области): «Основной предпосылкой правового регулирования является, таким образом, противоположность частных интересов. Это в одно и то же время логическая предпосылка юридической формы и реальная причина развития юридической надстройки. Поведение людей может регулироваться самыми сложными правилами, но юридический момент в этом регулировании начинается там, где начинаются обособленность и противоположность интересов» [6. С. 37–38]. Таким образом, право порождается именно в отношениях товарно-денежного обмена, где собственники выступают как равные субъекты, свободно распоряжающиеся принадлежащим им имуществом. Это и отличает буржуазное общество от, например, феодального, где правовой статус личности был связан с его социальным статусом, а значит, и право как таковое не возникало. То, что являлось регулятором общественных отношений в докапиталистическую эпоху, по сути, является не правом, а продолжением религиозных норм, выражением личной воли правителя, обобщением норм, традиций и т.п. Право как всеобщий абстрактный принцип вне статуса конкретной личности может появиться только в свободных, рыночных отношениях обмена, где всякий товар можно калькулировать и выразить в количестве времени, затраченного на его производство: «Только при полном развитии буржуазных отношений право приобретает абстрактный характер. Каждый человек становится человеком вообще, всякий труд сводится к общественно полезному труду вообще, всякий субъект становится абстрактным юридическим субъектом. Одновременно и норма принимает логически совершенную форму абстрактного общего закона» [Там же. С. 71].

Так как отношения по поводу обмена товаров выражают прежде всего частные интересы, то юридические формы, отражающие их, есть лишь выражение обменных отношений, поэтому право вообще всегда является частным

правом, публичное право «может существовать только как отображение частноправовой формы в сфере практической организации, или оно вообще перестает быть правом» [6. С. 57]. Из этого следует, что и государство не имеет собственной субстанциальной природы, выступая лишь как нейтральная сторона в спорах сторон по поводу заключенных договоров, применяя административные меры к нарушителям договора. Сугубо юридический подход к изучению государства оказывается не вполне состоятельным, поскольку динамика социальной жизни опережает юридические формы, а значит, юридический подход должен быть дополнен социологическим.

Отдельно исследователь останавливается на уголовном праве, которое имеет наиболее «зримую» юридическую силу, поскольку весьма сильно вторгается в область прав личностей. По причине этой силы именно уголовное право приобретает роль своего рода «права вообще», попадая в оборот которого конкретный человек превращался в своего рода юридического субъекта. Так как право производно от отношений обмена, правосудие представляет собой эквивалент товарообмена, своего рода недобровольный договор, сущность которого заключается в принудительном восстановлении справедливости через наказание, в уплате преступником (должником) стоимости причиненного им вреда (выраженного либо непосредственно в деньгах, либо во времени как эквиваленте денег) перед всем обществом.

Каким образом отношения обмена представлены в судопроизводстве? Автор полагает, что судебный процесс и принцип состязательности сторон представляют собой своего рода коммерческую сделку, заключение договора между защитой и обвинением. Эта идея впоследствии будет выражена у Фуко: «Наказание должно рассматриваться как вознаграждение, которое виновный выплачивает каждому из сограждан за преступление, нанесшее ущерб всем им» [3. С. 159]. В уголовном праве вред, причиненный преступлением, выступает некоторой стоимостью, которая должна быть уплачена, по поводу размера которой спорят защитник и обвинитель, словно руководимые экономическим законом спроса и предложения.

Почему именно лишение свободы стало основным видом наказания в капиталистическом, целерациональном, дисциплинарном обществе? Полагаем, потому, что в данном типе общества именно меновые, в широком смысле этого слова, процессы стали общепределяющими. Именно в процессе торгования (*bargaining*) ничем не упорядоченный обмен постепенно приобретает шаблонные формы, рутинизируется. Это проявляется и в экономике, и в политике, и в области права. Так, Пашуканис пишет, что «...лишение свободы на определенный, заранее указанный в приговоре срок есть та специфическая форма, в которой современное, т.е. буржуазно-капиталистическое, уголовное право осуществляет начала эквивалентного воздаяния. Для того чтобы появилась идея о возможности расплачиваться за преступление заранее определенным куском абстрактной свободы, нужно было, чтобы все конкретные формы общественного богатства были сведены к простейшей и абстрактнейшей форме – человеческому труду, измеряемому временем» [6. С. 122]. От этого и отталкивается «карательный преискурант» капиталистического общества: «Подобно тому, как на товарном рынке все виды труда в конечном счете сводятся к абстрактному труду, измеряемому рабочим временем, все виды наказания были сведены к лишению свободы на тот или иной срок в соответ-

ствии с тяжестью содеянного преступником. Абстрактный человеческий труд – единственный и всеобщий источник стоимости. Измеряющее его время – деньги, и потому время – все» [7. С. 282]. В соответствии с идеей времени-денег автор показывает связь приговора, выраженного в арифметическом количестве времени лишения свободы, с логикой товарно-денежных отношений: «Этот способ бессознательно, но глубоко связан с представлением об абстрактном человеке и абстрактном человеческом труде, измеряемом временем. Не случайно эта форма наказания укрепились и стала казаться чем-то естественным, само собой разумеющимся именно в XIX в., т.е. когда буржуазное общество полностью развило и укрепило все свои особенности» [6. С. 122]. Налицо связь права, пенитенциарных практик и экономического базиса: «Промышленный капитализм, декларация прав человека и гражданина, политическая экономия в системе срочного тюремного заключения суть явления одной и той же исторической эпохи» [Там же].

Обратившись к рассмотрению наказаний, связанных с лишением свободы, Пашуканис обнаруживает интересное явление, которое во многом станет основным содержанием работы Фуко «Надзирать и наказывать». Советский исследователь говорит о некотором расхождении формы и содержания такого рода наказания: действительная практика деятельности тюрем связана не только с изоляцией преступников, но и с процедурами их коррекции, дисциплинирования, воспитания, – словом, представляет собой нечто избыточное по отношению к своей форме (изоляции от общества). Пашуканис отмечает, что, несмотря на общепризнанный характер правового принципа *nulla poena sine lege* (лат. «нет наказания без закона, кроме того, которое предусмотрено законом»), мы обнаружим уже упомянутый нами выше «зазор» между теорией и практикой наказания – дополнительное наполнение лишения свободы процедурами дисциплинирования. Тем самым еще до Фуко Пашуканис указал на механизмы осуществления права как механизмы осуществления власти, которые представляют собой «момент иррациональный, мистифицирующий, нелепый... именно... момент специфически правовой» [Там же. С. 169]. Иррациональность буржуазного права, порожденного, по существу, несправедливым, но формально свободным экономическим обменом, порождает идеи ответственного за свою судьбу человека, свободу его выбора, равенство перед законом, идею эквивалентного преступлению воздаяния. Эта иррациональность связана с противоречиями самой социальной жизни и теми материальными отношениями, которые они выражают: «...но в то время, когда эквивалентность наказания в ее грубой, осязательно-материальной форме, как причинение физического вреда или взыскание денежного возмещения, именно благодаря этой грубости сохраняет простой и каждому доступный смысл, она в ее абстрактной форме лишения свободы на определенный срок теряет этот смысл, хотя мы по-прежнему продолжаем говорить о мере наказания, *соразмерной* (выделенно Е. Пашуканисом) тяжести содеянного» [Там же. С. 122–123]. Автор обнаруживает связь «нелепой» формы эквивалентности наказания преступлению, что, по его мнению, следует из материальных отношений товарнопроизводящего общества. Идея эквивалентности наказания преступлению появляется и у Фуко: «„Очевидность“ тюрьмы, с которой нам так трудно расстаться, основывается прежде всего на том, что она – простая форма „лишения свободы“. Как же тюрьме не быть преимущественным сред-

ством наказания в обществе, где свобода – достояние, которое принадлежит равным образом всем и к которому каждый индивид привязан „всеобщим и постоянным“ чувством? Лишение свободы, следовательно, имеет одинаковое значение для всех. В отличие от штрафа, оно – „уравнительное“ наказание. В этом своего рода юридическая ясность тюрьмы. Кроме того? тюрьма позволяет исчислять наказание в точном соответствии с переменной времени. Тюремное заключение может быть формой отдачи долга, что составляет в промышленных обществах его „очевидность“ – и позволяет ему предстать как возмещение... Тюрьма естественна, как „естественно“ в нашем обществе использование времени в качестве меры отношений обмена» [3. С. 338–339]. Пашуканис говорит о том, что наказание имеет «объективный» базис, выраженный в принципе эквивалентности, потому что только определенный состав преступления дает нам возможность соизмерения, следовательно, дает обществу возможность заставить его расплатиться за преступление, а не за то, что общество признало кого-либо опасным, что требует точной фиксации состава преступления. Отсюда возникают уголовное и уголовно-процессуальное право с их правилами процесса, приговора и исполнения. Отсюда возникает этот правовой фетишизм с его тотальной регламентацией, кодификацией, стремлением к «точному» измерению степени вины, участия, соучастия, точной фиксацией отдельных составов преступления, которые напрямую увязаны с определением «справедливой», т.е. эквивалентной? общественной опасности, меры наказания. В отличие от буржуазно-правового наказания, подлинная реакция общества на преступление, которую Пашуканис именуется понятием «мера социальной защиты», представляет собой чистую целесообразность, а значит, может отбросить принцип эквивалентности как сугубо буржуазный и заменить его требованием «точного описания *симптомов*» (выделено Е. Пашуканисом), характеризующих общественно опасное состояние, и разработки тех *методов* (выделено Е. Пашуканисом), которые нужно в каждом данном случае применять для того, чтобы обезопасить общество» [6. С. 127]. Общество должно регулироваться не правовыми, а техническими правилами, которые дают возможность индивидуализировать наказание, осуществлять корректирующие мероприятия психологического, медицинского, воспитательного, социального характера.

Пашуканис полагал, что преступление и наказание как юридические формы уйдут в историю вместе со всей юридической надстройкой, что, однако, не ограничит нас, а, напротив, даст нам возможность расширить границы воздействия на личность. Не ограничиваясь категориями «преступление», «вина», «участие», «соучастие», замена права «мерами социального принуждения» дает возможность осуществления санкций в отношении безграничного числа «социально опасных» или «классово-враждебных» элементов: «Превратить наказание из возмездия и воздаяния в целесообразную меру защиты общества и исправление данной социально опасной личности – это значит разрешить громадную организационную задачу, которая не только лежит вне чисто судебной деятельности, но, по существу, при успешном ее выполнении, делает излишними судебные процессы и судебные приговоры, – ибо когда эта задача будет полностью разрешена, исправительно-трудовое воздействие перестанет быть простым „юридическим следствием“ судебного приговора, в котором зафиксирован тот или иной состав преступления, но

сделается совершенно самостоятельной общественной функцией медицинско-педагогического порядка» [6. С. 126].

Во многом о схожем содержании процесса наказания пишет и французский исследователь: реальная практика функционирования пенитенциарных учреждений обнаружила тот самый зазор между их предназначением и реальным воплощением – эквивалентность наказания преступлению может и была представлена в приговоре суда, отмерившем срок лишения свободы, но реальный процесс исполнения наказания наполняется избыточным, дополнительным содержанием. Моделью идеального пенитенциарного учреждения становится Паноптикон – всевидящий инструмент, постоянное присутствие Другого, тотальная калькуляция и упорядочивание. В дисциплинарной практике XIX в. Паноптикон дополняет свою архитектурную конструкцию психологическими процедурами от исповеди до «научно обоснованных» психологических тестов и сеансов психоанализа. Физические машины зрения из всевидящих камер слежения дополняются психологическими машинами зрения типа перекрестных допросов, игры в «плохого–хорошего» надсмотрщика, проективных тестов, психотерапии и т.п. Тюрьма как место реализации наказания в виде лишения свободы выразила не только основную, ясную идею изоляции, но и идею «скрытую»: надзор осуществляется не за содеянным, но за тем, что может быть содеяно, не за фактом, но за тенденцией: «при паноптизме надзор стремится все более конкретизировать виновника поступка и перестает интересоваться правовой природой, уголовным характером самого проступка» [3. С. 123]. Это наблюдение будет развито у него в анализе классифицирующе-упорядочивающей правовой машины, связанной с работой по «производству» разного рода социальных групп – «делинквентов» (или, в советской терминологии, «социально чуждых элементов»): «Посетите места, где судят, заточают, убивают... Поражает одно обстоятельство: везде вы увидите два совершенно различных класса людей, один из которых всегда восседает в креслах обвинителей и судей, а другой – занимает скамью подсудимых» [Там же. С. 405]. Фуко показывает, как дисциплинарное общество преодолевает правовые формы, наполняя институты юстиции новым содержанием: регламентированным распорядком дня, построениями, синхронным движением, нормированием труда, и т.п. (он называет это «припиливанием» к судебной практике горизонта возможного знания). Это имеет под собой далеко идущие следствия – тюрьма, «якобы „терпя поражение“, на самом деле не бьет мимо цели. Напротив, она попадает в цель, поскольку вызывает к жизни одну особую форму противозаконности среди прочих, противозаконность, которую она способна вычленить, выставить в полном свете и организовать как относительно замкнутую, но проницаемую среду. Тюрьма способствует установлению видимой, открытой, заметной противозаконности, неустранимой на определенном уровне и втайне полезной, одновременно строптивой и послушной. Она обрисовывает, изолирует и выявляет одну форму противозаконности, как бы символически резюмирующую все прочие ее формы, позволяя оставить в тени те, которые общество хочет – или вынуждено – терпеть. Эта форма есть, строго говоря, делинквентность» [Там же. С. 406].

Тема исследования микро- и макроуровней системы наказания может быть дополнена рассмотрением вопроса об отношении Фуко к советскому

проекту. И значение этого проекта для него не столь незначительно, как может показаться. Французский исследователь Доминик Кола пишет, что «все его (Фуко. – М.К.) исследовательское предприятие родилось из культуры русского формализма... которой удалось спастись, ускользнув от „прокатного вала сталинизма“» [8. С. 204]. В выступлении на семинаре «Il faut défendre la société» Фуко объединяет нацизм и сталинизм, обнаруживая сходство сложившихся моделей надзора, теорий классовой борьбы и социальной гигиены в обоих государствах: «...после двух великих экспериментов (опыта фашизма и опыта сталинизма) мы вдруг ощутили, что под государственными органами, на совершенно ином уровне и до некоторой степени от них независимо, существовала целая механика власти, осуществлявшаяся постоянно, непрерывно и насильственно; она позволяла сохранять прочность и жесткость социального тела, причем играла в этом деле не меньшую роль, чем основные государственные органы, вроде армии или правосудия. И это пробудило у меня интерес к изучению таких неявных сил власти, власти невидимой, т.е. тех видов власти, которые связаны с институтами знания и здравоохранения» [2. С. 172]. Фуко замечает, что преобразование системы производственных отношений и политических, правовых, социальных институтов в Советском Союзе не изменяет «микроотношений власти», которые остаются тождественными отношениям в капиталистических государствах: «Я просто полагаю, что, делая основной – и исключительный – акцент на роли, которую играет государство, мы рискуем не заметить все механизмы и техники власти, которые не являются непосредственной функцией государственного аппарата, но при этом часто поддерживают его функционирование, переопределяют его направленность, позволяют ему достигнуть максимума эффективности. Советское общество дает нам пример государственного аппарата, который перешел в другие руки, но при этом сохранил те или иные типы социальной иерархии, семейной жизни, отношения к телу примерно такими же, какими они были в обществе капиталистического типа» [8. С. 36]. Советский Союз, упразднив частную собственность и рыночные производственные отношения, возрождает те же методы контроля и наказания, которые сложились в капиталистическом обществе, добавив к ним еще и практику «партийной дисциплины», и при этом придает им «огромный масштаб и скрупулезность – в смысле удивительного сочетания бесконечно большого и бесконечно малого» [Там же], одновременно индивидуализируя и тотализируя контроль над всем и вся.

В качестве заключения стоит сказать, что изучение системы власть-знание в ее соотношении с практиками исполнения наказания и анализом экономического базиса представляет собой значительный интерес еще и в связи с теми изменениями, которые претерпевает современный мир. Экономическое господство через контроль над жизнью, отказ от принуждения в пользу «управленчества» (*gouvernementalité*), медиализацию жизни, распространение сферы здравоохранения на все большие области – «биовласть» изменяет, во многом нивелируя значение правовых норм в ущерб диагнозу, медицинскому режиму, санитарным и эпидемиологическим нормам, техникам планирования семьи, «гармоничных» межличностных отношений и т.п. Право слишком «грубо» и «негуманно» для современного общества и поэтому уступает место более «мягким», научно обоснованным, внеидеологичным

«оздоровительным» методикам. Установить допустимые границы врачебного вмешательства гораздо сложнее, чем определить границы принудительного воздействия, поэтому медицинские практики более «деликатны» по своей форме воздействия на личность, а значит, и эффективнее правовых. Медиализация наказания приводит к противоречивым и не до конца понимаемым на сегодня последствиям: с одной стороны, она снимает с преступника ответственность, определяя его в терминах «болезни», «нездоровья», а с другой – лишает возможности предсказать характер, длительность и интенсивность «терапевтического воздействия». Грядущая «биовласть» формирует новую конфигурацию подчинения, расширяя властный дискурс на все новые области. Все это требует отдельного внимательного исследования.

Литература

1. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время. СПб. : Алетейя, 2010. 672 с.
2. Фуко М. Интеллектуалы и власть : избранные политические статьи, выступления и интервью : в 2 ч. М. : Праксис, 2002. Ч. 1. 384 с.
3. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ad Marginem, 1999. 480 с.
4. Негри А. Перечитывая Пашуканиса: заметки к дискуссии // Stasis. 2017. Т. 5, № 2. С. 302–349.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений : в 50 т. М. : Политиздат, 1961. Т. 19. 670 с.
6. Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. М. : Изд-во Ком. акад., 1929. 136 с.
7. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М. : Проспект, 2001. 304 с.
8. Мишель Фуко и Россия : сб. / под общ. ред. О. Хархордина. СПб. ; М. : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге : Летний сад, 2001. 349 с.

Mikhail V. Kulikov, Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia (Novokuznetsk, Russian Federation).

E-mail: philosophy_mk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 90–99.

DOI: 10.17223/1998863X/57/9

THE INSTITUTION OF PUNISHMENT IN THE STRUCTURE OF A DISCIPLINARY SOCIETY: AN ATTEMPT TO OVERCOME THE LIMITATION OF THE MICRO- AND MACROLEVELS OF SOCIAL PROCESSES ANALYSIS

Keywords: disciplinary society; panopticon; “exchange” theory of law; Marxism; micro- and macrolevels of social structure.

The article attempts to find an opportunity to examine the micro- and macrolevels of the legal field in general and the institution of punishment in particular. The representative of social macro-theory is Marxism with its analysis of socioeconomic formations, the driving forces of history, dialectics, as opposed to Foucault’s “microphysics of power”. The problems considered in the article can be formulated as follows: is it possible to connect Foucault’s ideas about prison as a special type of a penitentiary institution, which has become a kind of a prototype, model for a panoptic society, with Marxist ideas about the law? How are private relations on the exchange of goods related to disciplining practices? The so-called “exchange” theory of law by Evgeny Pashukanis is taken as the “junction point” of the micro- and macrolevels of social processes studies. Pashukanis offers an original legal concept that deduces the content of law from market relations: legal phenomena are similar to those that occur during commodity exchange, and the basic concepts of law–legal norm, legal relationship, subject of law – are an expression of economic relations; in turn, the basic concepts of market economy – goods, value–have their “legal” content. Pashukanis focuses on criminal law, which has the most “visible” legal force. Justice is the equivalent of commodity exchange, a kind of an involuntary contract, the essence of which is the forced restoration of justice through punishment, through payment by the offender (debtor) of the cost of the harm caused to the whole society. Turning to the consideration of penalties related to imprisonment, Pashukanis discovers a phenomenon that, in many ways, will become the main content of Foucault’s *Discipline and Punish*. Pashukanis claims that there is a certain

discrepancy in the form and content of this kind of punishment: the actual practice of prison activities is connected not only with the isolation of criminals, but also with procedures for their correction, discipline, and education. In short, these activities are excessive in relation to its form (isolation from society). As a conclusion, the trends of changing the institution of punishment in the direction of its medicalization are outlined, which indicates the formation of a new type of the power – knowledge system, “biopower” by Foucault.

References

1. Dyakov, A.V. (2010) *Mishel' Fuko i ego vremya* [Michel Foucault and his time]. St. Petersburg: Aleteyya.
2. Foucault, M. (2002) *Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'yu: v 2 ch.* [Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews: in 2 vols]. Translated from French. Moscow: Praksis.
3. Foucault, M. (1999) *Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my* [Discipline and Punish. The Birth of the Prison]. Translated from French. Moscow: Ad Marginem.
4. Negri, A. (2017) Rereading Pashukanis: notes for discussion. *Stasis*. 5(2). pp. 302–349. (In Russian). DOI: 10.33280/2310-3817-2017-5-2-8-49
5. Marx, K. & Engels, F. (1961) *Polnoe sobranie sochineniy: v 50 t.* [Complete works: in 50 volumes]. Vol. 19. Moscow: Izdatelstvo politicheskoy literatury.
6. Pashukanis, E.B. (1929) *Obshchaya teoriya prava i marksizm* [General Theory of Law and Marxism]. Moscow: Izd-vo Kommunisticheskoy akademii.
7. Spiridonov, L.I. (2001) *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Moscow: Prospekt.
8. Kharkhordin, O. (ed.) (2001) *Mishel' Fuko i Rossiya* [Michel Foucault and Russia]. St. Petersburg; Moscow: European University at St. Petersburg; Letniy sad.

УДК. 130.2

DOI: 10.17223/1998863X/57/10

С.Н. Оводова

ВЛИЯНИЕ ДИСКУРСА «ГЛОБАЛЬНОГО» И «ЛОКАЛЬНОГО» НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ¹

Выявляется трансформация методологии изучения культуры под влиянием дискурса «глобального» и «локального». Прослеживается связь дискурса «глобального» и «локального» и дискурсов постмодерна, постколониализма, дискурса постнеклассической рациональности, дискурса пространственного поворота. Сочетание указанных дискурсов повлекло за собой проблематизацию модели западной науки и актуализацию исследовательского интереса к системам дискурсивного, эпистемологического и социокультурного исключения.

Ключевые слова: культура, глобальное, локальное, постколониальные исследования, пространственный поворот.

В связи с тем, что теория и философия культуры не выработали универсального определения для понятия культуры, которое удовлетворяло бы большинство научных школ и исследовательских институтов, для выявления содержания понятия «культура» в определенный период можно обратиться к существующим методологиям исследования культуры. Методология исследования культуры не просто формирует исследовательскую программу и задает основные атрибуты понятия культуры, но и позволяет понять, что именно находится в фокусе внимания ученых, исследующих разные культурные практики.

Дискурс «глобального» и «локального» сегодня оказывает большое влияние на теорию и философию культуры, трансформирует культурную практику. Актуализация данного дискурса, помимо цифровой революции, политических и экономических глобальных тенденций, сопряжена с методологическими сдвигами, произошедшими в социально-гуманитарных науках. Можно проследить связь дискурса «глобального» и «локального» и дискурсов постмодерна, постколониализма, дискурса постнеклассической рациональности, дискурса пространственного поворота.

Диалектика дискурса «глобального» и «локального» и его отражение в современных философских концепциях культуры демонстрируют борьбу за возможность репрезентации в дискурсе своей пространственной локальной идентичности. Посредством дискурса происходит вписывание локальных смыслов в глобальные тренды. Дискурс «глобального» и «локального» одновременно демонстрирует отказ от пространственности и возвращение к пространственной локальной идентичности, жесткую привязанность культуры к смыслам территории и транзитную, сетевую, текучую идентичность.

¹ Исследование проводилось при поддержке гранта Президента РФ, проект МК-6373.2018.6 «Дискурс „глобального“ и „локального“ в современных философских концепциях культуры».

Глобализм актуализирует локальность, универсализация и ускорение глобального мира порождают романтический интерес к локальным культурам, которые стараются сохранить именно в связи с осознанием глобализма как внешней рамки их существования. Специфика и ценность локального проступают именно на фоне и в контексте глобального. Отражение глобальных тенденций в национальной культурной политике или, напротив, противопоставление национального и глобального – это различные принципы конструирования концепций культуры, исходящие из различного понимания взаимосвязи глобального и локального. Дискурс «глобального» формировался вокруг экономической, политической и экологической проблематики, в связи с чем он был направлен либо на выявление общих угроз, либо на определение тенденций развития. И то и другое предполагает выработку единого пространства, в пределах которого необходимо договариваться. Однако принципы конструирования общего, «глобального» мира были поставлены под сомнение пространственным и постколониальным поворотами, произошедшими в социально-гуманитарных науках. Данные методологические сдвиги связаны с постмодернизмом и постнеклассическим типом рациональности и философствования.

В статье будет проанализировано, как дискурсы постмодерна, постколониализма, дискурс постнеклассической рациональности и дискурс пространственного поворота, переосмысляя глобальные и локальные феномены в современной культуре, трансформировали методологию теории и философии культуры.

В постнеклассической рациональности происходит изменение отношения к субъекту и объекту, возникает понимание зависимости объекта от ценностных установок субъекта, а также от выбранной методологии постижения объекта: «Постнеклассический тип рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с внеаучными, социальными ценностями и целями» [1. С. 122]. Наука и ее методология уже не мыслятся оторванными от социокультурного, экономического и политического контекста; наоборот, признается влияние социального контекста на науку. Идеи, сформулированные в рамках постнеклассической рациональности, созвучны положениям постколониальных исследований, которые также акцентируют внимание на идеологической ангажированности науки: «В этом смысле Восток – это не только ментальный конструкт западной ориенталистской традиции, но и в прямом смысле ее порождение. В определенный момент их взаимной истории Запад в буквальном смысле лепил предмет своего изучения / освоения. Послевоенный Восток в значительной мере оказывается артефактом Запада, который тот создает в своих целях и в соответствии со своими представлениями о правильном пути не только политико-экономического, но и культурного развития» [2. С. 30]. Осознание конструируемости объекта исследования привело к рефлексии о собственных предпосылках познания. В постколониальных исследованиях заостряется внимание на условности востоковедения, признается, что изучаемый образ Востока создан Западом. Постколониальные исследования фиксировали наличие колониального подхода в западной науке и отмечали обусловленность восприятия локальности (Востока) посредством использо-

вания интеллектуальных конструкторов, которые делают легитимным политическое и экономическое доминирование Запада [3]. Постнеклассический тип рациональности выходит на уровень осмысления науки как глобального феномена, но и постколониальные исследования акцентируют обусловленность науки глобальными трендами. Развивая идеи постколониальных исследователей, представители деколониального поворота обращают внимание на то, что колониализм как факт истории остался в прошлом, однако колониальность как схема мышления продолжает утверждать доминирование и подчинение на уровне интеллектуальных конструкций. Данные конструкции признаются универсальными, глобальными, но, как отмечают представители деколониального поворота, на самом деле являются порождением западной науки: «Деколониальный поворот отказывается от универсализма постколониальных штудий, которые свой локальный англо-французский опыт выдают за «путешествующую теорию»... Они воспроизводят колониальность знания, т.е. глобальную систему продуцирования, легитимации и распространения знания, существующую вот уже пять столетий и прочно связанную с возникновением и изменениями современного / колониального мира» [4]. Критика со стороны представителей деколониального поворота по отношению к постколониальным исследователям заключается в том, что они указывают на наличие доминирования и подчинения как в социокультурной реальности, так и в науке, однако сами используют язык и интеллектуальные схемы западной науки, тем самым воспроизводя существующие схемы доминирования и подчинения. Локальные проблемы оказываются осмысляемыми, не исходя из собственного языка, а сквозь призму доминирующих дискурсов.

Подчеркивая необходимость отказа от позиций доминирования и подчинения как в социокультурной практике, так и в науке, представители деколониального поворота намеренно отказываются от использования в наименовании своего интеллектуального направления слова *studies*. Такое решение обосновано тем, что, продолжая воспроизводить схему «субъект–объект», ученые воспроизводят модель доминирования и подчинения, где субъект, опираясь на западную науку, подчиняет себе объект: «Постколониальные исследования не формулируют так свою задачу, потому что они остаются именно *исследованиями*, они ограничены рамками современного деления на субъект (который исследует) и объект (который исследуется) и сводят научные изыскания к применению высокой западной теории к локальному материалу» [Там же]. Использование постколониального подхода вкупе с деколониальной оптикой позволяет нам расширить теоретический контекст исследования и задать вопрос о позициях субъекта и объекта в социокультурных исследованиях. Положения, высказываемые представителями деколониального поворота, ставят под сомнение модель науки и модель глобального мира, и то и другое признается лишь феноменом западного мира. Однако такая критическая позиция может быть сама поставлена под вопрос, ибо становится непонятным, как осуществлять исследование. Как говорить о системе научного познания и что принимать за таковое? Как, изучая локальное, не выходить на уровень глобальных обобщений, не использовать уже выработанные в языке науки привычные категории? Как описывать локальное, на каком языке и в каких понятиях? Каждый раз вырабатывать альтерна-

тивный универсальному язык описания опыта, который был пережит человеком в контексте локального?

Примером критики западной модели науки является осуществленная Э.В. де Кастру деконструкция антропологии и ее основных установок как научной дисциплины. Как отмечает Кастру, классическая антропология исходит исключительно из колониального взгляда, который обращает европейский человек на Другого: «сам вопрос уже содержит в себе форму ответа, а именно форму Великого Разделения, того самого жеста исключения, который превращает человека как вид в биологическое подобие антропологического Запада, смешивая все другие виды и другие народы в общей отрицательной инаковости. В действительности спрашивать себя о том, что делает „нас“ отличными от „других“ – других видов и культур, и неважно, что „они“ собой представляют, поскольку важны тут только „мы“, – значит уже ответить на этот вопрос» [5. С. 12]. Пересмотр методологии антропологии влечет за собой осознание множественности возможных точек, исходя из которых может быть построена перспектива мира и культуры.

Постулируемый деколониальными исследователями отказ от иерархичных структур представляет собой развитие идей постколониальных исследований, где осуществлялась критика идеи империи и реальных имперских практик. Постколониальные исследователи, в свою очередь, развивают идеи постмодерна о ризоматичности, децентрализации, детерриторизации, номадологии, а также продолжают критику бинарной оппозиции центр–периферия. На становление постколониального дискурса оказали влияние философы постмодерна (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делез, Ф. Гваттари), что проявляется в деконструкции идеи центра и доминанты и во внимании исследователей к маргинальным, периферийным практикам и культурам. Такой подход приводит к отказу от выстраивания иерархий в теории и философии культуры, пространство начинает рассматриваться как транзитное, находящееся в становлении.

На становление данной проблематики, по нашему мнению, в том числе оказал влияние и пространственный поворот в социально-гуманитарных науках, который также является порождением дискурса постмодерна. Теория и философия культуры претерпевают дискурсивное насыщение пространственными метафорами, а также привнесением в поле анализа акцентов о производстве и развитии пространства [6]. Пространственный поворот детерминирован как социокультурными процессами, так и интеллектуальной постмодернистской рефлексией, предлагающей отказаться от рассмотрения культуры посредством обращения к категории времени, которая была актуальна в модерне. «Устранение международных блоков оказалось важнейшей движущей силой для поворота к пространству. Снятие пространственно-политической полярности сместило всю пространственную организацию мира, перекроив его карту, и обусловило новый пространственный фокус в сфере политики безопасности и соответствующих стратегий гегемонистского господства. Смещение Центральной Европы на Восток еще в середине 1980-х гг. на концептуальном уровне форсировал центральноевропейский критический дискурс, за которым последовал и самый главный прорыв – открытие границ. Соответствующая экспансия капиталистических рынков в переосмысленные пространства способствовала экономической глобализации, которая все больше оказывалась новой пространственной конструкцией. Исходной точ-

кой служила идея, что глобальные тенденции больше неподвластны индивидуальным национально-государственным акторам, но формируются определенной конфигурацией взаимозависимостей и связей. Создание сетевых структур и связей как свойство глобализации делает пространственную перспективу неизбежной. Категория времени, сопряженная с европейской идеологией эволюционного развития и ее концепцией истории прогресса, уже в любом случае неспособна охватить такие явления глобальной одновременноности и пространственно-политические связи между первым и третьим миром» [7. С. 341–342]. Обращение к категории пространства в связи с формированием глобального мира предполагает осуществление ревизии целого ряда категорий и понятий, например таких, как «граница», «Другой», «диалог культур», «локальная идентичность» и т.п.

Рефлексия над дискурсом «глобального» и «локального» привела к изменению методологических установок в теории и философии культуры, но и осмысление концептов «глобального» и «локального» в рамках дискурса постмодерна, пространственного и постколониального поворотов значительно трансформировало представления о локальности и глобальности. Локальное понимается теперь не только как нечто, связанное с конкретным пространством, происходит отход от географического детерминизма. Глобальные и локальные (региональные) культурные процессы осмысляются с позиций властного и символического подчинения, «жестких» и «текучих» пространственных идентичностей.

Основные научные результаты проведенного исследования заключаются в установлении взаимообуславливающей связи между феноменами, выраженными в понятиях «глобального» и «локального». На фоне «глобального», «универсального», «стандартизированного» более самобытным видится «локальное». Вместе с «глобальным» в эпоху модерна формируется и «локальное» в качестве отдельного понятия, подлежащего философской и культурологической рефлексии. Процессы глобализации порождают интерес к локальному, региональному, уникальному, – всему тому, что не вписывается в унифицированный проект единого глобального мира.

Темпы развития культуры в эпоху модерна породили ностальгию по локальному, которое начинает осознаваться своими носителями как нечто самобытное именно в столкновении с глобальным. Постоянно увеличивающаяся скорость изменений культуры вызывает желание зафиксировать состояние мира, что проявляется в консервации отдельно взятой локальности, связанности культуры с региональными контекстами. Локальная культура начинает себя фиксировать в материальной культуре, в предметах культурной памяти, в местах памяти. Этот процесс схож с тем, как ирония постмодерна породила феномен ностальгии о подлинности в метамодерне.

Переосмысление концептов границы, Другого, локальных (и локализованных) идентичностей, по нашему мнению, побудило исследовательский интерес к системам дискурсивного, эпистемологического и социокультурного исключения. В современных исследованиях культуры ведутся методологические поиски, связанные с разработкой подходов и языка анализа феноменов культуры, ранее исключаемых из области научного осмысления.

Носители иного культурного и социального опыта, не укладывающегося в общепризнанные рамки, были «невидимыми» для эпистемологических и

дискурсивных систем, были исключены из поля зрения дисциплин. Данные сообщества с их исконной идентичностью и практиками поведения неинтересны обществу, что влечет за собой полное «выпадение» из культуры, эти сообщества оказываются «не видны» (излишне локальны), а реальные формы их самосознания не репрезентированы. Однако, несмотря на их «невидимость», это не говорит об их отсутствии в реальном культурном пространстве. Критика модели современности как западной доминантной модели актуализировала опыт иных, Других, ранее исключаемых из дискурса культур и социальных групп. Данные трансформации подходов в теории и философии культуры можно проследить в появлении *trauma studies* [8], *memory studies* [9], постколониального подхода, деколониального поворота, постмодернизма, метамодернизма [10]. Указанные направления и подходы в теории и философии культуры представляют собой критику модерна и демонстрируют реакцию в интеллектуальной среде на кризис имперского восприятия пространства как вертикали власти, подчинения и подавления, дисциплинарного пространства. Постколониальный и деколониальный повороты, *trauma studies* и *memory studies*, постмодернизм и метамодернизм оказали влияние на весь комплекс социально-гуманитарных наук (литературоведение, философию, культурологию, историю, социологию, искусствоведение, политологию, антропологию и т.д.), трансформировали методологию изучения социально-гуманитарных наук и расширили поле изучаемых объектов. Постмодернизм обращается к маргинальным и периферийным смыслам в культуре, постколониальные исследования начинают искать подходы для анализа идентичностей «угнетенных» и «подчиненных» (*subaltern*), *trauma studies* и *memory studies* обращаются к опыту «травмированных»; таким образом, происходит поиск адекватных языков анализа данных явлений.

Проблема осмысления практик социокультурного исключения состоит в том, что данные феномены культуры либо стигматизируются, либо коммодифицируются и превращаются в зрелище, т.е. обычные системы работы с данными феноменами представляют собой репрезентацию этих смыслов как шока или как шоу.

Дискурс говорящих множеств возможен в описании и демонстрации только при отказе от примата субъекта над объектом, наделения фоновых процессов статусом говорящего о себе субъекта на том языке, на котором он хочет говорить, а не на котором его хотят услышать. Это подразумевает методологическую ревизию, о необходимости которой заявляет В.С. Степин, манифестируя постнеклассическую рациональность. В эпоху принципиальной эпистемологической и этической безосновности глобального мира, когда ни одна социальная, культурная, политическая теория уже не претендует на статус универсальной и все объясняющей, как раз фоновое пространство культуры, куда были вытеснены и где были маргинализированы утратившие актуальность дискурсивные практики, где возникали свои культурные смыслы, проговариваемые на языке субалтернов, рождает новации, способные вновь консолидировать современную культуру.

Литература

1. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники : учеб. пособие. М. : Контакт Альфа, 1995. 377 с.

2. Говорунов А.В., Кузьменко О.П. Ориентализм и право говорить за другого // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 2 (11). С. 26–43.
3. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб. : Русский Мир, 2016. 672 с.
4. Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эстетизма // Человек и культура. 2012. № 1. URL: http://e-notabene.ru/ca/article_141.html (дата обращения: 01.11.2019).
5. Кастру Э.В. де Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. 200 с.
6. Лефевр А. Производство пространства. М. : Strelka press, 2015. 432 с.
7. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М. : Новое лит. обозрение, 2017. 504 с.
8. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40.
9. Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М. : Новое лит. обозрение, 2019. 552 с.
10. ван ден Аккер Р. Метамоде́рнизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. М. : РИПОЛ классик, 2019. 494 с.

Svetlana N. Ovodova, Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation).

E-mail: sn_ovodova@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 100–107.

DOI: 10.17223/1998863X/57/10

THE INFLUENCE OF THE DISCOURSE OF “GLOBAL” AND “LOCAL” ON METHODOLOGICAL CHANGES IN THE THEORY AND PHILOSOPHY OF CULTURE

Keywords: culture; global; local; postcolonial studies; spatial turn.

The article reveals the influence of the discourse of “global” and “local” on the transformation of the methodology of studying culture. The connection between the discourse of “global” and “local” and the discourses of postmodernism, postcolonial studies, the discourse of post-non-classical rationality, the discourse of spatial turn is traced. The combination of these discourses entailed the problematization of the model of European science, the rethinking of the phenomena of domination and submission, the actualization of research interest in systems of discursive, epistemological, and cultural exclusion. The main scientific results of the study are establishing the mutual influence of the phenomena of “global” and “local”. “Local” is seen as original against the backdrop of “global”, “universal”, “standardized”. The concepts “global” and “local” are formed in the modern era. The processes of globalization generate interest in the local, regional, unique—all this does not fit into the unified project of a single global world. Postcolonial studies and the decolonial turn criticize colonial thinking patterns that reproduce dominance and subalternism in science and in cultural reality. The discourse of plurality becomes possible only with the failure of supremacy and domination of the subject over the object. It is necessary to allow the subaltern to speak the language he wants to speak, and not the language he wants to hear. Manifesting a post-non-classical rationality, Vyacheslav Styopin states the need to conduct a methodological audit. In the modern era, no social, cultural, political theory claims to be universal and explaining everything. The global world does not have common ethical foundations. Marginal discursive practices were supplanted into the background space of culture and recognized as no longer relevant. However, the background space of culture creates innovations and is able to re-consolidate modern culture.

References

1. Stepin, V.S., Gorokhov, V.G. & Rozov, M.A. (1995) *Filosofiya nauki i tekhniki* [Philosophy of Science and Technology]. Moscow: Kontakt Al'fa.
2. Govorunov, A.V. & Kuzmenko, O.P. (2013) Orientalism and a Right to Speak for an Other. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury – International Journal of Cultural Research*. 2(11). pp. 26–43. (In Russian).
3. Said, E. (2016) *Orientalizm. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism. Western concepts of the Orient]. Translated from English. St. Petersburg: Russkiy Mir.
4. Tlostanova, M.V. (2012) Postcolonial Theory, Decolonial Choice and Liberating Esthesis. *Chelovek i kul'tura – Man and Culture*. 1. pp. 1–64. (In Russian). DOI: 10.7256/2306-1618.2012.1.141.

5. Castro, E.V. de (2017) *Kannibal'skie metafiziki. Rubezhi poststrukturnoy antropologii* [Cannibal Metaphysics: For a Post-Structural Anthropology]. Translated by D. Kralechkin. Moscow: Ad Marginem Press.
6. Lefebvre, A. (2015) *Proizvodstvo prostranstva* [Production of Space]. Translated from French by I. Staf. Moscow: Strelka press.
7. Bachmann-Medic, D. (2017) *Kul'turnye povoroty. Novye orientiry v naukakh o kul'ture* [Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture]. Translated from English. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
8. Alexander, J. (2012) Kul'turnaya travma i kollektivnaya identichnost' [Cultural trauma and collective identity]. *Sotsiologicheskij zhurnal – Sociological Journal*. 3. pp. 5–40.
9. Assman, A. (2019) *Zabvenie istorii – oderzhimost' istoriey* [Oblivion of history – obsession with history]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
10. van den Akker, R. (2019) *Metamodernizm. Istorichnost', Affekt i Glubina posle postmodernizma* [Metamodernism. Historicity, Affect and Depth]. Translated from German by V.M. Lipka. Moscow: RIPOL klassik.

УДК 123.1; 177

DOI: 10.17223/1998863X/57/11

В.Н. Сыров

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СВОБОДНОЙ ВОЛИ И ДЕТЕРМИНИЗМА¹

Обсуждены направления трансформации идеи ответственности, выявлены определенные результаты этого процесса и показаны возможности их применения к анализу идеи исторической ответственности. Отмечено, что актуализация самой темы и доминирующие трактовки ответственности (ответственность за будущее как добродетель, согласование требований) обусловлены возникновением и развитием современного общества. Выдвинут тезис о трех социальных ролях (производители, трансляторы и потребители исторического знания), обеспечивающих моральное разделение труда в трактовке субъекта исторической ответственности.

Ключевые слова: моральная ответственность, историческая ответственность, моральное разделение труда, субъект ответственности, объект ответственности, реактивные установки, принцип достоинства, мотив уважения

В одной из недавних работ была выдвинута примечательная мысль, что «ответственность» больше не рассматривается как особая форма нормативной силы, а нормативная сила в целом рассматривается как (форма) «ответственности» [1. Р. 2]. Этот тезис, судя по всему, предполагает, что принятие какой-либо обязанности или обязательства (держат обещание, к примеру) с необходимостью подразумевает обязательство его выполнить, что входит в состав представлений об ответственности. В любом случае резонно предположить, что данное суждение отражает определенный сдвиг в представлениях о роли и ценности ответственности.

В исследовательской литературе, как правило, утверждается, что понятие ответственности носит сложный, комплексный и даже парадоксальный характер [2. Р. 288]. Представляется, что это суждение не исключает возможности выделения в данной теме нескольких аспектов, на наш взгляд, взаимосвязанных друг с другом. Связь эта заключается не просто во взаимной поддержке друг друга, но и в том, что прояснение сути одного аспекта помогает понять сущностные черты остальных. К этому тезису стоит добавить динамический аспект. Как правило, по сей день зачастую в литературе ответственность связывается с виной индивида за ошибки, упущения, вред, причиненный кому-либо, вина увязывается с причиной (действия X стали причиной вреда), данная связь трактуется как нечто фактически данное, а ответственность в целом – как одно единое понятие. Но резонно предположить, что тезис о комплексности понятия ответственности отражает не просто многообразие и противоречивость смыслов, изначально в ней содержащихся, а их возникновение (вплоть до генезиса самой идеи ответственности)

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках научного проекта № 19-18-00421.

и актуализацию тех или иных аспектов в определенный культурно-исторический период.

Такая установка позволяет нам последовательно обсудить в статье три взаимосвязанные задачи: во-первых, рассмотреть условия возникновения и направления трансформации идеи ответственности, во-вторых, выявить некоторые результаты, полученные на этом пути, в-третьих, посмотреть, как обсуждение двух предшествующих задач может помочь нам в анализе идеи исторической ответственности.

Если принять такую последовательность, то стоит начать с вопроса об условиях и причинах актуальности данной темы в надежде, что ответ на него позволит понять не только общие условия и обстоятельства обращения к теме ответственности, но и те акценты, на которые делается упор в современной литературе.

Согласно американскому философу Ричарду Маккеону, впервые слово «ответственность» в английском и французском языках упоминается в 1787 г. и первоначально, скорее, связывалась с определением причины происшедшего, необходимостью отчитаться о своих действиях, вменением вины и наказанием [3. Р. 66–69]. В таком смысле оно использовалось для характеристики работы политических институтов в контексте американской и французской революций. В XIX в. этот смысл закрепился как идея ответственного правительства, т.е. действующего в соответствии с законами и отражающего интересы общества через институты, обеспечивающие выборность, гласность и публичность действий [Ibid. Р. 80].

В своем примечательном труде «Принцип ответственности» немецкий мыслитель Ганс Йонас ставит симптоматичный вопрос: «Почему понятие ответственности, которому мы желаем здесь отвести центральное место в этике, не играет такой роли, вообще не играет никакой существенной роли в дошедших от прежнего теориях нравственности, вследствие чего нигде также невозможно обнаружить чувство ответственности в качестве аффективной составляющей нравственного формирования воли, но эту роль исполняют совершенно другие чувства, такие как любовь, благоговение?» [4. С. 263]. Он же связывает актуализацию этой темы с изменением места и роли таких составляющих человеческого бытия, которые характеризует как «знание» и «сила». Под первым, судя по всему, понимается не столько общее расширение наших представлений о себе и мире, сколько приобретение весьма специфического знания, а именно знания о многовариантности и неопределенности будущего. Резонно, что такое понимание требует ставить вопрос не только о средствах достижения целей, предполагая, что сами эти цели остаются постоянными и устойчивыми, но и об определении самих целей. Очевидно, что такое положение дел требует развития способности принимать решение, связанное с известным риском, а значит, брать на себя ответственность за его осуществление. Забегая вперед, можно утверждать, что такая трактовка предполагает расширение представлений об ответственности, включая в них способность дать отчет не только о сделанном, но и о том, что предстоит сделать.

То, что Йонасом определяется как «сила», характеризует все возрастающую человеческую мощь в реализации как частных, так и публичных целей. Ощущение этой мощи связано было, как известно, с изменением цен-

ностных установок в обществах модерна, а именно ориентацией на преобразование наличного положения дел. Первоначально оно интерпретировалось как воплощение тех или иных социальных законов (теории прогресса), далее – как собственный творческий проект будущего, и в свете такой трансформации предполагало сдвиг в представлениях об ответственности. Понятно, что внешне сходное с традиционным толкование ее как отчета о последствиях подразумевало иной смысл последствий (хотя бы по степени их масштабности). На первый взгляд, идея мощи казалась противоречащей идее знания, но чем более цели стали трактоваться как собственный проект, тем более идеи силы и знания оказывались взаимосвязанными и взаимно обуславливающими друг друга.

Немецкий исследователь Фридер Фогельманн в анализе условий возникновения идеи ответственности отмечает одну важную вещь. Идею ответственности надлежит считать определяющим фактором формирования субъективности. «Быть ответственным значит относиться определенным образом к себе» [1. Р. 6]. Такой «ответственный субъект, возникающий из дискурсивных практик, характеризуется последовательностью, самопрозрачностью и уверенностью» [Ibid. Р. 10]. Более того, эти черты приобретают статус своеобразных императивов. Но они носят не просто эпистемологический статус (ответственность за суждения), а наделяются экзистенциальным смыслом. «Никто не может отменить их без риска для своего существования как субъекта» [Ibid.].

Этим подчеркивается тот примечательный факт, что внедрение идеи ответственности конституирует самого субъекта, а не просто формирует в нем определенные качества. Поэтому ответственность начинает трактоваться именно как ответственность за выдвигаемые цели. Нет нужды специально останавливаться на анализе тех социальных практик общества модерна (экономических, политических, культурных), которые востребуют такого субъекта во всех сферах социальной жизни. Важно, что учет этого обстоятельства обуславливает понимание того, почему ответственность и в каких ее аспектах начинает выходить на передний план в современной мысли.

Еще один существенный аспект, связанный с определением условий актуализации темы ответственности, затронут в статье Гаррата Уильямса. Автор даже предлагает своеобразную формулу для характеристики сущности современных трактовок: «Ответственность представляет собой готовность откликнуться на многообразие нормативных требований» [5. Р. 459]. Причем Уильямс подчеркивает, что речь идет не просто о выборе какого-либо нормативного кодекса, а об умении согласовать различные виды требований как во времени, так и в пространстве. Иначе говоря, ответственность связывается с формированием умения согласовывать краткосрочные и долгосрочные задачи (или цели и средства), находить компромисс между различными видами требований, предъявляемыми различными типами субъектов, вовремя реагировать на изменения в характере этих требований. Поэтому автор правомерно отмечает, что вряд можно было бы объяснить возросшую ценность рассудительности, воображения и инициативы в характеристике ответственного субъекта, если бы не тезис о плюралистичности современного общества [Ibid. Р. 460].

Важный момент, отмечаемый Уильямсом, заключается в признании исчезновения привилегированной точки отсчета, что ставит под сомнение такую традиционную добродетель, как способность быть последовательным в реализации поставленных задач и принятых требований. Последовательность для современного человека, скорее, будет заключаться в способности находить приемлемые компромиссы (откликаться на рациональные основания) в столкновении различных моральных кодексов. Эта же способность формирует формальный критерий определения требований, на которые стоит откликнуться [5. Р. 461]. По сути, речь идет о переопределении сути ответственности, которая будет заключаться не просто в принятии обязанностей и обязательств и не только в упреках и обвинениях за сделанное, а в формировании «готовности», а именно готовности откликнуться на многообразие [Ibid. Р. 462]. Недаром автор подчеркивает, что обычно приводимые в литературе примеры недобросовестного исполнения обязанностей (например, безответственность водителя, употребившего спиртные напитки перед поездкой) следует считать упрощенной трактовкой, которая скорее затемняет, чем проясняет суть современной ответственности [Ibid. Р. 460]. Поэтому безответственность будет заключаться не в простом отказе от исполнения обязанностей, а в слишком упрощенном подходе к их истолкованию [Ibid.].

В конечном счете автор предлагает говорить об ответственности как о своеобразной современной добродетели. Более того, по его мнению, она становится базисной добродетелью современных обществ [Ibid. Р. 456]. Причем она трактуется не как добавление к остальным добродетелям, а как особая отдельная добродетель, поскольку предполагается, что плюралистичность современного социального бытия требует от индивида развития специфических (вышеописанных) способностей и навыков. В этом аспекте рассуждения Уильямса выступают своеобразным продолжением соображений Фогельмана в тезисе, что ответственность, конституирующая субъекта, из императивов должна стать чертой характера. По этой же причине Уильямс отмечает, что язык, оперирующий такими выражениями, как «привлекать кого-то к ответственности», становится неуместным, если мы трактуем ответственность в терминах «добродетели», а добродетельного индивида – как чувствительного к рациональным основаниям выдвигаемых многообразных требований [Ibid. Р. 462].

Таким образом, мы можем видеть, что ответственность как ценность и как нормативное требование востребуется в связи с формированием и трансформацией современных обществ. Вот почему без понимания их специфичности нам трудно будет понять сам смысл обращения к данной теме. Прежде всего, характерной чертой становится универсальность ответственности или обращенность к каждому, именно потому, что реализация самих принципов организации современного общества становится просто невозможной без создания личностей, т.е. субъектов, способных принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это, конечно, увеличивает зоны риска, но с другой – вовлекает всех индивидов в зону ответственности. Во-вторых, мы можем видеть, что само слово если не впервые появляется в соответствующем контексте в современном дискурсе, то по крайней мере постепенно наполняется современными смыслами. Речь идет о придании той же подотчетности и вменении в вину морального, а не только правового зна-

чения. Далее. Ответственность за результаты начинает дополняться, а затем и определяться ответственностью за планируемые цели. Ответственность как требования и обязательства трансформируется в ценность (добродетель).

Что касается содержания актуальной тематики, то прежде всего стоит начать с трактовок идеи ответственности. Как отмечают современные исследователи, «...в философских дискуссиях ответственность часто трактуется как одно единое общее понятие, или по крайней мере такое впечатление эти дискуссии могут создать» [6. Р. 1]. Принято считать, что первым, кто поднял тему разнообразия смыслов, вкладываемых в идею ответственности, был английский философ и теоретик права Герберт Харт. В своем труде «Ответственность и наказание» он выделил четыре значения слова «ответственность»: ролевая ответственность, каузальная ответственность, ответственность как виновность и ответственность как способность [7. Р. 212].

Австралийский исследователь Питер Кейн считает позицию Харта не совсем удовлетворительной по трем причинам. Во-первых, потому что обсуждение Хартом юридической ответственности сконцентрировалось только на уголовном праве, игнорируя, в частности, гражданское право [8. Р. 22–23]. Во-вторых, потому что Харт не показал взаимосвязи и взаимозависимости между выделенными им смыслами ответственности [Ibid. Р. 23]. Ну и, в-третьих, потому что, по сути, Харт связывал ответственность только с результатами действий или ответственностью за сделанное, причем сделанное неправильно, что нашло выражение в его актуализации роли санкций [Ibid.]. Кажется резонным связывать такой подход британского автора с особым объектом его исследования. Но сам Кейн полагает, что сведение ответственности к виновности, виновности к санкциям, а санкции к наказаниям за причиненный вред слишком сужает смысл самой идеи ответственности даже в праве. Кейн считает, что задача права – не только наказывать за сделанное, но и формировать планируемую линию поведения [Ibid. Р. 31]. Если выйти за рамки сугубо юридического контекста обсуждения темы, то упрек Кейна в игнорировании или преуменьшении роли ответственности за будущее позволяет увидеть более глубокий подтекст данного утверждения (вне зависимости от преставлений самого Кейна) и связать его с общими тенденциями в трансформации сути ответственности.

Стремление Харта дать более структурированное и детализированное понимание сути ответственности нашло свое продолжение. В этом отношении характерными можно считать соображения, выдвинутые австралийским автором Николь Винсент. Она выделяет как минимум шесть значений данного слова, обозначив свой подход как «структурированную таксономию понятий ответственности» [9. Р. 16]. Автор предлагает говорить об ответственности как добродетели, ролевой ответственности в том же смысле, в каком употреблял это понятие Харт, ответственности за результаты (вышеупомянутый Кейн называет такой подход к ответственности исторической ответственностью [8. Р. 31].), каузальной ответственности, вслед за Хартом ответственности как способности и ответственности как виновности [9. Р. 16–18].

Винсент, учитывая упрек, сделанный Кейном по отношению к классификации Харта, осуществляет еще один шаг в реализации предложенной ею структурной таксономии. Она стремится выявить отношения между выше-

описанными трактовками ответственности. Судя по предложенной ею схеме [9. Р. 19], основанием или условием для формирования предлагаемых ею типов ответственности выступает ответственность как способность. Однако ниже в специальной подсекции автор подчеркивает значение сложившихся норм в определении характера ответственности [Ibid. Р. 24–26]. Эта оговорка неслучайна, поскольку позволяет говорить о «приписывании» ответственности, а не ее редукции к натуралистической трактовке как некоторого естественного факта.

Какие же выводы мы можем сделать на основании анализа вышеописанных вариантов трактовки ответственности? Прежде всего следует отметить, что стремление выявить многообразие смыслов в современной литературе становится скорее правилом, чем исключением. Ибо ван де Поэль, профессор университета в Делфте (Нидерланды), к примеру, выделяет уже девять трактовок ответственности [10. Р. 38–39]. Хотя в целом в этих подходах преобладает аспект формальный, чисто классификационный, обусловленный стремлением не столько опереться на исторические условия возникновения тех или иных смыслов, сколько учесть все возможные контексты современного словоупотребления. Но налицо сам факт чувствительности к многообразию смыслов без намерения утверждать правильный или определяющий смысл. Поэтому можно согласиться с утверждением Кейна, что идея ответственности отражает разнообразный и разнородный набор практик и понятий, для понимания которого более правомерным следует считать контекстуалистский подход [8. Р. 25].

Понятно, что выявление всех возможных нюансов помогает нам, как отмечает сама Винсент, избежать двусмысленности в трактовке обсуждаемых понятий в тех или иных дискуссиях [9. Р. 27]. Но более важно, что фиксируемое многообразие заставляет трактовать ответственность как многоаспектный концепт, где одни смыслы не могут быть просто редуцированы к другим. Например, мы понимаем, что можем быть ответственны за действия, причиной которых мы не являемся, причем не только в пространственном, но и в темпоральном аспекте. Понятно, что руководитель несет ответственность за действия своих подчиненных (ответственность как авторитет), родитель – за своих детей, но и мы можем нести ответственность (например, экологическую) за результаты действий, причиной которых являются наши предшественники, и нести ответственность даже за те действия, последствия которых также уже в прошлом (историческая ответственность).

Предложенные классификации сами становятся толчком не только для более детальных трактовок, но и для определения принципов самих классификаций. Так, исследователи отмечают использование разных терминов для обозначения сходных аспектов. То, что Кейн называет исторической ответственностью или ответственностью за сделанное, другие авторы характеризуют как ретроспективную ответственность. То же самое касается обозначения ответственности за будущие действия. Одни называют ее ролевой ответственностью, другие – ожидаемой ответственностью. Все дело в определении нюансов, которые авторам удастся установить при анализе тех или иных ситуаций. Можно двинуться далее и выстраивать смыслы ответственности путем не простого их перечисления, а построения структуры на основании некоторого набора принципов. Например, в темпоральном аспекте

можно говорить об ответственности за сделанное (прошлое) и за планируемое (будущее). С позиций структуры действия можно выделять ответственность за действия и за результат. С позиции определения статуса ответственности можно говорить о ролевой ответственности и ответственности как добродетели. С точки зрения определения субъекта можно выделять индивидуальную и групповую ответственность и т.д. Эвристичность такого рода построений может быть связана, во-первых, с возможностью более детальной интерпретации выделенных аспектов (например, под ответственностью за прошлое можно понимать как прошлые собственные действия, так и действия своих предшественников), во-вторых, с перспективой не только описания наличных смыслов, но и моделирования возможных.

Выше уже было отмечено, что специфика современного понимания заключается в утрате эвристической ценности поисков правильного или системообразующего смысла той или иной трактовки ответственности. Поэтому исторический контекст следует считать определяющим фактором актуализации тех или иных ее нюансов. Но такой подход не исключает возможности и даже правомерности выделить современные приоритетные смыслы или подходы к их трактовке. Так, если мы полагаем, что можем усматривать ответственность в действиях индивидов и групп, не являющихся причиной тех или иных явлений, то значит должны искать другую ее трактовку. Резонно полагать, во-первых, что для ее характеристики правомерным будет использование слова «приписанность». Это означает, что мы можем возлагать на людей ответственность за действия, которые они не порождали (за забвение прошлого, за неучастие в мероприятиях по охране окружающей среды и т.д.). Во-вторых, столь же резонно полагать, что основанием для такого приписывания может служить принятие определенных норм и ценностей (и оценок, осуществляемых на их основании). Поэтому, если бы мы двинулись в направлении поиска истока и оснований связи многообразных трактовок ответственности, то искали бы их не в способностях индивидов, в отличие от подхода Винсент, а в специфике современной нормативности.

Если это так, то размышления Марион Смайли о поиске путей определения ответственности можно трактовать как своеобразные методологические указания в таком поиске. Она подчеркивает, что наши трактовки ответственности зависят от конфигурации индивидуальных социальных ролей и от наших представлений о том, являются ли те, кому наносится вред, частью нашего сообщества [11. Р. 256]. Первое будет определять, какая форма и степень ответственности будет возлагаться на исполнителя той или иной роли. Можно сказать, что от такого распределения будет зависеть моральное разделение труда, о котором говорит Уильямс. Второе указывает, за кого мы будем брать ответственность. Понятно, что оба фактора определяются принятыми нами нормами и ценностями. Понятно, что оба фактора являются подвижными, а не статичными. Было бы соблазнительно толковать такую динамику в сторону простого расширения зоны ответственности (за что и за кого). Но Смайли приводит показательный пример, как развитие представлений о ценности личности может приводить к сокращению такой зоны, в частности в сфере семейных отношений [Ibid. Р. 257].

Более гибкое представление об изменениях зоны ответственности подталкивает к отказу от упрощенных линейных трактовок данных изменений.

Становится очевидным, что в одних контекстах такая зона сужается, а в других – расширяется. Представляется, что такое осознание, скорее, подталкивает к прояснению характера современной ответственности: в чем именно она должна заключаться. Смайли неоднократно подчеркивает, что надлежит сосредоточиться на поиске тех условий, сил, факторов, которые мы могли бы контролировать в будущем, чтобы предотвратить повторение причиняемого вреда [11. Р. 179]. С этой точки зрения понятие контроля становится более приемлемым для определения особенностей ответственности за будущее. Он подразумевает не столько и не только поиск причин (ответственных за) совершенного действия, сколько выявление тех факторов, которые в состоянии использовать современный индивид (группа, общество) для достижения желаемых целей и предотвращения или устранения возможного вреда, и установление тех агентов действия, которым по силам воздействовать на эти факторы.

Утверждение о приоритетности норм и ценностей в определении ответственности можно считать хорошим основанием для перехода от общего к частному, а именно к вопросу о моральной ответственности. Не будем специально останавливаться на анализе исследовательской ситуации в этой сфере, связанной с тем, что этот вопрос был фактически подменен вопросом о соотношении свободы воли и детерминизма. Если шагнуть за пределы этой дискуссии, то можно отметить, что наиболее простым и достаточно распространенным ответом будет тезис о связи моральной ответственности с нарушением или соблюдением именно моральных требований [7. Р. 227]. Проблема в том, что практика показывает, что многие действия одновременно получают как правовое, так и моральное осуждение. Что тогда может служить критерием их различения?

Кейн в таком поиске говорит о распространенности убеждения в большей искусственности права и его обусловленности насущными социальными практиками, в то время как мораль выглядит «продуктом спокойного, рационального и принципиального размышления о природе мира и человеческого бытия», а потому первичной в смысле задающей стандарты оценки самого права и социальных практик в целом [8. Р. 2]. Он отмечает также отсутствие формальных санкций за нарушение моральных норм. «Для многих людей мораль – больше вопрос ценностей, свободный от притязаний на власть и господство» [Ibid. Р. 11]. Юридическая ответственность институализирована, в отличие от моральной, поэтому «юридическая «версия» ответственности более детализирована, чего не хватает моральной «версии». [Ibid. Р. 12]. Также в силу специфики моральных санкций мораль может позволить себе быть до известной степени расплывчатой и неопределенной. Поэтому, по мнению Кейна, право может внести важный вклад в обогащение наших представлений об ответственности [Ibid.]. Но, с другой стороны, насколько право выступает усилением морали, настолько его следует считать оправданным, а в противном случае – аморальным и неприемлемым [Ibid. Р. 13]. В итоге основной тезис автора заключается в утверждении о симбиотическом характере взаимоотношений морали и права [Ibid.]. Рассуждения Кейна можно считать вполне резонными (хотя есть и противоположная позиция, настаивающая на автономии права), но, правда, они мало что добавляют к идентификации содержания моральной ответственности.

Любопытная попытка предложить индикаторы опознания моральной ответственности представлена в примечательной статье Питера Стросона «Свобода и обида». Как известно, его методология строится на, так сказать, феноменологическом описании обычных межличностных отношений [12. Р. 23]. Автор отмечает, что, как правило, мы испытываем определенные эмоциональные состояния как реакцию на те или иные действия тех или иных индивидов по отношению к нам и, соответственно, предполагаем, что и они также будут испытывать аналогичные состояния в случае наших аналогичных действий. Такие реакции Стросон называет «реактивными установками», среди которых выделяет благодарность и обиду [Ibid. Р. 22–23]. Такие же эмоции мы можем или должны испытывать в случае, когда сходные или аналогичные действия, совершенные другими, затрагивают не нас, но других людей [Ibid. Р. 28]. Тогда резонно полагать, что если мы испытываем чувство, к примеру, обиды, то можно считать обиду явным признаком возникшего морального отношения, а именно моральной ответственности. В более радикальном смысле следует полагать, что чувство обиды создает отношение моральной ответственности.

Эти идеи были развиты и конкретизированы американским исследователем Р. Джемсом Уоллесом. Прежде всего, он выделяет именно обиду, негодование и вину как реактивные установки, формирующие моральную ответственность, поскольку именно в таких реакциях выражается отношение к чему-либо или к кому-либо за что-либо [13. Р. 162]. Ключевой тезис автора, развивающий мысль о связи таких реактивных установок с моральной ответственностью, заключается в утверждении, что они связаны с определенным содержанием [Ibid. Р. 158]. Говоря иначе, такие установки обусловлены определенными ожиданиями или требованиями. Мы испытываем обиду именно потому, что ожидаем от другого определенных действий или предполагаем, что он будет действовать в соответствии с определенными требованиями. В основе этих ожиданий лежат запреты или требования в целом.

Уоллес полагает, что такой подход позволяет ему, с одной стороны, отделить моральные реактивные установки от неморальных, поскольку первые связаны с определенными требованиями, а с другой стороны, от других моральных чувств, поскольку данные установки связаны именно с нарушением требований [Ibid. Р. 165–166]. Основанием для подобного рода демаркации выступает неоднократно повторяемый тезис самого автора, что формы оценки не концептуально первичны по отношению к реактивным установкам, а, скорее, определяются в терминах таких установок [Ibid. Р. 158]. Говоря иначе, следует полагать, что именно в чувстве обиды выражается нарушение именно требования и именно морального (например, держать обещание). И наоборот, нарушение морального требования воплощается именно в чувстве обиды. Тогда, если бы не было чувства обиды, то речь не шла бы о моральных реактивных установках, а если бы индивид по какому-либо поводу испытывал чувство благодарности, то речь не шла бы о моральной ответственности. Ну и наконец, когда Уоллес говорит о восприимчивости к реактивным установкам, то подчеркивает, что дело не в простой констатации факта, что индивиды испытывают такие эмоции. Реактивные установки следует считать наиболее уместными реакциями на нарушение определенных требований [Ibid. Р. 161]. Можно усмотреть в этом нормативный момент, указывающий,

что должен испытывать индивид в результате нарушения моральных требований.

Бесспорны достижения сторонников и последователей стросоновского подхода. Это прежде всего выход за пределы проблемы соотношения свободной воли и детерминизма. Это акцент на межличностных отношениях, конституирующих мораль. Это, конечно, внимание к роли эмоций в формировании и осуществлении моральных отношений. Но данный подход порождает и определенные возражения. Что касается проблемы свободы воли, то можно, конечно, утверждать, что ее игнорирование не означает отказа от ее значимости в вопросе о моральной ответственности. Просто подразумевается, что авторы, обсуждающие другие темы, имплицитно или эксплицитно выработали или приняли какую-либо позицию по поводу трактовки как свободной воли и детерминизма, так и их соотношения.

Что касается темы межличностных отношений, то здесь ситуация другая. Дело, конечно, не только в том, что мораль можно связывать с действиями не только индивидов, но и институтов. Вопрос в толковании сути межличностной коммуникации. Явно или неявно, подход Уоллеса трактует ее как серию обменов с односторонним эффектом (кроме эмоциональной реакции): я ожидаю от тебя выполнения обещаний по отношению ко мне и испытываю обиду или негодование в результате их нарушения. Потом наши позиции меняются.

Представляется, что такой подход существенно сужает коммуникативную трактовку моральных отношений. Становится проблематичным говорить о разделяемой ответственности в случае совместных действий. Но более важно отметить, что версия Уоллеса не позволяет актуализировать аспект взаимной ответственности или совокупности взаимных обязательств, предполагаемых в ходе взаимодействия. Ведь, как правило, любое наше действие по отношению к другим может быть трактовано как взаимное действие, где обе стороны (а не одна) должны взять на себя определенные обязательства (вернее говоря, более продуктивно так трактовать моральное действие). Так, если я беру обязательство помочь другому, то предполагается, что другой должен взять на себя обязательство принять соответствующим образом эту помощь. В противном случае можно утверждать, что смысл морального послания не дошел до адресата. Эмоциональную реакцию тогда следует считать лишь одной из форм проявления взаимного обязательства в ситуации, когда иные виды обязательства невозможны или не имеют смысла. Понятно, что в ситуации межкультурного контакта возможны разные реакции и разные прочтения морального послания, но в любом случае адресант должен обеспечить условия для адекватного понимания его смысла, а это требует умения поставить себя на место другого. Иначе говоря, взаимные обязательства следует трактовать как контекст интерпретации любого морального послания в любой ситуации. Если это так, то вина, негодование и обида – не лучшие кандидаты на роль форм проявления таких обязательств.

Предлагаемая концепция моральной коммуникации подталкивает к обсуждению еще одного аспекта подхода Уоллеса. Он неоднократно подчеркивает, что реактивные установки связаны с ответственностью за сделанное [13. Р. 173]. Невозможно испытывать обиду по отношению к еще не совершенным действиям (если, конечно, несделанное действие – не помог кому-то – можно приравнять к действию). Резонно, что моральная ответственность то-

гда фактически сводится к совокупности запретов и санкциям за их нарушение. Уоллес сам называет такой путь предпочтительным в определении статуса и состояния реактивных эмоций [13. Р. 162]. Понятно, что при таком подходе трудно говорить об ответственности за будущее, которую Уильямс и Кейн трактуют, в частности, как приоритетную для современной культуры. Ведь смысл и ценность морали заключаются как раз не столько в совокупности запретов, сколько в формировании ориентиров человеческого поведения и жизненных стратегий индивидов (указаний, что делать). Более того, без такой трактовки морали невозможно говорить о ценности добродетели, а также о моральном разделении труда как условии обеспечения стабильности общественной жизни. Понятно, что пока я буду верить, что другие будут следовать жизненным траекториям, связанным с выполнением моральных обязательств (как и другие в отношении меня), наше поведение останется взаимно предсказуемым и взаимосогласованным. Уоллес отмечает, что по этой же причине вина, обида и негодование предпочтительнее, чем гнев и месть [Ibid. Р. 174]. Но вряд ли такого рода чувства позволят вывести мораль за пределы совокупности запретов и смогут стать побудителями к моральному действию.

Что тогда может выступить кандидатом на роль предпочтительной эмоции, конституирующей моральную ответственность и способной вывести ее за пределы суммы запретов и санкций? Здесь имеет смысл обратиться к идеям Иммануила Канта. Речь идет об идее достоинства, которую он характеризует как то, что «выше всякой цены» [14. С. 187]. По сути, достоинство выступает содержательной конкретизацией категорического императива: «Поступай так, чтобы ты никогда не относился к человечеству как в своем лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели» [Там же. С. 169]. Можно тогда совокупность моральных требований толковать как воплощение достоинства. Поэтому его можно назвать общим принципом, который конкретизируется в совокупности моральных требований. Более того. Эту идею, согласно кантовским рассуждениям, следует считать не одной из общих моральных идей наряду со справедливостью, заботой и др., а основанием для всей совокупности актуальных и потенциальных идей, притязающих на статус моральности. Иначе говоря, в ответ на вопрос, к примеру, почему надлежит держать обещание, мы можем утверждать, что в этом требовании воплощается идея достоинства.

Важный момент, который подчеркивает Кант, заключается в трактовке отношения индивида к моральному требованию. Кант использует для его обозначения слово «уважение» и характеризует его как мотив. «Ни страх, ни склонность, но исключительно уважение к закону является тем мотивом, который может придать действию моральную ценность» [Там же. С. 203]. Как мотив, уважение относится к области чувств. «...Уважение и есть чувство» [Там же. С. 83]. Специфика его в том, что порождено оно не воздействием внешнего мира, а определенным содержанием разума (моральным законом). Поэтому в генеалогическом аспекте чувство уважения следует рассматривать не как причину, порождающую моральное требование, а как следствие, им порожденное или должное быть порожденным [Там же]. Но в аспекте реализации связь чувства уважения и морального требования будет сродни связи реактивных установок и моральных требований (в версии Уилсона).

Чем это предпочтительнее в сравнении с версией Уилсона? Во-первых, обиду, негодование и вину можно истолковать как формы проявления чувства уважения. Так, некто может воспринимать не отданный ему вовремя долг не только как удар по экономическим интересам, но и как проявление неуважения к нему. Испытываемые им обиду или негодование можно интерпретировать как формы эмоционального переживания неуважения к нему (не обязательно, что он сам сможет внятно объяснить свое состояние). Во-вторых, чувство уважения можно трактовать как критерий опознания моральной значимости ситуации. Хотя здесь она не связана напрямую с нарушением морального требования, но мы можем трактовать ее как морально значимую, если свяжем ее с затронутостью человеческого достоинства. Реактивные установки сами по себе не позволяют осуществить такую интерпретацию. Ведь обида, по Уилсону, может опознаваться как моральная только при нарушении морального требования. Важно отметить здесь следующую мысль Канта: «Уважение есть, собственно, представление о ценности, которое заставляет меня поступаться себялюбием. Следовательно, это есть нечто, что не может рассматриваться ни как предмет склонности, ни как предмет страха...» [14. С. 83]. Тогда уважение можно рассматривать как способ конституирования морального отношения. Это значит, что, в отличие от обиды или негодования, его можно испытывать только по поводу морально значимых ситуаций.

Далее, вслед за Кантом мы можем трактовать чувство уважения как мотив, побуждающий индивида к определенному действию. Реактивные установки трактуют ситуации с позиции адресата морального послания и вряд ли в форме обиды, вины, негодования могут претендовать на роль такого побудителя. Значение чувства уважения заключается еще и в том, что оно не просто обеспечивает переход на позицию адресанта морального послания, но позволяет трактовать моральное отношение как взаимодействие, а именно как создание отношений взаимоуважения, где обе стороны должны предпринять усилия определенного рода. Чувство обиды и ему подобные тогда можно рассматривать как частные случаи или следствия таких отношений.

Отсюда вытекает еще один важный момент. Концепция достоинства как определяющего морального принципа и чувство уважения как структурный момент в ее реализации позволяют связать и одновременно решать две вышеупомянутые задачи. Они дают возможность трактовать моральное отношение как совокупность взаимных обязательств. В свете кантовского требования относиться как к цели мы можем полагать, что уважение и достоинство могут определяться и рождаться только во взаимоотношении. Иначе говоря, мы не сможем помыслить идею своего достоинства вне признания достоинства другого. Ведь, унижая другого, мы, по сути, трактуем человечество, в том числе и себя, как средство. Тогда можно сказать, что если мы ориентируемся на взаимные отношения, то принимаем взаимные обязательства, а значит, и взаимную ответственность. Соответственно, если мы толкуем мораль не как сумму запретов, а как комплекс нормативно оформленных перспектив, то берем на себя обязательства по поводу будущего. Тогда санкции за нарушение моральных обязательств следует трактовать лишь как следствие реализации такого поведения, а ответственность за будущее – как основание для

конституирования ответственности в целом и основание для связи всех ее возможных видов и проявлений.

Вот теперь резонно перейти к обсуждению заключительной задачи нашей статьи: как эти достижения могут быть применены к идее исторической ответственности? Прежде всего стоит начать с напоминания, что она обычно трактуется как ответственность, обращенная в прошлое, или ответственность за сделанное. Понятно, что доминирующее представление о зависимости ответственности от принятых норм и ценностей позволяет открыть простор разнообразным интерпретациям данного тезиса, начиная с того, что ответственность может возлагаться и на того, кто не являлся причиной тех или иных действий. Такой подход позволяет распространить ответственность за действия на потомков (и не обязательно потомков тех, кто был причиной этих действий), а с другой стороны, включить в зону ответственности события достаточно далекого прошлого (истории, говоря иначе). Вопрос тогда будет заключаться в определении сути такой ответственности: в чем она будет заключаться и за что. К проблеме можно подойти и с другой стороны. В свете рассуждений об историческом контексте возникновения и распространения самой идеи ответственности можно полагать, что она будет связана с изменениями, во-первых, в трактовке места и роли истории, а во-вторых, в трактовке субъекта ответственности.

Что касается первого, то парадоксальным образом можно утверждать, что именно будущностно ориентированное поведение актуализировало вопрос о роли и ценности прошлого. Как известно, возможность контролировать будущее была поставлена в зависимость от включения в состав такого контроля нашего понимания прошлого. В том или ином виде эта формула: «знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее», — остается мировоззренческим и теоретико-методологическим принципом отношения к нему. Как отмечает Алейда Ассман, «девиз „Помнить, чтобы не повторилось“ стал политическим и культурным императивом» [15. С. 207]. Рискнем утверждать, что пока нет оснований отвергать данную установку. Вопрос в тонкостях ее интерпретации, обусловливающих, кстати, и тонкости трактовки ответственности. Тезис о тонкостях означает, что мы можем говорить о смене исторических концепций на протяжении XIX–XX вв. Речь идет о постепенном отказе от целого ряда принципов понимания прошлого, которые за вышеописанный период превратились в своеобразные естественные установки. Это идеи линейности, детерминизма, этноцентризма, презентизма.

Но проблема остается в том, что можно игнорировать теории универсального прогресса, но продолжать описывать историю нации как плавное, постепенное, закономерное движение из далекого прошлого в будущее и связывать такое понимание с формированием идентичности (этноцентризм). Поэтому современный этап осмысления прошлого правомерно трактовать как достаточно болезненный процесс трансформации представлений о прошлом. Болезненный, потому что он связан не просто с академическими дискуссиями, а с сохраняющейся конститутивной ролью этноцентризма в формировании общественного сознания, в первую очередь идентичности. Как метко заметил по этому поводу Йорн Рюзен: «Никто не может быть нейтральным, когда твоя собственная идентичность ставится под вопрос» [16. Р. 128].

Этот тезис позволяет перейти к вопросу о трактовке субъекта ответственности. Если в эпоху Просвещения необходимость изучения истории связывалась в первую очередь с участием в государственных делах, а степень участия в них – с сословной принадлежностью, то с расширением процессов демократизации обладание историческим знанием начинает относиться к компетенции каждого гражданина, что находит свое отражение, в частности, в универсализации исторического образования. Соответственно, историческая ответственность начинает распространяться на всех членов общества. Однако это не означает, что современный человек становится ответственным за все. Перефразируя мысль Ханны Аренд: «Когда все виновны, – невиновен никто» [17. С. 205], – можно утверждать: если индивид ответствен за все, фактически он не отвечает ни за что. Поэтому в определении субъекта и объекта исторической ответственности мы можем опереться на вышеупомянутые идеи Смайли.

Если это так, то мы можем говорить о наличии как минимум трех ролей в распределении сфер ответственности: производители исторического знания, трансляторы и потребители. Можно сказать, что в данном разделении проявляется общий принцип морального разделения труда. Если говорить об объекте ответственности, то здесь следует отметить два принципиальных момента. Во-первых, он будет зависеть от прояснения тезиса об исторической ответственности. Рискнем утверждать, что ее следует трактовать как ответственность за знание об историческом прошлом. С этой точки зрения события и процессы, трактуемые как непосредственные причины настоящего, будут тяготеть к их истолкованию как части длящейся современности. Отношение к ним будет более связываться с памятью, другими способами приписывания вины и возлагания ответственности. Поэтому, кстати, в большинстве статей, анализирующих проблемы насилия, совершенного в прошлом, и способы обеспечения справедливости по отношению к жертвам насилия, речь идет, по сути, о травматических событиях, остающихся скорее болезненной частью современности, а не делами давно минувших дней (см. напр.: [18. Р. 345–360]). Поэтому подчеркивается значение так называемой судебной истины как части исторической истины, задача которой – определить полноту фактов о нарушении человеческих прав [Ibid. Р. 347], и актуализируется роль комиссий по становлению истины как главного механизма правосудия переходного периода. [Ibid. Р. 353].

Во-вторых, трактовка ответственности как ответственности за знание требует выделения специальной роли производителя знания, а именно профессионального сообщества. Более того, чем более речь идет об историческом прошлом, тем менее мы можем говорить о роли знания, получаемого вне рамок такого сообщества, или памяти, транслируемой из поколения в поколение. Вот почему можно утверждать, что, так или иначе, современные представления об историческом прошлом эксплицитно или имплицитно произведены сообществом историков. Но, с другой стороны, не менее очевидно, что по целому ряду внутренних и внешних причин историки напрямую не формируют историческое сознание общества. Поэтому имеет смысл говорить о медиации в распространении исторических знаний, определении каналов такой медиации, институтов (образование, СМИ, социальные сети) и акторов, ответственных за трансляцию знаний о прошлом.

Определение роли производителя знания позволяет говорить об изменениях в содержании объекта ответственности. Очевидно, конечно, что члены профессионального сообщества должны нести ответственность за производимую ими продукцию. Американский исследователь Даниэль Леви по этому поводу отмечает, что современные авторы должны обращать внимание на особые события, которые свидетельствуют о несправедливости, проявленной собственной нацией. Он называет продукты такой деятельности рефлексивными нарративами [19. Р. 19]. Ассман охарактеризовала такой подход как осуществление диалогической памяти [15. С. 209]. Тот же Леви правомерно указывает, что речь должна идти не просто о включении таких событий в состав собственных историй, а о преодолении так называемого методологического национализма, или допущения, что национальное государство остается конститутивным принципом (или категорией) для понимания и одобрения современного социального и политического порядка. Преодоление методологического национализма, по его мнению, требует поставить под сомнение социальные онтологии, которые принимают данную категорию за точку отсчета [19. Р. 15–16]. Эта мысль означает, что в компетенцию научного сообщества должен войти не только пересмотр содержания историй, но и рефлексия над основаниями собственной деятельности, а именно переосмысление трактовок времени, конституирующих исторические нарративы. [Ibid. Р. 28]. В современной литературе принято говорить о признании многообразия времен (или восприятия времени) (см. напр.: [20]). Но в данном случае Леви подчеркивает необходимость отказа от линейного времени.

Конкретизация объекта ответственности будет менять и ее содержание. Если мы трактуем прошлое как нечто завершившееся, то метафора сообщества как тела, длящегося во времени в лице потомков и переносящего на них грехи и доблести прошлого, становится весьма спорной. Прежде всего стоит осознать, что такой подход грешит весьма натуралистическим пониманием прошлого. Осознание, что прошлое существует только в наших знаниях о нем, а знание трактует его как серию разрывов или завершенностей, избавляет от необходимости взваливать на себя ответственность за дела давно минувших дней, за цели и ценности, исповедуемые предками или приписываемые им. Дело, конечно, не в том, чтобы писать историю успехов или оправданий, а в том, чтобы отнести к прошлому как к другому, самостоятельному и самооценному миру и определить, какое значение для нас может иметь такого рода знание о таком объекте.

Вопрос о значении сразу поднимает тему определения содержания остальных ролей. Можно предположить, что пути его решения обеспечивают связь ролей производителя знания и его потребителя. Понятно, что обсуждение темы ценности знаний о прошлом должно быть плодом коллективной дискуссии, осуществляемой не только и не столько в рамках профессионального сообщества. Но член профессионального сообщества может и должен выступить в ней как обеспокоенный и компетентный гражданин, переходящий в данном случае на позицию потребителя знания. Истолкование такого подхода как требования (а не просто пожелания), а значит – приписывания ответственности, вытекает из современной идеологии по поводу значения исторического знания, настаивающей на его публичной ценности и признаваемой в целом самим сообществом.

Отсюда вытекает еще одна обязанность, которая, как представляется, должна быть возложена как на производителей исторического знания, так и на тех, кто обеспечивает роль посредника. Она была актуализирована темой памяти и, помимо прочего, высветила не только разнообразие и разнонаправленность общественных представлений о прошлом, но и существенные расхождения с академической сферой. Дело, конечно, не в констатации сохраняющейся неразвитости так называемых научных представлений в общественном сознании, а в существенном различии как интерпретаций одних и тех же объектов, так и интересов (а именно к весьма различным историческим объектам). Как представляется, такое положение дел ставит задачу согласования нарративов, производимых профессиональным сообществом, и нарративов, циркулирующих в исторической памяти различных сегментов общества. С этой точки зрения, кстати, потребителя исторического знания следует трактовать не как пассивного адресата посланий от компетентных адресантов, а как субъекта, способного и готового к отклику, а именно к участию в публичной дискуссии или возможности предоставить тем самым видение вещей с неожиданной стороны.

Нидерландский историк Antoon de Baets, поднимая тему об ответственности живущих перед ушедшими, подчеркивает, что она носит более моральный, чем юридический характер [21. Р. 139]. Этот аспект, конечно, не полностью тождествен вопросу об ответственности перед прошлым. Но резонно полагать, что трактовка исторической ответственности как ответственности за знание о прошлом (обязанность помнить) актуализирует ее именно моральный аспект. Можно, конечно, утверждать, что тезис о необходимости помнить прошлое, чтобы не повторять будущее, выходит за рамки собственно морального отношения, сохраняя некоторый прагматический оттенок. Поэтому правомернее было бы считать, что отношение к прошлому включает в себя существенную моральную составляющую. Память о прошлом будет связана с моральной обязанностью хотя бы потому, что такая обязанность не влечет за собой юридических санкций в случае ее нарушения (за исключением юридически оговоренных ситуаций). К тому же общественное сознание в целом, как правило, осмысливает прошлое именно в моральном контексте.

Тот же de Baets подчеркивает, что не может представить себе ответственность перед ушедшими вне использования понятий достоинства и уважения, которые будут являться надежным основанием для определения ответственности нынешних поколений [Ibid.]. Что касается исторического прошлого, то такое отношение, как правило, трактуется как ответственность за другого, проявляющаяся в праве предоставить голос тем, кто молчал в прошлом и не мог быть услышан, потому что воспринимался как не имеющий права голоса [22. Р. 30]. К этому можно было бы добавить, что задача такой ответственности заключается не только в том, чтобы эксплицировать как можно больше голосов для воздания справедливости, сколько в том, чтобы создать (или принять в случае памяти) рамку, обеспечивающую условие для слышимости актуальных и потенциальных голосов. В более широком плане в свете вышеописанной кантовской трактовки достоинства и уваже-

ния как отношения к себе и другому как к цели мы могли бы утверждать, что такой подход, во-первых, обеспечивает определение критерия морального отношения к прошлому, а во-вторых, позволяет создать рамку (модель, схему), в которой мы могли бы давать трактовку тех или иных сегментов прошлого.

Итак, как мы видим, тема ответственности, выходящая за рамки обсуждения дискуссии о соотношении свободной воли и детерминизма, достаточно широко в разных своих аспектах представлена в исследовательской литературе. Актуальной остается и тема исторической ответственности (см. напр.: [23, 24]). Представляется, что применение результатов, достигнутых в исследовании вопросов по поводу ответственности в целом, могло бы помочь высветить нетривиальные аспекты в осмыслении темы исторической ответственности. В данной статье и была предпринята попытка реализации данного подхода.

Литература

1. *Vogelmann F.* Keep score and punish: Brandom's concept of responsibility // *Philosophy and Social Criticism*. 2019. Vol. 45, № 6. P. 1–20.
2. *Solin A., Östman J.-O.* Introduction: Discourse and responsibility // *Journal of Applied Linguistics and Professional Practice*. 2012. Vol. 9, № 3. P. 287–294.
3. *McKeon R.* The development and the significance of the concept of responsibility // *Freedom and History and Other Essays: An Introduction to the Thought of Richard McKeon*. Chicago : The University of Chicago Press, 1990. P. 62–87.
4. *Йонас Г.* Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации / пер. с нем., предисл. и примеч. И.И. Маханькова. М. : Айрис-Пресс, 2004. 480 с.
5. *Williams G.* Responsibility as a Virtue // *Ethical Theory and Moral Practice*. 2008. № 11. P. 455–470.
6. *Vincent N.A., van de Poel I.* Introduction // *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism* / ed. by N.A Vincent, I. van de Poel, J. van den Hoven. Springer Science + Business Media B.V., 2011. P. 1–13.
7. *Hart H.L.A.* IX. Postscript: Responsibility and Retribution // *Punishment and Responsibility*. Oxford : Clarendon Press, 1968. P. 210–237.
8. *Cane P.* Responsibility in Law and Morality. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 2002. 301 p.
9. *Vincent N.A.* A Structured Taxonomy of Responsibility Concepts // *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism* / ed. by N.A Vincent, I. van de Poel, J. van den Hoven. Springer Science + Business Media B.V., 2011. P. 15–36.
10. *van de Poel I.* The Relation Between Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility // *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism* / ed. by N.A Vincent, I. van de Poel, J. van den Hoven. Springer Science + Business Media B.V., 2011. P. 37–52.
11. *Smiley M.* Moral responsibility and the boundaries of community: power and accountability from a pragmatic point of view. Chicago : The University of Chicago, 1992. 286 p.
12. *Strawson P.F.* Freedom and Resentment // *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment* / ed. by M.S. McKenna, P. Russell. Ashgate Publishing Company, 2008. P. 19–36.
13. *Wallace R.J.* Emotions, Expectations and Responsibility // *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment* / ed. by M.S. McKenna, P. Russell. Ashgate Publishing Company, 2008. P. 157–186.
14. *Кант И.* Основоположение к метафизике нравов // *Сочинения*. М., 1997. Т. 3. С. 39–275.
15. *Ассман А.* Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. М. : Новое лит. Обзорение, 2016. 232 с.
16. *Rüsen J.* How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4. P. 118–129.

17. *Arendt H.* Коллективная ответственность // *Арендт Х. Ответственность и суждение* / пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. С. 205–218.
18. *Bakiner O.* One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory // *Memory Studies*. 2015. Vol. 8, № 3. P. 345–360.
19. *Levy D.* Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures // *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society* / ed. by Y. Gutman, A.D. Brown, A. Sodaro. Palgrave Macmillan, 2010. P. 15–30.
20. *Fareld V.* History, Justice and the Time of the Imprescriptible // *The Ethos of History: Time and Responsibility* / ed. by S. Helgesson, J. Svenungsson. Berghahn Books, 2018.
21. *de Baets A.* A Declaration of the Responsibility of Present Generations toward Past Generations // *History and Theory*. 2004. Vol. 43. P. 130–164.
22. *Wyschogrod E.* Representation, Narrative, and the Historian's Promise // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn, R.A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 28–44.
23. *The Ethos of History: Time and Responsibility* / ed. by S. Helgesson, J. Svenungsson. Berghahn Books, 2018.
24. *Сыров В.Н., Беляева Е.В., Буллер А., Линченко А.А., Врублевская-Токер Т.И.* История. Память. Мораль: моральная составляющая исторической рефлексии и коммеморативных практик исторической культуры. Томск: Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2020. 344 с.

Vasily N. Syrov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: narrat59@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 108–127.

DOI: 10.17223/1998863X/57/11

HISTORICAL RESPONSIBILITY: BEYOND FREE WILL AND DETERMINISM

Keywords: moral responsibility; historical responsibility; moral division of labor; subject of responsibility; object of responsibility; reactive attitudes; principle of dignity; respect as motive; reactive attitudes.

The article successively discusses three objectives: conditions of the origin and direction of transformation of the idea of responsibility; analysis of the results achieved along the way; and their application to research the idea of historical responsibility. Based on the analysis of the works of McKeon, Jonas, Vogelmann, and Williams, it is shown that the origin and direction of changes in the idea of responsibility are linked with the specificity of modern civilization: democratization of public life; future-oriented attitudes, growth of technological potential; and variety of systems of normative demands. It is noted that this state of affairs requires the formation of a subject capable of reflectivity, judgment, imagination, and initiative; involves the development of the ability to coordinate different normative demands in time and space, and is aimed at universalizing these requirements and skills. As a result, responsibility begins to be interpreted not so much as responsibility for the harm caused (outcome responsibility), but as responsibility for the future; take not only a legal but also a moral character; turn not only into a list of requirements, but also into value (virtue responsibility); be interpreted not only as a set of reproaches and accusations, but also as the ability to adequately respond to the growing diversity and inconsistency of normative attitudes. It is shown that in modern literature, starting with Hart's works, responsibility is interpreted not as a single, unitary, and generic concept, but as a set of meanings. In general, we can speak at least about the following meanings of this concept: capacity responsibility; virtue responsibility; causal responsibility; outcome responsibility; forward-looking responsibility or role responsibility. The perspective of the contextual approach to the interpretation of the content of responsibility is shown. It presupposes the rejection of its naturalistic interpretations and the connection with the peculiarities of the dominant norms and values. Smiley's ideas were taken as methodological guidelines that concretize the contextualist approach. Smiley insists on the dependence of our interpretations of responsibility on both our configuration of the individual's social role and our own sense of whether or not those being harmed are part of the individual's community. To identify the specifics of moral responsibility, Kant's ideas about the role of dignity as a determining moral principle and respect as a priority moral motive were used. The preference of the Kantian approach in comparison with the Strawsonian idea of reactive attitudes is shown. The above approaches were applied to the interpretation of historical responsibility. It is proposed to interpret historical responsibility as responsibility for preserving knowledge (memory) of the past. Within the framework of this approach, it is proposed to single out three roles in the distribution

of areas of responsibility: producers of historical knowledge, translators, and consumers (readers). It is shown that the formation of knowledge (memory) about the past involves not only a revision of the content of stories (the formation of shared history and dialogical memory), but also the rejection of ethnocentrism or methodological nationalism as the principles of interpreting the past. It is emphasized that the use of Kantian interpretations of dignity and respect determines the criterion for a moral attitude to the past and allows one to create an appropriate framework for the interpretation of certain segments of the past.

References

1. Vogelmann, F. (2019) Keep score and punish: Brandom's concept of responsibility. *Philosophy and Social Criticism*. 45(6). pp. 1–20. DOI: 10.1177/0191453719866243
2. Solin, A. & Östman, J.-O. (2012) Introduction: Discourse and responsibility. *Journal of Applied Linguistics and Professional Practice*. 9(3). pp. 287–294. DOI: 10.1558/japl.v9i3.20841
3. McKeon, R. (1990) The development and the significance of the concept of responsibility. In: McKeon, Z.K. (ed.) *Freedom and History and Other Essays: An Introduction to the Thought of Richard McKeon*. The University of Chicago Press. pp. 62–87.
4. Yonas, G. (2004) *Printsip otvetstvennosti: Opyt etiki dlya tekhnologicheskoy tsivilizatsii* [The principle of responsibility: Experience of ethics for a technological civilization]. Translated from German by I.I. Makhankov. Ayris-Press.
5. Williams, G. (2008) Responsibility as a Virtue. *Ethical Theory and Moral Practice*. 11. pp. 455–470.
6. Vincent, N.A. & van de Poel, I. (2011) Introduction. In: Vincent, N.A., van de Poel, I., van den Hoven, J. (eds) *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism*. Springer Science+Business Media B.V. pp. 1–13.
7. Hart, H.L.A. (1968) *Punishment and Responsibility*. Oxford: Clarendon Press. pp. 210–237.
8. Cane, P. (2002) *Responsibility in Law and Morality*. Hart Publishing Oxford and Portland.
9. Vincent, N.A. (2011) A Structured Taxonomy of Responsibility Concepts. In: Vincent, N.A., van de Poel, I., van den Hoven, J. (eds) *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism*. Springer Science+Business Media B.V. pp. 15–36.
10. van de Poel, I. (2011) The Relation Between Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility. In: Vincent, N.A., van de Poel, I., van den Hoven, J. (eds) *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism*. Springer Science+Business Media B.V. pp. 37–52.
11. Smiley, M. (1992) *Moral responsibility and the boundaries of community: power and accountability from a pragmatic point of view*. The University of Chicago.
12. Strawson, P.F. (2008) Freedom and Resentment. In: McKenna, M.S. & Russell, P. (eds) *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment*. Ashgate Publishing Company. pp. 19–36.
13. Wallace, R.J. (2008) Emotions, Expectations and Responsibility. In: McKenna, M.S. & Russell, P. (eds) *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment*. Ashgate Publishing Company. pp. 157–186.
14. Kant, I. (1997) *Sochineniya* [Works]. Vol. 3. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 39–275.
15. Assman, A. (2016) *Novoe nedovol'stvo memorial'noy kul'turoy* [New dissatisfaction with memorial culture]. Translated from German by B. Khlebnikov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
16. Rüsen, J. (2004) How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century. *History and Theory*. 43(4). pp. 118–129. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2004.00301.x
17. Arendt, H. (2013) *Otvetstvennost' i suzhenie* [Responsibility and Judgment]. Translated from English by D. Aronson, S. Bardina, R. Gulyaev. Moscow: The Gaidar Institute. pp. 205–218.
18. Bakiner, O. (2015) One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory. *Memory Studies*. 8(3). pp. 345–360. DOI: 10.1177/1750698014568245
19. Levy, D. (2010) Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures. In: Gutman, Y., Brown, A.D. & Sodaro, A. (eds) *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*. Palgrave Macmillan. pp. 15–30.
20. Fareld, V. (2018) History, Justice and the Time of the Imprescriptible. In: Helgesson, S. & Svenungsson, J. (eds) *The Ethos of History: Time and Responsibility*. Berghahn Books.
21. Baets, A. de (2004) A Declaration of the Responsibility of Present Generations toward Past Generations. *History and Theory*. 43. pp. 130–164. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2004.00302.x

22. Wyschogrod, E. (2004) Representation, Narrative, and the Historian's Promise. In: Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press. pp. 28–44.
23. Helgesson, S. & Svenungsson, J. (eds) (2018) *The Ethos of History: Time and Responsibility*. Berghahn Books.
24. Syrov, V.N., Belyaeva, E.V., Buller, A., Linchenko, A.A. & Vrublevskaya-Toker, T.I. (2020) *Istoriya. Pamyat'. Moral': Moral'naya sostavlyayushchaya istoricheskoy refleksii i kommemorativnykh praktik istoricheskoy kul'tury* [History. Memory. Moral: The Moral Component of Historical Reflection and Commemorative Practices of Historical Culture]. Tomsk: Tomsk State University.

УДК 110.18

DOI: 10.17223/1998863X/57/12

Л.В. Шиповалова

О ВОЗМОЖНОСТИ СВОБОДЫ НАУКИ ОТ ПОЛИТИКИ¹

Прояснение тезиса о свободе науки от политики предполагает различение, во-первых, политики как борьбы за власть и как практики принятия общезначимых решений, а во-вторых, научной профессиональной и научной экспертной деятельности. Демонстрируется, что все элементы профессиональной деятельности содержат возможность включения во властное противостояние, а экспертная деятельность допускает возможность свободы от определенной политической позиции.

Ключевые слова: научная коммуникация, теория и практика, научная экспертиза, публичная политика, управляемость, власть.

Введение в проблему

Поводом для данного исследования явились дискуссии в отечественном публичном пространстве, связанные с тезисом «университет вне политики». Фактический контекст, к которому относится данный тезис, достаточно широк. Он включает и политическую активность представителей академического сообщества, и публичные выступления ученых, воспринимающиеся неизбежно в качестве экспертных суждений, и ограничения, накладываемые администраторами научно-образовательных учреждений на внешнюю научную коммуникацию ученых, где они репрезентируют явным или неявным образом академическое сообщество, частью которого являются. Также многообразны и даже противоречивы актуальные и возможные аргументы, сопровождающие этот тезис. С одной стороны, нельзя не признать идею автономии научных исследований сохраняющей свое значение и в современности, не признать того, что научное познание непосредственно не связано с практической сферой, в том числе сферой политики [1. С. 12–16]. В противном случае наука, включаемая в общественные дебаты, рискует чистотой незаинтересованного исследования реальности. С другой стороны, деятельность научных экспертов представляет собой существенный элемент публичной политики. Владея соответствующими знаниями и компетенциями, ученые как эксперты могут вносить вклад и становиться ответственными не только за принятие адекватных решений на любом уровне власти, но и за организацию дискуссий и сотрудничества, за трансформацию системы управления в систему управляемости, где объекты политики становятся активными действующими лицами [2, 3]. В противном случае политическая деятельность остается научно необоснованной и может оказаться нерациональной. Однако политическая сфера связана с борьбой за распределение ресурсов, потому представление о нейтральности научной экспертизы идеализирует ситуацию [4]. В данной

¹ Статья подготовлена в рамках реализации проекта, поддержанного РНФ, грант № 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости».

статье мы обратимся к прояснению условий разрешения противоречий между аргументами по поводу свободы университета от политики. Это прояснение предполагает *свободу* и как цель, коль скоро деятельность ученых, в том числе реализуемая в публичной сфере, может и должна становиться предметом не столько предписания власти любого уровня, сколько ответственного выбора.

Прежде всего необходимо конкретизировать поле работы. Речь будет идти именно о научной деятельности в ее отношении к политике; вопрос об образовательных процессах, несмотря на еще сохраняющееся объединение образования и исследования в современном университете, мы оставим в стороне. Даже если сфокусироваться на понимании университета как исследовательского института и, соответственно, на включении ученых в публичную политику, дискуссионность данной проблемы не ослабевает. Также будет лишь исходным пунктом, или предпосылкой, различие между политикой как борьбой за власть (*politics*) и как политическим курсом, который проводит правительство в различных сферах (*policy*) [5]. Во втором случае, связанном с принятием решений относительно важных общественных проблем, особое значение имеет сложно достижимая свобода от властных амбиций и ресурсов, присутствующих в случае первом. Через это различие политической деятельности, представленное в реальности многообразием смещений, может быть выражена и проблема свободы науки от политики. Наука может и должна включаться в деятельность по конкретизации общественных проблем и выработке компетентных решений, однако принятие определенной позиции относительно власти и требований ее субъектов приносит в жертву научную объективность, связанную с преодолением любой субъективной или партийной позиции¹. То есть наука может быть свободной и не свободной от политики в зависимости от того, как трактуется политическая деятельность.

В данном исследовании в фокусе внимания окажутся условия проблематичности обсуждаемого тезиса о свободе науки от политики, присутствующие в самой науке, характеризующие ее собственные интенции. Предполагается, что в сфере науки, так же как и в сфере политики, могут быть обнаружены различия, не позволяющие однозначно оценить этот тезис. Такие различия могут выявить неслучайность присутствия науки в политике посредством как необходимого участия в принятии решений, так и угрожающего научности включения в борьбу за власть. Центральный вопрос статьи можно сформулировать следующим образом: каковы характеристики и способы осуществления научной деятельности, определяющие условия конструктивного включения науки в сферу публичной научной коммуникации и посредством этого в сферу политики?²

¹ Подчеркнем, что вторая часть тезиса не означает невозможности включаться в борьбу за власть тем, кто занимается наукой. Речь идет лишь о том, что принятие партийной позиции не может быть обосновано посредством апелляции к авторитету науки. Напротив, в такой ситуации научная объективность требует, чтобы выступление в публичной сфере с определенной партийной позиции оставляло ее принципиально открытой сомнениям и критике [6].

² В формулировке данного вопроса мы исходим из того, что практики публичной научной коммуникации во многих смыслах можно рассматривать как практики политической коммуникации, причем не в последнюю очередь благодаря осуществлению этих взаимодействий посредством цифровых технологий [7].

Ответ на данный вопрос принадлежит предметному полю не столько политологии, сколько философии науки и социальной эпистемологии. Такой контекст оправдан и значим, поскольку условия включения научной деятельности в политическую сферу, будучи проясненными, перестают влиять на эту деятельность незаметно и, возможно, разрушительно. Кроме того, в результате прояснения спор относительно свободы науки от политики может сменяться конструктивным диалогом как в исследованиях науки, так и в коммуникативных практиках самих ученых. Данная тема, истоки которой можно найти еще в постмодернистских дебатах, связана с критикой ценностной нейтральности науки, с признанием ее контекстуальной, в том числе социально-политической, обусловленности. Она остается актуальной и будет раскрыта здесь в контексте проблематики публичной научной коммуникации. Опосредованно обсуждение данного вопроса имеет значение и для исследований политики. Анализ возможностей включения ученых в качестве научных экспертов в принятие общественно значимых решений, возможностей, позволяющих избегать субъективности партийной позиции и борьбы за распределение власти, связан с исследованием условий гражданского участия и управляемости, предполагающих сотрудничество и активность всех действующих лиц политических процессов. Такой анализ позволяет определить условия поддержки научными экспертами координирующих институциональных дизайнов управления [8. Р. 1410–1415].

Наука, экспертиза, политика – уточнение проблемы

Можно предположить, что ясность в этом вопросе может быть достигнута различением двух областей активности ученых: с одной стороны, собственно научной деятельности, которая осуществляется в академических организациях и сопровождается профессиональной научной коммуникацией, с другой – научной экспертной деятельности, реализуемой в сфере публичной политики (далее для краткости мы будем называть эти виды деятельности научной и экспертной)¹. Возможность и необходимость такого различения подчеркивают и специалисты в области публичной научной коммуникации [11]. Кажется, что оно способно разрешить проблематичность дискуссии, разведя по разные стороны субъектов академии, находящихся вне политики, освобожденных от нее указами администраций или собственной научной совестью, и экспертов-практиков, репрезентирующих своей деятельностью политизированную науку. Однако таким образом не достигается окончательное прояснение отношения научного и экспертного знания.

С одной стороны, научные эксперты осуществляют конструктивную медиацию, перевод научного теоретического знания в сферу его практической применимости. Сама по себе теоретическая достоверность знания еще не гарантирует его полезности, а также этической и социальной адекватности. Необходимо привнести или выявить присутствующие в нем допущения или выводы относительно действенности, выходящие за рамки теоретических представлений, уже признанных в своей истинности и обоснованности. При

¹ Говоря об экспертном знании и о деятельности экспертов, мы будем принимать в расчет только научную экспертизу, посредством которой осуществляется «перевод» научного знания в сферу публичной политики. О различных видах экспертов и экспертиз, с том числе не связанных непосредственно с наукой, см., напр.: [9, 10].

таком «переводе» теории в практику экспертное знание оказывается развитием знания научного¹. Однако последнее должно допускать такое развитие или перевод. С другой стороны, следует подчеркнуть, что экспертное знание играет роль не только связывающего посредника, но и разделяющего «при-вратника». В случае сближения и особенно отождествления экспертного практического знания со знанием научным, включающим и обоснованную теорию, возникают соблазн и опасность использования такого знания в интересах власти. Возможность использования обусловлена совмещением двух характеристик: однозначности экспертного практического знания, а также авторитета обоснованного теоретического научного знания². В таком положении была, например, расовая теория, претендующая одновременно на теоретическую обоснованность и практическую полезность, придавшая благодаря этому сближению научный характер нацизму [1. С. 96–104]. Такое различие экспертного и научного знания позволяет трактовать первое как одномерное сужение второго, а второе – как допускающее и иные обоснованные варианты действий.

Следует сделать уточнение о том, как ценностный однозначный характер экспертного знания соотносится с политической сферой и борьбой за власть как ее составляющей. Обратимся к различию, предлагаемому Ю. Хабермасом в контексте обсуждения вопроса о возможности экспертного знания способствовать демократизации управления [13]. Следуя определению М. Вебера, он, во-первых, выделяет децизионистскую модель, в контексте которой политик использует экспертное знание, но не подчиняется ему, реализуя принятием решения собственное понимание конкретной ситуации и осуществляя ответственный выбор «между конкурирующими ценностными порядками». Такое экспертное знание должно содержать вариативность рекомендаций и допускать различное использование. Во-вторых, может иметь место технократическая модель «онаученной политики», где практическое политическое действие подчиняется научно-технологической рациональности, учреждаемой как единственно возможная. В этом случае экспертное знание характеризуется однозначностью, делающей его основанием принятия решений. В-третьих, существует прагматическая модель, предполагающая диалог, взаимное обогащение и коррекцию практических общественных целей, осуществляемых решением политика, и научных рекомендаций, обсуждающих возможность этих целей и разрабатывающих стратегии их актуализации. В знании такого рода также допускается вариативность.

Первые две модели, согласно Хабермасу, не отвечают демократическому общественному устройству. В первом случае публика, допускаемая к выборам субъектов власти, но не к обсуждению содержания их решений, лишь легитимирует существующее правление. Здесь экспертное научное знание остается свободным по отношению к политике. Однако эту свободу следует назвать мнимой, поскольку пассивный по отношению к публичной политике субъект знания выводится за рамки возможной ответственности и тем самым

¹ Включаясь в общественные взаимодействия, научное знание приобретает дополнительную характеристику «социальной прочности» [12].

² Однозначность экспертного знания здесь предполагает осуществленный выбор относительно конкурирующих политических властных альтернатив, но не относится к предмету знания, однозначная трактовка которого сложно достижима в эпоху риска и неопределенности.

в определенном смысле также легитимирует властное решение. В случае реализации отношений в соответствии с технократической моделью общественное мнение и практика принятия решения подчиняются диктату научно-технической рациональности, предъявляемой в качестве единственно возможной. В этом случае экспертное знание само становится политикой и обнаруживает идеологический характер науки, едва ли не более опасный, поскольку власть в ней осуществляется от имени всеобщих законов самого по себе общества и природы [14. Р. 650]. Предоставляя решение политикам или требуя следовать определенному собственному решению, научные эксперты либо потворствуют конкретным властным субъектам, либо сами становятся субъектами власти. Третья же модель, описываемая философами прагматической ориентации, представляется Хабермасу перспективной, однако недостаточно разработанной в современных ему условиях отсутствия оснований для диалога субъектов власти и экспертов, диалога, предполагающего в первую очередь их совместный ответ на запрос общественного мнения. Представляется, что именно прагматическая модель описывает включение в практику принятия решений, позволяющее избежать явного или скрытого вовлечения в борьбу за власть, однако она еще должна быть продемонстрирована в своей возможной реализации.

В контексте высказанных соображений об отношении научного и экспертного знания, а также об отношениях экспертов и субъектов власти, поставленный нами общий вопрос распадается на два следующих: Каковы условия возможности перевода научного теоретического знания в знание практическое экспертное и, соответственно, возможности соединения науки и политики? Каковы способы включения экспертного знания в политическую сферу без подчинения политике как борьбе за приобретение и сохранение власти? Ответы на эти вопросы будут даны в следующих двух разделах.

О (не)свободе от политики научной теории

Р. Грундманн, исследуя статус и роль экспертов в современном обществе знания, полагает, что различие между наукой и экспертизой достаточным образом описывается в терминах теоретического / практического или знания / деятельности. Экспертиза приближает возможность действия, от которого далека наука [9. Р. 28]. Представляется, что такому различию отчасти следует и специалист в области публичной научной коммуникации Х.П. Петерс, определяющий деятельность ученых в качестве экспертов как *использование* научного знания для «публичной реконструкции ненаучных проблем» [11. Р. 70]. «Ненаучные проблемы» могут быть связаны с принятием конкретных решений разного уровня общественной значимости: относительно поведения в условиях техногенной катастрофы или эпидемической опасности, стратегии реформирования системы управления, производства работ по благоустройству города и т.п. Грундманн отмечает тенденцию современных исследований науки к смешению теоретического и практического знания, а также сфер знания и принятия решений. Смешение, по его мнению, не позволяет выявить работу перевода, который осуществляется в конкретной политической ситуации [9. Р. 43–44]. Однако представляется, что очищающее различие делает невидимыми условия возможности перевода. Как можно определить эти

условия, присутствующие в самой науке элементы, задающие возможность ее применения в практической политической сфере?

М. Вартофский, описывая возникновение существенного для науки различия в характере исследовательской деятельности в начале нового времени, характеризует его следующим образом: «В основание современной науки и философии была введена следующая альтернатива: реализм – инструментализм... При первом понимании наука говорит о реальности или описывает реальность с целью познания, причем „реальность“ считается независимой от нашего восприятия или познания; при втором понимании наука говорит о нашем опыте или о наших экспериментальных данных и лишь добивается их эффективного упорядочивания, которое может использоваться в качестве инструмента для предсказания» [15. С. 56–57]¹. Предсказание наряду с объяснением следует отнести к теоретической деятельности. Однако именно предсказание (и знание, ему соответствующее), включенное в науку, делает ее *возможно* полезной. Потому можно проинтерпретировать инструменталистское понимание науки как условие превращения теории в практику. По мнению Вартофского, такое положение дел в конечном итоге приводит к актуализации критики, причем не только позитивистского, но и марксистского толка, относительно абстрактного понимания науки и философии как исключительно представления независимой реальности [Там же. С. 57–61]. Отметим, что истолкование научного метода в критическом рационализме К. Поппера также включает формирование предложений-ожиданий, которые ставят научные высказывания в ситуацию риска подтверждения или опровержения фальсифицирующим предложением, описывающим возможный будущий опыт. Желательность предсказанного опыта или ее отсутствие может стать поводом для принятия решений по практической работе с реальностью. То есть предсказание и инструментальность как характеристики научной теоретической деятельности представляют собой условия перевода этой деятельности в статус практической.

Возникновение такой альтернативы в характере современной науки и ее присутствие в интеллектуальной истории европейской традиции не могут быть здесь предметом развернутой экспликации. Отметим только, что такое истолкование подтверждают историко-научные исследования, демонстрирующие связь новоевропейской науки и ее практического применения. Б. Коэн, описывая стадии научной революции и учитывая в том числе новоевропейский опыт, в качестве последней называет применение исследований [17. Р. 28–31]. Д. Вуттон приводит многочисленные свидетельства новоевропейской практической ориентации науки в разделе «Знание – сила» своего труда о научной революции и начинает этот раздел с достаточно показательного высказывания Р. Бойля: «Я никогда бы не поставил физиологию так высоко, как теперь, если бы думал, что она может лишь научить человека понимать природу, но не управлять ею, и что она служит лишь для того, чтобы приятными догадками улаживать его разум, не повышая его силу» (цит. по: [18. С. 423]).

¹ Подчеркнем значение этого различия для рефлексии научности современных социальных исследований. Так, Ф. А. Шродт, рассуждая о проблемах методологии политических наук, подчеркивает значение предсказания как существенного элемента, характеризующего научность исследований, надстраивающегося с необходимостью над недостаточным объяснением [16].

Следует отличать истолкование науки как инструментально ориентированной деятельности от понимания Б. Латуром или Я. Хакингом лабораторной науки как практики, направленной на вмешательство или непосредственную работу с реальностью. В подходе Вартофского, который можно назвать марксистским, в конечном итоге звучит подчеркивание ориентации науки на изменение действительности, а не только на познание ее. Однако данные подходы к пониманию науки переводимы друг на друга, поскольку, во-первых, научное знание понимается в этих случаях как работа с реальностью и прогнозирование будущего опыта [15. С. 56]. Во-вторых, они представляют собой различные способы критики репрезентативистского понимания науки исключительно как представления независимой реальности. Самое главное, в-третьих, в социальных и гуманитарных науках как прогнозирование, так и эмпирические исследования, особенно при предъявлении публике и субъектам власти их результатов, способны менять социально-политическую реальность¹.

Какое значение для связи науки и политики имеет альтернатива, обнаруживаемая Вартофским в основаниях науки? На первый взгляд, она может задавать возможную границу между свободой и несвободой науки от политики уже внутри науки. По одну сторону границы окажется инструменталистский характер науки, представляющий собой возможность практического, в том числе политического, применения. По другую сторону – нейтральный характер представления реальности. Однако это не совсем так. Современные исторические и социальные исследования науки свидетельствуют о том, что так называемая «чистая» наука всегда была связана с «технически и социально опосредованной реальностью» [21. С. 48], они демонстрируют, что отказ от марксистского принципа единства теории и практики порой оказывается неразрывно связан с феноменом идеологизированной науки [22]. Более того, защитники науки как независимого представления реальности, существующего вне всякой связи с практической деятельностью и стремлением изменять мир, критикуя такую связь и такое стремление, порой явным или неявным образом оказываются на стороне определенной политической позиции.

Так, о возможности соотнесения позиции «правых» и «левых» в политике, с одной стороны, а также реалистов и конструктивистов в исследованиях науки – с другой, в период так называемых научных войн, последовавших за провокацией А. Сокала, пишет Дж. Р. Браун [23. Р. 1–28]. Не менее характерная ситуация связана с недавним розыгрышем Дж. Линдси, Х. Планкроуз и П. Богосяна, выступивших от имени науки как незаинтересованного, идеологически не мотивированного стремления к истине, против критической социальной теории и так называемых «жалобных» исследований меньшинств [24]. Яркие примеры высказываний по поводу этого розыгрыша приводят Н.К. Денцин и М.Д. Джардина, демонстрируя политический, а не только эпистемологический характер развязавшихся дискуссий [25. Р. 1–16]. Данный

¹ Неслучайно опросы, проводимые специалистами в области публичной научной коммуникации, показывают значительное присутствие научных экспертных высказываний в диалогах ученых с журналистами, причем эта доля существенно выше именно для представителей гуманитарных и социальных наук [19. Р. 71]. Ярким примером воздействия научного знания на политику может служить кейс, показывающий, как представленные в публичном пространстве результаты исследований в области урбанистики, реализуемые на стыке географии и социологии, повлияли на отношение власти к проблеме сегрегации в городском пространстве Финляндии [20].

кейс, имеющий на поверхности целью разоблачение научной недобросовестности издателей, рецензентов и ученых, показывает неявную ангажированность разоблачителей (и порой явно консервативную позицию их защитников), выбравших в качестве объекта розыгрыша именно исследования, которые не скрывали свою критическую социально-политическую направленность.

Указанные примеры показывают, что наука, даже в том модусе, который выглядит предельно далеким от политической сферы, может также оказаться несвободной от политики. Особенно если ее защитники выступают против ученых, открыто участвующих в политике на определенной стороне. Такая связь «чистой» науки с политикой становится тем более опасной, когда от ее имени произносятся запреты на участие ученых в политической деятельности, на применение в ней результатов научных исследований. В этом случае научное сообщество становится полем идеологических противостояний. Следует подчеркнуть, что здесь речь идет только о *возможности* включения научной деятельности в политическую борьбу, всегда присутствующей в различных элементах научной деятельности, а также о том, что выступление от имени науки во всеоружии научного метода еще не гарантирует свободу от властных амбиций. Эта возможность не тождественна неизбежности; актуальным жестом, не позволяющим первой превратиться во вторую, остается освобождение от лишних иллюзий относительно «чистоты» научной теории.

В заключительном разделе статьи описание ситуации относительно научного знания и его возможного включения в политику будет дополнено описанием научной экспертизы, которая представляет собой пограничное знание – непосредственный перевод теоретического в практику социально-политической жизни. При этом будет показано, как может быть реализовано освобождение научного экспертного знания, включающегося в практику принятия значимых общественных решений, от борьбы за власть.

О свободе от политики научной экспертизы

Фигура эксперта и образ экспертных организаций, включающихся в борьбу за власть, хорошо описаны как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Их деятельность представлена консультационными организациями, разрабатывающими реализацию конкретного плана властных элит (например, по осуществлению сценария выборов) [26] или высказываниями, в которых дано решение проблемы, уже содержащее план действий для определенного политического курса и ценностный выбор (например, в пользу позиции консервативно или либерально настроенной части населения)¹. Такого рода деятельность может быть описана в терминах Э. Гуссерля, определяющего синтез теоретической и практической установок, как использование результатов теории, «отпавших от универсального теоретического разума» в «практике естественной жизни» [28. С. 643–644]. Следует присмотреться к альтернативе, к экспертным действиям, избегающим борьбы за власть и тем не менее способствующим решению проблем. Альтернатива может быть

¹ Описывая такую активную роль ученого, настаивающего на определенном выборе в отношении принятия решений, Р. Пилке называет ее *issue advocacy*. Роль эксперта, реализующего универсальную критику, о которой будет сказано ниже, может быть соотнесена, хотя и не отождествлена, с тем, что Пилке определяет посредством термина «честный посредник» (*honest broker*). [27. Р. 2].

представлена не только вариативными экспертными советами децизионистской модели, которая описывается как устранение из политического коммуникативного поля с пассивным включением в борьбу за власть. Альтернативная экспертная деятельность может быть реализована посредством критики, звучащей, однако, не с определенной партийной позиции, но, по выражению Э. Гуссерля, «универсальной критики всей жизни и всех жизненных целей» [28. С. 644].

Направления и примеры такой деятельности экспертов приводит М. Нисбет, подчеркивая, что именно политическая поляризация, в том числе экспертных позиций вокруг значимых общественных проблем, препятствует принятию решений и выработке адекватных мер [29]¹. Деятельность экспертов как «универсальная критика» может и должна стремиться освободить от политической поляризации практику решения проблем, реализуя посредничество между полюсами. Первое направление критики направлено против абстрактной формулировки требующей решения проблемы, далекой от непосредственного интереса конкретных граждан, именно в силу этого вызывающей подозрения в экономической и политической ангажированности решений. В этом случае эффективны трансформация или открытый перевод некоторых слишком «холодных» в смысле заинтересованности публики или, напротив, слишком «горячих» в смысле возможной заинтересованности бизнеса и власти пунктов обсуждения на те темы, в которых очевиден общий интерес и не только политический характер дискуссий. Например, проблемы климатических изменений, порой раздражающие публику, особенно если они предъявляются в контексте обсуждения национальной безопасности, напротив, находят отклик в случае их перевода на конкретные вопросы о влиянии изменений климата на здоровье [29. Р. 179–180]. Второе направление критики выступает против ценностной и технологической однозначности подходов к решению проблемы. В этом случае именно эксперты способны предлагать диверсификацию способов решения, представляющихся не столь радиальными в политическом и дорогостоящими в экономическом смысле, а потому более доступными для принятия различными сторонами. Кроме того, посредническая роль научных экспертов может заключаться в проведении публичных дискуссий (в том числе между представителями различающихся политических позиций), с подчеркиванием не только и не столько конкурентных преимуществ той или иной позиции, но и границ любого конкретного подхода в условиях неопределенности.

Дополним последний пункт Нисбета: «универсальная критическая» деятельность научных экспертов может заключаться в присоединении к публичным дискуссиям как можно большего числа заинтересованных лиц, в демонстрации значения решения проблемы для представителей различных политических позиций [20]. Дополнительной стратегией второго направления критики могут быть обнаружение за определенным «незаинтересованным» экспертным высказыванием однозначности ценностных властных

¹ Например, исследования выявили связь между скептицизмом или активизмом в отношении климатических проблем с одной стороны и иерархическим индивидуализмом (соответствующим правым политическим взглядам) или эгалитарным коммунитаризмом (близким позиции левых) с другой. О поляризации позиций относительно экологического кризиса и о формировании активной позиции граждан в этих вопросах посредством распространения научных знаний см. также: [30]

предпочтений и, соответственно, выявление ненаучности такой экспертизы, ее скрытой несвободы от политики в смысле борьбы за власть. Так, в уже упомянутом нами примере исследований в области урбанистики в Финляндии выявляется, что за профессиональной научной коммуникацией и дебатами относительно границ методологии и представления данных могут скрываться интересы ученых, работающих в управлении городом и отстаивающих уже принятый курс действий [20. Р. 410]. Можно сказать, что представленные направления критики демонстрируют возможность практической реализации прагматической модели коммуникации экспертов и власти Ю. Хабермаса.

Заключение

Тезис о свободе науки от политики представляется далеко не однозначным. Он сам может звучать в контексте защиты определенной политической позиции. Прояснение этого тезиса предполагало, во-первых, указание на различие политики как борьбы за власть и как практики принятия решений в значимых сферах общественной жизни, а во-вторых, различие профессиональной научной и научной экспертной деятельности. Было показано, что различные элементы собственно научной деятельности, как бы они не были далеки от практической сферы, содержат *возможность* включения во властное противостояние. Кроме того, было отмечено, что научная экспертная деятельность, несмотря на свой очевидно практический характер, допускает *возможность* свободы от определенной политической позиции и включение в конструктивную политическую коммуникацию, предполагающую рациональное обоснование политики. Такое включение было соотнесено с концептом универсальной критики. Данное исследование, проводимое на перекрестке публичной научной и политической коммуникации, может служить прояснению и в конечном итоге действительной свободе науки в политической сфере, коль скоро свобода может трактоваться как ответственное действие, включающее осознание его оснований.

Литература

1. Грундманн Р. Штер Н. Власть научного знания. СПб. : Алетея, 2015. 324 с.
2. Сморгунов Л.В. Институционализация управляемости и проблема контроля в пространстве цифровых коммуникаций // Южно-российский журнал социальных наук. 2019. Т. 20, № 3. С. 62–75.
3. Kooiman J. Exploring the Concept of Governability // Journal of Comparative Policy Analysis. 2008. Vol. 10, is. 2. P. 171–190.
4. Коулбач Х. Политика // Публичная политика: от теории к практике / ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. СПб. : Алетея, 2008. С. 35–50.
5. Гельман В.Я. Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских реформ // Политика. 2017. Т. 85, № 2. С. 32–59.
6. Shipovalova L.V. Max Weber's 'Inconvenient Facts' and Contemporary Studies of Public Science Communication // Social Epistemology. 2020. Vol. 34 (2). P. 130–141.
7. Scheufele D.A. Science Communication as Political Communication // PNAS. 2014. Vol. 111 (4). P. 13585–13592.
8. Hofmann J., Katzenbach Ch., Gollatz K. Between coordination and regulation: Finding the governance in Internet governance // New media and Society. 2017. Vol. 19 (9). P. 1406–1423.
9. Grundmann R. The Problem of Expertise in Knowledge Societies // Minerva. 2017. Vol. 55. P. 25–48.

10. Turner S. What is the Problem with Experts? // *Social Studies of Science*. 2001. Vol. 31 (1). P. 123–149.
11. Peters H.P. Scientists as public experts: expectations and responsibilities. // *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* / ed. by M. Bucchi, B. Trench. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. P. 70–82.
12. Ivancheva L. The Concept of “Socially Robust Science” – Reasons for Introducing, Basic Characteristics, and a Method of Measurement // *Sociology of Science and Technology*. 2018. Vol. 9, № 3. P. 7–17.
13. Хабермас Ю. Онаученная политика и общественное мнение // Хабермас Ю. *Техника и наука как «идеология»*. М. : Праксис, 2007. С. 136–166.
14. Feenberg A. A Critical Theory of Technology // *Handbook on Science and Technology Studies* / eds. U. Felt, R. Fouché, C.A. Miller, L. Smith-Doerr. Cambridge, MA : MIT Press, 2017. P. 635–664.
15. Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке // *Структура и развитие науки* / ред. Б.С. Грязнова, В.С. Садовского. М. : Прогресс, 1978. С. 43–110.
16. Schrodtt P.A. Seven Deadly Sins of Contemporary Quantitative Political Analysis // *APSA 2010 Annual Meeting Paper*. URL: <https://ssrn.com/abstract=1661045> (accessed: 13.04.2020).
17. Cohen I.B. *Revolution in Science*. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1987. 732 p.
18. Вуттон Д. Изобретение науки: новая история научной революции. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2018. 656 с.
19. Peters H.P. Gap between science and media revisited: scientists as public communicators // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2013. Vol. 110 (3). P. 14102–14109.
20. Esko T., Tuuminen J. Achieving the social impact of science: an analysis of public press debate on urban development // *Science and Public Policy*. 2019. Vol. 46 (3). P. 404–414.
21. Столярова О.Е. Можно ли говорить о грехопадении науки? // *Эпистемология и философия науки*. 2019. Т. 56, № 3. С. 45–50.
22. Бажанов В.А. Марксизм и вульгарный социоцентризм. Парадоксы марксистской теории и практики // *Философский журнал*. 2020. Т. 13, № 1. С. 97–109.
23. Brown J.R. *Who Rules in Science?* Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 2001. 236 p.
24. Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship. URL: <https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-studies-and-the-corruption-of-scholarship/> (accessed: 13.04.2020).
25. Denzin N.K., Giardina M.D. *Introduction Qualitative Inquiry at a Crossroads: Political, Performative, and Methodological Reflections*. New York : Routledge, 2019. 214 p.
26. Сунгуров А.Ю. Фабрики мысли и экспертное сообщество в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и на Северном Кавказе // *Политическая концептология : журнал междисциплинарных исследований*. 2017. № 2. С. 115–137.
27. Pielke R. *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*. New York : Cambridge University Press. 2007. 187 p.
28. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. *Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука*. Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. С. 625–665.
29. Nisbet N.C. Engaging in science policy controversies: insights from the US climate change debate // *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* / ed. by M. Bucchi, B. Trench. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. P. 173–185.
30. Watts E., Hofffeld U., Levit G.S. Climate science can't be trumped: a look at how to translate empirical data into political action // *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. 2019. Vol. 35, is 1. P. 145–158.

Lada V. Shipovalova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: ladaship@gmail.com, l.shipovalova@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 128–140.

DOI: 10.17223/1998863X/57/12

ON THE POSSIBLE AUTONOMY OF SCIENCE FROM POLITICS

Keywords: science communication; theory and practice; scientific expertise; public policy; governability, power.

The article clarifies the thesis about the autonomy of science in the political sphere. This clarification is topical since the thesis is far from unambiguous: it itself can be heard in the context of defending a certain political position. The clarification of this thesis implies, firstly, a distinction between politics as a struggle for power and policy as a practice of decision-making in important areas of public life and, secondly, a distinction between professional scientific research activity and activities of scientists as experts. The author shows that various elements of the scientific theoretical activity, no matter how far they are from the practical sphere, contain the possibility of engaging in politics as a struggle for power. The author also demonstrates that activity of scientists as experts, despite its obviously practical nature, allows the possibility of independence from a certain political position and participation in constructive political communication that assumes a rational justification of policy. The author correlates this participation with the concept of universal criticism (Edmund Husserl) and the mediated role of scientific experts as honest brokers (Roger Pielke). This research is conducted at the intersection of philosophy of science and social epistemology, as well as political research. The problem of sociopolitical dependency of professional scientific activity is revealed in the context of public science communication. The analysis of conditions of engaging scientists as scientific experts in making socially significant decisions, while avoiding the subjectivity of any party position and the struggle for power distribution, intersects with the study of the conditions of civic participation and governability involving cooperation and activity of all actors of political processes. This analysis allows determining the conditions for scientific experts to support coordinating institutional governance designs. Moreover, this research can serve to clarify and achieve the autonomy of science in political sphere.

References

1. Grundmann, R. & Stehr, N. (2015) *Vlast' nauchnogo znaniya* [The Power of Scientific Knowledge]. Translated from German. St. Petersburg: Aleteyya.
2. Smogunov, L.V. (2019) Institutionalization of Governability and the Problem of Veillance in the Space of Digital Communication. *Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk – South-Russian Journal of Social Sciences*. 20(3). pp. 62–75. (In Russian). DOI: 10.31429/26190567-20-3-62-75
3. Kooiman, J. (2008) Exploring the Concept of Governability. *Journal of Comparative Policy Analysis*. 10(2). pp. 171–190. DOI: 10.1080/13876980802028107
4. Colebatch, H. (2008) Politika [Policy]. In: Danilov, N.Yu., Gurov, O.Yu. & Zhidkov, N.G. (eds) *Publichnaya politika: ot teorii k praktike* [Public policy: from theory to practice]. Translated from English by V. Pasyukov, Y. Gurov. St. Petersburg: Aleteyya. pp. 35–50.
5. Gelman, V. (2017) Politics versus Policy: Technocratic Parts of Post-Soviet Reforms. *Politeia*. 2(85). pp. 32–59. (In Russian). DOI: 10.30570/2078-5089-2017-85-2-32-59
6. Shipovalova, L.V. (2020) Max Weber's 'Inconvenient Facts' and Contemporary Studies of Public Science Communication. *Social Epistemology*. 34(2). pp. 130–141. DOI: 10.1080/02691728.2019.1695013
7. Scheufele, D.A. (2014) Science Communication as Political Communication. *PNAS*. 111(4). pp. 13585–13592. DOI: 10.1073/pnas.1317516111
8. Hofmann, J., Katzenbach, Ch. & Gollatz, K. (2017) Between coordination and regulation: Finding the governance in Internet governance. *New Media and Society*. 19(9). pp. 1406–1423. DOI: 10.1177/1461444816639975
9. Grundmann, R. (2017) The Problem of Expertise in Knowledge Societies. *Minerva*. 55. pp. 25–48. DOI 10.1007/s11024-016-9308-7
10. Turner, S. (2001) What is the Problem with Experts? *Social Studies of Science*. 31(1). pp. 123–149. DOI: 10.1177/030631201031001007
11. Peters, H.P. (2014) Scientists as public experts: expectations and responsibilities. In: Bucchi, M. & Trench, B. (eds) *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 70–82.
12. Ivancheva, L. (2018) The Concept of “Socially Robust Science” – Reasons for Introducing, Basic Characteristics, and a Method of Measurement. *Sociology of Science and Technology*. 9(3). pp. 7–17. DOI: 10.24411/2079-0910-2018-10010
13. Habermas, J. (2007) *Tekhnika i nauka kak “ideologiya”* [Technology and Science as ‘Ideology’]. Translated from German by M.L. Khorkov. Moscow: Praxis. pp. 136–166
14. Feenberg, A. (2017) A Critical Theory of Technology. In: Felt, U., Fouché, R., Miller, C.A. & Smith-Doerr, L. (eds) *Handbook on Science and Technology Studies*. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 635–664.

15. Wartofsky, M. (1978) Evristicheskaya rol' metafiziki v nauke [Heuristic role of metaphysics in science]. In: Gryaznov, B.S. & Sadovsky, V.S. (eds) *Struktura i razvitie nauki* [Structure and Development of Science]. Translated from English. Moscow: Progress. pp. 43–110.
16. Schrod, P.A. (2010) Seven Deadly Sins of Contemporary Quantitative Political Analysis. *APSA 2010 Annual Meeting Paper*. DOI: 10.2139/ssrn.1661045
17. Cohen, I.B. (1987) *Revolution in Science*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
18. Wootton, D. (2018) *Izobretenie nauki: Novaya istoriya nauchnoy revolyutsii* [The Invention of Science. A New History of the Scientific Revolution]. Translated from English by Yu. Goldberg. Moscow: KoLibri, Azbuka-Attikus.
19. Peters, H.P. (2013) Gap between science and media revisited: scientists as public communicators. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 110. Supplement 3. pp. 14102–14109. DOI: 10.1073/pnas.1212745110
20. Esko, T. & Tuunainen, J. (2019) Achieving the social impact of science: An analysis of public press debate on urban development. *Science and Public Policy*. 46(3). pp. 404–414. DOI: 10.1093/scipol/scy067
21. Stoliarova, O.E. (2019) Can We Talk about the Fall of Science? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 56(3). pp. 45 – 50. (In Russian). DOI: 10.5840/eps20195646
22. Bazhanov, V.A. (2020) Marxism and ideologized science phenomenon. Paradoxes of Marxist theory and practice. *Filosofskiy zhurnal – The Philosophy Journal*. 13(1). pp. 97–109. (In Russian). DOI 10.21146/2072-0726-2020-13-1-97-109
23. Brown, J.R. (2001) *Who Rules in Science?* Cambridge (Mass) & London: Harvard University Press.
24. *Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship*. [Online] Available from: <https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-studies-and-the-corruption-of-scholarship/> (Accessed: 13th April 2020).
25. Denzin, N.K. & Giardina, M.D. (eds) (2019) *Introduction Qualitative Inquiry at a Crossroads: Political, Performative, and Methodological Reflections*. New York: Routledge.
26. Sungurov, A.Yu. (2017) Think tanks and expert community in Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, and the North Caucasus. *Politicheskaya kontseptologiya: zhurnal mezhdistsiplinarnykh issledovaniy – The Political Conceptology: Journal of Metadisciplinary Research*. 2. pp. 115–137. (In Russian).
27. Pielke, R. (2007) *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*. New York: Cambridge University Press.
28. Husserl, E. (2000) *Logicheskie issledovaniya. Kartezijskie razmyshleniya. Krizis evropeyskikh nauk i transsentsental'naya fenomenologiya. Krizis evropeyskogo chelovechestva i filosofii. Filosofiya kak strogaya nauka* [Logical research. Cartesian Reflections. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology. The crisis of European humanity and philosophy. Philosophy as a rigorous science]. Translated from German. Minsk: Harvest; Moscow: AST. pp. 625–665.
29. Nisbet, N.C. (2014) Engaging in science policy controversies: insights from the US climate change debate. In: Bucchi, M. & Trench, B. (eds) *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 173–185.
30. Watts, E., Hoßfeld, U. & Levit, G.S. (2019) Climate science can't be trumped: a look at how to translate empirical data into political action. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya – Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. 35(1). pp. 145–158. (In Russian). DOI: 10.21638/spbu17.2019.112

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 12.125

DOI: 10.17223/1998863X/57/13

В.В. Ахматов

АПОСТАСИЯ И АПОСТАСИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДЧУВСТВИЯХ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Рассматриваются источники русской религиозно-философской традиции, в которых раскрывается обозначенная в названии статьи проблема в контексте апостасии как феномена отступничества от ценностных основ духовного и бытийного добра. Раскрываются общие направления в подходах русских религиозных философов к теме эсхатологии. Показаны важность и актуальность духовно-нравственной проблематики, вопросов выбора добра и зла для углубления современного философского дискурса в направлении профилактики межрелигиозных, общественных и социальных конфликтов, явлений насилия, экстремизма и терроризма.

Ключевые слова: зло, свобода, добро, апостасия, жизнь, эсхатология, бессмертие.

Эсхатологическая тематика (проблемы вечных судеб мира и человека, участи добра и зла, смерти и бессмертия) получает особое развитие в работах русских философов середины и конца XIX в. – Вл. Соловьева, Н. Федорова, Л. Тихомирова. Особенным образом коснулся эсхатологических предчувствий Ф.М. Достоевский. В XX в. к данной тематике обратились такие мыслители, как Е.Н. Трубецкой, Н. Бердяев («Русская идея»; «О назначении человека»), В. Розанов («Опавшие листья»; «Апокалипсис»), свящ. Павел Флоренский, прот. Сергей Булгаков, проф. В.И. Экземплярский, проф. А.М. Туберовский, свящ. А. Жураковский и др. Идеи вышеперечисленных авторов, выраженные самым современным для своего времени философским языком, во многом были близки «критерию Иоаннову», древним александрийцам, ариопагитике, греческой патристике «золотого века», отцам-каппадокийцам, св. Исааку Сирину, св. Максиму Исповеднику и другим великим мыслителям восточного христианства.

А.Ф. Лосев полагал, что этическое «...учение о добре и зле неизбежно придет к вопросам о <...> судьбах их», т.е. к эсхатологии [1].

Профессор В. Несмелов в своей фундаментальной работе «Наука о человеке» справедливо вопрошает: «Что же такое человек?» И далее: «...чего следует желать человеку во имя его человечности и как ему следует жить по истине его человечности?» Он же отмечал, что «...серьезные люди всегда говорили о конечных вопросах мысли и жизни, ставили и решали эти вопросы» [2].

Восточно-христианская антропология неслучайно основана на том положении что, «...рассуждение о человеке не должно оставлять неисследован-

ным ни того, что было с человеком прежде, ни того, что будет с ним впредь, ни того, что усматривается в нем ныне» [3. С. 5].

Если предположить с позиций религиозной философии, что в исторической перспективе мы движемся к апостасии и отчасти уже находимся в ней, то возникает вопрос: что такое апостасия или кто такой «апостасийный человек»? Возможно, это человек, не только отступивший от религиозных, нравственных, исторических традиций, но внутренне или внешне живущий не «по истине своей человечности» или даже абсолютно бесчеловечный? Это частично «было с ним прежде», «усматривается в нем ныне», и это то, что может «быть с ним впредь». Так ли это?

Необычайное напряжение русской религиозной мысли в данном направлении дало существенные результаты. Русские религиозные мыслители со всей глубиной равнодушных исследователей обратили внимание на трагическую оторванность мира от истинных духовно-нравственных и религиозных основ. Критически осмыслив новейшие достижения западных философских школ, преодолев нищезанятость и марксизм, они экзистенциально подошли к проблематике того, что будет с миром и человеком в будущем, попытались вновь раскрыть положительную и отрицательную эсхатологию и положили глубокое основание для этического анализа эсхатологических событий. Они, по словам Б.П. Вышеславцева, «...привлекли религию для решения философских проблем», которые и в наше время остаются предметом разностороннего философского исследования [4].

Вл. Соловьев всей своей трагической жизнью пришел к пониманию сложности эсхатологических судеб добра. Он много писал об обманчивом, самозваном, прикрытом некоей «личиною» добре. Совершенным воплощением ложного добра он полагал Антихриста, который «будет говорить громкие и высокие слова» и «набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония», чтобы «соблазнить к великому отступлению» [5. С. 16]. Он называл его качества – «ловкость самозванца», «обманчивая и соблазнительная личина добра» [Там же. С. 148]. Главная его мысль в том, что «антихристианство <...> будет не простое неверие, отрицание христианства, или материализм», а что «это будет религиозное самозванство, когда Имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его» [Там же. С. 113–114]. «Философ пришел к убеждению, что в иерархической структуре мироздания ценностям моральным, отнюдь не являющимся абсолютными, предшествуют сверхценности духовного плана, содержание которых внерационально и, стало быть, не вполне доступно человеческому уму. Именно присутствие этой Божественной телеологии и определяет положение каждого аспекта человеческих отношений в эмпирическом бытии, в том числе, разумеется, и сферы права [6].

Он пророчески отметил, что внешне «мера добра в человечестве вообще возрастает. Не в том смысле, что отдельные люди становились сильнее в добродетели, или чтобы число добродетельных людей становилось больше, а в том смысле, что средний уровень общеобязательных и реализуемых нравственных требований повышается» [7. С. 277]. Сегодня мы можем видеть, как внешнее требование добра («общеобязательное и реализуемое») возрастает и провозглашается на словах, а внутреннее требование (присущее отдельным

людям) минимизируется, отвергается глубокими этическими личностными установками. Этот внешний фактор «требований добра» становится все более мнимым, не подлинным, лживым, лицемерным, а внутренний – все более разрушительным, отступническим, подлинно присущим отдельным индивидам.

Н.Ф. Федоров связал воедино две основные проблемы христианского сознания – отсутствие любви и отсутствие единства. В этом для него основная причина конечности, ограниченности, смертности. Отсюда – его мучительные размышления о необходимости объединения живущих (сынов) для воскресения умерших (отцов) [8]. По словам Н. Бердяева, его положительная, не фаталистическая эсхатология «резко отличается от эсхатологии Вл. Соловьева и К. Леонтьева, и правда на его стороне, ему принадлежит будущее» [9. С. 254].

Сам Н. А. Бердяев, обрушиваясь на «несовершенство» исторического церковного христианства, его догматического сознания (например, в вопросе происхождения свободы), предложил оптимистическое, созидательно-активное понимание эсхатологии как совместного творческого акта Бога и человека на путях изживания зла и ада, просветления и преображения. Главным препятствием на пути этого просветления и преображения оказывается отрицательный эсхатологизм, включающий в себя «законническое различие добра и зла», «аскетизм, превратившийся в фарисейство и законничество», «аскетическую метафизику, объявляющую любовь невозможной и даже опасной, т.е. вступающую в конфликт с источниками христианства», «исключительно аскетическое понимание христианства», связанное с «религией личного спасения», «личный страх и ужас гибели». При этом возникает «ложный аскетизм» – «как цель, а не как средство, ломающий жизнь, создающий восстания...» Он обращает наше внимание на то, что такое понимание Евангелия и христианства, «становящееся враждебным жизни и несоединимое с жизнью», «делающееся непонятным и неосуществимым» в своей абсолютности, становится главным аргументом мира против Него и главной причиной отступничества от Него. Такое ложное, законническое понимание христианства «может вызвать отвращение к добру», а лежехристианское отношение к состраданию может «проецироваться» эсхатологически, «в вечность, в вечные адские муки». В таком положении, считает Н. Бердяев, «обыкновенный гуманизм, натуральная человечность во много раз выше такого христианства». Но человеческое добро часто оказывается бессильным, слабым, побежденным, лишенным метафизической основы и эсхатологической перспективы развития. Если, по Бердяеву, «Евангелие противоречит не только злу, но и тому, что люди почитают добром», то нужно либо отречься (отступить) от этого, почитаемого людьми добра, либо от добра Евангельского. На этом пути существует риск окончательно заблудиться и сделаться отступником от всякого бытийного добра. Для того чтобы этого не произошло, нужно точно знать, что есть Евангельское добро, иметь проводников к нему. Пути самого добра, «действующего в темной, злой мировой среде», непрямолинейны. Оно «заражается злом в борьбе и начинает пользоваться злыми средствами». Отсюда возникают общественная и церковная «полезная ложь», «прагматизм лжи» и как реакция на эти явления – толстовство [Там же. С. 191]. Об «окончательном», «апостасийном» зле он писал так:

«...будущее двойственно: в нем явится и величайшее, окончательное добро, и величайшее, окончательное зло <...> Только в свете религиозного сознания видна двойственность исторических судеб человечества, видно грядущее в мир разделение на конечное добро и конечное зло <...> чтобы зло было побеждено, должно выявиться его окончательное ничтожество; оно должно предстать перед человечеством в окончательной своей форме <...> самый страшный ужас ждет человечество впереди, самое страшное зло воплотится в будущем, когда окончательно исчезнут первоначальные формы зла» [10].

В противоположность Н. Бердяеву свящ. Павел Флоренский бережно исследует классические древнехристианские богословские и аскетические православные источники, дает им современное философское обоснование, подчеркивает их уникальность и актуальность. Говоря о книге «Пастырь» Ерма, он пишет об отступничестве как об уходе от «ходящих в незлобии и простоте», «удерживающихся от всякого лукавства», «творящих правду». Злом он полагает, по слову Амвросия Медиоланского, «ложное употребление сил и способностей, т.е. извращение порядка реальности». Отсутствие отступничества от Бога он связывает с «онтологической существенностью и объективной значимостью смирения, целомудрия и простоты, как сверх физических и сверх нравственных сил, делающих, в Духе Святом, всю тварь единосущною Церкви» [11. С. 267, 345–346]. Главным способом обретения «подлинной человечности» он полагает «вглядывание в Лик Христов через отыскивание в Сыне Человеческом подлинного себя». Крайнее состояние, противоположное этому, – «сердце звериное, нечеловеческое». Привлекая богатейший философский и богословский материал, он пишет о том, что глубинная Любовь, Дружба, Добро, Красота, Единство живут вместе [Там же. С. 236, 440, 444, 532]. К сожалению, многие из прозрений отца Павла Флоренского оказались слишком замкнуты на идеалистическом обосновании софиологии как на современном, актуальном направлении богословско-философских поисков истины, добра, красоты.

Л. Тихомиров, говоря об эсхатологическом феномене отступничества, сразу не соглашается с мнением проф. А.Д. Беляева («О безбожии и антихристе»), считавшего высшей степенью отступничества только «бич» современного ему атеизма и крайнего материализма. Он пишет: «Об отступлении разные толкователи выражали весьма различные мнения». И далее: «...совершенно ясно, что отступление, апостасия, есть отступление от Бога и Христа. Но в чем оно выразится точнее?» «Атеизм и материализм, конечно, составляют отступление от Бога, но никак не последнее слово его, не вершину его. Высшая степень отступления может состоять лишь в переходе на сторону иного бога, признание Высшим Существом мира или по крайней мере более желательным – не Бога, а некоторую другую Духовную Личность, которая борется против Бога за мировое владычество. Переход на сторону этой Личности, старание помочь ей низвергнуть Бога – такова, конечно, есть высшая степень апостасии. И нет сомнения, что именно об этом говорит апостол Павел, так как он тут же объясняет, что этот человек греха, сын погибели, будет превозноситься выше всего, называемого Богом, и сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4). Все это ничуть не материалистично и не атеистично. Бог признается существующим, но с Ним начинается борьба в пользу сатаны и зверя. Это есть не пассивное отступление, а активное, не

простое безбожие, а борьба против Бога». По Л. Тихомирову, «...для перехода к активному отступлению нужно, чтобы материализм сменился какой-либо формой нового мистицизма, при котором только и возможно появление „нового бога“, „иного бога“». Этому может сильно способствовать «выродившаяся уродливость церкви, или павшая церковь». Л. Тихомиров тесно связывает будущую апостасию с бурным развитием теософии, оккультизма и сатанизма: «...если предположить, что искренняя, горячая вера христианская сильно подорвана и у людей очень развилось желание жить по-своему, а не по Божественному предначертанию, то широчайшее отступление может пожаром быстро охватить весь мир, как только явится доктрина отступления, хорошо приспособленная к состоянию умов и желаний. В оккультизме и теософии уже имеется учение о „великих душах“, которые почти заменяют Бога в управлении миром» [12].

Если считать апостасию будущего явлением деградации, прежде всего христианского сознания и духовной традиции, то можно упомянуть любопытное предположение Данилевского о том, что искажению христианства способствовала различная предрасположенность некоторых исторических типов к различному злу (например, к насильственности) [13].

Читая К. Леонтьева, можно остановиться на мысли о некоем переходе от сегодняшнего человека к апостасийному человеку будущего как от простого к сложному. Это циклический процесс гибели простого зла и рождения сложного зла, его гибель, затем переход к простому, разложению и т.д. Цель этого – цветение временных внешних форм, обеспечивающих миропорядок и стабильность. Он пишет: «Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития <...> вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством». Для того чтобы поддерживать эту стабильность и миропорядок нужна сильная государственная и церковная епископская власть (с известного рода качествами – силой воли, выдержкой, административным и дипломатическим умом, властолюбием, корыстью (иногда для самосохранения, в случае беды), жестокостью), которой «очень хорошие люди иногда ужасно вредят», если «воспитание их ложно». Они могут мешать устройению «общего блага», которому неизменно будут сопутствовать лицемерие и насилие с атеизмом, «какого еще нигде не бывало», демагогией «страшнее афинской демагогии», гонениями повсеместными «на прежде столь священного жреца». Все это признаки апостасии. Он, в частности, писал, что «появляются новые вовсе черты, дотоле небывалые в картине всецелого организма. <...> и даже в развитии духа человеческого, характера» [14]. К. Леонтьев надеется на преодоление их, на возможность «по-человечески служить идеям организующим, дисциплинирующим – идеям, вне нашего субъективного удовольствия стоящим, объективным идеям государства, Церкви, живого добра и поэзии». Но он же с горечью отмечает лицемерность и духовную деградацию православного Востока: «Нынешний христианский Восток вообще есть не что иное, как царство, не скажу даже скептических, а просто неверующих ересиархов, для которых религия их соотчичей низшего класса есть лишь удобное орудие агитации, орудие племенного политического фанатизма в ту или другую сторону. Это истина, и я не знаю, какое право

имеем мы, русские, главные представители православия во Вселенной, скрывать друг от друга эту истину или стараться искусственно забывать ее!» [14]. Н. Бердяев считал, что сам Леонтьев пессимистически смотрит на будущее человечества, а эсхатологизм Леонтьева носит отрицательный характер, так как он не устремлен к спасению человечества и мира [9. С. 248].

Л. Карсавин обращает наше внимание на те же процессы как на переход от подлинного к неподлинному, высшего качественного личности к низшему качественному личности, от высшего всеединства к раздробленности и т.д. Исходя из этого, можно предположить, что апостасия с ее отступничеством от добра как области прекрасного и возвышенного не причастна Высшей реальности и реальности наивысшей не достигает. Она чужда всякому качественному усовершенствованию. Она может достигнуть лишь тварно-греховного совершенства. Это процессы, в которых апостасийный человек стремится стать высшей индивидуальностью «со знаком минус». Он есть низшая личность, для которой область добра есть область нереализуемой «мертвой метафизики» [15. С. 206, 208, 210, 212, 223, 235, 242].

Ф. Степун считал, что подобные люди «...мнят себя, по Ницше, „по сторону добра и зла“. Это совсем особые люди, бескорбные и неспособные к раскаянию». Он не был уверен в том, что в будущем «их „великие дела“, даже если бы они и породили какие-нибудь положительные результаты, никогда не преобразятся в памяти „благодарного“ потомства в светлые подвиги». Он же сказал, что в XIX в. зло было человеческим, а в XX в. оно стало сатанинским, или произошел процесс трансформации морального зла в духовное. Возможно, главной причиной этого являлось отступничество от духовного и бытийного добра [16].

Протоиерей В. Зеньковский приходит к мысли о том, «что с развитием исторической жизни зло не только не ослабевает, но, наоборот, увеличивается, становясь все более утонченным и страшным» [17].

Профессор Введенский полагал, что для будущего человечества важна вера в силу добра и «в безопасность правды», которые сохранят его от угрожающего ему «умственного разврата» [18].

Н.С. Арсеньев отметил важнейшие для нашего исследования «основные темы русской религиозной мысли: христоцентризм (самоотдание Любви Божией в Сыне Любви Его (Колосс. 1, 13) – до глубины страдания и смерти и победы над смертью – как центр и смысл истории и жизни мира и источник новой жизни); далее, „соборность“ нашего спасения: мы составляем единое Тело духовное, ибо охвачены и покорены единой любовью, Его Любовью, действующей и в нас – в любви нашей к братьям, и – преображение твари (последняя тема очень важна для Достоевского наряду с его главной темой о страдании – он касается ее в „поучениях“ старца Зосимы и в главе „Кана Галилейская“ „Братьев Карамазовых“); этот процесс преображения уже начался в действии Духа». Русская религиозная философия в основном «стоит <...> всецело на почве Иоанновского созерцания тайны снисхождения Божия, вдохновившего и всю религиозную устремленность великих Отцов Церкви, и все молитвенное созерцание литургических песнопений Православной Церкви» (П. 32–33). Это темы глубокого мистического единства Христа и Церкви, Его любви и спасения, побеждающего всякое зло и торжествующее над ним, преобразующее его, «наполняющего все во всем» (Еф. Гл. 1). Именно им

противостоит апостасия как сила разделяющая, сеющая вражду, ложь, несправедливость, не братолюбие, пугающая силой греха, призывающая к бессмысленному унынию, страданию, истязанию и гибели. Он же, не теряя оптимизма, писал о тревожных тенденциях в развитии русской религиозной мысли: «...важнейшая тема – о преображении мира, которая, напротив того, очень богато и динамично представлена в русской религиозной философии XX в., осложняется, однако, и разнообразится рядом новых, различных при этом, привходящих элементов <...> Много отступников, много павших, много человечески недостойного, но среди этого раскрылась сила Божия, подерживающая остающихся верными» [19].

И.А. Ильин был убежден что, человек будущего неизбежно будет вовлечен в «эсхатологическое противостояние добра и зла» в котором должен будетстоять свою человеческую идентичность [20. С. 39–40].

В. Розанов в своем «Апокалипсисе» связывает с неистинностью, «немощностью», неосуществленностью христианства, с «тенистостью, тенностью, пустынностью небытийственностью сущности» Христа то, что «„последние времена“ потому и покажутся так страшны», а сами люди превратятся в каких-то «скорпионов, жалящих самих себя и один другого». Они, по Розанову, уже «обратились таинственным образом в „теней человека“, в „призраки человека“, до известной степени – в человека „лишь по имени“» [21. С. 28–29]. У него же в «Опавших листьях»: «Антихрист назовет себя другом Христа <...> Мир разрушится, потеряет грани, связи, ибо потеряет *отталкивания* <...> все они <...> именно только „назовут“ себя, а дело останется как есть» [22. С. 34]. Он даже предполагал, что «...есть все-таки что-то такое Темное, что одолевает и Б.». «Механизм гибели Европейской цивилизации, – по В.В. Розанову, – будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце времен злодеи разорвут мир». Он же обратил внимание на то, что «уже теперь теснится, осмеивается, пренебрежительно оскорбляется все доброе, спокойное, попросту добродетельное», что мир погибнет от «лжесострадательности», от извращения основных добродетелей, стержневых, «на роду написанных» от которых «все тесто возшло». В.В. Розанов даже вводит термин, обозначающий губительную лжегуманность и лжелюбовь, – «ледяная любовь» [21. С. 108].

В. Тернавцев в своем незавершенном толковании Апокалипсиса останавливается на сущностных вопросах несовместимости или поддельной совместимости всякой церковно-государственной теократии, неизбежной «зараженности» злом власти всевозможных кесарей. Он даже сопоставляет эту власть с «престолом сатаны». Будущую идеологию и поступки этих властителей он сравнивает с «делами николаитов» – делами антихристианскими. Самым страшным в этих помыслах и делах явилось то, что христианская церковь была втянута союзом с «кесарями» в «исполненное противоречий и томления двух-верное существование» которое «представляло собой уже не секту с явно противонравственным характером, а ползучий соблазн, многоглавую систему, охватывающую тысячею щупальцев всю земную жизнь и колеблющую догматы, этику и дисциплину Церкви». Отсюда ее духовно-нравственная деградация и уязвленность для обличения, «раздвоение Я человека», «лихорадка человекобожия». Он пишет об этом: «Себялюбие домашнего очага и тщеславие убранством жилища, себялюбие красоты и здоровья

плоти и сладострастие, себялюбие возвышения в государственных должностях, себялюбие успехов в торговле и приобретении богатств, себялюбие славы военной и успехов оружия, себялюбие побед на конских ристалищах, себялюбие книжного познания и мудрости века сего, себялюбие учительных побед в православии, – все эти себялюбия с тысячьо разветвлений змеились вокруг каждого христианина, выходя из Николаитства, возглавляемого у престола Пергамского Спасителя – Κάθηδρα τοῦ Δρακόντος Ваала. Благодаря условиям этой лже-оседлости Церкви, Николаитство стало на Пергамском периоде особенно легко приразимо к Христианству и сумело опутать своими петлями всю душевную жизнь и внешнее поведение епископов и верующего народа. Можно ли удивляться, что к истинному христианству здесь стали относиться, скорее, как к утраченному сокровищу и разыскиваемому кладу? Мог ли после этого Христос улыбаться этой Церкви?» [22].

Ф.М. Достоевский пророчески описал многочисленных отступников (наиболее яркий из них Н. Ставрогин). В «Сне смешного человека» вначале он дает развернутую и фантазмагорическую общую картину отступничества прошлого и будущего: «Они <...> полюбили ложь и познали красоту лжи», «атом лжи проник в их сердца и понравился им», «затем сладострастие», «ревность», «жестокость», «кровь». Это разъединило их. Они «полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением». «Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности». Став «преступны», они «изобрели справедливость». Впоследствии это привело к поклонению ложным идеям и желаниям в храмах и сделало людей такими, что «каждый возлюбил себя больше всех», «стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал», «...святая кровь лилась на порогах храмов» [23. С. 393–395].

Таковы фрагменты некоторых мыслей русских религиозных философов на тему апостасии и апостасийного человека. Они созвучны с мыслями многих выдающихся церковных писателей XX вв. (св. прав. Иоанна Кронштадтского, монахини Марии (Скобцовой), прот. Георгия Флоровского, архиеп. Аверкия (Таушева) и др.), в одной общей теме говорящих об отступничестве-апостасии в основном как о подмене ценностей, охлаждении любви, бездуховном и безнравственном лжехристианстве, лжесвященстве, прикрытом внешней лицемерной личиной добра, традиции, благочестия, обряда.

Рассмотрев различный профетический, эсхатологический и религиозно-философский материал, мы можем отметить, что он глубоко освещает феномен, называемый в религиозно-философской традиции отступничеством, или апостасией. Русские религиозные философы сделали попытку раскрыть его глубинные особенности в универсальном контексте будущих судеб мира и человека, добра и зла. Но актуальна ли эта тема сегодня? Видим ли мы признаки апостасии сейчас? Отчасти да. Для многих становится очевидным массовое отступничество людей от всяких подлинных ценностей, человечности, любви, добра, красоты, правды, искренности в пользу поддельных ценностей – глубочайшей лжи, бесчеловечности и изощренного лицемерия, характеризующегося нравственным уродством и безобразием, крайней злобой, немилосердностью, ненавистью, насилием, беззаконием.

В эсхатологических прозрениях русской религиозно-философской мысли феномен апостасии вышел за рамки ее церковно-правового понимания как вероотступничества и приобрел масштабные перспективы развития, восста- вая на духовно-нравственные основы жизни человека – добро, любовь, чело- вечность. Оказавшись вне церковно-правового, религиозно-философского понимания, это явление приобрело масштабные перспективы развития, вос- ставая на духовно-нравственные основы жизни человека. Оно стало не толь- ко внешней, но и внутренней характеристикой личности. Это подтверждается необычайным развитием явлений насилия, экстремизма и терроризма. Но движение апостасии к пику своего развития еще не завершено. По мнению некоторых современных исследователей, сегодня «...в обществе разрушают- ся устоявшиеся типы и способы социализации, появляются новые, связанные с ведущими современными процессами – глобализацией, компьютеризацией, виртуализацией, – и человек с беспокойством замечает, что эти приходящие механизмы социализации и коммуникации обедняют его личность и его от- ношения с другими людьми, заставляют его утрачивать человечность». Такое общество активно формирует нового «постчеловека» (термин С.С. Хору- жего), такого отступника, каких еще не видел мир [24. С. 183]. Такой человек является прогрессирующей во времени личностью, активно формирующей для себя внутреннюю философию и ценностную систему, соответствующую некоему глубинному «своду правил», который определяет жизнь человека и ее цель. Эти процессы вновь обращают наше внимание не на внешние формы апостасии, а на ее глубинную сущность. Отсюда возникает необходимость перенести анализ апостасии из области церковно-правовой, культурно- исторической и профетической в область духовно-нравственную, этическую.

Литература

1. Лосев А.Ф. Этика как наука // Человек. 1995. № 2. II. URL: http://www.katehizis.ru//ftp/media/Pravoslavnaia_literatura/Filosofija/Russkaja_religioznaja_filosofija/Losev_Aleksejj_Fedorovich/Losev_A.F._Ehtika_kak_nauka.htm (дата обращения: 05.01.2018).
2. Несмелов В. Наука о человеке. URL: <http://www.hrono.ru/libris/> (дата обращения: 05.01.2018).
3. О человеке : сб. трактатов : пер. с греч. / сост., вступ. ст. С. Ершов. СПб. : Азбука, 2011. 352 с.
4. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Vysheslavcev/etika-preobrazhennogo-erosa/ (дата обращения: 17.05.2019).
5. Соловьев Вл. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями. М., 2007. 347 с.
6. Соина О.С. От этики непротивления – к философии права (современная версия старого спора). URL: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/SOINA1.HTM> (дата обращения: 17.05.2019).
7. Соловьев Вл. Оправдание добра. М., 2012. 656 с.
8. Федоров И.Ф. Из «Философии общего дела». Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1993. 216 с.
9. Бердяев Н. Русская идея. СПб., 2012. 320 с.
10. Бердяев Н. Происхождение зла и смысл истории. URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_proiskhozhdenie/ (дата обращения: 17.05.2019).
11. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 2012. 905 с.
12. Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории URL: http://nashaucheba.ru/v5301/тихомиров_лев_религиозно-философские_основы_истории?page=22 (дата обращения: 17.05.2019).
13. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. URL: http://www.odinblago.ru/istoriya_rossii/danilevskiy/1 (дата обращения: 17.05.2019).

14. *Леонтьев К.Н.* Византизм и славянство. URL: http://lib.ru/FILOSOF/LEONTIEV_K/wisantzizm_slavyanstwo.txt (дата обращения: 17.05.2019).
15. *Карсавин Л.П.* Философия истории. М. : АСТ : АСТ Москва, Хранитель, 2007. 510 с.
16. *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. URL: <https://azbyka.ru/fiction/byvshee-i-nesbyvsheesya/> (дата обращения: 17.05.2019).
17. *Зеньковский В.В.* Основное богословие. URL: http://www.odinblago.ru/osnovnoe_bogoslovie/zenkovsky/ (дата обращения: 17.05.2019).
18. *Введенский А.И.* Условия допустимости веры в смысл жизни. URL: <http://www.odinblago.ru/filosofiya/vvedenskiy/> (дата обращения: 17.05.2019).
19. *Арсеньев Н.С.* О современном положении христианства // Путь. 1927. № 7. URL: <http://www.odinblago.ru/path/7/7/> (дата обращения: 17.05.2019).
20. *Соина О.С. И.А. Ильин о духовном сопротивлении злу // Школа мысли : альманах гуманитарного знания : сб. науч. тр. Новосибирск : Изд. НИПКиПРО, 2003. № 3. URL: <http://shkola-mysli.narod.ru/03-03.html> (дата обращения: 17.05.2019).*
21. *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. Последние времена. М. : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2009. 320 с.
22. Толкование на Апокалипсис святого Иоанна Богослова // РО РНБ СПб. Ф. 1000 СОП. 1968.30(5) В. Тернавцев. 1918. Евпатория. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/ (дата обращения: 30.09.2019)
23. *Розанов В.В.* Опавшие листья. М. : АСТ, 2011. 383 с.
24. *Достоевский Ф.М.* Записки из мертвого дома ; Рассказы. М. : Сов. Россия, 1983. 416 с.
25. *Хоружий С.С.* Колычий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности // Развитие и экономика. 2012. № 4. С. 180–191.

Vsevolod V. Akhmatov, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: maryatirsa@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 141–152.

DOI: 10.17223/1998863X/57/13

APOSTASY AND THE APOSTATE MAN IN ESCHATOLOGICAL PRESENTIMENTS OF RUSSIAN RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL THOUGHT

Keywords: evil; freedom; good; apostasy; life; eschatology, immortality.

The relevance of the presented research is determined by the fact that eschatological presentiments in Russian religious and philosophical thought reveal the future of the problem of good and evil. Eschatological problems investigated in the context of religious and philosophical discourse contribute to a more in-depth analysis of the ontological causes of social conflicts, violence phenomena, as these problems draw our attention to the spiritual and moral phenomenon of apostasy. The church legal concept and definition of apostasy, too focused on external anti-clerical forms of apostasy (accentuated on its external features), does not give a complete picture and does not reveal the full depth and multidimensionality of this phenomenon. The phenomenon of apostasy, if it is not reduced only to the manifestations of the church legal historical reality and signs that qualify the rejection of faith, is a deep and multifaceted phenomenon of spiritual and moral life of the individual, which has a direct impact on culture and society. Existing in the context of Judeo-Christian discourse, it can be characterized not only by external and internal apostasy from the faith and the church. It often becomes a dangerous and hypocritical form of apostasy and from all existential good, love, humanity as a whole, that is, acquires a certain global significance. The article considers the sources of the Russian religious and philosophical tradition, which reveal the problem identified in the title of the article in the context of apostasy as a phenomenon of apostasy from the value foundations of spiritual and existential goodness. The general directions in approaches of Russian religious philosophers to the theme of eschatology are revealed. The aim of the work is to show the importance and relevance of spiritual and moral issues, the choice of good and evil to deepen the modern philosophical discourse in the direction of prevention of interreligious, public and social conflicts, violence, extremism, and terrorism. Russian religious and philosophical thought came to understand the insolubility of the problem of evil, only in the context of the church ascetic worldview, but thoroughly confirmed the need and importance of spiritual and moral life. The eschatological direction of Russian religious and philosophical thought mainly correlates with the Eastern Christian cultural tradition and focuses on understanding the universal problems of the fate of the world and man, salvation and death, life and death, good and evil. Being outside the church legal and religious philosophical understanding, this phenomenon has acquired large-scale

development prospects, rebelling on the spiritual and moral foundations of human life. It has become not only an external, but also internal characteristic of a person. This is confirmed by the extraordinary development of the phenomena of violence, extremism, and terrorism. But the movement of apostasy towards the peak of its development is not yet complete. These processes again turn our attention not to the external forms of apostasy, but to its deep essence. Hence the need arises to transfer the analysis of apostasy from the field of the church legal, cultural historical, and prophetic to the field of the spiritual moral, ethical.

References

1. Losev, A.F. (1995) *Etika kak nauka* [Ethics as a science]. *Chelovek*. 2. [Online] Available from: http://www.katehizis.ru/ftp/media/Pravoslavnaia_literatura/Filosofija/Russkaja_religioznaja_filosofija/Losev_Aleksejj_Fedorovich/Losev_A.F._Ehtika_kak_nauka.htm (Accessed: 5th January 2018).
2. Nesmelov, V. (n.d.) *Nauka o cheloveke* [Science about man]. [Online] Available from: <http://www.hrono.ru/libris/> (Accessed: 5th January 2018).
3. Ershov, S. (ed.) (2011) *O cheloveke* [About Man]. Translated from Greek. St. Petersburg: Azbuka.
4. Vysheslavtsev, B.P. (n.d.) *Etika preobrazhennogo erosa* [Ethics of the Transformed Eros]. [Online] Available from: https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Vysheslavcev/etika-preobrazhennogo-erosa/ (Accessed: 17th May 2019).
5. Soloviev, V.I. (2007) *Tri razgovora o voyne, progresse i kontse vsemirnoy istorii so vkhlyucheniem kratkoy povesti ob Antikhriste i s prilozheniyami* [Three talks about war, progress and the end of world history, including a short story about the Antichrist and appendices]. Moscow: AST.
6. Soina, O.S. (n.d.) *Ot etiki neprotivleniya – k filosofii prava (Sovremennaya versiya starogo spora)* [From ethics of non-resistance – to the philosophy of law (Modern version of the old dispute)]. [Online] Available from: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/SOINA1.HTM> (Accessed: 17th May 2019).
7. Soloviev, V.I. (2012) *Opravdanie dobra* [Justifying Good]. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii, Algoritm.
8. Fedorov, I.F. (1993) *Iz "Filosofii obshchego dela"* [From the "Philosophy of the Common Cause"]. Novosibirsk: Novosib. kn. izd-vo.
9. Berdyaev, N. (2012) *Russkaya ideya* [Russian Idea]. St. Petersburg: [s.n.].
10. Berdyaev, N. (2012) *Proiskhozhdenie zla i smysl istorii* [The origin of evil and the meaning of history]. [Online] Available from: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_proiskhozhdenie/ (Accessed: 17th May 2019).
11. Florensky, P. (2012) *Stolp i utverzhdenie istiny* [Pillar and the statement of truth]. Moscow: Akademicheskiiy projekt.
12. Tikhomirov, L. (n.d.) *Religiozno-filosofskie osnovy istorii* [Religious and Philosophical Foundations of History]. [Online] Available from: http://nashaucheba.ru/v5301/tikhomirov_lev_religiozno_filosofskie_osnovy_istorii?page=22 (Accessed: 17th May 2019).
13. Danilevsky, N.Ya. (n.d.) *Rossiya i Evropa* [Russia and Europe]. [Online] Available from: http://www.odinblago.ru/istoriya_rossii/danilevskiy/1 (Accessed: 17th May 2019).
14. Leontiev, K.N. (n.d.) *Vizantizm i slavyanstvo* [Byzantism and Slavism]. [Online] Available from: http://lib.ru/FILOSOF/LEONTIEV_K/wisantzizm_slavyanstwo.txt (Accessed: 17th May 2019).
15. Karsavin, L.P. (2007) *Filosofiya istorii* [Philosophy of History]. Moscow: AST: AST Moskva, Khranitel'.
16. Stepun, F. (n.d.) *Byvshee i nesbyvsheesya* [The Past and the Unfulfilled]. [Online] Available from: <https://azbyka.ru/fiction/byvshee-i-nesbyv-sheesya/> (Accessed: 17th May 2019).
17. Zenkovsky, V.V. (n.d.) *Osnovnoe bogoslovie* [Basic Theology]. [Online] Available from: http://www.odinblago.ru/osnovnoe_bogo-slovie/zenkovsky/ (Accessed: 17th May 2019).
18. Vvedensky, A.I. (n.d.) *Usloviya dopustimosti very v smysl zhizni* [Conditions for the admissibility of belief in the meaning of life]. [Online] Available from: <http://www.odinblago.ru/filosofiya/vvedenskiy/> (Accessed: 17th May 2019).
19. Arseniev, N.S. (1927.) *O sovremennom polozhenii khristianstva* [On the current state of Christianity]. *Put'*. 7. [Online] Available from: <http://www.odinblago.ru/path/7/7/> (Accessed: 17th May 2019).
20. Soina, O.S. (2003) I.A. Il'in o dukhovnom soprotivlenii zlu [I.A. Ilyin on spiritual resistance to evil]. In: Sabirov, V.Sh. (ed.) *Shkola mysli* [School of thought]. Novosibirsk: NIPKiPRO. [Online] Available from: <http://shkola-mysli.narod.ru/03-03.html> (Accessed: 17th May 2019).

21. Rozanov, V.V. (2009) *Apokalipsis nashego vremeni. Poslednie vremena* [Apocalypse of our time. The last times]. Moscow: Mir entsiklopediy Avanta+, Astrel'.
22. Andreas of Caesarea. (1968) *Tolkovanie na Apokalipsis svyatogo Ioanna Bogoslova* [Interpretation of the Apocalypse of St. John the Theologian]. Translated from Greek by V. Yuriev. St. Petersburg: Fond 1000 SOP. [Online] Available from: https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/ (Accessed: 30th September 2020)
23. Rozanov, V.V. (2011) *Opavshie list'ya* [Fallen Leaves]. Moscow: AST.
24. Dostoevsky, F.M. (1983) *Zapiski iz mertvogo doma; Rasskazy*. [Notes from the Dead House; Stories]. Moscow: Sovetskaya Rossiya.
25. Khoruzhy, S.S. (2012) Kolyuchiy klad: vizantiyskoe nasledie v ego oboyudoostroy aktual'nosti [A thorny treasure: Byzantine heritage in its double-edged timeliness]. *Razvitie i ekonomika*. 4. pp. 180–191.

УДК 16 (09)

DOI: 10.17223/1998863X/57/14

С.В. Гарин

ἘΝΔΟΞΑ: ОТ «ТОПИКИ» АРИСТОТЕЛЯ К FUZZY LOGIC

Рассматривается «Топика» Аристотеля в контексте неформальной нечеткой логики. В частности, показано, что денотаты так называемых правдоподобных диалектических положений (πρότασις διαλεκτική, ἔνδοξα) в «Топике» могут быть поняты как нечеткие множества. Можно сформулировать неформальный некантитативный аналог процесса дефазификации, с одной стороны, заменив все нечеткие множества как денотаты энтимем семантически четкими терминами категорических силлогизмов, с другой – преобразовав нечеткие энтимематические структуры в категорическую силлогистику.

Ключевые слова: Аристотель, «Топика», античная логика, нечеткая логика, теория аргументации.

Вопросы логики в комментаторской традиции «Топики»

Весьма долгое время «Топика» Аристотеля вызывала сравнительно небольшой интерес у исследователей. Причин тому несколько. Во-первых, данный трактат не содержит достаточных объяснений для ряда собственных ключевых понятий, что весьма затрудняло всякое комментаторское исследование. Так, τόπος в «Топике» нигде напрямую не определяется, но лишь весьма бегло поясняется. Несколько пассажей в «Риторике» (1403a18 и т.д.) немного проясняют природу топоса в его различных связях с логическими и аргументативными вопросами¹. Эта дефинитивная неясность стала настолько очевидной и затрудняющей любой анализ аристотелевской «Топики», что Ю.М. Бохеньский сделал неутешительный вывод: «Никто до сих пор так и не преуспел в ясном определении того, чем являются τοποί» [1. Р. 51]. В 1994 г., спустя почти 30 лет после работы Ю. Бохенского, в своем диссертационном исследовании, посвященном «Топике» Аристотеля, П. Сломковский практически повторяет вердикт польского логика, считая, что никто так и не смог установить, являются ли τοποί законами или правилами [2. Р. 3].

На наш взгляд, невыраженность собственно логики в подходе к «Топике» заключается в том, что понятие топоса исторически было заслонено более значимой для традиционной теории дефиниции проблемой *предикабилити*, что привело к доминированию пятичленной структуры дефинитивной практики над собственно учением о τόποι. Как следствие, «Топика» часто рассматривалась просто как дополнение к аристотелевской теории определения и в целом понималась как некий эскиз логической теории, получившей более всестороннее развитие в «Аналитиках».

Традиционный ракурс современных логических исследований «Топики» был связан с построением на ее основе ряда моделей аргументации и пропозициональной логики. Так, от Ф. Солмсена [3], Ю. Бохеньского и Д. Бруншвига [4] к П. Сломковскому развивается идея того, что τόποι можно объяс-

¹ В «Риторике» Аристотель более подробно рассматривает отношение топоса к энтимеме.

нить в рамках теории *гипотетических силлогизмов*. В том, какой именно тип условных силлогизмов следует использовать для объяснения генеративной функции *тóтоi*, авторы не пришли к единому мнению. Один из переводчиков и издателей «Топики», Д. Бруншви́г, например, первым полагал, что каждый *тóтоs* может быть организован по правилам *modus ponens* или *modus tollens*. В этом смысле ключом для построения вывода на основе топоса оказывается условно-категорическое умозаключение. П. Сломковский считает, что указанная позиция Д. Бруншвига является слишком узкой, поскольку редуцирует всю пропозициональную гипотетику лишь к одному ее виду – условно-категорическому суждению, и, вероятно, находится под влиянием учения Теофраста о гипотетических умозаключениях [2. Р. 4]. Сломковский же предлагает более обширный подход, совмещая гипотетические силлогизмы Аристотеля с реляционными, дизъюнктивными и иными умозаключениями¹. Таким образом, основная дискуссия в данный момент ведется относительно логической структуры топоса как особого типа кластера умозаключений.

В настоящей работе мы хотим предложить другое направление для логического анализа «Топики». Так, на наш взгляд, данный трактат Аристотеля можно рассмотреть как исторически первое приближение к анализу нечетких данных в рамках специфической неформальной логики.

Как известно, семантические контуры понятий и моделей рассуждений существенно влияют как на понимание, коммуникацию, так и на процессы самосознания. При всей важности семантического арсенала мышления и коммуникации, смысловые границы ряда часто используемых понятий, говоря в терминах Фреге, их *Sinn und Bedeutung*, зачастую остаются нечеткими из-за диффузного сознания агентов коммуникации [5], скрытых, интенциональных контекстов, нечетких типов диалога [6]. Проблема нечеткости денотативно-десигнативных отношений лингвистических единиц в обыденной и академической коммуникации как раз и послужила толчком для появления *fuzzy logic* Л. Заде. Однако интерес к нечеткому дискурсу с нестрогими недемонстративными формами рассуждений был весьма заметен еще у античных логиков. Так, Гален Пергамский² заметил, что некоторые слова имеют достаточно неопределенные смысловые границы [7]. Современный исследователь Дж. Лакофф, продолжая тему, полагал, что предложения естественного языка, использующие нечеткие понятия, часто оказываются ни истинными, ни ложными, и даже не бессмысленными, а, скорее, истинными и ложными в определенной степени [8]. Переключка между идеями Галена и Дж. Лакоффа, помимо прочего, еще и автора одной из работ по нечеткой логике³, на наш взгляд, является неслучайной.

В античности, как мы полагаем, имел место своеобразный аналог нечеткой логики (преимущественно неформальный), связанный с аристотелевской «Топикой», поскольку со времен Аристотеля уже было различие между реальными и правдоподобными рассуждениями, а также имела место богатая традиция анализа рассуждений, имеющих *приблизительную степень точно-*

¹ В формальной логике это суждения с отношениями и класс лемматических условно-разделительных умозаключений.

² Причисление Галена к логикам неслучайно, так как помимо собственно медицинских работ и ряда комментариев мы имеем его трактат *Institutio logica*.

³ Hedges: a Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts // Journal of Philosophic Logic. 1973. № 2. Р. 458–508.

сти. Как известно, «Тописка» содержит теорию диалектического дискурса, которая нацелена на исследование и использование нечетких типов аргументации. Примечательно, что «главный имперский логик», глава перипатетической школы III в. Александр Афродисийский относит «Топику» к числу полезных пособий для всех, кто имеет дело с философией (χρησίσιμος ἐστὶ τῷ φιλοσοφοῦντι) (*In Top.* 1.1). Афродисийский в первой книге своего комментария на «Топику» Аристотеля устанавливает критерий демаркации диалектического силлогизма от категорического. Приводя пример двух рассуждений, он указывает, что в категорическом силлогизме посылки отражают дефиниции либо истинные утверждения, в диалектическом же – мнимые предположения, валидные лишь для некоторых индивидов. Пример достоверного силлогизма у Афродисийского – ἡ ἡδονὴ ἀτελές, οὐδὲν ἀγαθὸν ἀτελές, в то время как τὸ ἀγαθὸν ἀγαθοῦς ποιεῖ, ἡ ἡδονὴ δὲ οὐ ποιεῖ ἀγαθοῦς – это диалектический силлогизм * (*In Top.* 1.1). Оба рассуждения построены по второй фигуре ПКС, но отличаются «в материи рассуждения» (κατὰ τὴν ὕλην ἔχουσι τὴν διαφοράν). Возникает вопрос: в чем же между ними разница? Первый тип, по Александру, относится к демонстративным рассуждениям (ἀποδεικτικὸς). Однако откуда берется демонстративность в категорическом (недиалектическом) силлогизме? Начала рассуждения здесь берутся из дефиниции (ἐκ... τῆς ἡδονῆς ὀρίσμοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχει). Понятие ἡδονὴ терминологически вписывается в γένεσις, последнее – в ἀτελές. Налицо классическая экстенсioнальная субординация терминов:

$$\eta\delta\omicron\nu\eta \rightarrow \gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma \rightarrow \acute{\alpha}\tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\varsigma.$$

Связь начала рассуждения ἡδονὴ и конца первой посылки ἀτελές здесь имеет транзитивный терминологический порядок, который и гарантирует аподиктичность процессу рассуждения. Достоверность в данном случае имеет форму отношения исключения между четким экстенсioнальным множеством среднего термина (ἀτελές) и меньшим термином ἀγαθὸν во второй посылке силлогизма по второй фигуре. Именно такого универсально-десубъективизированного гаранта рассуждений нет в диалектическом силлогизме, который основан на имплицитных, лишь предполагаемых (часто по-разному) различными участниками дискуссии качествах предмета. Это во многом говорит в пользу того, что мир «Топики» – это мир особого философского *праксиса*, связанного как с коммуникативно-диалектическим, эротетическим столкновением участников, так и с погружением дискурса в нечеткую среду рассуждающих «толп» – городских, гражданско-политических, хозяйственных общественных сред, где коллективно вырабатывались решения на основе правдоподобного принципа ἔνδοξα.

Проблемы нечеткой логики рассуждений на основе «Топики» отражались в работах и других авторов в рамках комментаторской традиции. Так, Аверроэс в своем кратком комментарии на «Топику» проводит различие между концептуальным *согласием* (tasawwur, تصديق) и полным *понятием-пониманием* (تصور) [9. Р. 46–47]. Эти понятия иллюстрируют одну проблему – диалектические силлогизмы, по Аверроэсу, серьезно отличаются от аподиктических, изложенных в «Первой Аналитике» Аристотеля. Как полагает Аверроэс, «Тописка» – это книга о диалектике, которая имеет дело с приблизительной точностью рассуждений. Говоря о посылках диалектического силлогизма, Аверроэс указывает, что они являются предположениями с при-

близительной точностью, поскольку отражают убеждения в существовании положений вещей, бытие которых не необходимо, а лишь предполагается тем или иным мнением [9. Р. 47]. Посылки диалектического силлогизма – это *предположения*, т.е. «вера в то, что что-то существует особым образом, хотя возможно, что в реальности оно отличается от того, каким оно полагается» [Ibid.]. Возникает вопрос: в чем же отличие посылок диалектического силлогизма от произвольного субъективного допущения каких-либо случайных положений в качестве истинных? Диалектический силлогизм, по Аверроэсу, основан на широко распространенных общепринятых положениях, полагающихся истинными теми или иными субъектами [Ibid.]. Приемлемое (правдоподобное) как ключевое понятие «Топики» принимается арабским философом в качестве истинного не по причине достоверности предмета *в самом себе*, как такового, но благодаря общему мнению и согласию (tasawwur, تصديق)¹. Этот тип рассуждения противоположен аподиктическому, поскольку основан на общераспространенных некритических мнениях большинства [Ibid.]. Как полагает Аверроэс, поскольку посылки диалектического силлогизма недоказательны, т.е., устанавливаются некритически, то «диалектические предпосылки являются частично ложными» [Ibid.]. Как было указано выше, Дж. Лакофф в своем проекте нечеткой логики указывает на одну из главных предпосылок fuzzy принципа, а именно: рассуждения обыденного языка не являются ни истинными, ни ложными, но истинными и ложными в определенной степени [8].

Примечательно, что Аверроэс уделяет внимание структурной организации нечеткого вывода в диалектическом силлогизме «Топики». Так, «приблизительность» диалектического силлогизма связана с содержательной спецификой посылок, а не со способом организации терминов и посылок. Говоря проще – причина дефекта не в том, что не распределен средний термин или утверждение строится из двух утвердительных посылок по второй фигуре, а в том, что посылками силлогизма выступают положения, лишь считающиеся истинными теми или иными людьми. Таким образом, невзирая на аподиктическую организацию фигур и правильных модусов силлогизма, диалектический силлогизм, построенный формально правильно, тем не менее в заключение будет иметь некое лишь предположительное утверждение (или отрицание). Следовательно, диалектический силлогизм должен быть построен на валидной фигуре и модусе, но с нечеткими (приблизительно-истинными) посылками, иначе, по Аверроэсу, он был бы софистическим, или мнимым [9. Р. 48].

Таким образом, мы видим, что уже в древней комментаторской традиции «Топика» понималась в качестве практики анализа рассуждений с неполными данными и, как следствие, с приблизительной точностью. Однако возникает вопрос: что именно, говоря современным языком, здесь означает «нечеткость», «приблизительность» рассуждений? Может, она связана с отсутствием однозначной функции принадлежности для экстенсионалов (интенсионалов) терминов силлогизмов? Или же она является следствием структурной неэксплицированности логических рассуждений, где применяются энтимематические, т.е. структурно не выраженные, силлогистические формы? На эти вопросы мы и попытаемся ответить в следующей части работы.

¹ Этот дохастический аспект позволяет рассматривать ряд положений «Топики» в рамках модальной логики.

Функции принадлежности в fuzzy logic и нечеткость ἔνδοξα

Как известно, ключевыми понятиями «Топики» являются ἔνδοξα и πρότασις διαλεκτική. Аристотель противопоставляет необходимость логических умозаключений силлогистики правдоподобным рассуждениям диалектики:

Ἔστι δὴ συλλογισμὸς λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει διὰ τῶν κειμένων... διαλεκτικὸς δὲ συλλογισμὸς ὁ ἐξ ἐνδόξων συλλογισζόμενος (100a).

Умозаключение есть речь, в которой если нечто положено, то из него с необходимостью следует нечто другое от положенного... диалектическое же умозаключение – это то, которое получается из правдоподобного.

Понятие ἔνδοξα содержится в программной формулировке основной цели «Топики» – «найти способ, при помощи которого мы будем способны из правдоподобного (ἐξ ἐνδόξων) получать заключения о всякой проблеме» (100a). Возникает вопрос: в чем разница между ἐξ ἐνδόξων и ἐξ ἀνάγκης? В «Топике» Аристотель рассматривает аргументативную составляющую процесса принятия положений в качестве основания для рассуждений:

πρὸς μὲν οὖν φιλοσοφίαν κατ' ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν πραγματουτέον, διαλεκτικῶς δὲ πρὸς δόξαν (105b).

Для философии эти положения следует составлять в соответствии с истиной, для мнения же – диалектически.

Таким образом, κατ' ἀλήθειαν и πρὸς δόξαν отражают разные *источники* и методы формирования аргументов. Если необходимая истинность заключений категорических силлогизмов «Аналитик» имеет универсальное значение (истинность вообще, истина как таковая), то *эпистемологическими гарантиями* истинности суждений диалектики выступают различные неравнозначные классы индивидов, выражающие свои эпистемические установки (мнения)¹. Рассмотрим эти классы в связи так называемым диалектическим положением (πρότασις διαλεκτική):

ἔστι δὲ πρότασις διαλεκτική ἐρώτησις ἐνδοξος ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις ἢ τοῖς σοφοῖς, καὶ τοῦτοις ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις ἢ τοῖς μάλιστα γνωρίμοις, μὴ παράδοξος (104a).

Диалектическое положение – это вопрос, правдоподобный или для всех, или для большинства, или для мудрых – всех, либо большинства, либо самых известных из них, т.е. не являющийся противоречивым (104a).

Условия истинности некоторого πρότασις διαλεκτική q в «Топике» Аристотеля, на наш взгляд, можно представить в виде нечеткой 6-значной матрицы истины-правдоподобия, согласно которой диалектическое положение есть вопрос, правдоподобный (т.е. $fuzzy = 1$) или для всех (p_1), или для большинства людей (p_2), или для мудрых (p_3) – всех (p_4), либо большинства (p_5), либо самых известных из них (p_6) (104a). *Эпистемологическими гарантиями* правдоподобной истинности некоторого q выступают элементы дизъюнктивного множества E :

$$\{p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5 \vee p_6\}.$$

¹ Это иной вектор рассмотрения «Топики» как *эпистемической логики*.

Можно увидеть, что $q = \text{fuzzy } 1$, если истинна нестрогая дизъюнкция E , т.е. для q существует непустое множество эпистемологических гарантов истинности. Очевидно, то, что истинно для мудрых (p_3) или для известных (p_6), может быть ложным для большинства (p_2). Вопрос дистрибутивности истинностных значений разным классам эпистемологических гарантов пока опускается. Таким образом, функция истинности-правдоподобия (f) пробегает по множеству E , элементами которого выступают дизъюнкты p_1 – p_6 . Нечеткость истинности здесь связана с неопределенностью и контекстуализацией универсума истинности.

Класс эпистемологических гарантов для некоторой проблемы π не должен быть пустым множеством, т.е. хоть один элемент (индивид, участник) должен считать π истинным. Если класс эпистемологических гарантов для π представлен пустым множеством $\{\emptyset\}$, то π , по Аристотелю, не может быть полноценной проблемой. Однако в противоположность своему определению истинности $\pi\rho\tau\alpha\sigma\iota\varsigma\ \delta\iota\alpha\lambda\epsilon\kappa\tau\iota\kappa\acute{\eta}$, приведенному выше, Аристотель полагает, что невозможно и обратное, когда класс гарантов для π совпадает с универсальным классом $\{U\}$, т.е. когда *все* признают истинным то или иное положение:

οὐ γὰρ πᾶσαν πρότασιν οὐδὲ πᾶν πρόβλημα διαλεκτικὸν θετέον· οὐδεὶς γὰρ ἂν προτείνειε νοῦν ἔχων τὸ μηδενὶ δοκοῦν οὐδὲ προβάλοι τὸ πᾶσι φανερόν ἢ τοῖς πλείστοις τὰ μὲν γὰρ οὐκ ἔχει ἀπορίαν, τὰ δ' οὐδεὶς ἂν θεῖη (104a5).

Нельзя же считать диалектическим ни любое положение, ни любую проблему, поскольку ни один разумный человек не выдвинет в виде положения того, что никому не кажется правильным, и не выставит в виде проблемы того, что очевидно всем или большинству людей. Ведь последнее не вызывало бы никакого недоумения, а первого никто бы не утверждал.

Таким образом, можно сформулировать принцип, что множество гарантов $\{g\}$ для диалектической проблемы π должно быть непустым и неуниверсальным множеством:

$$\{\emptyset\} < \{g\} < \{U\}.$$

Как было сказано выше, «Топика» Аристотеля может быть рассмотрена как разновидность неформальной теории, направленной на исследование нечетких неаподиктических рассуждений. Когда Л. Заде поставил вопрос об *approximate reasoning* [10], он во многом развивал идею Аристотеля, связанную с построением четкого дискурса для того, чтобы иметь дело с нечетким.

Другой аспект проблемы исследования нечетких рассуждений в «Топике» связан с тем, что фактически любое понятие на основе «Топики» в рамках ἔνδοξα денотативно можно рассматривать как *fuzzy set*, поскольку для всякого индивида существует неоднозначная функция его принадлежности (*membership function*) $\mu_X(y)$ от 0 к 1 по отношению к произвольному нечеткому множеству. Неопределенность здесь связана с тем, что вместо четкой функции принадлежности и построения множества существует нечеткая градуирующая функция принадлежности. Во многом этот принцип основан на чрезвычайно простой аксиоме, связанной с тем, что обыденное сознание, как правило, использует то, что в *fuzzy logic* получило название лингвистических переменных. Отсутствие булевого множества и однозначных булевых функций при построении понятий и приводит к неопределенной семантике терми-

нов силлогистических рассуждений. Нечеткость здесь оказывается следствием неопределенности. Очевидно, что Аристотель, еще задолго до Л. Заде, поставил вопрос о терминах посылок категорического и сокращенного силлогизмов, поскольку субъекты и предикаты посылок здесь можно рассматривать как *τότοι*, нечеткие аргументные места, или, в системе нечеткой логики, как лингвистические переменные.

Идем дальше. Как известно, Аристотель в «Аналитиках» строит логику понятий, где силлогизм становится валидным лишь в случае особой диспозиции терминов посылок. Механика силлогистики, по Аристотелю (при первом приближении), имеет характер логики терминов¹, т.е., по сути, системы экстенциональных отношений включения и исключения индивидов в классы. Каноничность и совершенство первой фигуры *ΠΚΣ* как раз и заключается в ее экстенциональной симметрии. Если мы взглянем на категорический силлогизм глазами Аверроэса² и сравним эту разновидность силлогизма с диалектическим, то увидим, что различие между ними только в том, *что* и *как* отражено в терминах посылок. И здесь возможны вариации, объясняющие, почему диалектический силлогизм имеет лишь приблизительную степень истинности:

1 нечеткость содержания терминов посылок, т.е.

1.1 разные субъекты из множества $E \{p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5 \vee p_6\}$ понимают одни и те же понятия разным образом; скажем, для класса индивидов p_1 экстенционал термина t определяется функцией ϕ_1 , для p_3 — функцией ϕ_2 , однако эти различия остаются лишь на имплицитном, неартикулированном уровне для участников дискуссии;

1.2 отсутствие четкой функции принадлежности для индивидов в отношении классов;

2 нечеткость отношения включения / исключения между терминами посылок;

3 пропозициональное содержание посылки принадлежит к спорным, лишь предполагаемым в том или ином подклассе множества E предположениям и т.д.

Рассмотрим одну из проблем, о которых говорит Аристотель в «Топике»:

..πότερον ἢ ἡδονὴ ἀρετὸν ἢ οὐ,
желательно ли удовольствие или нет (104b5)³.

Представим, эту проблему (ее первый дизъюнкт) в качестве большей посылки диалектического силлогизма⁴:

ἡδονὴ (M) ἐστὶν ἀρετὸν (P)
удовольствие (M) является желаемым (P)⁵.

¹ Дискуссия о пропозициональной и аксиоматической природе силлогистики Аристотеля, начатая Лукасевичем, в данном случае опускается.

² Следует отметить, что указанную дистинкцию видов силлогизма можно найти у Аристотеля в «Первой Аналитике» (24a).

³ В «Первой Аналитике» (24a20) Аристотель приводит категорическую разновидность этой посылки «удовольствие не есть благо». Хотя больший термин «благо» отличается от понятия «желаемого», рассматриваемого в «Топике», однако, на наш взгляд, также является нечетким множеством.

⁴ В данном случае ἡδονὴ берется как термин именно диалектического силлогизма, который, в отличие от примера Александра Афродисийского, не задан дедуктивно терминологически при помощи дефиниции.

⁵ Предположим структуру большей посылки первой фигуры *ΠΚΣ*.

Следует отметить, что перед нами здесь по крайней мере три нечетких множества. Рассмотрим два из них:

1) αἰρετόν;

2) ἡδονή.

Первый класс (большой термин *P*) представлен множеством индивидов, обладающих интенциональным признаком «желаемое». Однако возникает вопрос: *желаемое для кого?* То есть по множеству каких эпистемологических гарантов из дизъюнкции $E \{p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5 \vee p_6\}$ пробегает функция истинности для произвольного суждения «*x* – желаемое»? Далее, «желаемое» в каком смысле? То есть какие интенциональные множество признаков определяет экстенционал этого множества? Каков исчерпывающий набор признаков для понятия *желаемое*? Конечно или бесконечно множество денотатов характеристического признака «желаемое»? Аналогично и в отношении среднего термина *M* ἡδονή (удовольствие). Очевидно, что в рамках «Топики» и ἔνδοξα термины, как правило, не подлежат строгому предварительному определению *сущности* предмета¹ (этим занимаются философы и логики). В диалектических же рассуждениях термины берутся нечеткими в их эротетических, интуитивных представлениях для участников рассуждений и споров (именно так и спорят обыватели, без предварительных дистинкций и дефиниций). Очевидно, что в обыденном сознании ἔνδοξα мы имеем *частично определенные* понятия, или, говоря в терминах функций, – *частично определенные функции*.

Таким образом, рассматривая большую посылку диалектического силлогизма, мы определили, что перед нами как минимум три нечетких множества в отношении терминов (*M* и *P*). С двумя первыми все ясно. Однако поскольку оба члена посылки (*M*, *P*) являются нечеткими множествами, то и *corula* (ἔστιν) будет нечеткой, так как отношение между двумя нечеткими множествами само является нечетким. Итак, у нас есть частично определенное понятие *удовольствие M*, не всюду определенное понятие *желаемого P* и нечеткая функция принадлежности одного к другому². Это, на наш взгляд, и есть эпистемологический мир «Топики».

«Топика» показывает, как рождаются аргументы в мире дохастической плюральности мнений. И основной метод работы с мнениями – диалектика, т.е., говоря языком данной статьи, использование рассуждений с приближительной степенью точности. В рамках ἔνδοξα, в отличие от строгого дефинитивно-стандартизированного мира «Аналитик», циркулирует ἔνδοξον, т.е. положение, имеющее ту или иную степень приемлемости (т.е. степень истинности) для различных субъектов, которых мы называли эпистемологическими гарантами истинности относительно некоторого положения. Также здесь можно усмотреть и неформальный неквантитативный аналог defuzzification principle в виде замены всех нечетких множеств на логически-дефинитивно установленные понятия, четкие множества (crisp sets), а также определенную разновидность структурной дефаззификации в виде трансформации нечетких энтимем в категорические силлогизмы. Переход от энтимемы к силлогизму во многом – структурная трансформация нечеткого вы-

¹ Это, однако, не мешает Аристотелю рассматривать в качестве одного из топов определение различных значений того или иного термина.

² Эта ситуация может быть близка к модели аргументации в условиях неполноты знания.

вода в четкий, а перевод «Топики» на язык «Аналитик» и есть неформальная дефазификация.

Литература

1. Bochenski J.M. A History of Formal Logic. Notre Dame : Notre Dame Press, 1961.
2. Slomkowski P. Aristotle's Topics. Leiden, New York, Koln : Brill, 1997. (Philosophia Antiqua. Vol. 74).
3. Solmsen F. Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik. Berlin, 1929.
4. Aristotle: Topiques I-IV, with an Introduction and Notes / ed. J. Brunschwig. Paris, 1967.
5. Williamson T. Vagueness. New York, 1996.
6. Grant C.B. Uncertainty and Communication: New Theoretical Investigations. Palgrave-Macmillan, 2007.
7. Edlow R.B. Galen on Language and Ambiguity. Leiden, 1977.
8. Lakoff G. Hedges: a Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts // Journal of Philosophic Logic. 1973. № 2. P. 458–508.
9. Averroes' Three Short Commentaries on Aristotle's Topics, Rhetoric, and Poetics / ed. C.E. Butterworth. Albany, 1976.
10. Zadeh L.A. Fuzzy Logic and Approximate Reasoning // Synthese. 1975. № 30. P. 407–428.

Sergei V. Garin, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation).

E-mail: sgarin@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 153–162.

DOI: 10.17223/1998863X/57/14

ἘΝΔΟΞΑ: FROM ARISTOTLE'S TOPICS TO FUZZY LOGIC

Keywords: Aristotle; *Topics*; Ancient logic; fuzzy logic; argumentation theory.

In this article, the author interprets Aristotle's *Topics* as a kind of informal fuzzy logic. Since the time of Aristotle, there has been a distinction between *real* and *apparent* proofs. Galen of Pergamum noticed that some concepts have vague boundaries and fuzzy edges, and, consequently, as it was added by G. Lakoff, natural language sentences will very often be neither true nor false nor nonsensical, but rather true to a certain extent and false to a certain extent. As it is known, *Topics* contains the theory of *dialectical discourse*, which, as the author shows, is aimed at the study and *use* of fuzzy thinking and vague *patterns of argumentation*. After *Topics*, there has been a rich tradition of investigating reasoning and argumentation with approximate certainty. It is noteworthy that Alexander of Aphrodisias, the “chief imperial logician” and head of the Peripatetic school, treats *Topics* as a textbook for *practising* philosophers. This indicates that *Topics* was devised as a special philosophical *tool* designed both for communicative-dialectical counteraction between agents and for capturing vague content of ἔνδοξα. The key concepts of *Topics* are ἔνδοξα and πρότασις διαλεκτική. The latter can be represented as a fuzzy 6-valued *truth-likelihood* matrix (*f*), according to which the dialectical proposition accords with the opinion held by everyone (p_1), or by the majority (p_2), or by the wise (p_3), or all of the wise (p_4), or the majority (p_5), or the most famous of them (p_6), and which is not paradoxical. The *likely* or *plausible* here is ἔνδοξος. The epistemological guarantors of the likely truth (*f*) of some propositions (*q*) are elements of the *disjunctive set* $E: \{p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5 \vee p_6\}$. All the disjuncts can be interpreted as *possible worlds*. Obviously, (*f*) = *fuzzy 1* if the disjunction *E* is true. Also, what is true for the wise (p_3), or for the most famous (p_6), may be false for the majority (p_2). Thus, (*f*) is *vague*. *Topics* can be considered as a kind of informal fuzzy logic. When Lotfi A. Zadeh raised the question of approximate reasoning, he, in many ways, pursued Aristotle's idea of construing a crisp discourse to deal with the fuzzy one. In fact, any concept of *Topics* within the framework of ἔνδοξα can be denoted as a fuzzy set because for each individual (*X*) there is a fuzzy membership function $\mu_X(y)$ from 0 to 1. Fuzzy membership function and fuzzy set jointly determine the lack of semantic precision described by Galen as the uncertainty of concepts.

References

1. Bochenski, J.M. (1961) *A History of Formal Logic*. Notre Dame: Notre Dame Press.
2. Slomkowski, P. (1997) Aristotle's *Topics*. *Philosophia Antiqua*. 74. Leiden, New York, Cologne: Brill.

3. Solmsen, F. (1929) *Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik*. Berlin: Georg Olms.
4. Aristotle. (1967) *Topiques I-IV, with an Introduction and Notes*. Paris: [s.n.].
5. Williamson, T. (1996) *Vagueness*. New York: Routledge.
6. Grant, C.B. (2007) *Uncertainty and Communication: New Theoretical Investigations*. Palgrave-Macmillan.
7. Edlow, R.B. (1977) *Galen on Language and Ambiguity*. Leiden: Brill.
8. Lakoff, G. (1973) Hedges: a Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts. *Journal of Philosophic Logic*. 2. pp. 458–508. DOI: 10.1007/BF00262952
9. Butterworth, C.E. (ed.) (1976) *Averroes' Three Short Commentaries on Aristotle's Topics, Rhetoric, and Poetics*. Albany: SUNY Press.
10. Zadeh, L.A. (1975) Fuzzy Logic and Approximate Reasoning. *Synthese*. 30. pp. 407–428. DOI: 10.1007/BF00485052

УДК 165.023

DOI: 10.17223/1998863X/57/15

Р.Л. Кочнев

ТЕОРИЯ ИСТИНЫ В ФИЛОСОФИИ ФРИДРИХА НИЦШЕ

Анализируются взгляды Ф. Ницше на природу истины в контексте его онтологической позиции. В современной литературе его идеи часто связываются с прагматической традицией. Однако ницшеанские взгляды на роль истины и языка не могут однозначно интерпретироваться подобным образом.

Ключевые слова: Ницше, теория истины, прагматизм, антиреализм.

В определенных местах своего учения Фридриха Ницше можно назвать близким к логическому позитивизму. Так, метафизике «ставится в вину»: если бы и существовал некий метафизический мир, то о нем *«нельзя было бы высказать ничего»* (курсив мой. – Р.К.), кроме того, что он – иной мир, что это есть недоступное, непостижимое иное бытие» [1. С. 243]. Сходным (т.е. лингвистическим) образом Ницше «выставляет на лед» и большинство философских проблем вообще¹ (см. [3. С. 100–110]). Параллели касательно чувственного опыта не менее очевидны: «...сегодня мы располагаем научным знанием ровно в той мере, в какой соглашаемся принимать показания органов чувств... осмысливать до конца их свидетельства... все прочее – недоносок, недонаука, а лучше сказать, метафизика» [4. С. 553]. Обе приведенные сентенции вполне могут рассматриваться как часть программы Венского кружка, однако в вопросах языка и объективного знания на философской арене Ницше представляет собой, безусловно, уникальную фигуру. И хотя он неумолимо приближается к теории прагматизма, что и позволяет Ричарду Рорти включить его в список своих «предшественников», в действительности можно указать на существенные противоречия между Ницше и американскими теоретиками.

Здесь нам следует подробнее остановиться на прагматической теории истины. Наравне с прочими «классическими» концепциями данная теория проясняет понятие истины через сторонний эпистемологический процесс [5. С. 59], а точнее – через полезность высказывания для жизни. Обвинив всю прежнюю философию в академичности и отрыве от реальности, ранние прагматисты поставили в центр своего изучения экзистенциальные проблемы человека (the problem of living). Соответственно, определение истины (например, в изводе Уильяма Джеймса) опиралось именно на требование полезности; истина для прагматиста, как он сам пишет, «становится общим названием для различных определений, работающих ценностей нашего опыта» [6. Р. 68], т.е. указанием на то, во что нам следует верить [Ibid. Р. 77]. И действительно, Ницше неоднократно высказывался против трактовки ра-

¹ Как отмечает Мишель Фуко, «позитивизм Ницше не является каким-то моментом его мысли, который следует преодолеть... это акт критики в двух ортогональных направлениях: одно направлено за пределы знания; другое обращается к несвязности познания и истины» [2. С. 40.].

зума и логики как средств достижения истины, а не способов полезного взаимодействия с миром [4. С. 328]. Аналогично этому у них можно обнаружить почти синонимичные вещи касательно наших систем анализа и восприятия: «Мы сами, по нашей воле, дробим неопределенный поток нашего восприятия реальности на вещи» [6. Р. 254]. И Ницше полностью согласен с Джеймсом: «Мы все время оперируем вещами, которые не существуют – линиями, поверхностями, телами, атомами, членимым временем, членимым пространством» [4. С. 553]. Несмотря на всю схожесть этих мыслей, разница слишком быстро бросается в глаза: пока один из основателей прагматизма рассуждает, что мы можем представить звезду Давида как два треугольника или шестиугольник [6. Р. 253], Ницше уже всюду спешит заявить, что мы представляем себе «треугольники» вообще, равно как и их «линии» [7. С. 373]. Хотя оба убеждены в полезности как критерии для дальнейшей редукции, философии янки здесь явно не хватает циничности, чтобы дойти до уровня, на котором «вещи не останутся, потому что *вещественность* лишь присочинена нами» [Там же. С. 315]. Данное высказывание уже намного ближе к проблематике неопрагматистов конца XX в., которую многие привычно связывают с именами Хилари Патнэма и Ричарда Рорти. К сожалению, объем статьи не позволяет в должной мере обсудить взгляды этих, безусловно, оригинальных мыслителей, поэтому здесь ограничимся лишь небольшой серией приводимых ими аргументов, указав место идей Ницше в споре представителей реализма и антиреализма.

С точки зрения сторонников Рорти, слабость реализма состоит в поддержании изжившего себя «мифа о Данном», т.е. представлении о некоем привилегированном доступе к реальности, которым мы якобы обладаем помимо доступа к различным словарям описания мира. Очарованные языком, они призывают «отказаться от идеи репрезентации – отображения языком некой внешней экстралингвистической реальности, – призывом, по сути, означающим, что мир состоит из элементов языкового опыта и не из чего более» [8. С. 50]. Но данный языковой опыт не является чем-то субъективным, напротив – это некий коллективный опыт, знание, основанное на взаимном доверии и согласии собеседников [9. Р. 166]. Это требование опирается на отрицание языка как силы, формирующей реальность из чего-то, что ею не может быть названо [10. Р. 5]. И хотя противостоящий такой позиции Патнэм соглашается, что у нас нет доступа к «неконцептуализированной реальности», из этого, по его мнению, еще не следует, что мы не описываем вещи так, как они есть [11. Р. 297]. С его точки зрения, попытка свести истину к солидарности является лишь переформулировкой солипсизма, который теперь только использует категорию «Мы» [12. Р. 73]. Более того, предполагаемая прагматизмом фаллибилистская установка, кажется, исходит из противоположного: из готовности пересматривать общепринятые аксиомы. И хотя Ницше, безусловно, настаивал на том же самом, он ни в коем случае не рассматривал предельную истину как цель для опровержения коллективного знания. Несомненная схожесть его широко известного учения о перспективизме с рортианским дискурсивным релятивизмом и позволяет многим, включая самого Рорти, поставить знак равенства между немецким филологом и американским прагматистом. Однако здесь можно привести целый ряд возражений.

С самого начала возникает вопрос к трактовке теории истины как некоего intersubъективного согласия [13. С. 233–234]. Предлагаемое Рорти понимание согласия скорее основывается на примате внелингвистических характеристик, чем на рациональности индивидов, но даже в таком варианте оно все еще представляет собой критикуемый им здравый смысл, пусть и в несколько усложненном виде. Здесь отчасти и проявляется ницшеанский прагматизм – здравый смысл представляется ему заблуждением, хотя и рассматривается им как нечто полезное или даже необходимое [7. С. 304]. В дальнейшем ситуация усложняется: как таковой здравый смысл является лишь одной из возможных трактовок, но, будучи оценочной нормой, он исключает любую другую интерпретацию мира [2. С. 96]. Так, с точки зрения здравого смысла кооперация с окружающими несет большие прагматические дивиденды, но Ницше, со свойственным себе пафосом, отвергает эту возможность. Особенность его прагматизма (как и его пафоса) содержится в установке на преодоление среднего человека, даже если результатом такого преодоления становится общественное порицание [14. С. 328–334]. Стоит ли говорить, что «преодоление человека нигде так не заметно, как в преодолении языка» [15. С. 25]? Словно бы предугадывая благоговейное отношение аналитических философов к обыденному языку, Ницше постоянно занимается его обличением, настаивая, что *«слова оглуляют, деперсонализируют, слова делают необычное обычным»* (курсив мой. – Р.К.) (цит. по: [3. С. 150]). Следовательно, раз интерпретации исключают друг друга, то наиболее общие перспективы оказываются и наиболее вульгарными, делающими как внешний, так и внутренний мир человека чем-то простым и понятным. Интерпретации, сводящие истинное к договору, лишают мир того, что может быть в него «привнесено» яркими мыслителями с их уникальными словарями. Но что же делает их словари уникальными? Для этого следует рассмотреть еще один концепт, которым Рорти «одаривает» ницшеанскую философию, – понятие метафоры.

Так, Рорти уделяет большое внимание высказыванию Ницше, в котором истина трактуется как «подвижная армия метафор» [16. С. 39], увязывая его с представлениями о метафорах Дональда Дэвидсона. На первый взгляд подобное сравнение действительно кажется очень соблазнительным. В работе с говорящим названием «Что значат метафоры?» («What metaphors mean?») Дэвидсон определяет метафоры как способ употребления языка (1), не несущего за собой никакого дополнительного значения, кроме буквального смысла включенных в метафору слов (2). При этом утверждается, что данный способ обладает способностью раскрывать «новые» свойства предметов или явлений, выполняя роль некой «линзы или решетки, через которую мы рассматриваем релевантные явления» [17. Р. 45]. Такие свойства (3) не являются пропозициональными, что важно, поскольку буквальный смысл метафоры оказывается или очевидно ложным, или абсурдно истинным. Метафоры не обладают собственным значением, их влияние является не семантическим воздействием, подобным удару или поцелую, чья задача – оценить некоторый факт, не замещая его. Они не передают содержания факта по некоторому каналу от нас другому человеку, именно это изъятие из метафор надежд на сообщение чего-то «более истинного» и сближает идеи прагматистов с позицией немецкого философа.

Хотя Ницше определенно поддержал бы позицию (1), можно смело утверждать, что это – скорее, парадоксальное подтверждение различия их позиций. Согласно его мысли, метафоры не имеют дополнительного значения и не открывают никакой «новой истины», потому что сами находятся в основе любой имеющийся у нас «истины». Высказывание об истине как об «армии метафор» следует рассматривать не как определение истины, но как императив по отношению к связке метафора–истина: только наличие у нас метафор *вообще* позволяет нам говорить о такой метафоре, как истина. Таким образом, он согласился бы с (3), лишь сделав уточнение, что у нас вообще нет непропозициональных суждений. Как уже было указано при анализе идей Джеймса, любой наш «факт» (равно как и любая «вещь» или «объект») является такой же сеткой (2), на которую мы впоследствии лишь накладываем еще одну. Здесь можно возразить, что это, опять же, делается исключительно в целях полезности. Однако, как отметил еще Александр Нехамас, «Ницше утверждает, что многие самые главные человеческие убеждения являются ложными... [и] некоторые из них даже принесли нам пользу. Но он никогда не утверждал, что их польза делает их истинными» [18. Р. 55]. Тогда возникает вопрос: как используются метафоры?

Поскольку мир нашего языка – единственный доступный нам мир, то нам следует позаботиться о его границах. Скажем, делая аналогию еще более очевидной, нам следует перейти к иной языковой игре, в которую будет включен словарь, отличный от остальных. В наших силах на уже «мертвые» метафоры окружающей нас действительности (т.е. поддерживаемые здравым смыслом устоявшиеся понятия и представления) накладывать некую «сетку» из «живых» метафор, даже если это деформирует сложившуюся структуру реальности¹. Такое понимание метафор позволяет использовать их не только как средство влияния на собеседников, но и как средство перехода между языковыми играми [20]. В так понятом производстве метафор, однако, не стоит усматривать какие-то сознательные побуждения, тем более – стремления к истине в ее научном смысле. Напротив, если мы соглашаемся с Ницше, что наука есть лишь форма здравого смысла, тогда роль метафоры – быть средством смены языковой игры с целью преодоления навязчивого погружения в мир, созданного обыденным языком.

Следующую цитату стоит привести практически без сокращений: «Мне здесь нет никакого дела до разницы между субъектом и объектом: это различие я предоставляю теоретикам познания, которые запутались в сетях грамматики (народной метафизики)... У нас ведь нет никакого органа для познания, для „истины“: мы „знаем“ (или верим, или воображаем) ровно столько, сколько может быть *полезным* в интересах людского стада... и даже то, что называется здесь „полезностью“, есть в конце концов тоже лишь вера, лишь заблуждение...» [21. Т. 1. С. 676]. Из этой фразы становится очевидным, что отказ от некоторых из наших метафор (субъект и объект) ведет к утрате возможности познания, как мы его понимаем, а в этом нет ничего прагматически выгодного, поскольку именно на вере в познаваемость мира и

¹ Заметим, что подобная, построенная на метафорах, онтология близка к проектам позднего Людвиг Витгенштейна и раннего Мартина Хайдеггера (о возможности сравнения идей двух мыслителей XX в. см.: [19. С. 108]). Таким образом, «мертвая» метафора не обращает на нас своего внимания, мы просто используем слово «вещь» так же, как и самую подручную вещь.

хранится большая часть наших убеждений. Ницше, таким образом, не придерживается прагматической теории истины, в том числе и в широком смысле; его позиция заключается в использовании понятия истины для именования фикций, пусть даже полезных в повседневной жизни.

Ответом на сомнения Рорти в том, что фикция может быть полезна для кого-либо, могло бы быть следующее: она полезна для стремящегося к счастью большинства, даже если это большинство, вслед за рортианцами, отвергает корреспондентную теорию истины. Такая трактовка языка позволяет нивелировать разницу между реалистами и антиреалистами: тогда как для первых наш образ мысли ограничивается неким действительным миром [22. Р. 19], для вторых на него влияет исключительно социальная среда [23]. Не без свойственных себе иронии и афористичности, Ницше мог бы заметить, что они синонимичны друг другу: ограничения нашего мира и есть ограничения нашей социальной (лучше даже социально-языковой) среды, и наоборот.

Выведенный в начале статьи тезис о невозможности ничего сказать о метафизическом мире имеет в философии Ницше прямые культурные следствия: наш язык изначально «сконструирован» для ограничения мира. Именно поэтому вопрос истины для него – это не вопрос пользы или соответствия чему-то, но вопрос *влияния*, оказываемого на нас нашими «истинами» [24. Р. 88]. Истина, если так можно выразиться, – это метаметафора, которую мы используем для работы метафор, привычных нам. Подобное отрицание эпистемологических и онтологических значений истины позволяет указать на схожесть ницшеанских позиций с совершенно иной концепцией – дефляционизмом, согласно которому понятие истины имеет отношение исключительно к области лингвистического использования и не обладает метафизическими основаниями. Естественно, Ницше не использовал, да и не мог использовать, логическую формулу Т-предложений; однако само представление об истине как об оценке, вере (понятным образом не связанной с познанием) в то, что нечто устроено так, а не иначе [4. С. 365; 7. С. 289], позволяет рассматривать его как представителя этого весьма широкого направления исследований [25].

На основании всего вышеизложенного можно перефразировать известную работу Яна Хакинга и задаться вопросом: почему Ницше так важен для философии языка? Если языковые предложения действительно являются «границей между познающим субъектом и знанием» [26. С. 288], то всегда может появиться соблазн трактовать субъекта и объективное знание (да и саму «границу») как языковые следствия¹. Вопросы языка получают у Ницше иногда странные, но почти всегда новаторские и даже несколько пророческие оценки и коннотации. Так, несмотря на имеющиеся у него фантазии о возможных удивительных результатах философии урало-алтайских народностей с их менее развитым понятием субъекта [14. Т. 2. С. 256], совершенно конгенально Витгенштейну заявляется, что родство философских проблем настоящего с философскими проблемами греков связано с родством наших языков [3. С. 105]. Все эти многочисленные совпадения идей аналитической традиции и взглядов Ницше не являются случайными. Аналитика способна плодотворно изучать понятия ницшеанской философии, избегая погони за фанто-

¹ Близкий Ницше по духу шотландский философ Дэвид Юм подобным образом высказывался о «грамматической природе» вопросов личного тождества [27. С. 307].

мами «сверхчеловека» и «воли к власти» и, возможно, обнаруживая в нем своего самого экстравагантного представителя.

Литература

1. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 1. С. 232–491.
2. Фуко М. Лекции о Воле к знанию с приложением «Знание Эдипа» : курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1970–1971 учебном году. СПб. : Наука, 2016. 350 с.
3. Данто А. Ницше как философ. М. : Идея-Пресс : Дом интеллектуальной книги, 2001. 280 с.
4. Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб. : Худ. лит., СПб. отд-ние, 1993. 628 с.
5. Ладов В.А. Формальный реализм. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. 132 с.
6. James W. Pragmatism: a new name for some old ways of thinking. New York : Longmans, Green and Co, 1922. 309 p.
7. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М. : Культурная революция, 2005. 880 с.
8. Нехаев А.В. «Анти-Порти»: дискурсивный сюрреализм и понятие факта // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 2. С. 49–56.
9. Rorty R. Pragmatism, Relativism, and Irrationalism // Consequences of Pragmatism. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1994. 237 p.
10. Rorty R. Introduction: Antirepresentationalism, Ethnocentrism, and Liberalism // Rorty R. Philosophical Papers. Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. Vol. 1. P. 1–11.
11. Putnam H. Words and Life. Harvard : Harvard University Press, 1995. 608 p.
12. Putnam H. Renewing Philosophy. Harvard : Harvard University Press, 1992. 248 p.
13. Порти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.
14. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 2. С. 239–406.
15. Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания [вступ. ст.] // Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 1. С. 5–46.
16. Порти Р. Случайность, ирония, солидарность. М. : Рус. феноменологическое о-во, 1996. 282 с.
17. Davidson D. What metaphors mean? // Critical Inquiry. 1978. Vol. 5, № 1. P. 31–47.
18. Nehamas A. Nietzsche: Life as Literature. Harvard University Press, 1987. 288 p.
19. Борисов Е.В., Ладов В.А., Суrowцев В.А. Язык, сознание, мир : очерки компаративного анализа феноменологии и аналитической философии. Вильнюс : ЕГУ, 2010. 156 с.
20. Суrowцев В.А., Сыров В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном познании // Философия науки. 1999. № 1. С. 20–30.
21. Ницше Ф. Веселая наука // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 1. С. 492–719.
22. Putnam H. The Threefold Cord: Mind, Body and World. New York : Columbia University Press, 2001. 234 p.
23. Rorty R. Putnam and the Relativist Menace // Journal of Philosophy. 1993. Vol. 90, № 9. P. 443–481.
24. Gori P. Nietzsche on Truth: a Pragmatic View? // Nietzscheforschung. Wirklich. Wirklichkeit. Wirklichkeiten Nietzsche über „wahre“ und „scheinbare“ Welten, 2013. Bd. 20. S. 71–90.
25. Ламберов Б.Д. Дефляционные теории истины: проблема общего определения // Онтология, гносеология, логика. 2011. Т. 9, № 3. С. 13–19.
26. Хакинг Я. Почему язык имеет значение для философии? // Аналитическая философия: становление и развитие (антология). М. : Дом интеллектуальной книги : Прогресс-Традиция, 1998. 528 с.
27. Юм Д. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 1. 734 с.

Roman L. Kochnev, Omsk State Technical University (Omsk, Russian Federation).

E-mail: r-kochnev@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 163–170.

DOI: 10.17223/1998863X/57/15

THE THEORY OF TRUTH IN FRIEDRICH NIETZSCHE'S PHILOSOPHY**Keywords:** Nietzsche; theory of truth; pragmatism; metaphors; anti-realism.

The article considers the theory of truth in the concept of philosophy of language proposed by Friedrich Nietzsche. A large number of researchers significant for the analytic tradition (Arthur Danto, Richard Rorty, etc.) draw a parallel between Nietzsche's philosophy and the positions of American pragmatists (especially William James and John Dewey). Pragmatism does not consider truth in a correspondent sense, but as a set of definitions that can be considered useful for everyday life. Such a connection between truth and utility can indeed be found in Nietzsche's works, but the concept of truth is embedded in the language theory he develops. From Nietzsche's point of view, it is not individual statements that are useful, but the language itself as it forms the external and internal reality of the individual. Such an interpretation of language allows looking differently at the problems of realism and anti-realism related to the names of Hilary Putnam and Richard Rorty, and, although Rorty tries to point to his connection with Nietzsche's ideas, there are a number of fundamental differences between their positions. One such difference is the interpretation of metaphors (Donald Davidson); although there are certain similarities between Nietzsche's and Davidson's views, this understanding of language does not allow considering these theories relevant to each other. If in Davidson's analysis metaphors do not express anything new about facts/objects, in Nietzsche's philosophy objects themselves (as well as subjects opposed to them) are considered as metaphors, i.e. linguistically loaded constructs. Therefore, metaphors should be considered as a way of changing our language games. Since this will directly disrupt an individual's communication with society, such a process cannot be considered as pragmatically oriented. This leads to a key difference between Nietzschean and pragmatic positions: the usefulness of our false conceptions allows us to call them truths, but Nietzsche denies that such "truths" have a certain metaphysical basis. Truth should be regarded exclusively as a "metaphor" that allows other metaphors of our reality (subject, object, cognition, etc.) to work. The supporters of the deflationary theory of truth interpret the concept of truth in a similar way.

Reference

1. Nietzsche, F. (1996a) *Sochineniya: v 2 t.* [Complete Works in 2 vols]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 232–491.
2. Foucault, M. (2016) *Leksii o Vole k znaniyu s prilozheniem "Znanie Edipa": Kurs lektsiy, pročitannykh v Kollezhe de Frans v 1970–1971 uchebnom godu* [Lectures on the Will to Know and Oedipal Knowledge: Lectures at the Collège de France 1970–1971]. Translated from French. St. Petersburg: Nauka.
3. Danto, A. (2001) *Nitszhe kak filosof* [Nietzsche as philosopher]. Translated from English. Moscow: Ideya-Press: Dom intellektual'noy knigi.
4. Nietzsche, F. (1993) *Stikhotvoreniya. Filosofskaya proza* [Poems. Philosophical Prose]. Translated from German. St. Petersburg: Khudozhestvennaya literatura.
5. Ladov, V.A. (2011) *Formal'nyy realizm* [Formal realism]. Tomsk: Tomsk State University.
6. James, W. (1922) *Pragmatism: a new name for some old ways of thinking*. New York: Longmans, Green, and Co.
7. Nietzsche, F. (2005) *Volya k vlasti. Opyt pereotsenki vseh tsennostey* [The Will to Power]. Translated from German. Moscow: Kul'turnaya Revolyutsiya.
8. Nekhaev, A.V. (2017) "Anti-Rorty": diskursivnyy syurrealizm i ponyatiye fakta ["Anti-Rorty": the discursive surrealism and the notion of fact]. *Omskiy nauchnyy vestnik. Ser. Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost'* – Omsk Scientific Bulletin. Series Society. History. Modernity. 2. pp. 49–56.
9. Rorty, R. (1994) *Consequences of Pragmatism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
10. Rorty, R. (1991) *Philosophical Papers. Vol. 1. Objectivity, Relativism, and Truth*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–17.
11. Putnam, H. (1995) *Words and Life*. Harvard: Harvard University Press.
12. Putnam, H. (1992) *Renewing Philosophy*. Harvard: Harvard University Press.
13. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirror of Nature]. Translated from English. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
14. Nietzsche, F. (1996b) *Sochineniya: v 2 t.* [Complete Works in 2 vols]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 239–406.

15. Svasyan, K.A. (1996) Fridrikh Nitshe: muchenik poznaniya [Friedrich Nietzsche: martyr of knowledge]. In: Nietzsche, F. (1996b) *Sochineniya: v 2 t.* [Complete Works in 2 vols]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 5–46.
16. Rorty, R. (1996) *Sluchaynost', ironiya, solidarnost'* [Contingency, irony and solidarity]. Translated from English. Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo.
17. Davidson, D. (1978) What metaphors mean? *Critical Inquiry*. 5(1). pp. 31–47.
18. Nehamas, A. (1987) *Nietzsche: Life as Literature*. Harvard: Harvard University Press.
19. Borisov, E.V., Ladov, V.A. & Surovtsev, V.A. (2010) *Yazyk, soznanie, mir. Ocherki komparativnogo analiza fenomenologii i analiticheskoy filosofii* [Language, consciousness, world. Sketches of comparative analysis of phenomenology and analytical philosophy]. Vilnius: EGU.
20. Surovtsev, V.A. & Syrov, V.N. (1999) Yazykovaya igra i rol' metafory v nauchnom poznanii [Language play and the role of metaphor in scientific knowledge]. *Filosofiya nauki – Philosophy of Science*. 1. pp. 20–30.
21. Nietzsche, F. (1996c) *Sochineniya: v 2 t.* [Complete Works in 2 vols]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 492–719.
22. Putnam, H. (2001) *The Threefold Cord: Mind, Body and World*. New York: Columbia University Press.
23. Rorty, R. (1993) Putnam and the Relativist Menace. *Journal of Philosophy*. 90(9). pp. 443–461. DOI: 10.2307/2940859
24. Gori, P. (2013) Nietzsche on Truth: a Pragmatic View? In: Reschke, R. (ed.) *Nietzscheforschung. Wirklich. Wirklichkeit. Wirklichkeiten Nietzsche über "wahre" und "scheinbare" Welten*. Vol. 20. pp. 71–90.
25. Lamberov, B.D. (2011) Deflationary Theories of Truth: The Problem of Generalised Definition. *Vestnik NGU. Seriya: Filosofiya*. 9(3). pp. 13–19. (In Russian).
26. Hacking, I. (1998) Pochemu yazyk imeet znachenie dlya filosofii? [Why Does Language Matter to Philosophy?]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: stanovlenie i razvitie (antologiya)* [Analytical philosophy: formation and development (anthology)]. Translated from English. Moscow: Dom intellektual'nyy knigi: Progress-Traditsiya.
27. Hume, D. (1996) *Sochineniya: v 2 t.* [Complete Works in 2 vol. Vol. 1]. Translated from English. Moscow: Mysl'.

УДК 13+930.1

DOI: 10.17223/1998863X/57/16

А.М. Хамидулин

РОЛЬ СИМВОЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Н.А. БЕРДЯЕВА

Рассматривается историософская концепция Н.А. Бердяева с точки зрения символической ее интерпретации. Анализируются подходы философа к трактовке понятия «символ». Проводятся параллели между философией истории Н.А. Бердяева и метафизикой Платона, а также между историософской системой Н.А. Бердяева и социологическими концепциями П. Бергера и Т. Лукмана. Делается вывод о наличии символично-смысловой составляющей в историософской мысли Н.А. Бердяева.

Ключевые слова: Н.А. Бердяев, философия истории, историософия, символ, платонизм, социология, история.

Французский историк-медиевист Мишель Пастуро в своей книге «Символическая история Европейского Средневековья» (2004), посвященной аналитике разного рода знаков в средневековом их понимании, в самом начале своего исследования пишет о перспективах развития особого направления – «символической истории», обосновывая это тем, что «...символ в средневековой культуре является частью базового ментального инструментария: он имеет разнообразные формы выражения, охватывает различные смысловые уровни и проникает во все сферы интеллектуальной, общественной и религиозной жизни, включая этические представления» [1. С. 8]. Под изучением символической истории в данном труде Пастуро понимает изучение бытования конкретных символов (цвета, растения, животные) в историческом прошлом разных народов, что автоматически предполагает включение символической истории в проблемное поле других частных историй – искусства, литературы, религии, политики, экономики и т.д., поскольку конкретные символы неизменно существуют в конкретном историко-социальном контексте. Французский историк утверждает, что символ «...обозначает не физическую личность, а абстрактную сущность, идею, понятие, представление» [1. С. 9]. Это дает основания для расширения области применения понятия «символическая история», в том числе на область представлений людей по поводу самого исторического процесса.

В произведении «Новое средневековье» (1924), принесшем Н.А. Бердяеву европейскую славу, мыслитель дает данному явлению следующее определение: «Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, переход от рационализма новой истории к иррационализму или сверхрационализму средневекового типа» [2. С. 226]. Средневековье нового типа, о котором пророчествует Бердяев, должно стать эпохой универсального единства, возврата к мистической сакральности и общественной спонтанности и символизму. «Средневековью... свойственно символическое миропонимание», – пишет Бердяев в своем трактате «Философия свободного духа» (1927). Причем наступление такого нового средневековья есть результат выбора людей, а не

некоего безличного исторического процесса: «Мы уже средневековые люди не только потому, что такова судьба и фатум истории, но и потому, что хотим этого. Вы еще люди новой истории, потому что не хотите сделать избрания» [2. С. 255]. Получается, что человек (особенно архаический или «средневековый») способен наполнять символическим смыслом окружающую действительность, создавая тем самым новую реальность. Необходимо отметить, что Бердяев в своем интересе к природе и значению символа был не одинок. Такие крупные фигуры отечественной мысли, как отец Павел Флоренский («Наука как символическое описание», «Обратная перспектива», «Философия культа»), А.Ф. Лосев («Знак. Символ. Миф», «Логика символа», «Очерки античного символизма и мифологии», «Проблема символа и реалистическое искусство»), А. Белый («Символизм как миропонимание»), уделяли значительное место в своем творчестве интерпретации символа. В этом отношении Бердяев находился в русле общего внимания русской философии и поэзии к феномену символического, однако наше внимание привлекает, прежде всего, встречающаяся у Бердяева оригинальная интерпретация истории через призму символа.

Современный специалист по лингвистическим особенностям философии Бердяева Г.В. Дьяченко утверждает: «Философия Н. Бердяева – философия символизма» [3. С. 121]. Действительно, у Бердяева можно обнаружить две пересекающиеся темы: философскую аналитику символа и трактовку истории через призму «символического». Начать аналитику символической трактовки истории у Бердяева необходимо с уяснения того, какой смысл философ вкладывал в понятие «символ». Русский мыслитель определяет его следующим образом (со ссылкой на книгу Max Schlegel «Geschichte des Symbols»): «Символ (ο σύμβολον) значит посредник, знак и вместе с тем связь. Συμβάλλειν – значит соединять, разделяя, связывать» [4. С. 50]. Исходя из данного определения, Бердяев делает онтологический вывод о существовании нескольких порядков бытия, которые символ должен связывать. Символ в этом отношении выступает как настоящая связь между двумя порядками бытия – миром духовным и миром природным, земным. При помощи символа субъекту познания предоставляется доступ из мира эмпирического в мир духовный, и перед человеком открываются глубины исторического бытия. Мыслитель даже говорит об особом рода символическом мировоззрении, при помощи которого в окружающем конечном мире усматривается перспектива мира божественного. Для носителя такого символического сознания все предметы и события истории становятся как бы прозрачными, так как они, будучи символами, служат проводниками в духовную сферу, в которой, по Бердяеву, только и возможно метафизическое постижение истории.

Реализуется эта возможность благодаря тому, что символическое сознание наполняет смыслами и значениями природный мир (история космоса / природы), который сам по себе их не имеет, но приобретает их только тогда, когда соотносится с духовной сферой. «Все, что имеет значение и смысл в нашей жизни, есть лишь знак, т.е. символ иного мира. Иметь значение – значит быть знаком, т.е. символом иного мира, несущего смысл в себе самом. И все значительное в нашей жизни есть знаковое, символическое» [Там же], – утверждает Бердяев. Это значит, что для него символ однозначно ассоциируется с духовным опытом, в символе раскрывается феномен творчества, и при

помощи преисполненного смыслами символа возможно постижение истории, или, иначе говоря, история оказывается пространством смыслов и значений. Подобного рода умозаключения закономерно приводят Бердяева к онтологизации самого символа, и вот символ уже не только связывает два порядка бытия, но сам физический мир с его историей человечества понимается как символ мира духовного, включенного в особого рода духовную историю («небесную историю» в терминологии философа): «Весь мировой и исторический процесс есть лишь символическое отображение вонне внутреннего события моего духа, события, со мной происшедшего, не субъективно-душевного события, а духовного события, события духовного мира, в котором нет раздельности и внеположности меня и всего бытия, в котором я в бытии и бытие во мне» [4. С. 67]. По Бердяеву, получается, что история человечества есть знак истории небесной, или, наоборот, проделывая обратный путь от знака к духовной реальности, следует считать, что разворачивающаяся во времени история человечества есть символ, отсылающий нас к вечной, небесной истории. Так в философском наследии Бердяева открывается возможность для рассуждения о символическом основании истории.

Анализируя символическое прочтение истории у Бердяева, мы встречаемся с противопоставлением у мыслителя двух понятий – «объективизация» и «реализация». Согласно его подходу небесная, вневременная, духовная история воплощается в нашей, человеческой, земной истории, и этот процесс именуется философом «объективизацией». В ходе объективизации происходят некоторое «охлаждение» изначальной духовной истории, ее пленение и отчуждение (в использовании последнего понятия можно усмотреть марксистское влияние на Бердяева). В объективной истории лишь содержится некий вторичный намек на первичный духовный план бытия. Другими словами, объективизированная история есть только знак, символ, чья функция указывать на исторический первообраз. Человечество, осознанно или неосознанно, но живет именно в этой объективированной, воплощенной истории, которая есть пространство символического. Опасность, исходящая из неосознанного бытования человека в объективированном поле, видится Бердяеву в том, что субъекты познания воспринимают символ (историю земную) за реальность (историю духовную), а символы священного – за самое священное, тем самым оказываясь в рабстве символа. При этом происходит сакрализация объективированной, отчужденной реальности, понимаемая как выделение из общего мирового целого отдельного локуса истории и освящения его в общественном сознании. И это есть трагический, порабащающий человека обман: «В этом трагедия всякого исторического осуществления, которое есть не реализация, а объективация. Объективация никогда не есть реализация, объективация есть символизация» [5. С. 150]. Получается, то, что люди именуют реальностью в обыденном смысле этого слова, есть «всего лишь» символы, которые следует отличать от духовной реальности как таковой, к которой нас символы отсылают. Другими словами, в этом отношении процесс символизации приобретает у Бердяева несколько негативные характеристики.

Противопоставляет же Бердяев принципу «объективизации» принцип «реализации». Дело в том, что духовная жизнь, через которую Бердяев и призывает познавать суть истории, не существует в его философии наряду с физическим или психологическим миром и не противоположна им, духовная

жизнь охватывает собой всю действительность. Применительно к нашей теме исследования это означает, что все материальное и исторически-временное становится частью небесной истории. И если символ есть результат объективизации как неполного воплощения в истории и обществе истории небесной, то реализация есть непосредственный вход вечности в историческое время (так, например, Бердяев понимает событие христианского воплощение Логоса как такого рода реализацию). Однако совершенный переход от объективизации к реализации означал бы окончательное исчезновение объективированного «нашего» привычного мира. Поэтому полная реализация духа, ассоциируемого у философа с божественным бытием, небесной историей, вечностью и сверхсознанием, т.е. с теми областями бытия, которые трансцендируют обыденность природного, исторического и социального, произойдет лишь в эсхатоне. Данная философско-практическая задача по реализации небесной истории и недопущению ее объективизации может быть разрешена в нашем мире через творчество. Совершается такая реализация духа в экзистенциальных категориях («В объекте никогда нет реальности, в объекте есть лишь символ реальности. Самая реальность всегда в субъекте» [6. С. 389]), понимаемых, однако, как социальное плюс индивидуальное, и не как механическая совокупность элементов, но как эмерджентное свойство целостной системы, которую нельзя свести к сумме ее элементов. И в этом переходе от объективированного мира к экзистенциальному можно усматривать главную мысль всего философского творчества Бердяева. Иначе говоря, Бердяев формулирует такой метод исторического познания, который опирался бы не только на «позитивные», абсолютно достоверные факты истории, но принимал бы во внимание антропологический фактор: то, как исторические события воспринимаются людьми, каким образом происходит отражение исторической действительности в сознании.

В сущности, это не означает, что Бердяев трактует символизацию как строго отрицательное явление, философ лишь призывает к тому, чтобы правильно понимать символизированную таким способом историю. Именно поэтому подлинный реализм означает для мыслителя переход от исторических символов к их духовной реальности. В этом отношении философ предлагает различать два рода символизма – идеалистический и реалистический. Идеалистический символизм отводит символическому место только в человеческом сознании, толкуя символ лишь как функцию мышления и тем самым ограничивая символизм субъектом. Надо сказать, что концепция Бердяева может трактоваться именно так, однако русский философ не приемлет такого определения, поскольку идеалистический символизм есть «...символизм безнадежной разобщенности двух миров, безнадежной замкнутости нашего внутреннего мира...» [4. С. 51]. Нетрудно заметить, что, критикуя такого рода символизм, Бердяев критикует и философию Канта [4. С. 52; 7. С. 67] за отрыв человека от истоков бытия, одинокую замкнутость в себе и разорванность человеческого существования. Противопоставляет же идеалистическому символизму Бердяев символизм реалистический. Последний предполагает, что символы духовной жизни человека не ограничиваются лишь его сознанием (хотя мышление человеческое и символично) и даже не просто связывают субъективное сознание человека с объективным историческим миром, но являют собой подлинные связи между человеческой историей и

историей небесной. Поскольку для Бердяева символ есть не иллюзия, но действительность, причем верно отражающая происходящие в истории события, то реалистический символизм для него – это единственно правильный подход к символической истории: «Реалистический символизм лежит по ту сторону гносеологического разрыва субъекта и объекта, по ту сторону вбирания действительности в мир субъекта или мир объекта» [4. С. 52].

Следовательно, все события мировой истории могут прочитываться, исходя из символического понимания природы исторического, в соответствии с чем история земная есть символ истории небесной, последняя при этом обладает большей степенью реальности. Это дает основание вслед за исследователем архаического мышления Мирча Элиаде утверждать, что подобного рода «...„первобытная“ онтология имеет платоническую структуру, а Платон в таком случае мог бы считаться философом по преимуществу „первобытной ментальности“ („первобытного мышления“), т.е. мыслителем, сумевшим наделить философской ценностью способы существования и поведения архаического человека...» [8. С. 56]. Русский философ в этом отношении не был архаичным человеком, но он был носителем подобного рода символического мышления – при этом выбор в пользу символа, а не точного факта, Бердяев делает сознательно (хотя положительную роль исторической критики он полностью и не отрицает [7. С. 29]), в отличие от представителей архаической культуры (и в этом сознательном выборе элемента «архаического», или, как его называет философ, «средневекового», мышления в качестве основания для создания своей философии истории заключается особенность мысли Бердяева), что позволяло ему сделать соответствующий вывод: «Все это меня привело к тому, что на историческое познание должно быть распространено с некоторыми изменениями платоновское учение о познании как припоминании» [Там же. С. 27]. А это, в свою очередь, есть прямая отсылка к теории познания как учению о припоминании, разработанному Платоном в диалогах «Менон» (816–866), «Федон» (72e–76e) и «Федр» (250b-d). Трактовать такое историческое припоминание (а Бердяев настаивает, что человек через припоминание обладает доступом ко всей истории) представляется возможным только в метафизическом и, более того, в платонической парадигме мышления.

Дело в том, что в своей работе «Смысл истории» Бердяев утверждает особую реальность исторического, которая не разложима на факторы психическо-физиологического или материально-географического порядка. История, по Бердяеву, есть не какая-то отвлеченная конструкция, но единственная конкретная реальность, охватывающая собой все сферы бытия: «...никакой другой конкретной реальности, кроме исторической, не существует и существовать не может» [Там же. С. 19]. В этом отношении все, что существует, – существует в истории, и все есть история. Можно считать, что история Бердяева по уровню реальности соотносится с миром идей Платона, и в этом отношении образное, символизированное представление о прошлом видится Бердяеву более реальным, чем история «объективная», поскольку он является прообразом, символом истории небесной. Однако Бердяев модернизирует систему мысли Платона: «Платону не раскрывается еще индивидуальное...» [Там же. С. 20]. В этом отношении русский философ находится в более выгодном положении, творя в историко-культурной ситуации, в которой феномену индивидуальности, личности и истории придается большое значение.

По мысли русского философа, история является не только реальностью конкретной, но реальностью, которая имеет дело с индивидуальным, а не всеобщим (такой индивидуализированный подход, по Бердяеву, может быть применен и к целым нациям и народам). Сочинения Бердяева трактуют историю как совокупность действий всех мировых сил, которые, в свою очередь, составляют человеческую судьбу: «Человек есть в высочайшей степени историческое существо» [7. С. 21]. В этом экзистенциальном понимании истории и заключается модернизация платоновского учения по припоминании применительно к философии истории. Получается, что Бердяев в построении своей философско-исторической системы не только опирался на философию Платона, но, творчески интерпретировав платонизм, придал ему историческое и экзистенциальное измерение, сформулировав тем самым оригинальный неклассический вариант исторического платонизма. Исходя из этого, нельзя согласиться с мнением современного украинского историка философии А.Г. Тихолаза, который, хотя в целом и верно предполагает возможность построения системы философии истории на основании платонизма вообще (исторический платонизм), но тем не менее заявляет об абсолютной бессмысленности поисков платонических идей в различных вариантах русских систем философии истории и в частности в трудах Бердяева [9. С. 302].

Рассмотрев философско-исторические сочинения Бердяева на предмет значения символа для его системы, кажется интересным проинтерпретировать его систему при помощи концепции, разработанной социологами П.Л. Бергером и Т. Лукманом. Речь идет о таком понятии, как символический универсум, который, с точки зрения западных социологов, маркирует «...системы теоретической традиции, впитавшей различные области знаний и включающей институциональный порядок во всей его символической целостности» [10. С. 157]. Иначе говоря, символический универсум представляет собой совокупность отличных от обыденной реальности культурных значений, возникших в ходе социально-исторического развития, которые интегрируют все смысловые конструкторы данного общества, легитимизуя определенную его структуру, и служат основанием для идентификации человека в окружающем мире. «Символический универсум упорядочивает также историю» [Там же. С. 168], – замечают П.Л. Бергер и Т. Лукман в своей работе, указывая на то, что в своей тотальности символические универсумы соединяют в том числе прошлое, настоящее и будущее и объединяют людей разных времен в одну целостность. Применительно к философской системе Бердяева это означает, что концепция символической истории предполагает функционирование ценностно ориентированных представлений об истории и символически осмысленных образов прошлого не только в сознании одного индивида, но и в рамках коллективных представлений отдельных групп людей и общества в целом. Так что можно считать, что русский философ открыл такого рода символический универсум в историческом его измерении.

Таким образом, в философском наследии Бердяева можно констатировать символическое измерение феномена «исторического» и даже наличие интенций к обоснованию целенаправленного создания символической истории. Все это означает, что Бердяев, во-первых, усматривает в наших представлениях об историческом прошлом символическую природу, во-вторых, разделяет мнение о том, что средневековому мышлению в значительной сте-

пени был присущ символизм, в-третьих, постулирует наступление нового средневековья, что одновременно предполагает возвращение символического мышления, в-четвертых, отмечает, что все это есть выбор, который определяет судьбу человека, и, в-пятых, процедура творческой символизации означает появление нового поля смыслов, которое, в свою очередь, способно оказывать влияние на ход исторического процесса. В связи с этим современный специалист в области отечественной философии истории Л.Е. Шапошников утверждает, что весь «...пафос бердяевской философии истории – в призыве человека к поиску духовных ценностей, к их неустанному созиданию, к недовольству „наличным бытием“, к признанию самоценности человеческой личности» [11. С. 149].

В итоге следует сделать вывод, что Бердяева интересовал не только смысл какого-либо конкретного исторического события, но то, как люди понимают, воспринимают, каким смыслом наполняют исторические события, одним словом, как происходит конструирование «исторического» [7. С. 31]. Результатом стало открытие того, что судьба человека, теме которой Бердяев и посвящает свои историософские изыскания, проживается не только в фактичном историческом бытии, но и в значительной степени в символическо-смысловой сфере. Как писал немецкий философ Э. Кассирер, «...вместо того чтобы определять человека как *animal rationale*, мы должны, следовательно, определить его как *animal symbolicum*» [12. С. 472]. Так и положение человека в истории, согласно Бердяеву, следует определять не столько в качестве положения существа фактического, или человека позитивной истории (как существа, с которым и над которым история совершается), но как положение существа символического, который сам созидает исторические смыслы и сам творит историю. Таким образом, в истории человеческих судеб обнаруживается экзистенциальное измерение, в которой можно выявить два аспекта: экзистенциальное претерпевающее (пассивное положение) и экзистенциальное творящее (активное положение). При этом следует еще раз подчеркнуть, что русский мыслитель как философ-идеалист полагает, что символы не просто выражают один из аспектов отражения исторической действительности в человеческом сознании, но представляют из себя подлинные духовные, мистические реальности. Из этого видно, что философско-историческую концепцию Бердяева следует трактовать в качестве символической истории, понимаемой в качестве истории бытования конкретных символов (образных представлений об историческом) и в качестве самой практики символической интерпретации человеком истории (смысловой «надстройки» на «базисе» исторических фактов), т.е. как историю в большей степени метафизическую, чем позитивистскую.

Литература

1. Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. СПб. : Александрия, 2012. 448 с.
2. Бердяев Н.А. Новое средневековье // Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое средневековье. М. : Канон+, 2002. С. 221–313.
3. Дьяченко Г.В. Символ в философском дискурсе Н. Бердяева: лингвокогнитивный аспект : дис. ... канд. филол. наук. Луганск, 2008. 258 с.
4. Бердяев Н.А. Философия свободного духа : сб. М. : Республика, 1994. 480 с.
5. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики // Бердяев Н.А. Царство Дух и царство Кесаря. М. : Республика, 1995. С. 164–287.

6. Бердяев Н.А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М. : Республика, 1994. С. 364–462.
7. Бердяев Н.А. Смысл истории // Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое средневековье. М. : Канон+, 2002. С. 7–220.
8. Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Элиаде М. Космос и история : избранные работы. М. : Прогресс, 1987. С. 23–126.
9. Тихолаз А.Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX – начала XX века. Кмев : ВиРА «Инсайт», 2003. 368 с.
10. Бергер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : трактат по социологии знания. М., 1995. 324 с.
11. Шапошников Л.Е. Историсофские взгляды Н.А. Бердяева // Тетради по консерватизму : альманах № 2. М. : Некоммерческий фонд – Ин-т соц.-экон. и полит. исслед., 2018. С. 143–150.
12. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М. : Гардарики, 1998. 780 с.

Artem M. Khamidulin, Nizhny Novgorod Theological Seminary (Nizhny Novgorod, Russian Federation); Moscow Theological Academy (Moscow, Russian Federation).

E-mail: captain.nemo.2012@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 171–179.

DOI: 10.17223/1998863X/57/16

THE ROLE OF SYMBOLISM IN NIKOLAI BERDYAEV'S PHILOSOPHY OF HISTORY

Keywords: Berdyaev; philosophy of history; historiosophy; symbol; Platonism; sociology; history.

This article analyzes the historiosophical system of Nikolai Berdyaev. The author proceeds from the following facts: (1) Berdyaev consciously builds his philosophy of history as a metaphysics of history, which implies the existence of spiritual realities and, in particular, spiritual history (“heavenly history”) encompassing both the history of space (natural history) and the history of mankind; (2) Berdyaev believes that the driver of the historical process is heavenly history, which can manifest itself either directly (the incarnation of God) or indirectly through actions of people who, in their existential depth, come into contact with spiritual reality (and therefore with heavenly history); (3) Berdyaev views the history of mankind as the history of human destinies; (4) Berdyaev strives to reveal the meaning or meanings of the historical process. Using Michel Pastoureau’s idea of the need to study symbolic history understood as a study of the figurative representations of people about various cultural phenomena, the concept “symbolic history” is conceptualized in relation to Berdyaev’s philosophical and historical system. The article analyzes Berdyaev’s understanding of the concept “symbol” and the presence of the concept “symbolic” in his philosophical system. In this context, the concepts “objectivization” and “realization”, as well as two types of symbolization, “idealistic” and “realistic”, are examined. A parallel is drawn between the symbolic interpretation of Berdyaev’s philosophy of history and Plato’s metaphysical conception. The conclusion is made that the Russian philosopher modernizes the system of his great predecessor by introducing the concepts “history” and “personality” into the philosophical system of the latter, and by recognizing a historical being in a person. The similarity of Peter L. Berger and Thomas Luckmann’s concept “symbolic universe” and the symbolic interpretation of Berdyaev’s philosophy of history its public dimension is noted. The conclusion is drawn on the advisability of conceptualizing the concept “symbolic history”. Based on this, two aspects of the existential being of a person in history are revealed in Berdyaev’s historiosophical system, and specifically in the history of human destinies: the existential sufferer (a person as a passive participant in history) and the existential creator (a person as an active participant in history). The latter aspect is associated with the meaning-constructing dimension of a person’s historical being; due to this dimension, specific people and society as a whole have an idea of the “historical” in general and about its individual phenomena, and this “historical” may differ from reliable positive historical facts. The author refers to this dimension as the symbolic aspect of Berdyaev’s philosophy of history.

References

1. Pastoureau, M. (2012) *Simvolicheskaya istoriya evropeyskogo srednevekov'ya* [Symbolic History of the European Middle Ages]. Translated from French by E. Reshetnikova. St. Petersburg: Aleksandriya.

2. Berdyaev, N.A. (2002a) *Smysl istorii. Novoe srednevekov'e* [Sense of History. New Middle Ages]. Moscow: Kanon+. pp. 221–313.
3. Dyachenko, G.V. (2008) *Simvol v filosofskom diskurse N. Berdyaeva: lingvokognitivnyy aspect* [Symbol in N. Berdyaev's philosophical discourse: linguo-cognitive aspect]. Philology Cand. Diss. Lugansk.
4. Berdyaev, N.A. (1994a) *Filosofiya svobodnogo dukha* [The Philosophy of Free Spirit]. Moscow: Respublika.
5. Berdyaev, N.A. (1995) *Tsarstvo Dukh i tsarstvo Kesarya* [The Kingdom of the Spirit and the Kingdom of Caesar]. Moscow: Respublika. pp. 164–287.
6. Berdyaev, N.A. (1994b) *Filosofiya svobodnogo dukha* [The Philosophy of Free Spirit]. Moscow: Respublika. pp. 364–462.
7. Berdyaev, N.A. (2002) *Smysl istorii. Novoe srednevekov'e* [Sense of History. New Middle Ages]. Moscow: Kanon+. pp. 7–220.
8. Eliade, M. (1987) *Kosmos i istoriya. Izbrannye raboty* [Space and History. Selected Works]. Translated from French. Moscow: Progress. pp. 23–126.
9. Tikholaz, A.G. (2003) *Platon i platonizm v russkoy religioznoy filosofii vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka* [Plato and Platonism in Russian religious philosophy of the second half of the 19th – early 20th centuries]. Kyiv: ViRA Insayt.
10. Berger, P.L. & Lukman, T. (1995) *Sotsial'noe konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge]. Moscow.
11. Shaposhnikov, L.E. (2018) *Istoriograficheskie vzglyady N.A. Berdyaeva* [N.A. Berdyaev's historiographical views]. *Tetradi po konservatizmu*. 2. pp. 143–150.
12. Cassirer, E. (1998) *Izbrannoe. Opyt o cheloveke* [Selected. Essay on Man]. Translated from German. Moscow: Gardarika.

УДК 21

DOI: 10.17223/1998863X/57/17

Е.Б. Хитрук

«ДВА ОБРАЩЕНИЯ» В КОНТЕКСТЕ ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ

Исследуются особенности религиозного возрождения в среде представителей современной интеллектуальной элиты на примере анализа историй двух религиозных обращений – американского генетика Ф. Коллинза и итальянского философа Дж. Ваттимо. Делается вывод о необходимости преодоления классических посылок в исследовании феномена религиозного и формирования новой концепции религии в свете постсекулярной философии.

Ключевые слова: *секуляризм, постсекулярная философия религии, Джанни Ваттимо, Фрэнсис Коллинз.*

Цветок религии – это один из цветков
в нашей антологии постмодерна.
Джон Капуто

В данной статье предпринят анализ специфики религиозного обращения в эпоху кризиса секулярной идеологии. На примере исследования особенностей «двух обращений» (Ф. Коллинза и Д. Ваттимо) автор предполагает обосновать тезис о том, что изучение феномена религиозной веры в современном обществе требует выхода за рамки классического секулярного подхода. Последний, исходя из необходимости противопоставления религии другим областям культуры и духовной практики, оказывается недостаточным для того, чтобы объяснить непротиворечивое сочетание религиозного опыта с научной и философской деятельностью. В контексте современной философии религии становится необходимым поиск новых оснований философской концептуализации религии в процессе постоянного дистанцирования от положений секулярной идеологии.

Постсекулярные тенденции в контексте современной философии религии

Современная философия религии демонстрирует довольно интригующий поворот в истории философского осмысления религиозных феноменов. Логика модерна, подвергая так называемому «суду разума» значимые явления антропологической и социальной реальности, последовательно в философских концепциях «великих разоблачителей» (О. Конта, К. Маркса, Л. Фейербаха, Ф. Ницше, З. Фрейда) поместила религию в своеобразный «хоспис» истории [1. С. 163], пророчествуя ей скорую и неизбежную кончину. Будучи младенческим этапом в истории становления человечества, религия должна уйти с общественной авансцены, уступив свое место «совершеннолетним» рациональным доктринам. Прежде всего, конечно, науке, которая в противовес религии не является иллюзией [2. С. 142]. Таков приговор модерна,

нашедший свое выражение в соответствующих философско-религиозных концепциях.

Однако со второй половины XX в. базовые установки доктрин прошлых столетий перестали восприниматься в качестве очевидных. Начала осознаваться их совершенная неадекватность относительно вопроса о сущности религии, ее подлинной роли в пространстве личностного самопонимания и социальной идентификации. Общеизвестным социальным фактом сегодня является возрождение религиозного самосознания как одного из важнейших источников обретения индивидуальной и социальной идентичности в стремительно меняющемся и глобализирующемся мире [3. С. 99; 4. С. 467]. И сам этот факт никак не схватывается посредством построений классиков философии религии, последовательно формировавших снисходительное отношение к религии как к примитивной и устаревшей потребности в сверхъестественном.

Философия религии, стремящаяся к осторожному и адекватному выражению своего предмета, вынуждена предлагать новые способы концептуализации религиозного опыта. Более того, возрождение религии обозначило тенденцию преобразования самой философии религии в философскую теологию или религиозную философию религии. Российский исследователь Дмитрий Узланер обозначает эту тенденцию как «теологический поворот в философии» [5. С. 3]. Внутренняя сила древних религиозных учений, с новым вдохновением завоевывая не только сердца необразованных обывателей, но и умы ведущих мыслителей нашей эпохи, утверждает по-новому серьезное и вдумчивое отношение к религиозному опыту и религиозным доктринам. Как отмечает известный американский философ религии Джон Капуто, «религия возвратилась даже в среду продвинутых интеллектуалов, которые придали ей новую легитимность, дискредитируя тех, кто ее дискредитировал, подозревая подозревавших, сомневаясь в сомневавшихся, разоблачая разоблачителей» [6. С. 205].

Сама классическая философия религии ставится под вопрос как достаточно специфичный феномен, возникший в контексте секуляризации и базирующийся на редукционистском восприятии религии как одной из областей человеческого опыта, локализованной в определенном секторе и не оказывающей влияния на остальные сферы социальной жизни. Классическая философия религии стала возможна, таким образом, в результате развития секулярной идеологии, которая впервые в истории представила мир изначально «естественным» и «имманентным», а религию – искусственной попыткой выстраивания «второго этажа» реальности, что не только сомнительно, но и вредно. Как подчеркивает российский исследователь А. Кырлежев, «это принципиально новая концепция, которой не было и не могло быть в досекулярных обществах и культурах, где религия не изолирована, т.е. не отделена от иных социокультурных феноменов, но диффузно с ними связана, так что эти иные феномены обязательно имеют некое религиозное измерение» [7. С. 53].

Возрождение религии сегодня открывает перспективу постсекулярного философского исследования, свободного как от предпосылок классической философии религии, так и от досекулярной «невинности» сознания, сакральности, к которой нельзя уже просто возвратиться, игнорируя причины десакрализации мира в философии модерна и всю историю становления секуля-

ризма. Секуляризм – важнейшая страница в истории западноевропейского мышления, обнаружившая деструктивные предпосылки классической сакральной традиции. Последняя, хотя и являла собой выражение «священного опыта», однако право на это выражение делегировала специфической группе людей – аристократам, монахам, мужчинам. «Как бы ни был прекрасен „Промислогион“, – отмечает Джон Капуто, – не следует забывать, что в философских текстах тех времен не слышно голосов женщин и что они молчат о мире рабов, который поддерживал их снизу» [6. С. 201]. Таким образом, секуляризация привела нас к необходимости слушать и слышать самые разные голоса в обществе. И с этим новым опытом современные исследователи должны подойти к честному и ответственному изучению происходящих перемен.

Представляется, что одним из релевантных подходов к изучению обозначенного выше теологического поворота в современной интеллектуальной жизни могло бы быть исследование индивидуальных историй религиозного «обращения», имеющих значение для фундаментальных тенденций. Нужно признать, что история философии во всей ее необъятной сложности складывается из тонких траекторий личного поиска и становления, образующих традиции и направления, а также способствующих значимым трансформациям в переходе от одной парадигмы мышления к другой.

В данной статье осуществлена попытка проследить мотивы и последующую аргументацию религиозного обращения двух известных мыслителей последних десятилетий, в сочинениях и опыте которых нашел выражение современный «теологический поворот». Во-первых, имеет большое значение, что исследуемые фигуры представляют два влиятельных направления современной интеллектуальной жизни – естествознание (Фрэнсис Коллинз) и философию постмодерна (Джанни Ваттимо). А во-вторых, необходимо подчеркнуть, что история их обращений была постепенной и привела к кардинальной трансформации их отношения к религиозному опыту. Последний факт имеет большое значение для понимания постепенного вхождения теологического измерения в сложную ткань антитеистического пространства современной философии.

«Язык Бога» в современной генетике

Фрэнсис Коллинз – одна из знаковых фигур в науке XXI в. Под его руководством летом 2000 г. был успешно реализован международный проект по расшифровке генома человека. Удивительный текст из трех миллиардов букв, описывающий «наше с вами устройство», стал доступен мировому сообществу впервые [8. С. 9.]. Этот безусловный успех современной генетики открыл множество перспектив как для дальнейших фундаментальных изысканий в данной области, так и для важнейших разработок в сфере здравоохранения. Однако какое отношение это замечательное мероприятие имеет к теологическому повороту в философии?

Дело в том, что это частное открытие, как и множество других, не менее впечатляющих успехов современной науки, с одной стороны, свидетельствует об эффективности естественнонаучных методов изучения природы, а с другой – не может оставаться в мировоззренческом вакууме. Бесспорные успехи современного естествознания в контексте философии религии становятся предметом острой полемики между двумя типами мыслителей. Первые

видят в научных прорывах доказательство «избыточности» теистической гипотезы, поскольку, объясняя мир и раскрывая его тайны, человечество перестает нуждаться в представлении о Зиждителе Вселенной. Другие же, напротив, распознают в научных открытиях явное свидетельство существования Бога, Его творческой любви, заложившей в природу разумно постигаемые законы, способные утолить интеллектуальную жажду человека и пробудить в нем радость от созерцания великого Божественного замысла. Один из самых ярких представителей второго типа мыслителей, Ричард Суинберн, объясняет свою позицию следующим образом: «Я не отрицаю объяснений науки, я постулирую бытие Бога для объяснения того, почему наука в состоянии предлагать объяснения. Сам успех науки в демонстрации того, насколько глубоко упорядочен естественный мир, дает весомые основания считать, что у самого этого порядка есть еще более фундаментальная причина» [9. С. 64]. Другими словами, успех науки необъясним вне гипотезы о разумном устройстве Вселенной: естествознание делает успехи потому, что законы мироздания разумны, а это, в свою очередь, немыслимо без разумного Творца.

Обе позиции оценивают научные открытия на некоторой дистанции, но как может воспринимать эти открытия ученый, непосредственно вовлеченный в процесс научного исследования природы? Летом 2000 г. на церемонии официального объявления результатов международного проекта «Геном человека» Ф. Коллинз сделал следующее заявление: «Сегодня счастливый день для всего мира. Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены и которая до сих пор была известна одному лишь Богу» [8. С. 10]. Геном человека обнаружил сложнейший и тончайший «язык Бога». Будучи разумным, он стал свидетельством Высшего Разума.

Ясно, что не только дело расшифровки генома человека, но и такого рода интерпретация познанного шифра имела свою сложную предысторию. И в этой предыстории присутствовали как научное исследование, так и религиозное обращение.

Описывая историю своей жизни, Френсис Коллинз подчеркивает, что сформированное и утвердившееся в процессе образования и постоянного повышения квалификации в области естественных наук атеистическое мировоззрение впервые оказалось под сомнением в результате совсем не научной причины. Твердая вера некоторых пациентов, с которыми ему пришлось работать во время медицинской практики, внушала уважение к теистическому восприятию мира. «Много раз, — пишет Ф. Коллинз, — мне доводилось наблюдать людей, которым вера придавала мужества, помогая переносить ужасающие — и в большинстве случаев ничем не заслуженные — мучения» [Там же. С. 23].

В сравнении с этим ясным убеждением атеистические представления самого Ф. Коллинза показались ему достаточно смутными по той причине, что, настойчиво исследуя тайны природы, он не потрудился изучить все доступные факты и доводы за и против существования Бога. Руководимый желанием достичь ясности в этом важнейшем вопросе, Ф. Коллинз приступил к интеллектуальным поискам, связанным с изучением доступной литературы по истории религий. «Итак, я пустился в интеллектуальный поиск, чтобы подтвердить свой атеизм, а в итоге от моих прежних взглядов не осталось камня

на камне», – констатирует знаменитый генетик результаты своих критических изысканий [8. С. 30]. Особое влияние на Ф. Коллинза оказали работы британского писателя, ученого и богослова К.С. Льюиса, и прежде всего его идея Нравственного закона, который тем или иным образом проявляется в жизни каждого человека и наличие которого опознал в себе и Ф. Коллинз.

Однако, разрешив свои личные сомнения, Ф. Коллинз поставил перед собой более масштабную задачу – продемонстрировать, что очевидное не только в нем самом, но и во многих других ученых непротиворечивое соединение веры и научной деятельности, вопреки распространенным клише, не является чем-то экстраординарным. Напротив, это сочетание демонстрирует, что объективно наука и религия, знание и вера не противоречат друг другу.

Главным камнем преткновения в этом вопросе в наши дни, по мнению Ф. Коллинза, является теория эволюции. С одной стороны, она представляет собой величайшее открытие, подтвержденное множеством фактов и не предполагающее в современной науке никакой серьезной альтернативы. Однако, с другой стороны, всякое значимое открытие в естественных науках требует аксиологической интерпретации. Так сложилось, что классическая интерпретация эволюционной теории продуцировала атеистические выводы, вопреки собственно установке самого Ч. Дарвина, возводящего исток эволюции к Творцу [10. С. 419]. Эту же интерпретацию поддерживают и так называемые «новые атеисты» в XXI в. Однако, с точки зрения Ф. Коллинза, данная позиция исходит из очевидно ошибочной установки о том, что исследование законов природы может каким-либо образом «доказывать» или «опровергать» существование трансцендентного природе Бога. «Если Бог находится вне природы, – пишет Ф. Коллинз, – то наука не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть Его существование» [8. С. 129]. Следовательно, атеизм – тоже своего рода разновидность «слепой» веры.

Таким образом, атеистическая интерпретация теории эволюции сама по себе не может рассматриваться серьезно по вышеизложенной причине. Тогда что же является самым опасным источником распространенного мнения о несовместимости веры в Бога с эволюционными предпосылками научного исследования?

Младоземельный креационизм – совершенно специфическая интерпретация содержания первых глав Книги Бытия. Сторонники этой концепции «ведут войну» с теорией эволюции, считая себя защитниками подлинной веры и предлагая свою оригинальную версию происхождения Вселенной порядка 10 тыс. лет назад за шесть дней (понимаемых буквально как 24 ч). Приблизительно 45% американцев придерживаются такой точки зрения [Там же. С. 134]. Ф. Коллинз считает необъяснимым то, что младоземельцы получили такую поддержку, тем более в такой стране, как США. Эта позиция не подтверждается никакими научными фактами и в корне противоречит современной науке. Как отмечает Ф. Коллинз, упорное выживание младоземельного креационизма «является одной из загадок нашего времени – и одной из величайших его трагедий» [Там же. С. 137]. Нападая на основы практически всех наук, «он расширяет пропасть между научным и религиозным мировоззрениями как раз тогда, когда нам более всего нужен путь к их гармоничному сочетанию» [Там же].

Таким образом, подобно обычным войнам война науки и религии инициируется экстремистами с обеих сторон, раздувающими пламя несогласий и противопоставлений, в то время как вера и знание нуждаются друг в друге, и именно наше время должно было бы раскрыть прекрасную гармонию, заложенную в человека Творцом – между способностью познавать и способностью верить. «Бог Библии – также и Бог генома, – заключает Ф. Коллинз. – Мы чтим Его и в соборе, и в лаборатории. Его творение величественно, поразительно, немыслимо сложно, – и оно не может воевать с собой. Лишь мы, несовершенные человеческие существа, способны начинать такие битвы. И только мы можем их прекращать» [8. С. 161].

Концепция Ф. Коллинза демонстрирует искусственность самого противопоставления религии и науки как отдельных сфер культуры, которые призваны соперничать друг с другом. Это, по сути своей, секулярное представление не согласуется с опытом ученого, в котором вера перманентно проясняет и освящает его исследовательскую работу.

Кенозис как историко-философский феномен

Философия итальянского теоретика постмодернизма Джанни Ваттимо внесла существенный вклад в переосмысление одного из важнейших понятий христианского богословия. Кенозис означает в рамках христианского вероучения «истощание» Бога как Его добровольное нисхождение в мир через воплощение и крестную смерть ради спасения людей. «Кенозис – это воплощение в его аспекте смирения и смерти» [11. С. 531], – отмечает авторитетный православный богослов В.Н. Лосский. Будучи специфической категорией христианского вероучения, кенозис в работах Джанни Ваттимо становится одной из главных точек примирения в еще одной войне – между христианством и философией постмодерна.

Можно ли утверждать, что стратегия «истощания» исчерпала себя через Воскресение и Вознесение Христа? Нельзя ли разглядеть в постметафизическом мышлении современных философских штудий «истощание» великого метафизического метанарратива, не разоблачающего религиозный опыт как таковой, но, напротив, расчищающего к нему дорогу? Эти вопросы обозначают путь примирения в жизни одного из самых известных представителей философии постмодерна между его философскими убеждениями и переживаемым религиозным опытом.

Свой путь изменения отношения к сфере религиозного Д. Ваттимо характеризует как «статистическую норму» для человека, который получил философское образование в XX в. Первая юношеская вера была подорвана великими критиками современности – М. Хайдеггером и Ф. Ницше. Философия постмодерна, в свою очередь, укрепила недоверие по отношению к метанарративу, стремящейся представить реальность как нечто единое и структурированное, открытое для познания и «боготворения». Кроме того, метафизический способ мышления, с которым в начале его творческого пути у Д. Ваттимо ассоциировалась и религия, противоречил идеалам демократии – политическая истина не создается через компромисс между многими позициями, но «открывается» человеку, так же как и истина метафизическая.

Однако постепенное движение в поле постмодерна, продумывание его фундаментальных принципов раскрыли для Д. Ваттимо совершенно нежидан-

данный аспект соотношения «угасания» доверия к метафизической метанаррации в современной философии и религиозного опыта, открывающего достоверность общения с Живым Богом.

Основное внимание в контексте этого переосмысления было обращено Д. Ваттимо на интерпретацию фундаментального тезиса Ф. Ницше о «смерти Бога». Если «смерть Бога» означает крушение великого метафизического проекта, то главным выводом из этого утверждения должна быть констатация невозможности не только теологической метафизики, но и метафизики атеистической. Насилие метанаррации проявляется не только в навязывании собственно теистической схемы, но и – в неменьшей степени – в навязывании схемы атеистической. «С завершением абсолютистских философий в эпоху постмодерна, – пишет Д. Ваттимо, – происходит нечто еще более важное: в сущности, к нам приходит теперь понимание, что все, чем мы в итоге располагаем (если образ бытия как предвечной структуры, отображаемой объективистской метафизикой, для нас более неприемлем), сводится к этому остатку – к библейскому пониманию творения, равно как и к библейскому пониманию случайного и исторического характера нашего существования» [3. С. 10–11].

Путь к Богу, таким образом, оказался не перекрыт разрушающей критикой постмодерна, но, напротив, расчищен «истощанием» великих метафизических систем. Тем более что само христианское вероучение не содержит указаний на то, что «истина мира» может быть раскрыта в какой бы то ни было теории, т.е. не включает в себя в качестве неотъемлемой метафизическую установку. В знаменитой главе «О любви» первого послания к Коринфянам апостола Павла можно обнаружить строки вполне в духе философии постмодерна: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13: 8). Наблюдая «упразднение» или «истощание» философских систем в современности, философ не обнаруживает препятствий для обретения общения с Тем, кто называет истинной самого Себя: «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

Таким образом, «кенозис» становится ключом к пониманию истории философии. И те, кого принято считать великими разоблачителями принципов метафизики, могут быть восприняты как ниспровергатели идолов, как те, чье дело может быть интерпретировано в перспективе христианской миссии. Так, по словам Р. Рорти, «...это объяснение сущности христианства, в котором самуничижение Бога и попытка человека помыслить любовь как единственный закон составляют две стороны одной монеты, позволяет Ваттимо видеть во всех великих „разоблачителях“ Запада – от Коперника и Ньютона до Дарвина, Ницше и Фрейда – исполнителей работы любви» [12. С. 118].

Личная вера Джанни Ваттимо обретает, таким образом, достоверность и обоснование в сложном пространстве «эпохи постмодерна», благополучно избегая искусственного противопоставления философии и религии в рамках секулярной идеологии. История философии оказывается откровением Бога, а вера – радостью и опорой философа, обнаружившего «проседание» классических философских метанарраций.

Заключение

Рамки статьи не позволяют привести и другие примеры религиозного обращения ученых и философов последних десятилетий. Однако приведен-

ных примеров вполне достаточно для того, чтобы обозначить существенную для нашего времени тенденцию.

Секулярное восприятие религиозного опыта, очевидно, исчерпало себя. Руководствуясь им, невозможно сегодня предоставить адекватное объяснение происходящему в современном мире религиозному возрождению. Выступая в форме «опыта любви», а не метанаррации, религия превосходит те рамки секторального гетто, которыми ее долгое время пыталась ограничить секулярная идеология. В современной постсекулярной перспективе религия раскрывается не как «область духовной культуры», соперничающая с философией и наукой, но как некое дополнительное измерение, способное диффузно сочетаться и с философским мышлением, и с научным исследованием.

Еще одной важной особенностью современных «обращений» становится выход религиозности не только за рамки «культурного сектора», но и за рамки личного опыта, который нужно якобы тщательно отграничивать от профессиональной деятельности. И для Ф. Коллинза, и для Дж. Ваттимо сама их деятельность в области науки и философии неотделима от веры, поскольку именно вера придает направление и смысл их профессиональным исследованиям. Описывая настроения интеллигентов англоговорящего мира в середине XX в., знаменитый «аналитический теист» Алвин Плантинга замечает: «Только некоторые из видных философов были христианами, еще меньше заявляли об этом публично, и еще меньше считали, что их принадлежность к христианству и в самом деле отличает их от остальных в их деятельности в качестве философов» [4. С. 469]. Личная вера не должна проявляться в научном и философском пространстве, нарушая «объективность» последнего, которая на проверку зачастую оказывается ангажированной антиатеистическими предпосылками. Эта установка сегодня уступает место более открытой и смелой позиции не без влияния знаменитого «Совета христианским философам» А. Плантинги. Также и в рассмотренных в данной статье позициях Ф. Коллинза и Д. Ваттимо личная вера становится условием не столько самого научного и философского движения, сколько процесса понимания, неизменно сопутствующего данному движению.

Таким образом, постсекулярная философия, осмысляя феномен возрождения религии, не может оперировать концептуальными схемами, выработанными в контексте секулярной идеологии и классической философии религии. Само классическое понимание религии сегодня оказывается под вопросом.

Формирование новой концепции религиозного является важнейшей задачей современной философии религии. На этом сложном пути представляется чрезвычайно интересным предложение российского исследователя Александра Кырлежева концептуализировать религиозное не как сектор культурной жизни человечества, а как ее «полюс». «Если учитывать как до-секулярное, так и секулярное представления о религиозном, — пишет А. Кырлежев, — можно предложить такой взгляд на соотношение религиозного и нерелигиозного (светского): они представляют собой два полюса индивидуального и социального существования. И тогда „естественной“ будет совокупная жизнедеятельность „человека и людей“, которая протекает в идеологическом и прагматическом поле напряжения между этими двумя полюсами культуры — религиозным и светским» [7. С. 59].

При всей сложности применения понятия «полнос» в социальном измерении данная концепция позволяет дистанцироваться от классической секулярной установки о «естественности» светского уровня культуры, над которым искусственно надстраивается «второй этаж» религиозных представлений о сверхъестественном. С другой стороны, данная концепция также помогает избежать простого возвращения к досекулярному представлению, которое не различает религию в качестве специфического объекта исследования, поскольку в сакральный период такой необходимости не существовало.

Однако также необходимо иметь ввиду, что постсекулярная философия религии не ставит себе целью простую замену одной концепции религии другой. Скорее, приставка «пост» (аналогично понятию постмодерна [1. С. 166]) означает постоянно продолжающееся сомнение в адекватности прежнего философско-религиозного подхода к новой исторической ситуации, постоянную потребность в дистанцировании от секулярных способов выстраивания дискурса о религии.

Литература

1. Кырлежев А. Секуляризм и постсекуляризм в России и мире // Отечественные записки. 2013. № 1 (52). С. 161–174.
2. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 94–142.
3. Ваттимо Дж. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. 160 с.
4. Аналитический теист: антология Алвина Плантинга. М.: Языки славянской культуры, 2014. 568 с.
5. Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3 (82). С. 3–32.
6. Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным // Логос. 2011. № 3 (82). С. 186–205.
7. Кырлежев А. Постсекулярная концептуализация религии: к постановке проблемы // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 52–68.
8. Коллинз Ф. Доказательство Бога: аргументы ученого. М.: Альпина нон-фикшн, 2008. 216 с.
9. Суинберн Р. Есть ли Бог? М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 120 с.
10. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. Л.: Наука, 1991. 539 с.
11. Лосский В. Боговидение. М.: АСТ, 2003. 759 с.
12. Рорти Р. Антиклерикализм и атеизм // Логос. 2008. № 4 (67). С. 111–119.

Ekaterina B. Khitruck, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: lubomudreg@gmail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 180–189.

DOI: 10.17223/1998863X/57/17

“TWO CONVERSIONS” IN THE CONTEXT OF THE POST-SECULAR PHILOSOPHY OF RELIGION

Keywords: secularism; post-secular philosophy of religion; Gianni Vattimo; Francis Collins.

This article is devoted to the study of the definition of religion in contemporary conditions. In the first part of the article, the author argues that the classical view of the sphere of the religious was based on a secular ideology. In contemporary conditions of the so-called “religious revival”, the concept of religion as a specific “sphere” of spiritual culture is not effective. It cannot explain why religious experience continues to be relevant, despite the progress of science, which religion could not compete with according to the belief of the classics of the philosophy of religion. The classical philosophy of religion itself is called into question as a rather specific phenomenon that arose in the context of secularization and is based on a reductionist perception of religion as one of the areas of human experience that is localized in a certain sector and does not affect other areas of social life. The classical philosophy of religion became possible as a result of the development of a secular ideology, which for the first time

in history presented the world as initially “natural” and “immanent”, and religion as an artificial attempt to build a “second floor” of reality. A new definition of religion in the perspective of post-secular philosophy is needed. The second part of the article analyzes the experience of a religious conversion of two famous thinkers of the past decades; the modern “theological turn” has found expression in their writings and experience. The thinkers represent two influential areas of modern intellectual life – natural science (Francis Collins) and postmodern philosophy (Gianni Vattimo). The history of their conversions was gradual and led to a radical transformation of their attitude to religious experience. The latter fact is of great importance for understanding the gradual entry of the theological dimension into the complex fabric of the antitheistic space of modern philosophy. The third part of the article concludes that the secular perception of religious experience has exhausted itself. Guided by this perception, it is impossible today to provide an adequate explanation of what is happening in the contemporary world of religious revival. In the form of an “experience of love” rather than a metanarration, religion transcends the limits of the sectoral ghetto that secular ideology has long tried to limit. Religion is revealed not as an “area of spiritual culture” that rivals philosophy and science, but as an additional dimension that can be diffusely combined with both philosophical thinking and scientific research. It is suggested that the concept of the “pole of culture” can be considered a more effective definition of religion in contemporary conditions.

References

1. Kyrlezhev, A. (2013) Sekulyarizm i postsekulyarizm v Rossii i mire [Secularism and post-secularism in Russia and the world]. *Otechestvennye zapiski*. 1(52). pp. 161–174.
2. Freud, S. (1990) *Sumerki bogov* [Twilight of the Gods]. Translated from German. Moscow: Politizdat. pp. 94–142.
3. Vattimo, J. (2007) *Posle khristianstva* [After Christianity]. Translated from Italian by D.V. Novikov. Moscow: Tri kvadrata.
4. Plantinga, A. (2014) *Analiticheskiy teist: antologiya Alvina Plantingi* [The Analytical Theist: An Anthology by Alvin Plantinga]. Translated from English by K.V. Karpov. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
5. Uzlaner, D. (2011) Introduction to Postsecular Philosophy. *Logos*. 3(82). pp. 3–32. (In Russian).
6. Caputo, J. (2011) How Secular World Became Post-Secular. *Logos*. 3(82). pp. 186–205. (In Russian).
7. Kyrlezhev, A. (2012) Postsekulyarnaya kontseptualizatsiya religii: k postanovke problemy [Postsecular Conceptualization of Religion: On the Statement of the Problem]. *Gosudarstvo, religiya, Tserkov' v Rossii i za rubezhom*. 2(30). pp. 52–68.
8. Collins, F. (2008) *Dokazatel'stvo Boga: Argumenty uchenogo* [The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief]. Translated from English by M. Sukhanova. Moscow: Al'pina non-fikshn.
9. Swinburne, P. (2006) *Est' li Bog?* [Is There a God?]. Translated from English. Moscow: St. Apostle Andrew Bible-Theological Institute.
10. Darwin, Ch. (1991) *Proiskhozhdenie vidov putem estestvennogo otbora* [On the Origin of Species by Means of Natural Selection]. Translated from English. Leningrad: Nauka.
11. Lossky, V. (2003) *Bogovidenie* [The Vision of God]. Moscow: AST.
12. Rorty, R. (2008) Antiklerikalizm i ateizm [Anti-clericalism and atheism]. *Logos*. 4(67). pp. 111–119.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК: 316.43

DOI: 10.17223/1998863X/57/18

О.А. Бодрова

ПАРТНЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Анализируется хронология норм и практик взаимодействия публичных и частных акторов в социальной сфере как показателей целенаправленного развития межинституционального партнерства в современной России. Определяются актуальные рамки понятия «социальное партнерство», его принципы в объединении ресурсов некоммерческих организаций, коммерческих предприятий, органов власти государственных, региональных и муниципальных уровней.

Ключевые слова: партнерство, социальная сфера, институты.

Терминологический перенос

В современной России организация взаимодействия власти и общества для решения не только вопросов труда, но и всего спектра социальной защиты граждан, решения социальных проблем в некоторой мере осложняется трудностями перевода. Изначальный импорт в российский правовой дискурс понятия «социальное партнерство» как институционализированного взаимодействия [1. С. 101] был обусловлен экономическими, социальными, политическими условиями в начале 90-х гг. XX в.

Термины «межсекторное взаимодействие» и «социальное партнерство» стали появляться в тезаурусе социальной политики, государственного и муниципального управления с 1990-х гг. [2. С. 112]. Примерно тогда же эти понятия стали обсуждаться в научном поле социально-экономических и политических дисциплин. Этот лексикон, новый для постсоветской России, к тому времени уже не одно десятилетие использовался за рубежом, где активно развивались соответствующие практики [3. С. 154]. Термин «социальное партнерство» направляет внимание исследователя, во-первых, в сферу труда, во-вторых, в сферу норм гражданского общества западного типа с его правилами гражданского участия и устоявшейся процедурой соблюдения гражданских прав, закономерно распространяющейся и на права работников и работодателей, отчетливо отражающейся в системе европейского трипартизма [4. С. 88].

С тех пор и сам терминологический аппарат, и институциональные практики социального партнерства в определенной мере изменились.

В данной статье мы ставим перед собой задачи обозначить границы понятия «партнерство в социальной сфере» среди других близких понятий и проанализировать трансформацию соответствующих практик взаимодействия институтов в России. Вначале мы проведем краткий обзор истории по-

нятия на фоне изменяющихся практик, а затем представим актуальную ситуацию социального партнерства на эмпирическом материале.

От конца прошлого века к современности

В начале 90-х гг. XX в. российское общество переживает период неопределенности социальной идентичности и дефицита ценностных критериев [5. С. 36]. Особое значение приобретают процессы демократизации, расширения социальных функций государства и становления институтов, продвигающих идеи и ценности социально ответственной деятельности. Изучение механизмов построения и реализации социального партнерства как общественных отношений, способствующих социализации и достижению баланса социально-экономических интересов базовых групп общества, в этот период становится теоретической и практической задачей. Функциональная сложность и одновременно инновационная направленность механизмов экономических, политических и социокультурных процессов того периода выдвинула на передовые позиции проблемы социального партнерства и конструктивного диалога институтов, представляющих разные секторы общества [6. Т. 319. С. 17].

Лишь к середине 1990-х гг., по мнению В.Н. Якимца, термин «социальное партнерство» начинает употребляться в контексте социально значимой деятельности и социальных услуг. «Межсекторное социальное партнерство» – именно в такой формулировке термин впервые прозвучал в 1994 г. на семинарах АЙРЕКС в Томске и Иркутске, где обсуждалась концепция взаимодействия власти, общества и бизнеса в решении социальных проблем [7. С. 5]. Начиная с 1997 г. стали появляться первые методологические разработки по теме социального партнерства между тремя секторами. С 1998 г. в рамках поиска моделей взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций создается совместный проект Правительства Москвы и программы развития ООН «Социальное партнерство» [8]. С 2002 г. термин «межсекторное социальное партнерство» начал отражаться в текстах государственных докладов и фигурировать в нормативно-правовых актах регионального значения (Свердловская область и др.).

В наши дни в общественно-экономическом и общественно-политическом дискурсе, в сфере научного осмысления различных аспектов актуальной реальности, в том числе социокультурных, все чаще звучит термин «социальное партнерство» [9] и прочно закрепилось понятие «межсекторное социальное партнерство». В работах С.А. Иванова [10. С. 99], Н.Л. Хананашвили и В.Н. Якимца [11. С. 13], других исследователей имеются сходные описания такого социального взаимодействия, которое своими характеристиками соответствует критериям партнерства: объединение его субъектами усилий для достижения целей, взаимный учет интересов, договорность, консенсус, ответственность и соблюдение установленных прав, рациональность, нацеленность на достижение взаимовыгодных результатов и развитие, взаимопомощь и поддержка. Партнерство власти и общества в литературе относят к передовым подходам к решению социально ориентированных задач, если оно основано на принципах гражданского права и социальной справедливости, «выгодно» всем его сторонам-участникам [12. С. 5].

Существуют примеры социальных партнерств в рамках одного сектора, например партнерства фондов местных сообществ [13]. Формулировка «социальное партнерство» в нашем исследовании используется для описания межсекторных связей в социальной сфере. Их стороны, так же как и в трудовой сфере, «ориентированы на поиск зон согласия и выгоды»: общественно-государственных, государственно-частных и общественно-частных [14. С. 94]. Как же изменяется нормативно-правовое оформление социального партнерства?

Нормативно-правовой контекст

Впервые в российском нормативно-правовом поле термин «социальное партнерство» появился в указе Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)», а впоследствии – в ныне уже не действующем указе Президента РФ от 5 февраля 1993 г. № 188 «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Новые российские правовые нормы социального партнерства между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны регулировали практику «трипартизма» как равноправного взаимодействия и сотрудничества в достижении компромиссных соглашений, выгодных всем сторонам такого диалога. Дальнейшее развитие правила социального партнерства в сфере труда получили в ряде федеральных законов: от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» (ныне не действует), от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и др. В них была заложена обновленная основа правового регулирования отношений социальных партнеров.

Трудовой кодекс Российской Федерации как документ, регулирующий отношения индивидов в социально-трудовой сфере, ограничивает работниками и работодателями число носителей интересов, согласование которых является объектом социального партнерства. Органы власти представлены в нем лишь как посредники между этими двумя субъектами интереса. Региональные законодатели также формально попытались ограничить субъектов социального партнерства рамками производственной сферы. Однако у них объект и предмет взаимодействия явно вышли за пределы трудовых отношений. В частности, объектом партнерства в законодательных актах ряда субъектов Российской Федерации указаны вопросы «обеспечения занятости населения и развития рынка труда» (Ярославская область), «бюджетной, налоговой, ценовой политики и приватизации» (Челябинская область), «обеспечения социальной стабильности» (Магаданская область), «улучшения социально-экономического положения региона» (Астраханская область), «совершенствования социально-экономической защиты жителей области» (Читинская область), «обеспечения стабильности общества на основе объективного учета интересов всех его слоев» (Республика Карелия) и т.д. Анализ автором объектов социального партнерства, отраженных в региональных нормативных актах, показывает, что в действительности число носителей его интересов шире, чем только работники и работодатели.

Перечень предметов социального партнерства, обозначенных в нормативных актах, включает интересы самых разных социальных слоев, субъектов управления и хозяйствования.

Действующие сегодня нормативно-правовые акты подтверждают развитие партнерской составляющей в отношениях между государством и обществом, государством и бизнесом, обществом и бизнесом и обнаруживают потенциал в подходах к использованию трехсторонней модели. Например, на это указывает наличие в федеральном законе о государственно-частном партнерстве «финансирующего лица» [15] (основной целью такого партнерского взаимодействия, распространяющегося и на социальную сферу, указанной в тексте законодательного документа в 2015 г., является «привлечение инвестиций»).

Проведенный автором анализ нормативно-правовых актов разного уровня, содержащихся в информационно-правовой системе «Гарант» [16] показал, что термин «социальное партнерство» встречается в текстах документов 37 660 раз, из них в актах органов власти – 32 605 раз (остальные документы, представленные в системе весной 2020 г., носили характер комментариев, судебной практики, договоров, научно-технической документации и т.п.). Подавляющее большинство упоминаний социального партнерства по-прежнему обнаруживается в документах из сферы труда. Строгое сочетание «межсекторное партнерство» насчитывается в актах органов власти 100 раз (нестрогое – 290 раз), а формулировка «межсекторное социальное партнерство» в документах такого же типа встречается 44 раза. Упоминания последней формулировки встречаются в контекстах повышения эффективности работы органов местного самоуправления, развития поисковых работ, профориентации, социального обслуживания семей и детей, социального заказа, здравоохранения, развития гражданского общества, повышения качества жизни, поддержки социально ориентированных НКО, социально-экономического развития региона, города, района и т.п.

Многочисленные по сравнению с началом века упоминания межсекторного социального партнерства в действующих нормативно-правовых актах федерального, регионального, местного и локального уровней свидетельствуют об устойчивом институциональном оформлении в России трех взаимодействующих секторов, характерных для демократически развитого общества: государственного, коммерческого и некоммерческого.

По данным исследования, проведенного Некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество», за последние годы механизмы межсекторного взаимодействия укоренились в нормативно-правовом поле 83 субъектов Российской Федерации. В 2009–2010 гг. проанализированы нормативно-правовые документы регионов [17], были выделены следующие формы межсекторного социального партнерства: фонды местных сообществ; социальный заказ; гранты и субсидии на социально-ориентированные проекты; налоговые льготы некоммерческим общественным и благотворительным организациям; налоговые льготы коммерческим организациям – донорам; общественные палаты; поддержка развития социального предпринимательства на уровне региональных и местных программ и другие.

Очевидно, что перечисленные формы партнерства отражают определенную последовательность и сочетание методов решения проблем в социальной

сфере, в том числе путем контактов между различными институтами [18. С. 31].

Практики партнерства в социальной сфере

На основе материалов НП «Юристы за гражданское общество» 2007–2010 гг. был создан рейтинг субъектов Российской Федерации, отражающий распространенность практики межсекторного партнерства в решении социальных задач в установленных законом формах [19].

Рейтинг 2009 г. продемонстрировал рост показателей по регионам в отношении распространенности и качества практики межинституционального социального партнерства по сравнению с 2007 г. Тогда ровно у одной трети субъектов РФ не было выявлено ни одного партнерского механизма взаимодействия, в отношении которых в регионе был бы принят нормативный акт, тогда как по данным 2009 г. таких «отсталых» регионов в стране не оказалось вообще, а число субъектов, «не реализовавших свой потенциал», уменьшилось в 9 раз.

По итогам исследования правовой базы 85 субъектов Российской Федерации с января по октябрь 2017 г. [20] был выстроен рейтинг субъектов, в котором лидирующие позиции в межсекторном социальном партнерстве заняли Псковская область (12,5 баллов), Республика Коми (12 баллов), Вологодская область, Красноярский край (по 11,5 баллов). В отчете отмечалось, что само по себе нормативное обеспечение механизмов реального партнерского взаимодействия власти и общества в социальных целях не является его гарантией, но подчеркивалось, что нормативная база является необходимым условием указанного взаимодействия для достижения практического результата. Юристами отмечалось, что из региональных законов, зачастую носящих шаблонный по отношению к федеральным характер, почти ушла специфика «субъектового» нормотворчества, позволявшего с помощью нормативного регулирования влиять на эффективность межсекторного партнерского взаимодействия в зависимости от особенностей и возможностей региона. К 2018 г. во всех субъектах Российской Федерации отмечалось как наличие нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие сторон различной институциональной принадлежности в социальной сфере, так и реальные его практики.

Авторы упомянутого исследования характеризуют текущий этап развития межсекторного социального партнерства как его институциональное закрепление в российском социуме на федеральном, региональном и местном уровнях. Нормативная рефлексия приводит к выводам: в регионах страны отмечается рост распространенности идей партнерства в социальной сфере на основе межсекторного взаимодействия; когда обнаруживаются случаи имитационного подхода к межсекторному социальному партнерству, создается впечатление, что в «новых декорациях» продолжается «старый спектакль».

Обновление репертуара

Партнеры со стороны общества реализуют многочисленные проекты, ежегодно участвуя в федеральных, региональных и муниципальных грантовых конкурсах, получая государственные и муниципальные субсидии. Партнеры со стороны государства совершенствуют систему конкурсной финансо-

вой поддержки НКО, участвующих в решении социальных проблем местных сообществ, год от года увеличивая ее размеры. Так, ассигнования федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) были увеличены в реальном выражении на 13,7%, с 10,3 млрд рублей в 2017 г. до 12,2 млрд рублей в 2018 г. Отмечается увеличение количества СОНКО, получивших финансовую поддержку в 2018 г., до 3 804 (в 2017 г. – 3 657), за год количество получателей поддержки выросло на 4,0% [21].

Особенной приметой современности является перенос решений некоторых задач социального партнерства по поддержке отдельных категорий граждан, включая людей с инвалидностью, в цифровую среду. В большей мере это касается информирования целевых групп о доступности тех или иных социальных услуг посредством интернет-ресурсов. В связи с этим возникают сервисы, подобные clientcareweb [22] – сайты, ориентированные на информационные и просветительские потребности конкретных социальных групп из разряда социально уязвимых, которые в том числе объединяют на своих страницах усилия государственных и общественных институтов по социальной защите граждан.

Наблюдается развитие партнерского взаимодействия по типу «бизнес–общество». Частные благотворительные фонды, существующие исключительно на средства от предпринимательской деятельности своих владельцев, все чаще объявляют конкурсы грантовой финансовой поддержки для НКО, сделав такую практику интенсивной и регулярной. Например, Фонд Потанина, вкладывающий свои усилия в поддержку устойчивости российских некоммерческих организаций, начал объявлять конкурсы и подводить их итоги каждый месяц [23]. Настолько масштабных благотворителей из числа представителей бизнеса в стране пока единицы.

Основным системообразующим партнером в социальной сфере по-прежнему является государство. Многочисленными партнерами государства в реализации социально-ориентированных проектов, решающих проблемы местных сообществ, являются представители гражданского общества (только за первое полугодие 2020 г. финансовую поддержку Фонда президентских грантов получили 2 017 некоммерческих организаций России) [24].

Эффективность указанных выше форм взаимодействия в социальной сфере публичных и частных партнеров оказывается ограниченной разными факторами. В их числе и несовершенство регионального законодательства, и методологические лакуны, особенно ощутимые в расчетах размеров государственных субсидий на оказание социальных услуг, и несвоевременное обновление методического инструментария, используемого как на этапе разработки, так и на этапе реализации партнерских проектов в социальной сфере.

Участие в разработке нормативно-правовых актов представителей некоммерческого сектора как системной практики прослеживается на примере работы общественных палат, но требует дополнительного изучения.

Предполагаем, что взаимозависимость секторов общества обуславливает потенциал их развития в различных областях: научной, правовой, управленческой, финансовой, хозяйственной, информационной и др. Например, социальные предприятия, законодательно [25] выделенные в 2019 г. в отдельную область малого и среднего предпринимательства по определенным критери-

ям социальной ответственности¹ и видам государственной поддержки², демонстрируют указанную выше взаимную зависимость: по отношению к государственному сектору они являются получателями поддержки (нуждаются в ней), а по отношению к обществу – поставщиками социальной услуги (произведенной после получения государственной поддержки в каком-либо виде).

Представленный в статье анализ позволяет утверждать, что границы современного понятия партнерства в социальной сфере очерчены рамками межсекторного социального партнерства и задаются соответствующими формами взаимодействия российских институтов, практики которого давно выходят за пределы сферы труда. Разнообразие таких форм обусловлено нормативно.

Внутри законодательных рамок субъекты партнерского взаимодействия в социальной сфере находят определенную свободу в выборе подходов к решению социально значимых вопросов. Сегодня в их арсенале имеются правовые, политические, экономические и другие инструменты.

Трансформация практик взаимодействия институтов в современной российской социальной сфере направлена на увеличение числа сторонних участников, полиморфизм, сегментацию как поставщиков, так и потребителей социальных услуг.

Главными для российских партнеров в социальной сфере в 2020 г. остаются приоритеты социального государства. Взаимодействие в социальной сфере субъектов разной институциональной принадлежности осуществляется по-прежнему при сохранении принципов конструктивного взаимодействия на основе действующих правовых норм, объединения ценностей, целей и ресурсов.

Литература

1. Streeck W, Hassel A. The crumbling pillars of social partnership // West European Politics. 2003. Vol. 26 (4). P. 101–124.
2. Либоракина М.И., Флямер М.Г., Якимец В.Н. Социальное партнерство. Заметки о формировании гражданского общества в России. М. : Школа культурной политики, 1996. 112 с.
3. Якимец В.Н. Как экологу получить грант благотворительного фонда США. М. : Мос-облстат, 1992. 154 с.
4. Генз В.А., Андреева А.В. Мировая практика социального партнерства в трудовой сфере: история становления // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2014. № 4-1. С. 88–94.
5. Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35–51.
6. Арцер Т.В. Инновационное социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческих организаций – основа модернизации экономики России // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319, № 6. С. 17.
7. Якимец В.Н. Социальное партнерство. Российский опыт. Год 2000. СПб. : Интерлэнт, 2000. 5 с.
8. Агентство социальной информации : еженедельный информационный выпуск. 1998. № 36 (197). URL: <http://www.friends-partners.org/ccsi/asi/1998/russian/asi36.htm> (дата обращения: 20.04.2020).

¹ Социально уязвимые категории граждан должны участвовать в создании цены продукта социального предприятия в одном или нескольких качествах: производители, работники, получатели конечного продукта. – *Прим. авт.*

² Финансовая, образовательно-консультационная, инфраструктурная. – *Прим. авт.*

9. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России / под ред. А.С. Автономова. М. : Фонд НАН, 2003. 411 с.
10. Иванов С. А. Социальное партнерство как феномен цивилизации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 3. С. 79–99.
11. Хананавили Н.Л., Якимец В.Н. Межсекторные взаимодействия в России. М. : Фонд НАН, 1999. 13 с.
12. Технологии общественного участия и межсекторного социального партнерства : методическое пособие / под ред. М.Б. Горного. СПб. : Норма, 2013. 5 с.
13. Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Фонды местных сообществ в России. 2009. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/fms_in_Russia.pdf (дата обращения: 20.04.2020).
14. Аналитические материалы «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» : материалы VI Всерос. конф. М-ва экон. развития Рос. Фед. М., 2013. 94 с.
15. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.04.2020).
16. Информационно-правовая система «Гарант». 2020. URL: <http://ivo.garant.ru> (дата обращения: 20.04.2020).
17. Исследования // Юристы за гражданское общество : некоммерческое партнерство. 2010. URL: <https://map.lawcs.ru/document/search?goal=117> (дата обращения: 20.04.2020).
18. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России / под ред. А.С. Автономова. М. : Фонд НАН, 2003. 31 с.
19. Рейтинг межсекторного партнерства // Юристы за гражданское общество : некоммерческое партнерство. 2017. URL: http://lawcs.ru/nekommercheskoe-zakonodatelstvo/novosti-statistissledovaniya/izmeneniya-zakonodatelstva/lawcs_2017.pdf (дата обращения: 20.04.2020).
20. Отчет по исследованию «Наличие нормативно закреплённых механизмов взаимодействия общества и власти в субъектах Российской Федерации» // Юристы за гражданское общество : некоммерческое партнерство. 2017. URL: http://lawcs.ru/nekommercheskoe-zakonodatelstvo/novosti-statistissledovaniya/izmeneniya-zakonodatelstva/lawcs_2017.pdf (дата обращения: 20.04.2020).
21. Ежегодный доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций. 2019 / М-во экон. развития РФ. URL: <http://nko.economy.gov.ru/portal-news/read/5042> (дата обращения: 20.04.2020).
22. Информационная поддержка людей с инвалидностью // Client Care Web. 2020. URL: <https://www.clientcareweb.com/> (дата обращения: 20.04.2020).
23. Наша деятельность // Благотворительный Фонд Потанина. 2020. URL: <https://www.fondpotanin.ru/activity/> (дата обращения: 20.04.2020).
24. Проекты // Фонд президентских грантов. 2020. URL: <https://xn--80afcdbalict6afook-lqi5o.xn--p1ai/public/application/cards> (дата обращения: 20.04.2020).
25. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» : федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260077?index=12&rangeSize=1> (дата обращения: 20.04.2020).

Olga A. Bodrova, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: olgabodrova.ss.hse@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 190–199.

DOI: 10.17223/1998863X/57/18

PARTNERSHIP IN THE SOCIAL SPHERE: TRANSFORMATION OF INTER-INSTITUTIONAL INTERACTION

Keywords: partnership; social sphere; institutions.

The article analyzes the purposeful development of inter-sector partnership in Russian contemporary social sphere. The author identifies the relevant framework of the term “social partnership”, analyzes transformation of relevant practices for institutional interaction in Russia, makes a brief review of relevant empirical material and history of the term “social partnership”. The author notes that the terminological apparatus and institutional practices of social partnership have overstepped the boundaries of the labor field and started to change since the middle of the 1990s. The analysis of the inter-

sector social partnership rating of the regions shows that there have been necessary legal norms and real relevant practices in all the territories of the Russian Federation by 2018. The current period of inter-sector social partnership development is marked as its institutional fixation in Russian society on federal, regional, and municipal levels. The state is the main system-creating partner in the social sphere. Civil society representatives are the main partners of the state in the social sphere. Partners from the society receive state and municipal subsidies for their social projects annually. Partners from the state perfect the system of financial grant support for socially oriented NGOs, increasing its amount steadily. Development trends in the partnership interaction of the “business–society” type is observed. The imperfection of the regional legislation and methodological lacunae in budgeting partner projects are among factors limiting inter-sector social partnership. NGO representatives’ participation in working out legal norms of inter-sector social partnership requires additional research. The boundaries of the contemporary term “partnership in the social sphere” are formed by the framework of inter-sector social partnership and determined by corresponding forms of interaction. The diversity of the forms is determined by active legal norms. The transformation of institutional interaction in the contemporary Russian social sphere is aimed at increasing the number of interacting parts, at polymorphism, at segmentation of social service providers and beneficiaries. The priorities of a social state remain the main ones for Russian partners in the social sphere in 2020. The leading principles for social partners are constructive interaction on the basis of active legal norms, of pooling values, goals, and resources.

References

1. Streeck, W. & Hassel, A. (2003) The crumbling pillars of social partnership. *West European Politics*. 26(4). pp. 101–124. DOI: 10.1080/01402380312331280708
2. Liborakina, M.I., Flyamer, M.G. & Yakimets, V.N. (1996) *Sotsial'noe partnerstvo. Zametki o formirovani grahdanskogo obshchestva v Rossii* [Social partnership. Notes on the formation of civil society in Russia]. Moscow: Shkola kul'turnoy politiki.
3. Yakimets, V.N. (1992) *Kak ekologu poluchit' grant blagotvoritel'nogo fonda SShA* [How can an ecologist get a grant from a US charitable foundation]. Moscow: Mos-obstat.
4. Geng, V.A. & Andreeva, A.V. (2014) World practice of social partnership in the sphere of labor: the history of formation. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Ekonomika i upravlenie*. 4(1). pp. 88–94. (In Russian).
5. Yadov, V.A. (1994) *Sotsial'naya identifikatsiya v krizisnom obshchestve* [Social identification in a crisis society]. *Sotsiologicheskij zhurnal – Sociological Journal*. 1. pp. 35–51.
6. Artser, T.V. (2011) *Innovatsionnoe sotsial'noe partnerstvo gosudarstva, biznesa i nekommercheskikh organizatsiy – osnova modernizatsii ekonomiki Rossii* [Innovative social partnership of the state, business and non-profit organizations – the basis for modernizing the Russian economy]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Tomsk Polytechnic University*. 319(6). pp. 17.
7. Yakimets, V.N. (2000) *Sotsial'noe partnerstvo. Rossiyskiy opyt. God 2000* [Social partnership. Russian experience. The Year 2000]. St. Petersburg: Interlent.
8. Agency of Social Information. (1998) *Ezhenedel'nyy informatsionnyy vypusk* [Weekly News Release]. 36(197). [Online] Available from: <http://www.friends-partners.org/ccsi/asi/1998/russian/asi36.htm> (Accessed: 20th April 2020).
9. Avtonomov, A.S. (ed.) (2003) *Sotsial'nye tekhnologii mezhsektornogo vzaimodeystviya v sovremennoy Rossii* [Social technologies of intersectoral interaction in modern Russia]. Moscow: Fond NAN.
10. Ivanov, S.A. (2005) *Sotsial'noe partnerstvo kak fenomen tsivilizatsii* [Social partnership as a phenomenon of civilization]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii*. 8(3). pp. 79–99.
11. Khananashvili, N.L. & Yakimets, V.N. (1999) *Mezhsektornye vzaimodeystviya v Rossii* [Intersectoral interactions in Russia]. Moscow: Fond NAN.
12. Gorny, M.B. (ed.) (2013) *Tekhnologii obshchestvennogo uchastiya i mezhsektornogo sotsial'nogo partnerstva* [Technologies of public participation and intersectoral social partnership]. St. Petersburg: Norma.
13. Mersyanova, I.V. & Solodova, I.I. (2009) *Fondy mestnykh soobshchestv v Rossii* [Foundations of local communities in Russia]. [Online] Available from: https://www.civisbook.ru/files/File/fms_in_Russia.pdf (Accessed: 20th April 2020).
14. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (2013) *Analiticheskie materialy “Mezhsektornoe vzaimodeystvie v sotsial'noy sfere”: materialy VI Vserossiyskoy konferentsii Mi-nisterstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii* [Analytical materials “Intersectoral

interaction in the social sphere”: Proc. of the Sixth All-Russian Conference of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation]. Moscow: Ministry of Economic Development of the Russian Federation.

15. The Russian Federation. (2020) *O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal'no-chastnom partnerstve v Rossiyskoy Federatsii i vnesenii izmeneniy v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii. Federal'nyy zakon ot 13.07.2015 №224-FZ* [On public-private partnership, municipal-private partnership in the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation. Federal Law No. 224-FZ of July 13, 2015]. [Online] Available from: <http://pravo.gov.ru> (Accessed: 20th April 2020).

16. The Garant Information System. [Online] Available from: <http://ivo.garant.ru> (Accessed: 20th April 2020).

17. Non-profit partnership “Yuristy za grazhdanskoe obshchestvo [Lawyers for Civil Society]”. [Online] Available from: <https://map.lawcs.ru/document/search?goal=117> (Accessed: 20th April 2020).

18. Avtonomov, A.S. (ed.) *Sotsial'nye tekhnologii mezhsektornogo vzaimodeystviya v sovremennoy Rossii* [Social technologies of intersectoral interaction in modern Russia]. Moscow: Fond NAN.

19. Yuristy za grazhdanskoe obshchestvo. (2017a) *Reyting mezhsektornogo partnerstva. 2017* [Intersectoral Partnership Rating. 2017]. [Online] Available from: http://lawcs.ru/nekommercheskoe-zakonodatelstvo/novosti-stati-issledovaniya/izmeneniya-zakonodatelstva/lawcs_2017.pdf (Accessed: 20th April 2020).

20. Yuristy za grazhdanskoe obshchestvo. (2017a) *Otchet po issledovaniyu “Nalichie normativno zakreplennykh mekhanizmov vzaimodeystviya obshchestva i vlasti v sub”ektakh Rossiyskoy Federatsii”* [Report on the study “The normatively fixed mechanisms of interaction between society and the authorities in the constituent entities of the Russian Federation”]. [Online] Available from: http://lawcs.ru/nekommercheskoe-zakonodatelstvo/novosti-stati-issledovaniya/izmeneniya-zakonodatelstva/lawcs_2017.pdf (Accessed: 20th April 2020).

21. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (2019) *Ezhegodnyy doklad o deyatel'nosti i razvitiy sotsial'no orientirovannykh nekommercheskikh organizatsiy* [Annual report on the activities and development of socially oriented non-profit organizations]. [Online] Available from: <http://nko.economy.gov.ru/portalanews/read/5042> (Accessed: 20th April 2020).

22. Client Care Web. (2020) *Informatsionnaya podderzhka lyudey s invalidnost'yu* [Information support for people with disabilities]. [Online] Available from: <https://www.clientcareweb.com/> (Accessed: 20th April 2020).

23. The Potanin Charitable Foundation. (2020) *Nasha deyatel'nost'* [Our activity]. [Online] Available from: <https://www.fondpotanin.ru/activity/> (Accessed: 20th April 2020).

24. The Presidential Grants Foundation. (2020) *Proekty* [Projects]. [Online] Available from: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/cards> (Accessed: 20th April 2020).

25. The Russian Federation. (2020) *O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon “O razvitiy malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossiyskoy Federatsii”*. Federal'nyy zakon ot 26.07.2019 № 245-FZ [On amendments to the Federal Law “On the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Russian Federation”. Federal Law No. 245-FZ dated July 26, 2019]. [Online] Available from: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260077?index=12&rangeSize=1> (Accessed: 20th April 2020).

УДК 316.342

DOI: 10.17223/1998863X/57/19

Т.С. Мартыненко

ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ¹

Рассматриваются основные подходы к определению и содержанию понятия «инвайронментальное неравенство». Продемонстрированы особенности социологического изучения инвайронментальных проблем. Автор анализирует специфику понятий, связанных с неравенством в отношении экологических условий, основные аспекты и измерения инвайронментального неравенства. В заключении обозначены некоторые социальные последствия социально-экологического неравенства, требующие дальнейшего изучения.

Ключевые слова: социальное неравенство; инвайронментальное неравенство; инвайронментальная социология; экологический риск; экологическая культура.

Введение

Глобальные экологические проблемы являются одной из ключевых характеристик современных обществ. Сегодня невозможно представить повестку дня без обсуждения проблем, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды и необходимостью объединения усилий всего человечества для сохранения планеты в пригодном для будущих поколений состоянии. Несмотря на то, что человек почти с момента своего появления различными способами преобразовывал природу вокруг себя, способствуя в том числе сукцессионным процессам, лишь начиная с середины XX в. повсеместное развитие промышленности, в том числе химической, а также прогресс в области науки и техники приводят к беспрецедентному глобальному влиянию человечества на экологию. И хотя Конституция РФ, как и многие другие основные документы национального и международного уровней, предполагает, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1], довольно быстро стало очевидным, что, несмотря на глобальный характер экологических проблем, распределение экологических рисков происходит неравномерно, одни страны и социальные группы в большей степени испытывают на себе негативные последствия загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов, чем другие. При этом таким же неравномерным оказывается и влияние, которое разные страны и социальные группы оказывают на окружающую среду.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01106.

Представляется, что одним из приоритетных направлений современной социологии должны стать изучение инвaйронментального неравенства и разработка основных способов минимизации его социальных последствий. Уже сегодня специалисты в области социальных наук пишут, что именно деградация окружающей среды приведет к новым социальным конфликтам и социальной напряженности [2], в то время как эксперты в области естественных наук утверждают, что сохранить планету хотя бы в текущем состоянии (с точки зрения изменения климата и основных последствий этого изменения) становится все сложнее и фактически невозможно [3]. Для России эти проблемы также являются актуальными, поскольку, например, таяние вечной мерзлоты ставит под угрозу большую часть строений (как жилых, так и промышленных или имеющих стратегический для общества характер) на территории за Северным полярным кругом. Тем не менее, при всем разнообразии социологических публикаций по экологической проблематике, авторы не так часто обращаются к методологическим вопросам, связанных с тем, что представляет собой инвaйронментальное неравенство и как оно соотносится с другими формами социального неравенства. Цель данной статьи – систематизировать некоторые современные социологические подходы к концептуализации понятия «инвaйронментальное неравенство», выявив ключевые характеристики и измерения новой формы социального неравенства.

Изучение инвaйронментальных проблем в истории социальных наук

Сегодня инвaйронментальные проблемы являются междисциплинарным исследовательским полем. Социологический интерес к изучению влияния окружающей среды на общество и человека становится наиболее интенсивным лишь во второй половине XX в. Тем не менее предпосылками для появления новой отрасли – инвaйронментальной социологии – можно назвать уже работы классиков (среди которых Г. Спенсер, Э. Дюркгейм), а также представителей социал-дарвинизма, географического детерминизма и других школ и направлений [4]. Особенно следует выделить работы теоретиков Чикагской школы, одним из ключевых понятий которых стала «экология человека» (*human ecology*) [5], а также новый взгляд на положение человека в обществе и городской среде. В отличие от классической социологии, рассматривающей природную среду в качестве, прежде всего, источника ресурсов и метафор (вспомним хотя бы «общество как организм» Г. Спенсера), социология конца XX в. уже указывала на возросшие масштабы влияния человека на природу и преобразование им окружающей среды, а также серьезные экономические, политические и социальные последствия, которые следовали за этими изменениями.

Таким образом, новая отрасль, получившая сначала название «экология человека», а впоследствии «социальная экология», «инвaйронментальная социология» [4] или «экологическая социология» [6], начинается оформляться в первой трети XX в. Важно подчеркнуть, что среди отечественных исследователей и в настоящее время не существует единой точки зрения относительно того, как она должна называться. Наиболее часто используются названия «экологическая социология» (или «экосоциология»), «инвaйронментальная социология» (при этом встречаются разные написания этого термина, напри-

мер энвайронментальная) и «социальная экология» [7, 8]. Последнее название максимально диссонирует с зарубежными подходами, поскольку отсылает к творчеству, прежде всего, М. Букчина [9] и его последователей, в работах которых представлен анархистский взгляд на экологические проблемы и, следовательно, способы их решения.

Официальное учреждение этой отрасли и начало интенсивной институционализации произошло в 1970 г. на Всемирном социологическом конгрессе в Варне. Впоследствии, в 1971 г., был организован Исследовательский комитет 24 «Окружающая среда и общество» Международной социологической ассоциации. Включение термина «инвайронментальный» в определение новой отрасли было призвано указать на то, что преобразованная человеком среда (прежде всего городская, которая и без того усиливала социальное неравенство [10]) также оказывает влияние на человека и его здоровье. Города и сегодня находятся в центре внимания исследователей, занимающихся изучением инвайронментальных проблем [11, 12]. По мнению социологов А. Мола и Г. Спааргарена, в настоящее время социологическое изучение социально-экологических проблем выстраивается вокруг следующих вопросов: «каковы истоки экологического кризиса; какие социальные процессы ответственны за катастрофическое ухудшение состояния окружающей среды и какие меры по социальному реформированию могли бы привести к стабилизации ситуации; какие социальные акторы и институты вовлечены в конфликты, связанные с эксплуатацией природы; и, наконец, каковы экономические, социальные и политические последствия экологического кризиса» [13. С. 207].

Актуальность инвайронментальных проблем и их масштаб способствовали популяризации этой тематики в социологических исследованиях. В современной социологической теории можно выделить несколько теоретических подходов, в которых эта тематика занимает важное место. Наиболее известными являются теория «жерновов производства», теория экологической модернизации, сетевой подход, мир-системный подход, социально-конструктивистский подход, акторно-сетевая теория и др. [13, 14].

Инвайронментальное неравенство как новый вид социального неравенства

Социальное неравенство является одной из ключевых тем социологии, которая представлена сегодня большим количеством теорий и подходов, объясняющих его причины, механизмы и социальные последствия, а также предлагающих способы его регулирования. В связи с этим принципиально важно понять, что представляет собой инвайронментальное неравенство, является ли оно новой формой социального неравенства, а также с какими другими понятиями, служащими для изучения разных видов неравенства, оно может пересекаться.

При всем масштабе социологического интереса к инвайронментальной проблематике лишь незначительное количество публикаций (речь идет об отечественных публикациях, поскольку в зарубежных работах эта тематика представляется более востребованной) обращается к обсуждению теоретических вопросов, связанных с концептуализацией самого понятия «инвайронментальное неравенство» и особенностей его проявления. Наиболее часто в

центре внимания исследователей оказываются социальные последствия конкретных экологических проблем (или экологических катастроф) как природного (например, последствия ураганов или наводнений), так и антропогенного характера (например, анализ социальных последствий аварии на АЭС Фукусима-1).

Не вызывает удивления тот факт, что на предпоследнем конгрессе Международной социологической ассоциации эта тематика привлекла большое количество участников, о чем свидетельствуют как официальная статистика [15], так и заметки участников [16]. Российский социолог С.А. Кравченко, обсуждая основные результаты конгресса 2014 г., в том числе обсуждение неравенств инвайронментального характера, подчеркивает, что «...пожалуй, этот тип новых неравенств [неравенства инвайронментального характера] привлек к себе самую большую группу участников конгресса (даже на круглом столе по образованию затрагивались эти проблемы). Неслучайно ученые из исследовательского комитета „Инвайронмент и общества“ организовали как самостоятельные, так и совместные сессии с другими комитетами» [16. С. 33].

В самом широком смысле инвайронментальное неравенство определяют как неравенство, связанное с различным доступом к чистой окружающей среде и представляющее собой неравномерное распределение экологических рисков. Инвайронментальное неравенство часто используют как синоним таких понятий, как «социально-экологическое неравенство» (реже – «экологическое неравенство»), «неравенство инвайронментального характера» и «неравенство в отношении экологических условий». Кроме того, оно тесно связано с такими понятиями, как «пространственное неравенство» (*spatial inequality*) и «витальное неравенство» (последнее отсылает к работам Г. Терборна [17]).

Инвайронментальное неравенство имеет несколько уровней измерения экологических рисков: локальный (например, различие между городом и сельской местностью), региональный (например, различие в уровне загрязнения воды в разных областях страны), национальный (разная степень загрязнения окружающей среды в разных странах) и глобальный (например, глобальное потепление оказывает влияние на значительную часть планеты). В зависимости от уровня инвайронментального неравенства используются различные показатели и индикаторы его измерения, такие как социально-экологическая напряженность, индекс экологической устойчивости (или эффективности), экологический след, индекс экологической уязвимости, а также индикаторы устойчивого развития и индексы городов, которые обычно включают экологический компонент. Источники инвайронментального неравенства могут иметь как антропогенную природу (например, степень загрязнения воздуха тесно связана с наличием и концентрацией промышленных объектов), так и в большей степени определяться условиями среды (например, затопление территорий одних государств более вероятно, чем других, по причине их географического положения).

Беспрецедентность масштаба экологических проблем современности и их социальных последствий позволяет рассматривать социально-экологическое неравенство в качестве новой формы социального неравенства. На протяжении долгого времени различия природных условий были

обусловлены естественными причинами (различия в рельефе, климатических особенностях и др.), в современных обществах экологические риски и угрозы во многом имеют антропогенный характер. Кроме того, новым является и обращение социальных наук к анализу социально-экологического неравенства.

Среди организаций наибольший интерес к экологической проблематике по вполне понятным причинам проявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По мнению ВОЗ, «...о неравенствах в отношении экологических условий и здоровья говорят в тех случаях, когда имеют место общие различия в условиях окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье человека» [18]. Тем не менее несправедливыми эти различия являются лишь в том случае, когда не определяются напрямую условиями среды, а становятся следствием социального взаимодействия, социально-экономических факторов и политических решений. Экологическая несправедливость может быть результатом неравных возможностей групп оказывать влияние на процессы принятия управленческих решений. Поскольку изучение инвайронментального неравенства для ВОЗ проходит через призму уровня здоровья, то используются индикаторы, непосредственно с ним связанные (таблица).

Индикаторы неравенств в отношении экологических условий и здоровья [Там же]

Жилищные условия	Травматизм	Экология
Неудовлетворительное водоснабжение	Производственные травмы	Воздействие шума дома
Отсутствие туалета со сливом	Дорожные травмы со смертельным исходом	Отсутствие доступа к зеленой территории / рекреационным зонам
Отсутствие ванны или душа	Отравления со смертельным исходом	Воздействие вторичного табачного дыма дома
Перенаселенность	Падения со смертельным исходом	Воздействие вторичного табачного дыма на работе
Сырость в доме		
Неудовлетворительное водоснабжение		

В отличие от специалистов ВОЗ социологи, во-первых, концентрируют свое внимание на многообразии социальных последствий экологических рисков и инвайронментального неравенства и, во-вторых, учитывают вклад различных субъектов в появление экологических проблем и способность оказать влияние на их решение или снижение негативных последствий.

Так, Дж. Гобер исходит из того, что инвайронментальное неравенство пересекается с тремя другими измерениями неравенства: социальным, пространственным и собственно экологическим. Оно представляет собой выражение экологического бремени, которое несут в первую очередь находящиеся в менее благоприятном положении социальные группы либо определенные территории, жители которых подвержены этому бремени. При этом важно учитывать, что не любая подверженность загрязнению или экологическому риску является неравенством [19]. Для исследовательницы важной характеристикой инвайронментального неравенства является причина его возникновения, а именно – наличие субъекта, получающего выгоду, следствием которой является появление издержек для других социальных групп. Эти издержки негативно сказываются на человеке, который непосредственно испытывает их эффекты на своем здоровье, а также на государстве и граждан-

ском обществе, поскольку они вынуждены затрачивать ресурсы для устранения этих последствий. Например, загрязнение воздуха рядом с промышленными объектами, с одной стороны, способствует распространению заболеваний органов дыхания, с другой – увеличивает нагрузку на систему здравоохранения [19].

Положительные последствия от эксплуатации окружающей среды чаще всего, по мнению Дж. Гобер, распространяются на весь регион или страну, в то время как риски носят локальный характер. В качестве примера она рассматривает крупные аэропорты, выгоду от существования которых (возможность путешествовать, перемещать товары на большие расстояния и т.д.) привлекают многие субъекты, а риски загрязнения концентрируются вокруг этой территории. Другим примером подобных пространств являются свалки отходов: позволяя очистить города от мусора, они загрязняют прежде всего территории, рядом с которыми расположены. Из-за значимости положительных эффектов возникает представление о том, что экологические риски и их последствия не так важны для общества в целом. Аналогичные процессы наблюдаются и в городах, в которых можно встретить процессы сегрегации. Одни части города (чаще всего центр) могут «стягивать» на себя ресурсы периферийных районов. Меньшинства и стигматизированные по разным основаниям группы могут быть исключены из процесса принятия управленческих решений, в том числе связанных с созданием чистой окружающей среды. Недостаток экспертного мнения и поддержки или недостаток знаний в области экологии и медицины не позволяет этим группам оценивать все потенциальные риски и угрозы.

Дж. Гобер предлагает выделить три аспекта инвайронментального неравенства: 1) неравномерная подверженность экологическим рискам и загрязнению; 2) смещение экологических рисков и загрязнения (например, загрязнение территории производителя промышленного товара, а не его потребителя); 3) различный доступ к окружающей среде, предполагающий, во-первых, доступ к ресурсам для удовлетворения базовых потребностей (чистый воздух, вода и т.д.) и, во-вторых, доступ к среде, определяющей более высокое качество жизни (например, зеленые зоны в городах, водоемы и т.п.) [Ibid.].

По мере возрастания интереса в социологии стали появляться новые попытки концептуализации инвайронментального, или социально-экологического, неравенства. Сара Хакфорт выделила пять его аспектов:

- 1) неравномерное распределение экологических рисков и экологических издержек;
- 2) социально неравномерно распределенные доступ и возможности, которые он дает, к природным ресурсам и их контролю;
- 3) неравномерность способностей и возможностей справляться с изменениями окружающей среды и реагировать на них;
- 4) неравномерно распределенные причины и ответственность за экологические проблемы;
- 5) неравномерность доступа к власти и асимметричность распространения знаний об экологических проблемах и способах их решения [20].

Эти измерения подчеркивают, что, во-первых, не любые различия в доступе к окружающей среде будут являться социально-экологическим неравенством, но лишь те, что в основе своей имеют социальные факторы:

неравные возможности, власть и т.п. Кроме того, исследователь отмечает неравный вклад государств и территорий в появление экологических проблем, а следовательно, и разную ответственность, которая должна выражаться, по мнению С. Хакфорт, в изменении, например, норм выбросов для развивающихся стран или финансовой помощи от более развитых стран. Изучение социально-экологического неравенства должно учитывать все указанные аспекты.

Взаимосвязь инвайронментального неравенства с другими формами социального неравенства

Изначально социологический интерес к экологическим проблемам был связан с представлением о том, что они в меньшей степени имеют корреляцию с социальным расслоением. Поэтому многие авторы, среди которых Д. Харви и М. Буравой, подчеркивают «бесклассовый характер» экологических проблем, рассматривая их в качестве источника потенциальной социальной интеграции. М. Буравой пишет, что именно ценность безопасной окружающей среды, разделяемая всеми, может стать основой для изменения мира: «...существуют ли ценности, вокруг которых могли бы объединиться Север и Юг, Запад и Восток; те права человека, которые они могли бы совместно защищать? Есть только одна вещь, которая угрожает жизни каждого, – это упадок окружающей среды. Отсюда широкое обращение к движению по справедливой защите окружающей среды. Глобальное потепление, токсичные отходы, загрязнение не признают социальных и географических барьеров. Мы все подвержены разрушению окружающей среды. Но не в одинаковой степени» [21. С. 37]. Таким образом, авторы отмечали, что особенностью инвайронментального неравенства является отсутствие явной корреляции с другими видами социального неравенства. Если, например, неравенство жизненных шансов, экономическое неравенство могут иметь тесную связь, то загрязнению окружающей среды подвержены все представители общества без исключения. Несмотря на то, что экологические риски распространены неравномерно, они влияют на все общества и социальные слои без исключения. Добиться инвайронментального, или экологического, равенства в одной стране невозможно. Тем не менее сегодня ученые все чаще подчеркивают возможности если не устранения, то сокращения экологических рисков и их негативных последствий для индивидов и социальных групп, занимающих более привилегированное положение с точки зрения других измерений социального неравенства.

В 2018 г. междисциплинарная команда из 19 молодых исследователей опубликовала доклад, в котором попыталась выявить взаимосвязь окружающей среды и социального неравенства [22]. Авторы доклада сосредоточили свое внимание на шести аспектах этого взаимодействия. Два из них связаны с влиянием окружающей среды на общество и социальное неравенство, а четыре описывают те способы взаимодействия, те действия, которые могут оказать влияние на окружающую среду. На базе собственного эмпирического исследования авторы доклада демонстрируют, что социальные последствия природных катастроф (например, ураган «Катрина», распространение лихорадки Эбола и др.) всегда наиболее негативно сказываются на низших слоях населения. Проблема заключается не только в том, что обычно эти социаль-

ные группы находятся на территориях с меньшим доступом к ресурсам, они обладают и меньшими социальными возможностями; например, отсутствие доступа к развитой транспортной сети, возможностям эвакуации, доступа к медицинским лабораториям и лекарственным средствам. Более того, в рамках этих территорий можно выделить социальные группы, на которых изменение среды окажет разное влияние. Например, в некоторых частях Африки южнее Сахары женщины имеют меньший доступ к морским ресурсам, чем мужчины, что (особенно в условиях дефицита) может поставить первых в еще более уязвимое положение [22].

В случае с инвайронментальным неравенством для авторов рассматриваемого нами исследования ключевым является определение неравенства как того, что люди воспринимают в качестве «несправедливого различия» [17]. По мнению ученых, социальная поляризация и социальное неравенство в социальных группах и общностях подрывают доверие, сокращают сотрудничество, в том числе и в области защиты окружающей среды. Тем самым рост социального неравенства негативно влияет на состояние окружающей среды. Однако подобных исследований, фиксирующих связь неравенства и окружающей среды, слишком мало в настоящее время, это не позволяет формулировать более четкие рекомендации для снижения негативного воздействия человека на природу.

По причине тесной взаимосвязи социальных и экологических процессов в социологии становится популярным использование термина «социально-экологическое неравенство», призванного зафиксировать политические, экономические, социальные последствия экологических проблем и новые измерения социального неравенства.

Таким образом, концепция социально-экологического или инвайронментального неравенства активно разрабатывается современными социологами и специалистами в области городского планирования. Особенностью социологического изучения этой формы неравенства является указание на социальный характер последнего: вне зависимости от изначальных исторических и географических условий социальные отношения решающим образом сказываются на неравенстве в отношении экологических условий. Поэтому многие современные авторы подчеркивают, что возможным способом регулирования становятся политическое участие и система международного права, включающая компенсации (не только экономические, но и социально-экологические), налоги и жесткие ограничения собственно загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов.

Социальные последствия экологических проблем

Экологические проблемы в социологии никогда не рассматриваются как социально нейтральные. Более того, как отмечает Д. Харви, экологические проблемы для всех совершенно разные: «Бизнес-лидеры беспокоятся о политической и правовой стороне, политики – об экономическом аспекте, горожане – о социальной стороне [экологических проблем], и, несомненно, преступников беспокоит правовой вопрос, а тех, кто загрязняет среду, – нормативно-правовой» [23. Р. 1–2]. Тем не менее инвайронментальное неравенство не является единственным социальным последствием интенсификации экологических проблем в XXI в. Сегодня как никогда мы сталкиваемся с

ситуацией, когда окружающая среда становится фактором существенных социальных трансформаций: от интенсификации миграционных процессов до усиления социального неравенства, возрастания националистических настроений и новых вооруженных конфликтов. Для понимания значимости этой тематики мы обозначим некоторые социальные последствия современных экологических проблем, которые тесно связаны между собой. Одни из них усиливают уже существующие противоречия, другие создают новые проблемы для обществ.

Новые социальные конфликты и противоречия. Наряду с инвайронментальным неравенством в начале XXI в. социологи и представители общественности стали все чаще говорить о новых социальных конфликтах, являющихся следствием экологических рисков. Социологи подчеркивают, что в будущем причины многих глобальных социальных конфликтов будут связаны с проблемами экологии [2]. Для концептуализации новой формы пространственных социальных противоречий американский журналист Кристофер Меррил предлагает использовать термин «насилие экологии» (*violence ecology*) [24]. С одной стороны, при помощи этого термина он пытается описать особенности жизни в условиях вооруженных конфликтов, их «экологию», с другой – полагает, что изменение климата вызовет новый виток негативных социальных последствий, поскольку существенно усиливается конкуренция за территории и еще более ограниченные ресурсы. Оно не только станет источником новых конфликтов, но и усилит уже существующие «расколы» между странами и регионами.

Интенсификация миграционных процессов. Деградация окружающей среды, уменьшение количества ресурсов, необходимых для удовлетворения базовых потребностей человека, станут причиной интенсификации миграционных процессов в XXI в. Одним из последствий этих процессов станет распространение феномена экологического беженства, т.е. вынужденного перемещения большого количества людей по причине экологических катастроф (ураганы, землетрясения и т.д.), а также последствий изменения климата (в том числе глобального потепления, следствием которого становится не только изменчивость погоды, но и увеличение уровня мирового океана). Наплыв мигрантов потребует жесткого регулирования и породит новые конфликты на наиболее безопасных территориях. Американский социолог Р. Лахман считает, что экологические проблемы станут основной причиной роста национализма в XXI в., поскольку их масштаб может лишить жителей некоторых стран и регионов не только ресурсов, в том числе подходящей для употребления воды, но и пригодных для жизни территорий [25]. Несомненно, в наиболее выгодном положении окажутся страны, которые предпринимают попытки решить эти проблемы заранее (например, островные государства, скупающие землю на материке), а также страны, находящиеся в более защищенных от экологических рисков точках планеты.

Преграды для экономического роста. Более того, этим круг потенциальных угроз не ограничивается: деградация окружающей среды создает преграды для экономического роста, что при возрастающем населении части регионов мира приведет к росту бедности и социальной эксклюзии, а также будет сдерживать развитие государств в целом [26].

Как отмечает отечественный социолог Е.О. Новожилова, связывающая экологические проблемы прежде всего с «неравномерностью социально-экологического развития», «глобального измерения в повседневной жизни бедного человека и обездоленного общества может просто не существовать. Проблема с размытыми всепланетарными последствиями не воспринимается и не выстраивается как таковая. Она может быть включена в повестку дня лишь под давлением мирового сообщества, но жизненные тяготы, ограниченный горизонт и непробудившееся сознание не оставляют шансов на ее эффективное решение» [27. С. 65]. В то же время, подчеркивает российский социолог, «если бедным странам не удастся продвинуться по пути индустриализации, их население скатится в ужасающие нищету и страдания, а успех в индустриальном развитии будет означать существенное обострение проблем загрязнения» [Там же. С. 64]. Фактически в концепции устойчивого развития (и, соответственно, целях устойчивого развития) мы сталкиваемся с парадоксом: решение проблемы бедности и снижение социального неравенства (социальный аспект устойчивого развития) негативно сказываются на экологическом, поскольку приводят к увеличению потребления и, как следствие, росту нагрузки на окружающую среду и ее загрязнение. В качестве разрешения этого противоречия российские ученые предлагают комплекс налоговых мер (прогрессивный климатически ориентированный налог), направленных на аккумуляцию средств, которые могут быть направлены на поддержку стран, испытывающих наибольшие негативные последствия [28].

Рост бедности и снижение качества и уровня жизни. Одной из основных проблем современности является истощаемость природных ресурсов, в том числе продовольственных, на фоне увеличения населения планеты. Снижение качества окружающей среды, опустынивание одних территорий и затопление других, погодная нестабильность наносят ущерб сельскому хозяйству, лишая жителей ряда территорий и без того скудных ресурсов. По данным ВОЗ за 2018 г., каждому 9 девятому человеку на планете не хватает пищи [29]. При этом в развитых странах на свалку ежегодно отправляются тонны продуктов.

Увеличение экономической нагрузки на государства. Кроме того, государства несут значительную экономическую нагрузку, связанную с социальным обеспечением, в частности по причине распространения заболеваний. Согласно данным ООН, загрязнение воздуха является причиной того, что ежегодно от заболеваний органов дыхания умирают около 7 млн человек. Сегодня государства теряют более 5 трлн долл. США на выплаты, связанные с социальным обеспечением [30]. Вопреки распространенному в общественном сознании стереотипу, климатические изменения проявляются прежде всего в нестабильности погодных условий и увеличении количества стихийных бедствий, устранение последствий которых также требует значительных государственных инвестиций. По данным ООН, общие расходы на здравоохранение растут быстрее, чем валовый внутренний продукт, причем растут быстрее в странах с низким и средним уровнем дохода (в среднем около 6%), чем в странах с высоким уровнем дохода (4%) [31. Р. 1].

Заключение

Таким образом, в современной социологии, несмотря на многообразие трактовок и новизну термина, можно выделить ключевые элементы понятия

«инвайронментальное неравенство», к которым относятся социальный характер неравного распределения экологических рисков и угроз, тесная взаимосвязь этой новой формы социального неравенства с традиционными, а также выявление противоречий между социально-экономическим развитием и увеличением качества и уровня жизни в глобальном масштабе и экологическими проблемами. Тем не менее при наличии хотя бы примерного общепринятого содержания инвайронментального неравенства под вопросом остаются основные методы его измерения, а также большой спектр этических вопросов, связанных с тем, что выгоды для большинства часто становятся экологическими рисками для меньшинства.

Инвайронментальное неравенство оказывает существенное влияние на общество и в связи со значительными социальными последствиями требует интереса со стороны общественности и научного сообщества. Обозначенные в статье социальные последствия требуют дальнейшего подробного изучения в рамках междисциплинарных проектов. Поскольку эта форма социального неравенства стала предметом изучения социологов сравнительно недавно, то социологическая перспектива встречается реже, чем естественнонаучная. В то же время рассмотренные подходы позволяют сделать вывод об актуальности и эвристичности социологического анализа инвайронментальных проблем. Более того, решение экологических проблем тесно связано в том числе с трансформацией общественного сознания, формированием экологической культуры и распространением экологических движений [32], а потому с необходимостью требует участия представителей социальных наук.

Литература

1. Конституция РФ : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. URL: <http://www.constitution.ru/index.htm> (дата обращения: 10.04.2020).
2. *Есть ли будущее у капитализма?* : сб. ст. / И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, Г. Дерлугьян, К. Калхун. М. : Ин-т Гайдара, 2015. 320 с.
3. *Глобальное потепление на 1,5% : спец. доклад МГЭИК* // Межправительственная группа экспертов по изменению климата. 2019. 94 с. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_russian.pdf (дата обращения: 07.05.2020).
4. Баньковская С.П. Инвайронментальная социология. Рига : Зинатне, 1991. 130 с.
5. Park R.E. Human Ecology // American Journal of Sociology. 1936. Vol. 42, № 1. P. 1–15.
6. Яницкий О.Н. Российская экосоциология за 50 лет. Итоги и новые вызовы // Социологические исследования. 2008. № 6. С. 139–145.
7. Яновский Р.Г., Шилин К.И. Социальная экология как отрасль социологии // Социологические исследования. 1997. № 1. С. 134–140.
8. Бондарев В.П. Исторические корни и теоретический базис современной инвайронментальной социологии // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 2. С. 3–20.
9. Bookchin M. What Is Social Ecology? URL: <http://social-ecology.org/wp/1986/01/what-is-social-ecology> (accessed: 10.03.2020).
10. Веришнина И.А. Социальное неравенство в современных городах: перспективы урбанистической революции // Социология города. 2017. № 2. С. 5–19.
11. Crume R.V. Urban Health Issues: Exploring the Impacts of Big-City Living. Santa Barbara ; Denver : Greenwood, 2019. 295 p.
12. *Urban Health* / ed. by S. Galea, C. Ettman, D. Vlahov. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2019. 456 p.
13. Мол А., Снааргарен Г. Инвайронментальные потоки и переориентация дебатов в поле инвайронментальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Т. IX, № 1. С. 207–248.
14. Тысячник М.С. Мобильная социология Джона Урри // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 4. С. 200–208.

15. *International Sociological Association // ISA*. URL: <https://www.isa-sociology.org/en> (accessed: 10.03.2020).
16. *Кравченко С.А.* Мосты, соединяющие всевозможные расколы социологии ради более равного мира // *Социологические исследования*. 2015. № 2. С. 29–38.
17. *Мартыненко Т.С.* Глобальная социология Г. Терборна: теория социальных неравенств // *Вестник Томского государственного университета*. 2015. № 391. С. 97–101.
18. *Неравенства* в отношении экологических условий и здоровья в Европе : доклад о проведенной оценке : рабочее резюме // *Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро*. 2012. 8 с. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/162528/EH-inequalities-in-Europe_ES_Russian.pdf?ua=1 (дата обращения: 14.04.2020).
19. *Gobert J.* Environmental inequalities // *Encyclopedia of the Environment*. 2019. 07 Feb. URL: https://www.encyclopédie-environnement.org/en/society/environmental-inequalities/#1_How_to_define_environmental_inequality (accessed 06.03.2020).
20. *Hackfort S.* Social-Ecological Inequalities // *InterAmerican Wiki: Terms-Concepts-Critical Perspectives*. 2012. URL: www.uni-bielefeld.de/cias/wiki/s_Social_Ecological_Inequalities.html (accessed: 15.02.2020).
21. *Буравой М.* Публичная социология прав человека // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2007. Т. X, № 4. С. 27–44.
22. *Hamann M. et. al.* Inequality and the Biosphere // *Annual Review of Environment and Resources*. 2018. Vol. 43. URL: <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025949> (accessed: 15.02.2020).
23. *Harvey D.* The nature of environment: the dialectics of social and environmental change // *Real problems, false solutions. Socialist Register / ed. R. Miliband, L. Panitch. London, 1993. P. 1–51.*
24. *Eco-Thoughts: an Interview with Christopher Merrill* // *Believer*. 2020. URL: <https://believermag.com/logger/eco-thoughts-an-interview-with-christopher-merrill/> (accessed: 25.02.2020).
25. *Lachmann R.* Anti-Elite Protest and the Future of Democracy // *Russia in Global Affairs*. 2017. URL: <https://eng.globalaffairs.ru/valday/Anti-Elite-Protests-and-the-Future-Of-Democracy-18605> (accessed: 20.01.2020).
26. *Martynenko T.S., Vershinina I.A.* Digital economy: the possibility of sustainable development and overcoming social and environmental inequality in Russia // *Espacios*. 2018. Vol. 39, № 44. URL: <http://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p12.pdf> (accessed: 20.01.2020).
27. *Новожилова Е.О.* Социология глобальных экологических процессов // *Социологические исследования*. 2008. № 9 (293). С. 59–67.
28. *Григорьев Л.М., Макаров И.А., Соколова А.К., Павлючина В.А., Степанов И.А.* Изменение климата и неравенство: потенциал для совместного решения проблем // *Вестник международных организаций*. 2020. Т. 15, № 1. С. 7–30.
29. *Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире. Повышение устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания – 2018* // *Всемирная организация здравоохранения*. URL: <https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018-ru.pdf?ua=1> (дата обращения: 25.02.2020).
30. *New Report Outlines Air Pollution Measures that Can Save Millions of Lives. UN Environment*. 2018. URL: <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-report-outlines-air-pollution-measures-can-save-millions-lives> (accessed: 25.01.2020).
31. *Public Spending on Health: a Closer Look at Global Trends* // *World Health Organization*. 2018. URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276728/WHO-HIS-HGF-HF-WorkingPaper-18.3-eng.pdf?ua=1> (accessed: 20.02.2020).
32. *Матвеева Е.В.* Экологические организации в государствах постсоветского пространства как инструмент решения экологических вызовов (на примере Российской Федерации и Украины) // *Вестник Томского государственного университета*. 2019. № 449. С. 88–92. DOI: 10.17223/15617793/413/20.

Tatiana S. Martynenko, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
 E-mail: ts.martynenko@gmail.com
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 200–214.
 DOI: 10.17223/1998863X/57/19

ENVIRONMENTAL INEQUALITY: MODERN APPROACHES TO CONCEPTUALIZING THE CONCEPT

Keywords: social inequality; environmental inequality; environmental sociology; environmental risk; ecological culture.

The article discusses a new type of social inequality – environmental inequality. This inequality is a consequence of the global environmental problems of our time and of the uneven distribution of environmental risks associated with people's different natural living conditions and, as they primarily are the result of human activities, with the redistribution of negative environmental consequences between different subjects of social relations (countries, regions, social groups). Since environmental problems became the subject of sociological analysis only in the second half of the 20th century, there is currently no single definition of socioecological inequality and its dimensions. The aim of the article is to systematize modern sociological approaches to the conceptualization of the concept "environmental inequality" by identifying key characteristics and dimensions of this new form of social inequality. The theoretical basis of the article is works by modern foreign and domestic researchers (J. Gobert, A. Mol, S. Hackfort, S.P. Bankovskaya, O.N. Yanitsky, and others), the empirical basis is the data of reports of the World Health Organization, the UN, etc. The social aspects of environmental problems, including environmental inequality, are considered in the framework of environmental sociology that arose in the second half of the 20th century. The article presents different positions regarding what name the new industry may have. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the most important issues for sociology are: firstly, the distinction between socially determined environmental risks and threats and natural differences; secondly, the identification of the relationship between environmental inequality and other (including traditional) forms of social inequality; thirdly, the study of the social consequences (current and potential) of environmental problems and the development of recommendations to reduce or prevent them. Special attention is paid to the contradictions of social development: at present, the growth of welfare and quality of life of the population is closely linked to environmental degradation. The article also outlines the social consequences of environmental problems of our time, such as new social conflicts and contradictions, intensification of migration processes and environmental refugees, reduction in economic growth, an increase of poverty and a decrease of the quality of life, as well as an increase in the economic burden on states. The conclusion is drawn about the relevance of the sociological analysis of environmental problems and the need for an interdisciplinary approach to the study of the interaction of society and nature.

References

1. The Russian Federation. (n.d.) *Konstitutsiya RF. Stat'ya 42* [The Constitution of the Russian Federation. Article 42]. [Online] Available from: <http://www.constitution.ru/index.htm> (Accessed: 10th April 2020).
2. Wallerstein, I., Collins, R., Mann, M., Derlugyan, G. & Calhoun, K. (2015) *Est' li budushchee u kapitalizma?* [Does capitalism have a future?]. Translated from English. Moscow: The Gaidar Institute.
3. IPCC. (2019) *Global'noe poteplenie na 1,5%. Spetsial'nyy doklad MGEIK. Mezhpriatel'stvennaya gruppa ekspertov po izmeneniyu klimata* [Global warming by 1.5%. IPCC Special Report. Intergovernmental Panel on Climate Change]. [Online] Available from: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_russian.pdf (Accessed: 7th May 2020).
4. Bankovskaya, S.P. (1991) *Invayronmental'naya sotsiologiya* [Environmental Sociology]. Riga: Zinatne.
5. Park, R.E. (1936) Human Ecology. *American Journal of Sociology*. 42(1). pp. 1–15.
6. Yanitsky, O.N. (2008) Rossiyskaya ekosotsiologiya za 50 let. Itogi i novye vyzovy [Russian ecosociology for 50 years. Results and new challenges]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 6. pp. 139–145.
7. Yanovsky, R.G. & Shilin, K.I. (1997) Sotsial'naya ekologiya kak otrasl' sotsiologii [Social ecology as a branch of sociology]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 134–140.
8. Bondarev, V.P. (2010) Istoricheskie korni i teoreticheskiy bazis sovremennoy invayronmental'noy sotsiologii [Historical roots and theoretical basis of modern environmental sociology]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18: Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 2. pp. 3–20.

9. Bookchin, M. (1986) *What Is Social Ecology?* [Online] Available from: <http://social-ecology.org/wp/1986/01/what-is-social-ecology> (Accessed: 10th March 2020).
10. Vershinina, I.A. (2017) Social inequality in modern cities: urban revolution's perspectives. *Sotsiologiya goroda*. 2. pp. 5–19. (In Russian).
11. Crume, R.V. (2019) *Urban Health Issues: Exploring the Impacts of Big-City Living*. Santa Barbara, Denver: Greenwood.
12. Galea, S., Ettman, C. & Vlahov, D. (eds) *Urban Health*. Oxford, New York: Oxford University Press.
13. Mol, A. & Spaargaren, G. (2006) Environmental flows and the reframing of debates in environmental sociology. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1. pp. 207–248.
14. Tsyachnyuk, M.S. (2004) Mobil'naya sotsiologiya Dzhona Urri [John Urry's Mobile Sociology]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 7(4). pp. 200–208.
15. International Sociological Association (ISA). [Online] Available from: <https://www.isa-sociology.org/en> (Accessed: 10th March 2020).
16. Kravchenko, S.A. (2015) Bridges connecting all possible cleavages in sociology for a more equal world. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 29–38. (In Russian).
17. Martynenko, T.S. (2015) G. Therborn's global sociology: theory of social inequalities. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 391. pp. 97–101. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/391/15
18. World Health Organization. European Regional Office. (2012) *Neravenstva v otnoshenii ekologicheskikh usloviy i zdorov'ya v Evrope. Doklad o provedennoy otsenke. Rabochee rezyume* [Inequalities in environmental and health conditions in Europe. Evaluation report. Summary]. [Online] Available from: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/162528/EH-inequalities-in-Europe_ES_Russian.pdf?ua=1 (Accessed: 14th April 2020).
19. Gobert, J. (2019) Environmental inequalities. *Encyclopedia of the Environment*. 7th February. [Online] Available from: https://www.encyclopedie-environnement.org/en/society/environmental-inequalities/#1_How_to_define_environmental_inequality (Accessed: 6th March 2020).
20. Hackfort, S. (2012) *Social-Ecological Inequalities / Inter.American Wiki: Terms-Concepts-Critical Perspectives*. [Online] Available from: www.uni-bielefeld.de/cias/wiki/s_Social_Ecological_Inequalities.html (Accessed: 15th February 2020).
21. Buravoy, M. (2007) Publichnaya sotsiologiya prav cheloveka [Public Sociology of Human Rights]. Translated from English. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 10(4). pp. 27–44.
22. Hamann, M. et. al. (2018) Inequality and the Biosphere. *Annual Review of Environment and Resources*. 43. DOI: 10.1146/annurev-enviro-102017-025949
23. Harvey, D. (1993) The nature of environment: the dialectics of social and environmental change. In: Miliband, R. & Panitch, L. (eds) *Real Problems, false Solutions. Socialist Register*. London: Merlin Press. pp. 1–51.
24. Merrill, Ch. (2020) *Eco-Thoughts: An Interview with Christopher Merrill*. [Online] Available from: <https://believermag.com/logger/eco-thoughts-an-interview-with-christopher-merrill/> (Accessed: 25th February 2020).
25. Lachmann, R. (2017) *Anti-Elite Protest and the Future of Democracy. Russia in Global Affairs*. 2017. [Online] Available from: <https://eng.globalaffairs.ru/valday/Anti-Elite-Protests-and-the-Future-Of-Democracy-18605> (Accessed: 20th January 2020).
26. Martynenko, T.S. & Vershinina, I.A. (2018) Digital economy: The possibility of sustainable development and overcoming social and environmental inequality in Russia. *Espacios*. 3(44). [Online] Available from: <http://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p12.pdf> (Accessed: 20th January 2020).
27. Novozhilova, E.O. (2008) Sotsiologiya global'nykh ekologicheskikh protsessov [Sociology of global ecological processes]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 9(293). pp. 59–67.
28. Grigoryev, L.M., Makarov, I.A., Sokolova, A.K., Pavlyushina, V.A. & Stepanov, I.A. (2020) Climate Change and Inequality: How to Solve These Problems Jointly? *Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy – International Organisations Research Journal*. 15(1). pp. 7–30. (In Russian). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-01-01
29. World Health Organization. (2018) *Polozhenie del v oblasti prodovol'stvennoy bezopasnosti i pitaniya v mire. Povyshenie ustoychivosti k klimaticheskim vozdeystviyam v tselyakh obespecheniya prodovol'stvennoy bezopasnosti i pitaniya – 2018* [State of Food Security and Nutrition in the World.

Increasing resistance to climatic impacts for food security and nutrition – 2018]. [Online] Available from: <https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018-ru.pdf?ua=1> (Accessed: 25th February 2020).

30. UN Environment. (2018) *New Report Outlines Air Pollution Measures that Can Save Millions of Lives*. [Online] Available from: <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-report-outlines-air-pollution-measures-can-save-millions-lives> (Accessed: 25th February 2020).

31. World Health Organization. (2018) *Public Spending on Health: A Closer Look at Global Trends*. [Online] Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276728/WHO-HIS-HGF-HF-WorkingPaper-18.3-eng.pdf?ua=1> (Accessed: 20th February 2020).

32. Matveeva, E.V. (2019) Ecological Organisations in the Post-Soviet States as a Tool for Meeting Environmental Challenges (Based on the Example of the Russian Federation and the Ukraine). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 449. pp. 88–92. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/413/20

УДК 316.77

DOI: 10.17223/1998863X/57/20

А.К. Полянина

ФЕНОМЕН МЕДИАШУМА: РИСКОВЕННОСТЬ ФОНОВОГО МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ

Представлена концепция медиашума как рисковенного феномена. Дается определение медиашума и медиазашумленности. Приводятся результаты проведенного пилотажного исследования состояния медиазашумленности у подростков в возрасте 16–17 лет. Показаны корреляционные связи между отдельными параметрами (факторами) медиазашумленности, основные социальные ситуации вынужденного потребления детьми медиа в качестве фона.

Ключевые слова: медиашум, медиапотребление, информационная перегрузка, информационная гигиена.

Постановка проблемы

Одним из важных аспектов свободы еще Аристотель считал произвольность действия. В отличие от произвольной, непроизвольная деятельность обусловлена влиянием либо природных сил, либо чьей-то власти, т.е. подконтрольна кому-либо иному. «„Подневольное“ (to biaion) – это то, источник чего вовне». То, что препятствует добровольному выбору, приравнивается к насилию. Насилие же есть проблема столкновения с чужой силой, и вся история человечества демонстрирует разные проявления такого столкновения. В настоящее время проблема чужой воли преломляется в фокусе тотальной медиатизации жизни, когда «логике медиа» подвергаются почти все известные социальные институты [1. Р. 3]. А сами медиа диффузируют стремительно и латентно [2], обогащаясь силой тех инструментов воздействия, в чьи объекты медиа встроились: образования, рекламы, искусства, досуга, коммуникации.

Исследователи наблюдают становление социального паттерна медиапотребления, который стимулирует потребление человеком информации в фоновом режиме, хотя бы ради того, чтобы не выпасть из релевантной для него социальной группы, иными словами, не стать «белой вороной». Формирование закономерностей общего паттерна медиапотребления обусловлено увеличивающимся взаимодействием с онлайн-информационными ресурсами и потреблением сообщений масс-медиа, при котором постоянное потребление медиа в качестве фона выступает уже «стандартом» (нормой) коммуникативного паттерна. Феномен постоянного потребления медиа с целью приведения окружающего информационного пространства к «стандартам» привычного и комфортного усиливает стандартизацию паттерна на уровне поколений [3. С. 28].

Фоновое медиапотребление имеет место в различных социальных ситуациях и общественных местах. Работа экранов и разного рода проигрывателей не рассматривается как принуждение к восприятию и тем более как насилие, как эксплуатация органов восприятия человека. Между тем анализ суггестивного воздействия такого режима медиапотребления, которое не направлено на осознанное (включенное) восприятие, а нацелено на конструирование некой ситуации («развлечения», «дом», «маркет», «путешествие» и т.д.), само по

себе представляет собой становление паттерна медиапотребления в режиме фона, т.е. в режиме «заднего плана», «основного тона, общего пространства», призванного способствовать выделению «главных элементов» ситуации. Работа медиасигнала как фона, таким образом, создает пространство социальной ситуации, конкретной социальной практики, «включает» ее действие, т.е. воздействует на ее компоненты и на субъектов, находящихся в данной ситуации, как естественного фрагмента социальной жизни.

В огромном количестве исследований медиапотребления тем не менее не уделяется специального внимания изучению воздействия фонового режима работы медиа. Существуют лишь некоторые отсылки к анализу фонового потребления, но и те лишь в целях оценки эффективности рекламы, встроенной в медиа. Например, исследование продолжительности телесмотрения и прослушивания радио различными возрастными группами, а также их готовность к медиапотреблению в фоновом режиме востребованного онлайн-аудиоконтента – музыки¹. Отсутствие интереса к проблеме фонового медиапотребления, скорее всего, можно объяснить отсутствием ярко выраженных явных последствий, а также уже установившимся в некоторой степени признанием «безвредности» прослушивания и просмотра медиа при занятии чем-либо другим (вождение автомобиля, прогулка, домашние хлопоты). Однако наблюдаемое на сегодняшний день экспоненциальное расширение медиа или «поглощение» медиа всей социальной жизни определяет такой режим потребления медиа именно как проблему. Доступность средств воспроизведения медиа каждому человеку (в том числе ребенку), вне зависимости от социального статуса и ответственности, недостаточность механизмов государственного и общественного регулирования проигрывания аудио и видео в общественных местах, отсутствие гигиенических требований и норм к информационной среде, ускорение информационных потоков, несформированность механизмов адаптации к новой медиасреде, а также сила устоявшихся в обществе шаблонов проведения времени досуга в сопровождении медиасигнала, априорное признание «ценности» любых музыкальных произведений в совокупности представляют собой современные факторы рискогенности потребления медиа в качестве фона.

Теоретико-методологические основания

В связи с вышеизложенным нами предпринята попытка исследовать взаимосвязь фонового медиапотребления и возникновения негативных психологических реакций. Предполагается, что принуждающий характер фоновой работы медиаисточников должен вызывать ряд негативных последствий, выраженных различными симптомами психологического ряда. Особо уязвимой социальной группой являются дети и подростки в связи с их морфологической незрелостью, неустойчивыми ценностно-смысловыми конструктами, не

¹ Музыку слушают 95% опрошенных, треть из которых каждый день. Чаще всего музыку слушают во время домашних дел (62%), в дороге (61%), во время отдыха дома (56%), в путешествии (38%), на прогулке (33%). Среди них 85% ответили, что согласны слушать аудиорекламу в обмен на доступ к бесплатному контенту. Обращает на себя внимание, что 68% опрошенных имеют несовершеннолетних детей. Это означает, что прослушивание аудиоконтента чаще всего происходит в ситуациях совместного нахождения детей с родителями. Другими словами, дети (их может быть несколько) 68% опрошенных респондентов, находящихся дома и не занимающихся там работой, совершая прогулку или путешествуя, вынуждены потреблять информацию вне возрастных ограничений этой информации. См.: Медиапотребление россиян: цифры и тенденции : ежегодный отчет Mediascope за 2018 г. URL: https://mediascope.net/upload/iblock/65c/Everest_Mediascope_060518.pdf

сложившимися стратегиями мышления и критического анализа, не позволяющими раскрыть ресурс индивидуальных адаптационных механизмов. Предполагается, что последствия, вызванные привычкой фонового медиапотребления, связаны как с семантическим аспектом медиасигнала, так и с социальными и физическими характеристиками фонового медиапотребления. В качестве методологической основы исследования разработана модель медиашума как источника негативных психофизических реакций. В упрощенном виде данная модель представлена следующим образом: медиашум – состояние зашумленности – проявления информационного стресса или тревожности. Реакции в виде проявлений стресса и тревожности имеют соответствующие индикаторы, которые просчитываются с помощью известных психологической науке методик, в том числе опросников. Медиашум определен нами как фактор среды, при котором плотные сигналы различных медиаисточников поступают в фоновом режиме, неподконтрольны воспринимающему субъекту, принуждают его сенсорные системы (органы восприятия) к реакции и к взаимодействию с медиаисточником, автоматически мобилизуют энергетические системы организма, т.е. как фактор, способствующий развитию информационного стресса и тревожности.

Науке давно известно явление информационного шума, хотя до настоящего времени нет единого мнения относительно его природы и последствий для человека. Медиашум отличается от информационного шума тем, что, во-первых, источник медиашума всегда может быть установлен, это определенный медиаканал, во-вторых, он имеет явную коммуникативную природу, притом что в настоящее время именно медиа являются важнейшим и наиболее быстро трансформирующимся фактором социальной коммуникации и даже социогенеза в глобальном (общемировом) масштабе. Исходя из понимания медиа как любых средств коммуникации, медиашум дословно можно было бы трактовать как шум от коммуникации, или коммуникационный шум. Однако медиашум рассматривается нами не как помехи в коммуникации [4. Р. 379], но именно как принуждение к коммуникации и искусственная стимуляция органов восприятия посредством медиаканалов (например, радио в автомобиле или магазине, реклама, фоновый режим телесмотрения). С точки зрения коммуникативной лингвистики медиашум – это получение нежелательной, закодированной информации посредством медиаканала, воздействие которого обладает временной протяженностью, оказывая влияние на психику индивида и группы людей, независимо от того, осознается этот процесс или нет. Существующее определение медиашума как «информации, не обладающей пользой и ценностью для индивида в данный момент времени, иррелевантные (неполезные) помехи для основной деятельности» [5. С. 87] представляется нам требующим уточнения.

К медиашуму можно отнести сигналы любых источников информации, позволяющие установить автора, в том числе и рекламу (которая в узком смысле обычно не понимается как СМИ). Идея всеобщих медиа и вовсе трактует медиа как «средства взаимодействия всего со всеми» [2]. «Благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы» [6. Р. 5]. Исходя из этих подходов к пониманию медиа и последствиям развития средств коммуникации, медиашум можно понимать и как неблагоприятный фактор принуждения индивида к искусственному «расширению» процесса познания, принуждения к взаимодействию с кем-либо или чем-либо.

Медиа шум так же соотносится с информационной перегрузкой, как причина и следствие. Медиа шум может вызвать информационную перегрузку, а может и не вызвать в зависимости от объективных причин (параметры шума) и субъективных факторов (личные характеристики потребляющего субъекта). Информационная перегрузка – фактор среды, который приводит к ситуации, когда с увеличением объемов поступающей к человеку информации снижается эффективность ее обработки, анализа и интерпретации. Исследование воздействия медиа шума учитывает не столько смысловой аспект (знаковый), сколько проблему пороговой эксплуатации органов восприятия, гиперстимуляции информационными стимулами органов восприятия человека, принуждения к реакции и социальные результаты это явления. Медиа шум есть особый (фоновый) формат потребления медиатекста – «дискретной единицы потока массовой информации» [7. С. 355], сочетающей в себе вербальный, визуальный, аудиальный и мультимедийный планы. Медиа шумленность определяется характеристиками принуждения к такому формату потреблению медиатекста.

В соответствии с теорией информационного стресса В.А. Бодрова стресс и умственная нагрузка относятся к понятиям, отражающим процесс взаимосвязи между требованиями среды и наличием ресурсов для удовлетворения этих требований. Ресурсы являются собой способности по быстрой и качественной обработке информации. Медиа шум возникает в плоскости взаимодействия между когнитивными и энергетическими процессами. Потоки медиа в фоновом режиме – медиа шум – автоматически «включают» реакцию организма в виде мобилизации умственной нагрузки, неадекватной ситуации и в действительности не направленной на решение жизненной задачи. Регулирование энергетического состояния в ходе процессов преобразования информации происходит автономно, независимо от субъекта, который лишен возможности менять уровень регуляции. Воздействие эмоций на энергетическое состояние отличается высокой скоростью и выраженностью. «Эмоциональная обработка информации» не следует формальным правилам логики, а субъект не может произвольно управлять этим процессом [8. С. 22]. Другими словами, человек вынужден обрабатывать эмоционально насыщенный медиасигнал, т.е. медиа шум искусственно активизирует повышение умственной нагрузки.

Медиа шумленность представляет собой степень насыщенности жизненного пространства человека медиа шумом и определяется частотой и продолжительностью пребывания в ситуациях шума, возможностью субъекта по установлению контроля над источником информации, характеристиками ситуации вынужденности фонового медиа потребления. Дополнительными критериями можно назвать внешний контроль над информационным окружением (родительский контроль, школьный контроль) и количество устройств в личном пользовании в случае, если субъектом восприятия является ребенок.

Исследование

Проведенное пробное исследование является пилотажным, носит локальный и единовременный характер, в числе прочего имеет целью апробацию инструментария, уточнение проблемы и гипотезы. Малая выборка – 42 респондента – представлена студентами отделения среднего специального образования Университета Лобачевского. Срок проведения – июнь 2019 г.

Пробное исследование направлено на изучение корреляционной зависимости степени медиа шумленности и уровня тревожности. Уровень тревож-

ности определяется по психодиагностической методике для многомерной оценки детской тревожности, включающей 100 вопросов. Медиазашумленность определялась на основе разработанной авторской методики – опросника, включающего 30 вопросов.

Гипотеза исследования заключается в том, что существует положительная корреляционная зависимость между медиазашумленностью и уровнем тревожности у подростков в возрасте 16–17 лет, а также зависимость между различными критериями медиазашумленности и уровнем тревожности. При этом риск (степень вероятности появления негативных состояний) зависит от степени медиазашумленности. Соответственно, цель исследования – определение уровня медиазашумленности и уровня тревожности одновременно у одного респондента. Среди частных задач исследования выделяются такие, как выделение критериев медиазашумленности, адаптирование опросника используемой методики многомерной оценки детской тревожности к нашему исследованию, количественная интерпретация (оценка веса в баллах) каждого ответа в опроснике, анализ данных с помощью программных средств. Участие носило анонимный характер. Посредством корреляционной матрицы была выстроена корреляционная плеяда критериев (параметров) медиазашумленности и установлено существование связи между отдельными параметрами (факторами).

Исследование подтвердило наличие положительной связи, средней корреляционной зависимости; величина коэффициента 0,52, между уровнем тревожности и степенью медиазашумленности. Далее были соотнесены показатели по каждому из критериев медиазашумленности с показателями по тревожности. Всего нами было определено пять факторов (критериев) медиазашумленности, каждому из которых соответствовал один или несколько вопросов с предлагаемыми ответами. Выбор одного из ответов означал присвоение определенного количества баллов: «0», «3», «5». Чем больше балл, тем выше уровень медиазашумленности. Критерии медиазашумленности и индикаторы, подлежащие выявлению, определили формулировку вопросов в опроснике:

1. Встреча с фоновой работой медиаисточников: ситуации (место и время), продолжительность и частота пребывания в них.

2. Плотность медиашума: количество одновременно потребляемых источников.

3. Степень вынужденности фонового медиапотребления – ситуации принуждения к фоновому медиапотреблению: продолжительность и частота пребывания в них; возможность влияния на источник медиа.

4. Мотивация фонового медиапотребления: эмоциогенность основных медиаканалов, потребляемых в фоновом режиме.

5. Адаптивные возможности: средства преодоления или снижения медиашума; уровень осознанности медиапотребления; стратегии преодоления медиашума; привычка фонового медиапотребления; наличие психологического дискомфорта из-за тишины; внешние требования, направленные на снижение медиашума (родительский и школьный (административный) контроль); количество устройств в распоряжении.

Каждый индикатор подлежал шкалированию, ответ на вопрос подлежал количественному выражению в баллах. Чем больше баллов, тем выше уровень зашумленности и, в соответствии с гипотезой, выше риск развития тре-

возности и стресса. Также были определены основные ситуации фонового медиапотребления и вынужденного потребления медиа в качестве фона: дом; торговые площадки и общественные места; автомобиль и общественный транспорт; прогулка; отдых и путешествия.

Выявлено, что наибольшее влияние на тревожность оказывают: продолжительность пребывания в ситуации вынужденного фонового медиапотребления (коэффициент 0,63); психологический дискомфорт из-за тишины, заставляющий потреблять медиа в качестве фона (0,6). Средняя зависимость тревожности выявлена также со следующими показателями: количество каналов медиа, потребляемых одновременно – коэффициент 0,58; частота попадания в ситуацию фоновой работы медиа – 0,57; частота сознательного использования медиа в качестве фона – 0,57. Слабая корреляционная зависимость тревожности выявлена с такими показателями, как частота прерывания основной деятельности ради коммуникации и административный контроль над использованием медиаисточников (в учебном учреждении) – коэффициент 0,3.

Однако отдельные показатели медиазашумленности продемонстрировали нейтральную или очень слабую отрицательную корреляционную зависимость, например стратегия преодоления ситуации медиашума (стратегия влияния) (0,1); родительский контроль над использованием устройств (0,2). Очевидно, вопросы, направленные выявление этих показателей, были сформулированы неправильно и, соответственно, повлекли неправильную интерпретацию респондентом. Вполне вероятно, что вопрос о родительском контроле понимался респондентом как проявление по отношению к нему родительской власти, а не как защита от негативного воздействия. Также выявлена зависимость между самими параметрами медиазашумленности (рис. 1).



Рис. 1. Зависимость между параметрами медиазашумленности

Сплошной линией обозначена корреляционная связь с коэффициентом от 0,28 до 0,42, двойной линией – более сильная корреляция, имеющая коэффициент от 0,42 до 0,6. Как видно из представленной корреляционной плеяды, важнейшими факторами медиазашумленности, имеющими значительную взаимосвязь с другими параметрами являются:

1) продолжительность и частота фонового медиапотребления в целом и продолжительность и частота пребывания в ситуациях вынужденного фонового медиапотребления (ситуации низкого влияния на источник медиа, например радио в транспорте, аудиореклама, общее пространство и т.д.);

2) готовность к прерыванию основной деятельности на коммуникацию (сообщение, звонок, чат и т.д.);

3) частота осознанного фонового медиапотребления (сознательное включение источника медиа для одновременно с основной деятельностью (например, выполнение домашней работы);

4) количество медиаканалов, потребляемых одновременно; количество устройств (гаджетов), используемых одновременно (смартфон, телевизор, проигрыватель и т.п.);

5) количество имеющихся в личном распоряжении устройств.

Так, например, при уменьшении количества устройств уменьшается продолжительность фонового медиапотребления; при уменьшении частоты пребывания в ситуации вынужденного фонового медиапотребления (например, торгового центра, где не прекращается проигрывание аудиорекламы) уменьшается готовность к прерыванию основной деятельности ради коммуникации и увеличивается возможность установления контроля над источником медиа (увеличивается когнитивный контроль).

Были выявлены процентные показатели ситуаций фонового медиапотребления (рис. 2).

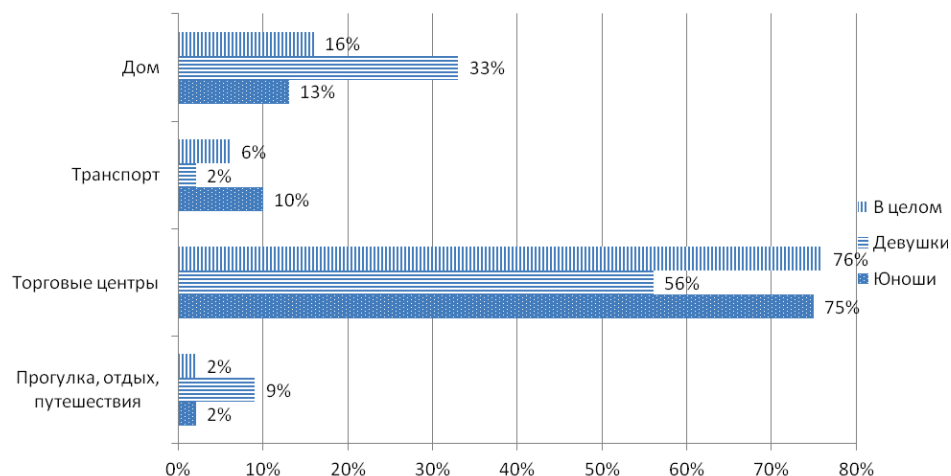


Рис. 2. Показатели ситуаций фонового медиапотребления

Результаты показали отличия в уровнях медиазашумленности и тревожности в соответствии с половым признаком. Так, юноши менее тревожны, чем девушки, и они же имеют несколько меньшую степень подверженности медиазашумленности по сравнению с девушками.

Заключение

Результаты пробного исследования подтвердили гипотезу относительно существования положительной зависимости уровня медиазашумленности и уровня тревожности у детей 16–17 лет. Можно утверждать, что исследование достигло и других целей: выявлены недостатки инструментария, а именно формулировка отдельных вопросов, требующая корректировки; уточнены опорные моменты самой проблемы, в числе которых необходимость акцентирования внимания на изучении места и ситуации вынужденного фонового медиапотребления, мотивов сознательного фонового использования медиа, стратегии преодоления медиашума, факторов установления контроля за работой источника медиа (устройства).

Представляется необходимым отдельное изучение функций фонового использования медиа субъектом восприятия, социальных паттернов фонового медиапотребления и даже возможности медиашума моделировать социальные ситуации (например, включать ситуацию «я дома» или «мы путешествуем»), изучение эмоциогенности аудиоконтента. В описанном пилотажном исследовании предпринята попытка исследования проблемы погружения молодежи в медиа, наполненности жизненного пространства юношей и девушек стимулами и сигналами, принуждающими к реакции. Представляется необходимым проведение дальнейших исследований феноменологии медиашума и явлений, связанных с феноменом фонового медиапотребления.

Литература

1. Livingstone S. On the mediation of everything: ICA presidential address // *Journal of communication*. 2008. Vol. 59 (1). P. 1–18.
2. Жилавская И.В. Теория всеобщих медиа: опыт обоснования // *Медиа. Информация. Коммуникация* : международный электронный научно-образовательный журнал. URL: <http://mic.org.ru/new/676-teoriya-vseobshchikh-media-opyt-obosnovaniya> (дата обращения: 28.10.2019).
3. Мионов Д.Ф. Информационный шум и образовательный процесс // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. 2015. № 4. С. 24–30.
4. Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication // *Bell System Technical Journal*. 1948. Vol. 27 (3). P. 379–423.
5. Кобрин Н.В. Понятие медиашума в коммуникативно-социальном аспекте // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2014. № 7 (37), ч. I. С. 84–86.
6. McLuhan M. *Understanding Media: the Extensions of Man*. Cambridge ; London : MIT Press, 1964. 355 p.
7. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: подготовка и создание медиатекста : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2011. 400 с.
8. Бодров В.А. Информационный стресс : учеб. пособие для вузов. М. : ПЕР СЭ, 2000. 352 с.

Alla K. Polyagina, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation); Samara State Transport University (Samara, Russian Federation).

E-mail: Alker@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 215–223.

DOI: 10.17223/1998863X/57/20

THE PHENOMENON OF MEDIA NOISE: RISKINESS OF BACKGROUND MEDIA CONSUMPTION

Keywords: media noise; media consumption; information overload; information hygiene.

The author of the article presents the concept of media noise as a risk-generating phenomenon. She defines the introduced concept; identifies and analyzes modern risk factors determining the problem of background media consumption, especially media consumption by children and adolescents;

describes the conceptual and methodological foundations of the study of media noise as the degree of the saturation of a living space with media signals that distress and exploit the organs of perception. On the basis of theoretical approaches to the understanding of media, communication, noise, information overload, and information stress available in science, the author deduces the concept of media noise. The article analyzes the results of third party empirical studies of the practice of media consumption, which reveal the problematic aspects of forcing the consumption of media signal as a background of life. The author notes that the widespread use of media, particularly audio content (including audio ads, playing music in public, active background screens, etc.), is correlated with the problem of new forms of violence and violations of the space of personal autonomy. The article presents the results of a pilot study of the dependence of the degree of media noise and the level of anxiety in children aged 16–17. The author shows correlations between individual parameters (factors) of media noise; lists the main social situations of children's forced consumption of media as a background; notes the potential of background media consumption to model social situations ("turn on" the situation "I am at home" or "we are traveling") and become an adaptation strategy; and determines the directions and prospects of further research of the problem of the use of media as a background of life activity and of the study of the emotionality of audio content in relation to the formation of the social pattern of media consumption.

References

1. Livingstone, S. (2008) On the mediation of everything: ICA presidential address. *Journal of Communication*. 59 (1). pp. 1–18. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2008.01401.x
2. Zhilavskaya, I.V. (n.d.) *Teoriya vseobshchikh media: opyt obosnovaniya* [The theory of universal media: the experience of substantiation]. [Online] Available from: <http://mic.org.ru/new/676-teoriya-vseobshchikh-media-opyt-obosnovaniya> (Accessed: 28th October 2019).
3. Mironov, D.F. (2015) Informatsionny shum i obrazovatel'nyy protsess [Information noise and educational process]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of Saint Petersburg State University of Culture*. 4. pp. 24–30.
4. Shannon, C.E. (1948) *A Mathematical Theory of Communication*. *Bell System Technical Journal*. 27(3). pp. 379–423.
5. Kobrin, N.V. (2014) The conception of "media-noise" in the communicative and social aspect. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory and Practice*. 7-1(37). pp. 84–86. (In Russian).
6. McLuhan, M. (1964) *Understanding Media: The Extensions of Man*. Cambridge; London: MIT Press.
7. Kiselev, A.G. (2011) *Teoriya i praktika massovoy informatsii: podgotovka i sozдание media-teksta* [Theory and practice of mass media: preparation and creation of media text]. St. Petersburg: Piter.
8. Bodrov, V.A. (2000) *Informatsionny stress* [Information stress]. Moscow: PER SE.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 323.2(477)

DOI: 10.17223/1998863X/57/21

М.М. Камионка

ЮНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР? УРОВЕНЬ РАДИКАЛИЗМА КАК ФАКТОР ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ¹

В политических и общественных дискуссиях разных стран мира часто утверждается, что радикализм обуславливается протестными настроениями молодежи. В статье автор пытается ответить на вопрос, влияет ли уровень радикализма украинской университетской молодежи (студентов) на их готовность к участию в длительных протестах. С этой целью в репрезентативной группе были проведены интервью (IDI) и анкетирование (1 043 респондента).

Ключевые слова: революция, молодежь, «поколение свободы», протесты, радикализм.

Постановка проблемы

Важной особенностью развития государственности и общества Украины являются революции и всевозможные протестные акции. Сложно игнорировать их роль в создании «демократического» общества, но на недемократических основах. В нем наиболее мобилизованные граждане периодически поднимают вопрос об изменении курса государственной политики или требуют полной ротации верховной власти. В новейшей истории Украины наибольшими такими потрясениями, причем с выраженным молодежным характером, были Студенческая «революция на граните» (1990) [1. С. 129], «Украина без Кучмы» (2000–2001), студенческие выступления против объединения университетов (Сумы, 2004), «Восстань, Украина» (2004), «Оранжевая революция» (2004), «АнтиТабачная кампания» (2011), «Революция достоинства» (2013).

В процессе и после распада СССР Украина и ее народ проходили фазы бифуркации в 1990–1991 и 2004–2005 гг. Начиная с осени 2013 г. и до сегодняшнего дня они находятся в очередной такой фазе. В каждой из них перед украинцами стоял выбор между двумя альтернативами: с одной стороны, консолидация для защиты национально-государственной суверенности и гражданских ценностей, с другой – отказ от них [2. С. 58]. Этот механизм свидетельствует об отсутствии полного принятия демократических принципов со стороны как общественности, так и политических элит. Народ свое недовольство политикой властей и требования изменения действующего по-

¹ В статье использованы результаты исследования, проведенного автором статьи при финансовой поддержке Национального Центра Науки (Республика Польша), идентификатор гранта 2016/23/D/HS5/00902).

литического курса реализует не путем выборов, а на улице. При этом наиболее активной общественной группой, которая мобилизовала все общество, стали молодежь и студенчество. Украинский историк и политолог Александр Бойко небезосновательно утверждает, что уже на начальном этапе формирования независимой Украины «маятником» важнейших общественно-политических процессов были именно студенты¹. Он подчеркивает, что «опозицию от политического нокаута в конце 1990 г. спасла студенческая молодежь», которая на следующий день после провальной всеобщей рабочей забастовки (1 октября 1990 г.)² начала свою «революцию» [3. С. 85]. Это ставит под сомнение наработки теоретиков XIX и XX вв., которые именно в пролетариате видели силу, способную превратить всех трудящихся в правящий класс. Для теоретиков пролетарской революции это еще более важно, поскольку поколение молодых, став на путь протестов, «между прочим» сокрушило СССР. Подчеркнем, что протесты 1990–1991 гг. играли решающую роль в демонтаже коммунизма в странах Восточной Европы, распаде СССР и создании независимой Украины [4. Р. 171]. Этот тезис подтверждают исследования о «Революции на граните» и «Оранжевой революции» Надежды Дюк: «Политические события в Украине в течение последних двадцати лет колебались между конформизмом и революционными протестами. При этом они породили два руководимых молодежью протеста. В регионе они были наиболее специфическими и влиятельными» [5. Р. 64]. Вместе с тем во время «Революции достоинства» студенчество играло ведущую роль, особенно на подготовительном этапе – во время ноябрьских вече. Кроме того, именно избивание студентов 30 ноября 2013 г. стало прямым поводом к революции.

Следует обратить особое внимание на то, что студенческие протестные движения не рассматривались как ключевой фактор развития ситуации. Внимание медиа было сосредоточено на предыдущем общенациональном протесте 24 ноября. Студенческие протесты были освещены в сводках новостей «пунктирно». Это положение вещей проецируется и на новейшие научные исследования, которые сосредоточились на событиях Майдана сразу после 30 ноября. В результате мы имеем информационную лауну об участии молодежи в первые девять дней революции, когда студенческое протестное движение становилось все более влиятельным [6. Р. 86]. Можно констатировать, что таким образом занижается роль студентов в «Революции достоинства», хотя Том Джунс прямо утверждает, что «началась она [революция] с того, что студенты вышли на улицу, для того чтобы попасть на Майдан» [7. С. 30]. Кристина Шафранец совершенно обоснованно считает: «Поколение, которому последние четверть века приписывали уход в себя и политическую спячку, бунтарский потенциал которого отрицался, в XXI в. стает наиболее возмущенным поколением. И не потому, что к таковой роли готовилось или стало жертвой политической манипуляции, а потому, что именно молодежь сегодня ощущает несоответствие и дисфункцию избранных политических и экономических доктрин и векторов развития» [8. S. 101].

¹ Автор статьи сам был свидетелем первых дней «Революции достоинства» на Майдане в Киеве (ноябрь 2013 г.). Первоначально большинство ее участников составляли студенты, которые собрались благодаря сообщениям в Facebook.

² В забастовке приняли участие только 10 тыс. человек из 25 млн трудящихся.

Исходя из вышесказанного, необходимо проанализировать взгляды украинских студентов в вопросах, связанных с состоявшимися после провозглашения независимости в 1991 г. революциями. Влияет ли уровень радикальности украинской студенческой молодежи на их позиции в вопросах участия в длительных протестах? Готовы ли студенты к участию в длительных манифестациях и протестах (возможных очередных революциях)? В следующих разделах статьи мы сосредоточимся на обзоре литературы о революциях в Украине, методологии исследования, представлении результатов исследования, интерпретации полученных данных и корреляции основных выводов с устоявшимися оценками.

В поисках теории революций в Украине. Обзор литературы

Для начала следует проанализировать само понятие «революция», имеющее решающее влияние на гибридизацию политической системы Украины, которую можно обозначить как демократура – демократизация без либерализации [9. S. 45–46]. В 1844 г. Карл Маркс, говоря о переходе от одной общественной формации к другой, употреблял понятия революции политической и революции общественной. Он утверждал: «Всякая революция ликвидирует старое общество, а потому является общественной революцией. Всякая революция свержает старую власть, а потому является политической революцией» [10. P. 410]. Согласно Марксу, новая общественная формация выступает продуктом двух процессов. Первым является общественная революция. Ее философ понимал как фундаментальные и качественные изменения в сфере общественных структур. При этом она не является неожиданным сиюминутным изменением, а, скорее, длительным процессом изменений на уровне производительных сил, т.е. в плоскости экономики. Это обуславливает кардинальные изменения в сфере общественных структур, во взаимоотношениях разных классов и общественных групп. Второй процесс, производный от первого, – политическая революция. Она является логическим результатом и кульминацией изменений в экономических и общественных структурах. Согласно Марксу, политическая революция является финальным этапом в процессе перехода политической власти от доминирующего класса к новому прогрессивному. Теория Карла Маркса задает рамки теоретизирования революций, но не объясняет «частые» революции в Украине. Хотя, возможно, начиная с 1991 г. мы имеем дело с этапами одной революции, которая завершит цикл изменений общественных структур. В таком случае следует подчеркнуть, что начавшаяся в 1991 г. революция не «вмещается» в рамки одного поколения. Исходя из этого, напрашивается предположение, что участниками начальной («студенческой») фазы «Революции достоинства» были потомки молодежного актива «Оранжевой революции». А потому, чтобы понять, сохраняется ли революционная ситуация, которую Владимир Ленин определял как «целостность объективных изменений, обуславливающих глубокий общественно-политический кризис данного общества», следует прислушаться к голосу украинской молодежи [11. S. 59].

Тем временем Петр Штопка конкретизирует теоретические концепции революций. Он выделяет историософскую и социологическую интеллектуальные традиции их осмысления. Согласно первой, революция описывается извне, «в контексте длительного исторического процесса, как прерывание

временной протяженности, радикальное возмущение „логики“, „направления“ или „смысла“ истории». При этом внимание обращается на развитие процесса и фундаментальный перелом. В свою очередь, социологическая традиция рассматривает революцию как «комплекс внутренних процессов, реализуемых массовыми общественными движениями и ведущих к преобразованию базовых общественных структур» [12. S. 541]. К этим структурам можно отнести классовый уклад, иерархию власти, стратификацию общества. В таком случае революция объясняется как механизм реализации инициатив снизу, как преобразование общества благодаря активности его членов. В контексте начавшейся в 1991 г. революции в Украине наиболее активной общественной группой была молодежь.

По мнению Сэмюэля Хантингтона, «...революция является быстрым, фундаментальным и неожиданным внутренним изменением в доминирующих общественных ценностях и мифах, в политических институтах, общественной структуре, руководстве, политике властей» [13. P. 264]. Плинио Корреа де Оливейра под понятием «революция» понимает движение, которое стремится к уничтожению законной власти или порядка, их замене на незаконные [14. S. 57]. Будет ли обоснованным в случае с Украиной утверждение, что на смену законной власти пришла незаконная? Здесь более уместна теория революции Петра Штомпки: «Социологическое понятие революции применимо к общественным движениям, которые используют или грозятся применением силы относительно власть имущих с целью достижения кардинальных и длительных изменений в обществе». Но и она в полной мере не описывает украинский «революционный опыт» [15. S. 281].

Наиболее адекватной теорией революции, которая применима в отношении Украины, является теория Алексиса де Токвилля, которую можно сформулировать следующим образом. В основном происходит так, что народ, который без ропота, будто безразлично, терпел самые обременительные ограничения, неожиданно их сбрасывает, как только их тяжесть слабнет. Зло, которое люди терпеливо принимали как данность, кажется несносным с момента, когда появляется мысль, что можно от него избавиться [16. S. 188]. Аналогично Джеймс Дейвис, творец гипотезы кривой «J»¹, ссылаясь на постулаты теории фрустрации / агрессии, утверждал, что революции обуславливаются субъективными ощущениями недовольства, а не объективными факторами типа «уровень благосостояния, равенства и свободы» [17. P. 5–6]. Подробнее это объясняет Джеймс Гешвендер, который в своей гипотезе «мнимого наследования»² [18] сосредоточивается на описанной К. Марксом склонности к революционным выступлениям, несмотря на улучшение материальных условий жизни. Эти выступления являются результатом сравнения своей ситуации с другой общественной средой [19. P. 128–129]. Его теория характеризует революцию в Украине как диспропорцию между положением своей группы (украинского общества) и сравниваемой группы (обществами стран Западной Европы). Осмелимся предположить, что поводом для рево-

¹ Согласно данной гипотезе, революции начинаются не в критический момент, а в момент, когда растущие общественные ожидания не находят удовлетворения. Не единожды революции начинались в условиях относительного улучшения ситуации.

² Это понятие в основном используется при установлении уровня доступа к материальным благам, престижному имуществу и власти. Является показателем субъективного, возникающего из опыта, общественного неравенства.

люции была потребность улучшения общественного благосостояния, которая проявилась в общественных ожиданиях от президента Виктора Януковича после подписания договора с Европейским союзом (Вильнюс, 28–29 ноября 2013 г.). На это указывают результаты, полученные Центром исследования общества, опубликованные под названием «Протесты, победы и репрессии в Украине: результаты мониторинга 2013 г.». В них отдельное внимание уделено анализу помесечной интенсивности протестов в Украине. Интересно, что наибольшее число протестов всегда приходится на ноябрь¹: 2010 г. – более 300, 2011 г. – более 300, 2012 г. – 430, 2013 г. – 1 000 [20. С. 3].

Еще раз возвратимся к теории Сэмюэля Хантингтона, согласно которой революция – это аспект модернизации, а потому не является универсальной категорией. Она не есть явление, «которое может произойти в любом типе общества и в любом периоде его истории». Революция не может состояться в традиционном обществе с низкой общественной и экономической организацией. Также она не произойдет в высокомодернизированном обществе. Как и другие формы нестабильности и насилия, революция наиболее вероятна в обществах, достигших определенного общественно-экономического уровня, в которых процессы политической модернизации значительно отстали от экономических и общественных изменений [13. Р. 265].

Методология исследования

Для получения сведений касательно влияния уровня радикализма студентов на их готовность к участию в длительных протестах мы оперировали двумя методами. Во-первых, использовался метод углубленного индивидуального интервьюирования (individual depth interview, IDI). Он был применен для получения качественных и детализированных сведений по предмету исследования. Респондентами интервью стали 16 студентов из разных регионов Украины. Они представляли академические заведения Львова (Западная Украина), Ужгорода (Юго-Западная Украина), Нежина (Северная Украина), Сум (Восточная Украина), Переяслава (Центральная Украина) и Киева (столица страны). Участники опроса были определены путем выборки среди наиболее активных в общественной жизни каждого отдельно взятого высшего учебного заведения студентов.

Во-вторых, для получения количественных и однородных данных применен метод анкетирования. Анкетирование было проведено во время аудиторных занятий среди 1 043 студентов очного отделения 14 высших учебных заведений Украины (Харьков, Херсон, Черновцы, Киев, Днепр, Глухов, Полтава, Сумы, Львов, Нежин, Одесса, Переяслав, Ужгород, Винница). Для освещения регионального аспекта проблемы при составлении списка высших учебных заведений был использован репрезентативный подход. В фазе анкетирования также применялся селективный подход. В соответствии с ним была проведена многоуровневая групповая выборка (multi-stage sampling) [21. С. 267–268]. Первым уровнем были факультеты, вторым – специальности, третьим – курс обучения. Анкета состояла из метрики и 86 вопросов. Анке-

¹ Автор в интервью с кандидатом исторических наук М.В. Потапенко (Нежин) спросил, почему самым протестным месяцем в году является ноябрь. Отвечая на вопрос, М.В. Потапенко обратил внимание на историческую обусловленность этого явления – ноябрь является месяцем окончания цикла сельскохозяйственных работ.

тирование проводилось на протяжении трех семестров (сентябрь 2017 – декабрь 2018 г.).

Главной целью исследования является выяснение соотношения уровня радикализма и революционных настроений украинской студенческой молодежи. В ходе анализа собранных статистических материалов будет апробирована следующая исследовательская гипотеза, состоящая из двух утверждений:

Утверждение 1: высокий уровень радикализма украинской молодежи влияет на их готовность к участию в длительных протестах.

Утверждение 2: студенты Украины готовы к участию в длительных протестах.

Результаты

Анализ собранных статистических сведений свидетельствует, что украинские студенты, хотя бы на декларативном уровне, не являются радикально настроенными. Этот тезис сформирован на основании анализа ответов по анкете, где студенты должны были оценить по шкале от 1 до 5 утверждение: «Для дальнейшего развития Украины требуются радикальные революционные изменения или обдуманные и постепенно реализуемые реформы» (рис. 1). При этом ответ «1» обозначал наиболее высокий уровень радикализма, а «5» – наименьший (самые умеренные взгляды). Усредненный ответ исследуемой молодежи составил 3,1561. Это свидетельствует, что большинство респондентов нельзя отнести к группе радикально настроенных. Однако настораживает тот факт, что 23% студентов высказались за крайние радикальные изменения (ответ «1»). Эта группа может влиять на менее радикальных коллег (с взглядами разной степени умеренности), которые составляют 47,6% респондентов (выбравшие ответы «2», «3», «4»).

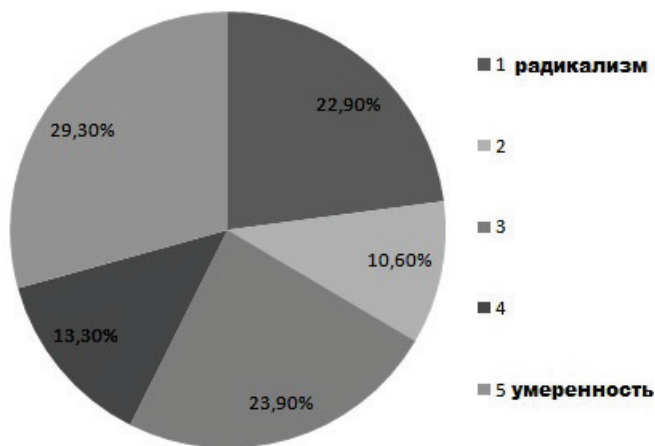


Рис. 1. Уровень радикализма украинских студентов.

Источник: результаты анкетирования, проведенного автором статьи

Для верификации утверждения 1 нашей гипотезы требуется сравнение декларируемого уровня радикализма украинской молодежи с их готовностью участвовать в длительных протестах. Часто аргументом «радикализма» молодежи оперируют в медиа и во время политических дебатов, а на студентов

перекладывается ответственность за различные протесты и манифестации. Однако, как свидетельствуют количественные показатели табл. 1, уровень радикализма не имеет прямой связи со склонностью студентов к длительным протестам. Так, среди наиболее радикальных студентов (ответ «1») лишь 39,8% заявили о готовности к участию в длительных протестах. Показательно, что о готовности к длительным протестам среди студентов с чуть менее радикальными взглядами (ответ «2») заявили лишь на 1,8% меньше респондентов (38%). Наибольшую же готовность к длительным протестам (42%) задекларировали студенты с низким уровнем радикализма (ответ «4»). Таким образом, утверждение 1 верифицируется ответами респондентов, которые заявили о нежелании участвовать в длительных протестах. Больше всего их среди радикальной молодежи (23,5%), а меньше всего – среди студентов умеренных взглядов. Обратим внимание и на тот факт, что наиболее радикальные студенты реже других выбирали ответ «затрудняюсь ответить» (36,7%). В то же время уровень сомневающихся среди студентов с наиболее умеренными взглядами (ответ «5») составил 43%.

Таблица 1. Заявленный уровень радикализма и готовность респондентов к участию в длительных протестах, %

Уровень радикализма	Готовы ли Вы к участию в длительных демонстрациях или протестах для достижения своих убеждений?		
	Да	Нет	Затрудняюсь ответить
1	39,8	23,5	36,7
2	31,4	20,0	48,6
3	31,5	19,1	49,4
4	42,0	16,8	41,2
5	38,0	19,0	43,0

Примечание. Источник: результаты анкетирования, проведенного автором статьи.

В интервью студенты также пытались дать ответ на вопрос, почему украинская молодежь желает принимать участие в длительных протестах. Часто они сходились на том, что участникам протестов нечего терять. Действительно, молодежь в большинстве не имеет финансовых и семейных обязательств, требующих планирования на долгую перспективу. Интересно, что во всех интервью ключевыми факторами готовности к участию в длительных протестах назывались юный возраст, отсутствие обязательств и желание изменений. Ни один из 16 опрошенных студентов не вспомнил о радикальных политических взглядах.

«Именно молодежь является самой энергичной. Люди, которые окончили университеты, нашли работу и обзавелись семьями, хотят спокойной жизни и стремятся иметь средства существования. Пенсионеров подобные вещи [протесты] уже не интересуют. Они занимают позицию безучастных наблюдателей. А молодежь имеет силу и желание что-то менять. Не удалось бы ничего сделать без молодежи. Те из них, кто принимал участие в студенческой революции в 2014 г., сейчас в политике и делают много хороших дел, реализуют важные проекты» (Сумы).

«Они [молодежь] не имеют семьи, обязанностей, бизнеса. Фактически им нечего терять. Поэтому им присущи максимализм и романтические мечтания. Они убеждены, что „все зависит от меня“. Конечно, можно ор-

ганизовать протесты без молодежи, но они не имели бы надлежащего эффекта – молодежь имеет силы и преисполнена энергии» (Переяслав).

«Молодежь проявляет больший интерес к разнообразным манифестациям, чем к размеренной политической жизни. Манифестации позволяют молодежи что-то менять „здесь и сейчас“, а не обивать пороги многочисленных кабинетов с обращениями. А кроме того молодежь более активна в манифестациях чем взрослые, потому что студенты не имеют детей, постоянной работы и не обязаны постоянно думать о содержании семьи» (Переяслав).

Часть исследуемой молодежи, которая имеет опыт участия в протестах и революциях, объясняет разницу поколений со своими родителями еще и тем, что они родились уже в независимой Украине, а потому имеют совсем другие ценности. Радослав Маженцки называет тех, кто родился в странах Восточной Европы после падения коммунистических режимов, «поколением свободы» [22]. Оно формировалось в условиях процессов демократизации, развития рыночной экономики, суверенизации и демонтажа старых недемократических политических систем. Представители этого поколения противопоставляют себя своим родителям в плане политического опыта, поскольку они уже не испытывали влияния авторитарной власти и являются «детьми» независимости, к которой так долго шла Украина.

«Юное поколение... выросло и воспиталось в независимой Украине и в демократических условиях. Когда уже не было одной „великой партии“, которая указывает, как себя вести и что делать. Именно поэтому у молодых людей и сформировались политическая активность и демократическое сознание. Без молодежи нельзя было бы всего этого сделать, поскольку взрослые не заинтересованы в общественных изменениях. Они имеют семьи и работу» (Переяслав).

«Именно студенты являются наиболее активными гражданами Украины. Кроме того, у студентов есть чувство свободы, они лишены страхов и предубеждений старшего поколения. Они адекватно оценивают поточную ситуацию и понимают, что если ничего не будут делать, то ничего и не изменится» (Киев).

«Наше поколение имеет новые взгляды, и они отличаются от убеждений старшего поколения. Мы хотим большего. Мы более активны в общественной жизни, потому что хотим получить новый опыт и знания. Старшее поколение, наши родители, смирились с тем, что происходит у нас в стране, и безропотно соглашаются с действиями властей. Тем временем молодое поколение, выросшее в независимом государстве, воспитано по-другому и имеет совсем другие убеждения. Молодежь желает для себя нечто иное» (Нежин).

В высказываниях студентов часто звучал тезис, что за постоянные революции и протесты в значительной мере ответственна ментальность украинцев.

«Украина не может жить без революций. В первую очередь нужно выработать законы в сфере экономики, образования и в целом стремиться к стабильности, а уж потом, если что-то не получится, добиваться своего. Но у нас все наоборот. Сначала революция, а потом думаем, что делать дальше. Такие настроения во многом обусловлены действиями безответственных политиков» (Ужгород).

«Да, существует десятилетний исторический цикл. 2004, 2014. Следующую революцию следует ожидать в 2024 году. Аннексия Крыма и война на Востоке существенно корректируют ход истории и делают невозможными точные прогнозы. Но закономерность есть, и об этом свидетельствует практика. В нашей истории все повторяется. Люди иногда руководствуются своим предыдущим демократическим опытом, а кроме того – такова наша украинская ментальность» (Переяслав).

«Это все наши особенности и ментальность. Мы постоянно должны за что-то бороться. Если нам что-то не нравится, мы начинаем бороться. Казацкая демократия во всей Европе в диковинку, кроме Украины. Такова украинская действительность, и я уверена, что Украина будет протестовать еще много лет» (Нежин).

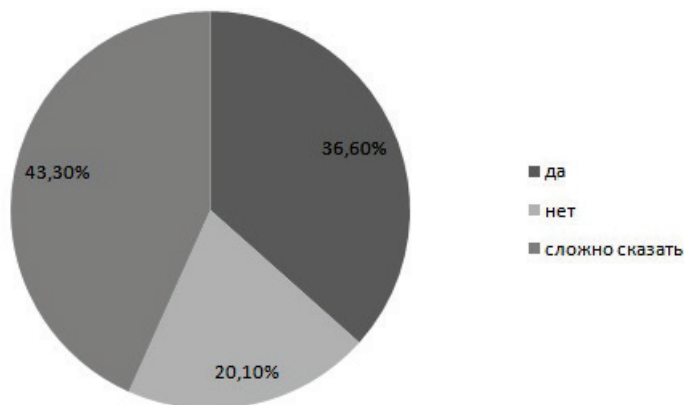


Рис. 2. Готовность молодежи к участию в длительных протестах.
Источник: результаты анкетирования, проведенного автором статьи

Несмотря на то, что взгляды большинства украинской молодежи нельзя охарактеризовать как радикальные, она все же готова к участию в длительных протестах. На это указывают данные, приведенные на рис. 2. На прямой вопрос о готовности к участию в длительных протестах отрицательный ответ дали 20,1% респондентов, позитивный – 36,6%, не определились – 43,3%. Это подтверждает правильность утверждения 2 гипотезы нашего исследования.

Дискуссия и выводы

В политических дебатах, особенно в Украине, часто звучит утверждение, что именно радикальная молодежь несет ответственность за многочисленные протесты и революции. В этой статье мы попытались проверить истинность этого утверждения и задались вопросом, зависит ли готовность украинской молодежи к участию в длительных протестах от уровня радикальности ее настроений.

Обработка довольно значительного числа источников, в том числе статистического материала, опровергает это популярное утверждение и дает основания для противоположного. Молодежь с умеренными взглядами демонстрирует бóльшую готовность к участию в длительных протестах. Это предопределяет следующий вопрос: почему украинская молодежь, в большинстве своем умеренных и далеко не радикальных взглядов, для возможно-

сти влияния на политическую ситуацию выходит на улицу, а не идет на избирательные участки?

Литература

1. *Студентська революція на граніті* : альбом / авт. та упоряд. О.К. Доній. Київ : Смолоскип, Тріумф, 1995. 129 с.
2. *Společnost i kultura Ukrainy* / red. K. Jędraszczyk. Gniezno : CONTACT, 2016. 195 s.
3. *Бойко О.* Загострення політичної конфронтації в Україні: атака опозиції та контрнаступ консерваторів // *Сучасність*. 2003. № 2. С. 67–76.
4. *Wilson A.* The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven : Yale University Press, 2000. 368 p.
5. *Diuk N.* The Next Generation in Russia, Ukraine and Azerbaijan: Youth, Politics, Identity, and Change. Plymouth : Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 226 p.
6. *Junes T.* Euromaidan and the Revolution of Dignity: a Case Study of Student Protest as a Catalyst for Political Upheaval // *Critique & Humanism*. 2016. Vol. 46, № 2. P. 73–96.
7. *Джунс Т.* Евромайдан и Революция достоинства: студенческий протест, катализирующий политические перемены // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 1. С. 7–30.
8. *Szafranec K.* Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła // *Nauka*. 2012. № 1. S. 101–122.
9. *Schmitter P.* Zagrożenia, dylematy i perspektywy konsolidacji demokracji // *Studia nad systemem reprezentacji interesów*. Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Fundacja „Polska Praca”, 1995. T. 3. S. 43–74.
10. *Marks K., Engels F.* Dzieła. Warszawa : Standardowe, 1962. T. 4. 800 p.
11. *Naukowy komunizm* / red. P. Fiedosiejewa. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. 425 s.
12. *Sztompka P.* Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków : Znak, 2005. 720 s.
13. *Huntington S.* Political order in changing societies. New Haven : Yale University, 1968. 263 p.
14. *Correa de Oliveira P.* Rewolucja i kontrewolucja. Kraków : Arcana, 2001. 201 s.
15. *Sztompka P.* Socjologia zmian społecznych. Kraków : Plus, 2002. 720 s.
16. *Tocqueville A.* Dawny ustrój i rewolucje. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1994. 316 s.
17. *Davies J.* Toward a Theory of Revolution // *American Sociological Review*. 1962. Vol. 27, № 1. P. 5–19.
18. *Skeris P.* Teoria grup odniesienia porównawczego // *Roczniki Nauk Społecznych*. 1977. T. V. S. 87–103.
19. *Geschwender J.* Exploration in the theory of social movements and revolutions // *Social Force*. 1968. Vol. 42, № 2. P. 127–135.
20. *Протесту, перемоги і репресії в Україні: результати моніторингу*. Київ : CEDOS, 2013. URL: https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/016/original/ZVIT_2013_web.pdf?1386716695 (дата доступу: 10.04.2020).
21. *Szreder M.* Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. 256 s.
22. *Marzęcki R.* Pierwsze pokolenia wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów. Warszawa : Scholar, 2020. 450 s.

Mateusz Kamionka, Pedagogical University of Krakow (Krakow, Republic of Poland).

E-mail: mattkamionka@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 224–235.

DOI: 10.17223/1998863X/57/21

A YOUNG REVOLUTIONARY? THE LEVEL OF RADICALISM AS A FACTOR DETERMINING UKRAINIAN YOUTH'S MOOD TO PROTEST

Keywords: revolution; youth; “generation of freedom”; protests, radicalism.

A turbulent history somehow forced Ukraine to abandon the standard social progress, characteristic of other post-soviet countries in the region, at the expense of rapid, significant changes, with a possible cyclical nature. It is unquestionably associated with numerous protests and “revolutions” in

which young people (students) often participate, at least in their early stages. Chiefly students were the “flywheel” of the most important political and social events in Ukraine, since the beginning of its independence in 1991. That is why the author considers as important to analyze why young people in Ukraine are the most active social group, and why they are catalysts for sociopolitical change in the country. In this article, the author tried to answer two questions of (1) whether the level of radicalization of Ukrainian youth (students) affects their attitude to participation in long-term protests, and (2) whether students are ready to participate in long-term manifestations and protests (revolutions). In the theoretical section of the article, the author analyzes the older and recent available, mostly western, literature on theories of revolution. In the following section, he describes the research methodology that allowed conducting the research in Ukraine to collect both quantitative and qualitative data. For quantitative data, the author surveyed 1,043 respondents in 14 academic centers (which, due to the methodology, can be qualified as representative results for Ukrainian students). For qualitative data, the author conducted in-depth interviews with 16 active students. In both cases, the author took into account the important geographical aspect (to cover all parts of the country). In the third section, the author presents the research results that are related to the answers to the research questions. In light of the data, the author states that it is difficult to talk about excessive radicalism of Ukrainian youth, although the level of very radical youth is relatively high. He also notes that the scale of radicalism does not significantly affect the students’ tendency to prolonged protests. It is indicative, however, that moderate-minded youth are more likely to participate in long-term protests. This result is practically the opposite of the popular opinion that it is radical youth who are willing to protest predominantly. The young students’ tendency to protest may probably be the result of their mentality (part of their political culture). The conclusions of the article may have a significant impact in the discussion of the readiness of Ukrainian youth to protest rooted in their historically “inherited” mentality, not in their political radicalization, as commonly thought.

References

1. Donii, O. (1995) *Students'ka revolyutsiya na graniti: al'bom*. Kyiv: Smoloskyp; Triumf.
2. Jędraszczyk, K. (2016) *Spoleczeństwo i kultura Ukrainy*. Gniezno: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
3. Boiko, O. (2003) Zahostrennia politychnoi konfrontatsii v Ukraini: ataka opozytsii ta kontr-nastup konservatoriv. *Suchasnist*. 2. pp. 67 – 76.
4. Wilson, A. (2000) *The Ukrainians: Unexpected Nation*. New Haven: Yale University Press.
5. Diuk, N. (2012) *The Next Generation in Russia, Ukraine and Azerbaijan: Youth, Politics, Identity, and Change*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
6. Junes, T. (2016) Euromaidan and the Revolution of Dignity: A Case Study of Student Protest as a Catalyst for Political Upheaval. *Critique & Humanism*. 46(2). pp. 73–96.
7. Junes, T. (2016) Evromaydan i Revolyutsiya dostoinstva: studencheskiy protest, kataliziruyushchii politicheskie peremeny [Euromaidan and the Revolution of Dignity: Student Protest Catalyzing Political Change]. *Forum noveyshey vostochnoevropeyskoy istorii i kul'tury*. 1. pp. 7–30.
8. Szafraniec, K. (2012) Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła. *Nauka*. 1. pp. 101–122.
9. Schmitter, P. (1995) Zagrożenia, dylematy i perspektywy konsolidacji demokracji. *Studia nad systemem reprezentacji interesów*. 3. pp. 43–74.
10. Marx, K. & Engels, F. (1962) *Dziela*. Vol. 4. Warsaw: Standardowe.
11. Fiedosiejew, P. (ed.) (1979) *Naukowy komunizm*. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
12. Sztompka, P. (2005) *Socjologia. Analiza społeczeństwa*. Kraków: Znak.
13. Huntington, S. (1968) *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University.
14. Correa de Oliveira, P. (2001) *Revolucja i kontrrewolucja*. Kraków: Arcana.
15. Sztompka, P. (2002) *Socjologia zmian społecznych*. Kraków: Plus.
16. Tocqueville, A. (1994) *Dawny ustrój i rewolucje*. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
17. Davies, J. (1962) Toward a Theory of Revolution. *American Sociological Review*. 27(1). pp. 5–19.
18. Skeris, P. (1977) Teoria grup odniesienia porównawczego. *Roczniki Nauk Społecznych*. 5. pp. 87–103.
19. Geschwender, J. (1968) Exploration in the theory of social movements and revolutions. *Social Force*. 42(2). pp. 127–135. DOI: 10.1093/sf/47.2.127

20. CEDOS. (2013) *Protesti, peremogi i represii v Ukraïni: rezul'tati monitoringu*. [Online] Available from: https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/016/original/ZVIT_2013_web.pdf?1386716695 (Accessed: 10th April 2020).
21. Szreder, M. (2010) *Metody i techniki sondażowych badań opinii*. Warsaw: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
22. Marzęcki, R. (2020) *Pierwsze pokolenia wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów*. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

УДК 323.21

DOI: 10.17223/1998863X/57/22

М.Ю. Мартынов, А.И. Габеркорн

О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА¹

Предлагается концептуализация понятия «патриотизм». Патриотизм рассматривается как специфическое социально-политическое отношение, формирующее особое состояние политического сознания и нравственного чувства, направленное на выполнение гражданского долга. Опираясь на предложенную концептуализацию, проинтерпретированы результаты проведенного социологического опроса на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Предметом исследования являлись факторы, определяющие патриотические установки в сознании и поведении граждан.

Ключевые слова: патриотизм, любовь к Родине, гражданский долг.

Обращение исследователей к теме патриотизма в последнее время становится настолько частым, что порождает вполне обоснованные подозрения в стремлении к некой конъюнктурности, чтобы «...по мере возможностей дать властям предержащим свою схему формирования и закрепления патриотизма» [1. С. 264]. Избежать этих подозрений и придать подобным исследованиям позитивистское, научное содержание могло бы использование прикладных методов. И действительно, патриотические установки в политическом сознании россиян и, соответственно, выявление доли «патриотов» в массе населения стали предметом социологических опросов [2–4]. Но одновременно исследователям пришлось столкнуться с трудностями методологического характера, связанными с концептуализацией понятия «патриотизм».

На первый взгляд, смысл концепта совпадает с понятием «любовь к Родине», содержание которого не требует логического анализа и априорно, интуитивно улавливается каждым: «В целом понятие „патриотизм“ даже на уровне обыденного сознания кажется простым и очевидным по своему смыслу, не требующим слишком сложных дефиниций и объясняющих моделей. Исторически сложилось устойчивое представление о том, что патриотизм означает любовь к Отчизне, к родине, привязанность к месту своего проживания...» [5. С. 16].

Однако в этом случае интерпретация полученных в ходе опроса ответов на вопрос «Относите ли Вы себя к патриотам?» эвристически малосодержательна. На этот вопрос, по большей части дешифруемый респондентом как «Люблю ли я Родину?», трудно дать отрицательный ответ. Поэтому оценка по результатам опросов «уровня патриотичности» наших граждан на самом деле измеряет лишь уровень социально одобряемого поведения. Но что на

¹ Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания на научно-исследовательские работы от Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа.

самом деле мы хотим узнать, обращаясь к исследованию патриотизма, и что скрывает это понятие?

Эвристическое значение данного понятия определяется его способностью метафорически описать ценностные ориентации в качестве мотивационной стороны деятельности человека, определяющей эволюцию социальных и политических институтов. Другими словами, мы изучаем «патриотические» ценностные ориентации не для того, чтобы описать патриотизм и «посчитать» патриотов, а описываем патриотизм и изучаем патриотов, чтобы понять ценностные ориентации респондентов, скрываемые за этой метафорой.

Для концептуализации понятия представляется продуктивным подход, предложенный С.А. Магарилом. Он связывает патриотизм с функционированием политической системы и с целями правящих режимов [6. С. 142–151]. Но одновременно такая трактовка концепта создает перспективу наполнения его идеологическим содержанием. В результате «...определения создаются и множатся в соответствии с разными идеологическими трендами. Происходит их операционализация в конкретных политологических и философских исследованиях и политических текстах, в публичных выступлениях деятелей, придерживающихся консервативной, либеральной, коммунистической или иной идеологической ориентации» [7. С. 2].

Способом разрешения спора о содержании понятия здесь может стать обращение к его происхождению, изначальному смыслу, который в него вкладывался.

Гражданский патриотизм приходит на смену характерным для докапиталистического общества патриархально-общинному, или, по определению Э. Хобсбаума, «низовому патриотизму» [8. С. 120], и династическому патриотизму с сакрализованным монархом в качестве идентификационного символа.

В современном виде концепт патриотизма как патриотизма гражданского появляется вместе с гражданским обществом, буржуазным государством и складыванием современных наций. В классическом виде понятие гражданского патриотизма было сформулировано Г. Гегелем. В его понимании, подлинный патриотизм возникает лишь на высшем этапе развития государственности, которая преодолев предыдущие, менее совершенные, формы вроде деспотического правления, становится завершающим развитием «мирового духа», где отчуждение граждан от государства оказывается окончательно преодоленным. Теперь это их государство, воплощающее их интересы, и они связаны с ним законом взаимного долженствования. Только в этом случае возможно формирование, по выражению Г. Гегеля, «корпоративного духа» как основы патриотизма: «Корпоративный дух, зародившийся в правомочии особых сфер, переходит в самом себе в государственный дух, обретая в государстве средство сохранения особенных целей. В этом состоит тайна патриотизма граждан в этом аспекте – они знают государство как свою субстанцию, ибо оно сохраняет их правомочия и авторитет, а также их благосостояние» [9. С. 330].

Любовь к Родине – это высокого уровня нравственное чувство и психоэмоциональное состояние, которое носит примордиальный и универсальный характер. Гражданский патриотизм, безусловно, включает любовь к Родине, но не сводится только к ней. Это тесно взаимосвязанные, но сущностно различающиеся явления. Любовь к Родине характерна и для неполитической

стадии. Патриотизм – явление сугубо политического мира, и его концепт описывает отношения взаимных обязательств между гражданами и государством.

Своим возникновением современный гражданский патриотизм обязан появлению наций и национального самосознания, и он, в свою очередь, становится предпосылкой появления современных государств. Патриотизм – дискурс преобразования этого самосознания, первоначально именуемого «духом народа», «корпоративным духом», а позже национализмом, в государственно институализированную форму – «государственный дух», по терминологии Г. Гегеля. Наиболее ярко эта роль патриотизма проявляется в период национально-освободительных движений, на примерах которых Э. Геллнер строит теорию образования наций и национальных государств, подчеркивая, что «...национализм является очень специфической разновидностью патриотизма, которая распространяется и начинает доминировать только при определенных социальных условиях...» [10. С. 280].

Однако функцию «огосударствления» национального самосознания патриотизм выполняет не только в экстремальной политической ситуации вроде национально-освободительной борьбы или войны за независимость. «Патриотизм, опирающийся исключительно на идею государства, – пишет Э. Хобсбаум, – может быть порой весьма эффективным, ибо само существование и сами функции современного территориального правового государства постоянно вовлекают жителей в его дела и таким образом формируют совершенно особый институциональный ландшафт, который составляет внешнюю обстановку их повседневной жизни и во многом определяет ее содержание» [8. С. 138].

Конечно, в период, например, войны за независимость совпадение интересов власти и граждан достигает своего апогея. Но и в обычной жизни представление населения об уровне патриотичности власти не может опускаться ниже определенного уровня, за которым начинается ее «депатриотизация» – формирование общественного мнения о ее деятельности как о непатриотической. Подобная «депатриотизация» становится формой делигитимизации власти.

В самом общем смысле современный гражданский патриотизм можно определить как особую установку политического сознания и поведения на взаимное выполнение обязательств гражданина (гражданского долга) и власти (государственных институтов), выступающую основой формирования национально-государственной идентичности.

В случае выполнения государством своих обязательств по обеспечению интересов граждан оно достигает своего высшего, в гегелевском смысле, предназначения, а патриотическое сознание и поведение в таком обществе – наибольшего развития. В этом принципиальное отличие гражданского патриотизма от предшествовавших форм – «дополитического», ограниченного «любовью к родному очагу», «могилам предков» и т.д., а также «династического», не предполагающего оценку подданными деятельности власти и наличие долга перед ними.

Соответственно, используемые в интерпретациях результатов социологических опросов понятия повышения или понижения «уровня патриотизма» на самом деле измеряют актуальный уровень легитимности власти. И сниже-

ние «уровня патриотизма» свидетельствует отнюдь не об его умалении, а о том, что патриотизм теряет «объект приложения» в лице данной власти, и его носители готовы начать поиски нового – более «патриотичного», с их точки зрения, объекта.

В России задача создания патриотической идеи была сформулирована еще Петром I. Однако для возникновения патриотизма гражданского типа не хватало социальной базы в силу слабости его потенциального носителя – русской буржуазии. Поэтому был выдвинут единственно возможный концепт патриотизма – «государственный патриотизм», который опирался на традицию патернализма. Но, по сути, он в значительной мере сохранял черты династического патриотизма. Демонстрация государством соответствия его действий интересам народа являлась условием патриотического поведения подданных. Долженствование государства, персонифицированное в лице монарха, представляло собой сложный комплекс ожиданий, главными из которых были обеспечение минимальных социальных условий для существования населения, защита от произвола местной знати, чиновничества и манифестируемое подтверждение единства власти и народа. Данный вариант государственного патриотизма и был выражен известной формулой С.С. Уварова «православие, самодержавие, народность».

В противовес официальному дискурсу, конечно, существовали и другие концепты патриотизма, развиваемые различными группами русской интеллигенции. В результате к началу кризисных событий XX в. в российском обществе сложилось несколько версий трактовки патриотизма: официальная доктрина, опиравшаяся на туманное определение «народности»; «западническая» либеральная концепция патриотизма как гражданского долга при отсутствии самого гражданского общества; интеллигентское «мессианское» представление о долге общечеловеческом, прекрасное по целям, но имеющее мало отношения к реальности.

Концептуальный раскол лишь отражал ценностный и социальный раскол общества. Поэтому, когда он перешел в «горячую фазу» с началом Гражданской войны, она стала войной и между «патриотизмами». Ее участники любили одну и ту же Родину, но каждый по-своему видел ее будущее, потому что они были патриотами, по сути, разных государств. Для одних это было прежнее самодержавное государство, для других – либерально-буржуазное, для третьих – пролетарское, для четвертых патриотизм не выходил за пределы родной станицы.

В современной России для формирования гражданского патриотизма сложились непростые условия. Специфически проведенная в 1990-х гг. приватизация не наделила основную часть населения собственностью, а отсутствие буржуазного «среднего» класса не позволило сформироваться полноценному гражданскому обществу, должному выступать социальной почвой для складывания патриотизма гражданского типа. Эта трудность формирования смыслов патриотизма на либеральной основе актуализировала в конце 1990-х гг. поиск так называемой «национальной идеи», завершившийся к середине 2000-х гг. доктринальным оформлением современного российского концепта патриотизма со смысловым стержнем в виде гордости за победу в Великой Отечественной войне.

Неверно считать этот концепт исключительно продуктом символической политики и усилий официальной пропаганды. На самом деле в основе его принятия обществом лежали серьезные социально-экономические изменения, начавшиеся в середине 2000-х гг. Обобщая, их можно охарактеризовать как восстановление патерналистских и символических связей государства и граждан, которые ослабли в конце советского периода и были проигнорированы либеральными реформаторами в 1990-е гг. И дело здесь было даже не в некотором, зафиксированном статистикой, подъеме уровня жизни в 2000-е гг., вполне объяснимом благоприятной экономической конъюнктурой. Гораздо важнее, что население увидело (или хотело увидеть) за этим улучшением восстановление государственного долженствования перед гражданами, в первую очередь в поддержке социальной сферы и усилении контроля за бюрократией. Но столь же динамично это общественное настроение может двинуться и в обратном направлении. Здесь принципиально важно отношение респондентов к смыслам действий государства. Например, решение о повышении пенсионного возраста было крайне негативно встречено общественным мнением не столько как фактор снижения уровня жизни, сколько в силу восприятия его именно как символического действия, как признака отказа государства от своего долженствования и превращения правящего слоя в замкнутую, отделяющуюся от остального населения группу.

Поэтому, как представляется, неверно считать современный российский патриотизм сугубо «патерналистским», «династически-авторитарным». Столь же эвристически малосодержательной является трактовка в современных российских исследованиях патриотизма как «любви к Родине», означающая методологическое предположение, что этот патриотизм носит неполитический, «догражданский» характер.

Опираясь на концептуализацию понятия современного российского патриотизма как формирующегося патриотизма гражданского типа, мы проинтерпретировали результаты социологического опроса, проведенного в марте-апреле 2018 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа¹.

Предметом исследования являлись факторы, определяющие патриотические установки в сознании и поведении граждан. Независимой переменной, измеряющей ценность такого поведения в сознании опрошиваемых, выступали программные позиции гипотетического политика, которого респондент поддержал бы на президентских выборах. По результатам опроса, выбор лидера, «занимающего патриотическую позицию», в общем числе ответов оказался на втором месте (67,3%), лишь немногим уступив варианту ответа «обеспечивающего сохранение социально-экономической стабильности» (77,2%) (возможно было выбирать несколько вариантов ответа). Причем эта позиция существенно опередила другие варианты ответов, например «обеспечивающего обороноспособность страны» (54,5%) или «обеспечивающего

¹ Генеральной совокупностью опроса являлись жители Ханты-Мансийского автономного округа старше 18 лет (N = 600 человек). Опрос осуществлялся методом формализованного интервью по месту жительства по стратифицированной, многоступенчатой, районированной, квотной выборке, репрезентированной по полу, возрасту и уровню образования. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением половозрастной и образовательной структуры, а также пропорций между населением, проживающим в населенных пунктах различного типа (Сургут, Нижневартовск, Лангепас, Нефтеюганск, пос. Федоровский, Березовский район, Сургутский район). Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

сохранение и развитие политических свобод» (22,4%). Таким образом, ценность патриотического поведения политических деятелей и политических институтов в глазах граждан весьма велика.

Это мнение затем было сопоставлено с оценкой респондентами соответствия данной ценности реальной деятельности политиков и институтов. Независимой переменной такой оценки выступало суждение респондента о том, в какой мере действия перечисленных в вопросе основных политических акторов соответствуют его представлениям о патриотической деятельности. Ответы давались отдельно по каждому из акторов. Судя по ответам респондентов, наиболее «патриотически ориентированной» они считают деятельность Русской православной церкви, на что указали 69,5% опрошенных, а также деятельность Президента, что отметили 45,5% опрошенных. Деятельность остальных акторов оказалась признана патриотической в гораздо меньшей мере. Например, только 22,6% признали патриотическими действия правительства, и лишь для 28,4% таковым выглядит поведение политических партий.

Затем были выделены кластеры по признаку активной или пассивной гражданской позиции респондентов в зависимости ответа на вопрос: «В каких формах Вы готовы проявлять свою гражданскую активность?». Как выяснилось, большинство – 63,5% из группы респондентов, которые отнесли себя к патриотам, – предпочитают тем не менее пассивные формы проявления гражданственности, такие как «участие в голосовании на выборах», «изучение истории и культуры своей страны», «воспитание в себе и в других людях любви и уважения к Родине», «соблюдение законов страны». Эту группу можно назвать «пассивные патриоты». Еще 24,3% из числа идентифицирующих себя как патриотов в ответе на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» назвали такие формы гражданской активности, как «участие в волонтерском движении», «участие в деятельности общественных организаций, инициативных групп», «участие в самоуправлении по месту жительства». Эту группу условно можно назвать «активные патриоты». К «непатриотам» отнесли себя 12% опрошенных. Затруднились ответить 8,2%.

Как оказалось, отношение респондентов из вышеописанных групп к таким универсальным ценностям, как справедливость, правовая защищенность, уважение к традициям и свобода слова, практически мало различалось. Столь же несущественными оказались различия в «чувстве любви к Родине», испытываемом опрошенными гражданами.

Зато в оценке социально-экономического положения в стране и социального благополучия ее граждан ситуация совсем иная, здесь различия в суждениях респондентов разных кластеров более заметны. Так, ситуация с уровнем и качеством жизни населения России не устраивает большинство респондентов из числа «непатриотов»: 68,5% оценивают ее как «неудовлетворительную». Оценка «активных патриотов» выглядит заметно более позитивной: менее половины (45,2%) считают ее «неудовлетворительной». Мнение «пассивных патриотов» здесь ближе к «непатриотам»: 66,3% из них также дали социально-экономической ситуации неудовлетворительную оценку.

Еще больше различия проявились в отношении доверия к институтам государства и власти в целом. Как оказалось, «активные патриоты» в значительной большей степени, чем представители других групп, верят в то, что власть действует в интересах всего народа. Среди «непатриотически» и «пас-

сивно патриотически» настроенных респондентов преобладает мнение, что власть обслуживает интересы чиновников.

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует, что различия в патриотической позиции респондентов оказались отнюдь не связанными с разной степенью любви к Родине. Это чувство в равной мере присуще всем опрошенным. Различия в патриотической позиции главным образом определяются, во-первых, разной оценкой респондентами социально-политического положения, как своего собственного, так и в стране в целом, во-вторых, оценкой соответствия деятельности государственных институтов интересам общества, граждан.

В целом патриотические установки современных россиян не столько складываются под воздействием инструментов символической политики, сколько выступают результатом оценки гражданами целей и результатов деятельности государственных институтов. Это означает, что в политическом сознании населения не исключено формирование установки на поиск «более патриотичных», по его представлениям, акторов. И вновь, как и сто лет назад, разное понимание патриотизма может оказаться одним из маркеров, обозначающим противоборствующие политические силы.

Литература

1. Щербинин А.И. Патриотизм как номенклатурный конструкт // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 3 (35). С. 264–271.
2. Гордость, патриотизм и ответственность // ВЦИОМ. 2015. 7 дек. URL: <https://www.levada.ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-otvetstvennost/> (дата обращения: 26.03.2019).
3. ТАСС: Оливье, Обломов и «Война и мир». Что еще объединяет россиян? : аналитика экспертов ВЦИОМ // ВЦИОМ. 2018. 02 нояб. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=9405> (дата обращения: 26.03.2019);.
4. Что значит быть патриотом? // ВЦИОМ. 2018. 9 июня. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156> (дата обращения: 26.03.2019).
5. Гузенкова Т.С. Патриотизм, глобализация и национальное государство: взаимодействие и противоречие // Патриотизм как идеология возрождения России : сб. ст. и докл. М. : РИСИ, 2014. С. 15–28.
6. Магарил С.А. Смыслы патриотизма – исторические трансформации // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142–151.
7. Вилков А.А., Колесников К.Ю. Особенности предметного пространства политологического анализа патриотизма // Вестник МГОУ : электронный журнал. 2015. № 1. URL: <https://vestnik-mgou.ru/ru/Issues/View/19> (дата обращения: 22.10.2019).
8. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. / пер. с англ. А.А. Васильева. СПб. : Алтейя, 1998. 305 с.
9. Гегель Г.В.Ф. Философия права : пер. с нем. / ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нересеянц. М. : Мысль, 1990. 526 с.
10. Геллнер Э. Нации и национализм: пер. с англ. / ред и послесл. И.И. Крупника. М. : Прогресс, 1991. 320 с.

Mikhail Yu. Martynov, Surgut State University (Surgut, Russian Federation).

E-mail: martynov.mu@gmail.com

Alyona I. Gaberkorn, Surgut State University (Surgut, Russian Federation).

E-mail: gab_alena@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 236–243.

DOI: 10.17223/1998863X/57/22

CONCEPTUALIZATION OF PATRIOTISM IN THE STUDIES OF MODERN CIVIL SOCIETY

Keywords: patriotism; civic identity; love of motherland; civic duty.

The article proposes versions of conceptualization of patriotism as a methodological basis for the research. It considers the concepts of patriotism as a specific sociopolitical attitude that forms a special state of political consciousness and moral feeling aimed at fulfilling civic duty to the state and its institutions. The condition for the formation of patriotism is the compliance of the activities of these institutions with the interests of citizens. The authors assume that the concepts “love of motherland” and “patriotism” describe essentially different phenomena. The concept “love of motherland” describes a phenomenon that has a primordial essence. The concept “patriotism” refers to the political background and is defined through attitudes towards the state and civic duties. The authors argue that patriotism has a specific historical character and is transformed depending on the dynamics of social relations. There was no social basis for constructive patriotism to appear in Russia because of the weakness of the Russian bourgeoisie, the potential adherents of this type of patriotism. The concept of patriotism relying on paternalist tradition was proposed. There also existed other interpretations of patriotism. In fact, the conceptual split showed only the value and social split of the society. Consequently, when the split moved to its “hot stage” with the beginning of the Civil War, the war became the confrontation between different interpretations of patriotism. Modern Russia, like the pre-revolutionary, has not formed a fully-fledged civil society as the social basis for constructive patriotism. Following the suggested conceptualization of patriotism, the authors interpreted the results of a survey they conducted in March and April 2018 in Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The survey examined factors determining patriotic attitudes in citizens’ minds and behavior. All respondents showed an inherent feeling of love for their motherland, but there were significant differences in their patriotic stances. The different stances depended on the assessment of the compliance of the activities of state institutions with the interests of society and citizens. The relationship was direct: the more patriotic the activities of the institutions of power seemed to the respondents, the more patriotic the respondents felt to be. Depending on this assessment, the survey identified clusters of the respondents: active patriots, passive patriots, non-patriots. The authors conclude that it is possible to form an attitude to search for “more patriotic” actors in the political consciousness of the population.

References

1. Scherbinin, A. (2016) *Patriotism as a nomenclature construct*. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 3(35). pp. 264–271. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/35/28
2. Levada.ru. (2015) *Gordost', patriotizm i otvetstvennost'* [Pride, patriotism and responsibility]. [Online] Available from: <https://www.levada.ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-otvetstvennost/> (Accessed: 1st March 2019).
3. WCIOM. (n.d.) *Oliv'e, Oblomov i "Voyna i mir". Chto eshche ob"edinyayet rossiyan? : analitika ekspertov VTsIOM* [TASS: Olivier, Oblomov and War and Peace. What else unites Russians? Analytics of VTsIOM experts]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=9405> (Accessed: 26th March 2019)
4. WCIOM. (2018) *Chto znachit byt' patriotom?* [What does it mean to be a patriot?]. 9th June. [Online] Available from: <https://wciom.ru/in-dex.php?id=236&uid=9156> (Accessed: 26th March 2019).
5. Guzenkova, T.S. (2014) Patriotism, Globalization and the National State: interaction and contradiction In: Guzenkova, T.S. (ed.) *Patriotizm kak ideologiya vrozozhdeniya Rossii* [Patriotism as the Ideology of Russian Revival]. Moscow: RISI. pp. 15–28.
6. Magaril, S.A. (2016) Meanings of patriotism – historical transformation. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 142–151. (In Russian).
7. Vilkov, A.A. & Kolesnikov, K.Yu. (2015) Subject field peculiarities of political analysis of patriotism. *Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta – Bulletin of Moscow Regional State University*. 1. [Online] Available from: <https://vestnik-mgou.ru/ru/Issues/View/19>. (Accessed: 22nd October 2019). (In Russian). DOI: 10.18384/2224-0209-2015-1-629
8. Hobsbawm, E. (1998) *Natsii i natsionalizm posle 1780 g.* [Nations and Nationalism since 1780]. Translated from English by A.A. Vasilieva. St. Petersburg: Aleteyya.
9. Hegel, G.W.F. (1990) *Filosofiya prava* [Philosophy of Right]. Translated by D.A. Kerimov, V.S. Neresyants. Moscow: Mysl'.
10. Gellner, E. (1991) *Natsii i natsionalizm* [Nations and Nationalism]. Translated from English by I.I. Krupnik. Moscow: Progress.

УДК 321.02

DOI: 10.17223/1998863X/57/23

А.П. Кочетков, В.В. Моисеев

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рассматривается деятельность российской политической элиты по руководству социально-экономической политикой в современной России. Акцентируя внимание на качественных характеристиках российской элиты, особое внимание уделяется анализу основных составляющих и последствий ее социально-экономической политики. По мнению авторов, человеческий капитал российской элиты не достиг пока качественных показателей, сопоставимых с развитыми странами мира, и не всегда является решающим фактором инновационного развития регионов и национальной экономики. Поэтому модернизация человеческого капитала российской элиты должна стать приоритетным направлением государственной политики современной России. Ключевые слова: человеческий капитал, государственное управление, Россия, социально-экономическая политика, российская элита, российские граждане, бюрократия.

Введение

Трудно переоценить значение политической элиты в современной российской политике. Элита, наиболее активная и способная часть общества, занимает ведущие позиции в выработке норм и ценностей, на которые ориентируются все его члены. Обладая реальной властью, политическая элита принимает важнейшие политические решения, в том числе и в социально-экономической сфере, и ведет за собой остальные социальные слои и группы населения.

В современной России элитные группы являются не только важнейшими акторами формирования внутренней и внешней политики, но и в большей степени, чем в западных странах, монопольными участниками политических процессов. Заявленные сегодня руководством страны приоритеты социально-экономического развития, в том числе реализация приоритетных национальных проектов до 2024 г., напрямую соотносятся с проблемой человеческого капитала политической элиты как важнейшего условия их реализации.

Значение человеческого капитала в формировании долгосрочного устойчивого экономического роста показано в трудах ряда авторитетных зарубежных исследователей [1–6].

Российские политологи уделяют значительное внимание проблеме изучения элит (см.: [7–10]). Исследованию человеческого капитала российской элиты посвящены труды И.А. Андросенко [11], А.Г. Ашина [12, 13], Н.А. Баранова [14], О.В. Гаман-Голутвиной [15], Д.К. Григоряна [16], А.В. Дука [17], А.П. Кочеткова [18, 19], О.В. Крыштановской [20], А.В. Понеделкова [21], А.В. Селезневой, Е.Б. Шестопаля [22] и других российских ученых. В работах данных российских авторов сделан вывод о том, что в социально-экономическом развитии страны важнейшую роль играет

человеческий капитал правящей элиты, от качества которого во многом зависит настоящее и будущее России.

Авторы не ставят задачу анализа всех факторов, влияющих на социально-экономическую политику современной России, среди которых структурные особенности государственного управления, наличие или отсутствие гражданского контроля, роли латентных акторов и др. Целью данного исследования является анализ деятельности российской политической элиты при проведении социально-экономической политики, ее человеческого капитала, т.е. совокупности ее знаний, умений, навыков, использующихся для разработки и проведения государственной социально-экономической политики и оказывающих влияние на ее эффективность, а также определение модели его воспроизводства.

В политической науке выделяются две основные модели воспроизводства человеческого капитала политической элиты: конкурентная и поддерживающая [23. С. 91].

Конкурентная модель предполагает наличие эффективных механизмов подготовки и отбора высококвалифицированных специалистов на основе меритократических принципов. Элита при этой модели формируется и распределяется по ключевым государственным постам на основе реальных способностей и компетенции ее членов. Открытость данной модели способствует развитию рациональных, прагматических, поведенческих стратегий правящей элиты, стимулирует принятие ею самостоятельных решений и действий, исходя из собственных интересов и принципов, ориентированных на максимизацию полезности своего поведения.

Поддерживающая модель создается и развивается на основе ценностных ориентиров и стандартов поведения определенной «статусной группы». При данной модели у элиты целенаправленно формируется определенный набор качеств и норм, обеспечивающих ее существование. Актор в данном случае является социализированным элементом, поведение которого предопределяется негласно установленными социальными нормами, правилами и обязательствами, а человеческий капитал интегрирован в «статусную группу».

В рамках какой модели идет воспроизводство человеческого капитала российской элиты и как это влияет на принятие элитой государственных решений в социально-экономической области?

Исторические традиции формирования российской политической элиты

На протяжении всей российской истории правящая элита России представляла собой довольно узкую, сплоченную группу, имевшую общие интересы и социокультурные традиции, которые ставились ею превыше всего. Например, начиная с XVI в. в России царь назначал наместников, управлявших отдельными регионами, из бояр и других представителей элиты. Но поскольку денег в казне хронически не хватало, княжескую администрацию сажали на «кормление» или «на хлебное место», на котором она содержалась за счет местного населения в течение всего периода службы. Таким образом, уже в те времена должность позволяла не только безбедно жить, но и использовать ее для личного обогащения. Данная традиция глубоко укоренилась в российской элите и представляла, по существу, узаконенную коррупцию,

оказывая разлагающее влияние на элиту, и на общество в целом. Существовали как объективные причины этого явления (необходимость разветвленной административной элиты в огромной стране и недостаток денег для вознаграждения за ее службу из-за огромных расходов на непрерывные войны), так и субъективные (живейшая готовность членов элиты извлечь максимум выгод из занимаемых административных постов).

Россия длительный исторический период в силу ряда причин, в том числе постоянных внешних угроз, вынуждена была развиваться на основе мобилизационного типа организации всей жизни общества. В этих условиях важнейшей функцией верховной власти стало инициирование импульсов модернизации под давлением внутри- или внешнеполитических кризисов либо их наложения. Этот тип развития предполагал авторитарную, милитаризованную, вертикально-иерархическую политическую систему, которая делала ставку на принудительные методы решения социально-экономических проблем. В российском обществе постоянно существовал приоритет политического начала над экономическим, что вызвало к жизни «служилую» модель рекрутирования правящей элиты и привело к формированию характерного социально-психологического типа ее представителей. Авторитарная власть предполагала и авторитарную элиту, являющуюся проводником этой власти [15. С. 63].

Отличительные черты современной российской политической элиты и их влияние на социально-экономическую политику

Сегодня, говоря о качестве человеческого капитала в российской элите, нельзя не отметить высокую коррупцию, поразившую все уровни государственной власти как в федеральном центре, так и в регионах. Используя свое служебное положение в целях личного обогащения, некоторые ее представители через коррупционные схемы занимаются хищениями в особо крупных размерах из государственного бюджета и других финансовых источников. Счет идет уже не на миллионы, а на миллиарды рублей. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, только 2018 г. размер материального ущерба от коррупционных преступлений составил 65,7 млрд рублей, что на 66% больше, чем в 2017 г. [24]. Львиная доля этих хищений приходится на тех, кто входит в российскую элиту. Наглядным примером этого являются уголовные дела, возбужденные против бывшего министра экономического развития А. Улюкаева и члена Совета Федерации Р. Арашукова.

Неотъемлемой составной частью человеческого капитала руководителя страны, региона, муниципалитета и других органов власти и управления является базовое образование, дающее важнейшие компетенции в той или иной области знаний. Например, чтобы руководить экономикой, нужно как минимум иметь высшее экономическое образование, опыт управления крупным производством и другую соответствующую подготовку. Чтобы руководить, нужно знать дело, – таков непреложный постулат государственного управления. Отсутствие необходимых знаний у российских управленцев высокого уровня отрицательно сказалось на социально-экономическом развитии нашей страны. Так, первый президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, не имея экономического образования, не зная основных экономических законов, но сосредоточив в своих руках всю полноту власти, произвел коренное рефор-

мирование экономики методом «шоковой терапии», что имело крайне негативные последствия для страны. Он как не обладал необходимыми знаниями и компетенциями, достаточными для успешного руководства огромной страной. Современники отмечали такие негативные качества личности Б. Ельцина, как пьянство, тяга к личному обогащению, непоследовательность и некомпетентность во многих вопросах, связанных с экономикой и социальной сферой. Зачастую слова и заверения руководителя страны расходились с его делами. Согласно результатам политико-психологических исследований, «личность Б. Ельцина определялась доминирующим мотивом власти при развитом мотиве аффилиации. Подобное сочетание обнаруживает эффективные отношения с прессой, инстинкт воздействия на других, стремление к контролю над ситуацией вплоть до применения грубой силы, тенденцию умело использовать людей и легкую смену окружения при изменении приоритетов». [25. С. 95].

Отметим, что для политической ментальности российской элиты характерны такие черты, как беспринципность и «холопство». Так, О. Гаман-Голутвина отмечает, что «преклонение перед силой остается доминирующей установкой поведения и центральной, и региональных властей, и населения» [26. С. 172]. Это приводит к безоговорочной преданности президенту, с одной стороны, и устойчивому приоритету клановых интересов над общенациональными – с другой. Исследователи выражают обеспокоенность сложившимся стратегическим потенциалом элиты, которая призвана защищать общество и повышать уровень его благосостояния. Так, Т. Заславская полагает, что российской элите «удалось создать такие правила игры, которые обеспечивают ей бесконтрольность и безответственность перед обществом. Результатом является углубление взаимного отчуждения власти и общества, проявляющегося, с одной стороны, в равнодушии власти к бедам народа, а с другой – в тотальном недоверии народа к представителям и институтам власти» [27. С. 294–295].

Главными отличительными чертами российской элиты сегодня стали: снижение доли «интеллектуалов», имеющих ученую степень (при Б. Ельцине – 52,5%, при В. Путине – 20,9%), уменьшение и без того крайне низкого представительства женщин в элите (с 2,9% до 1,7%). В правящей элите значительно возрос удельный вес людей в погонах: каждый четвертый представитель элиты стал военным (если при Б. Ельцине доля военных в элите составляла 11,2%, то при В. Путине – 25,1%). Для нее также характерно увеличение доли земляков главы государства (с 13,2% при Б. Ельцине до 21,3% при В. Путине) и рост доли бизнесменов (с 1,6% при Б. Ельцине до 11,3% при В. Путине) [20. С. 264].

Современная российская элита в России имеет во многом корпоративный характер. Крупные корпорации (государственные и частные), обладающие огромными финансовыми ресурсами, контролируют самые важные предприятия и производства, постепенно монополизировали рынок средств массовой информации и в настоящее время способны серьезно влиять на процесс принятия важнейших государственных решений. Корпоративная система России носит договорной характер и строится на основе взаимозависимости наиболее влиятельных заинтересованных групп и государства.

Среди негативных качеств российской элиты стоит отметить не только алчность и корыстолюбие, выражающиеся в ее массовой коррупции, но и яв-

ное фарисейство. Призывая россиян к патриотизму, работе на благо Родины, готовности к защите страны от внешних врагов, прежде всего от стран НАТО во главе с США, большинство представителей российской элиты имеют в этих странах крупную недвижимость, получают второе гражданство и вид на жительство, вкладывают свои деньги в офшоры и иностранные банки. Так, некоторые бывшие члены российского правительства имели вид на жительство (ВНЖ) в Италии, Германии, Франции, Великобритании, Болгарии (страны – члены блока НАТО), например бывший вице-премьер О. Голодец – в Италии, бывший министр труда и соцзащиты М. Топилин – в Болгарии. После отставки правительства и внесенных поправок в Конституцию РФ они были освобождены от занимаемых постов; такая же участь может ждать и других чиновников, которые имеют вид на жительство или гражданство иностранных государств. «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», – подчеркнул президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г. [28].

Особенности социально-экономической политики современной российской политической элиты

Сегодня в России социально-экономическая политика государства осуществляется в интересах, прежде всего, корпоративных элит, достаточно замкнутых социальных слоев, образованных в результате фактического слияния верхушки политических и бизнес-элит, господствующих в экономике и финансах, имеющих во многом определяющее влияние на принятие важнейших политических решений. В стране, занимающей лидирующие позиции в мире по добыче и экспорту нефти и газа, других природных ресурсов, свыше 110 долларовых миллиардеров, 246 тыс. долларовых миллионеров. В руках 10% самых обеспеченных наших сограждан сосредоточилось 83% всего личного благосостояния в стране. Это выше, чем в США (76%), имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран [29]. Отметим, что состояние российских миллиардеров увеличивается год от года на фоне снижения темпов роста ВВП, антироссийских санкций, продолжающегося падения реальных доходов населения.

Причина такого экономического парадокса состоит в том, что при созданном в России олигархическом капитализме основным выгодоприобретателем от всех изменений в экономике страны является крупный бизнес, тесно связанный с государством, с политической элитой. Образовался класс свехбогачей (олигархов), которые в совокупности владеют 90% всей собственности, приносящей большой доход их владельцам. Так, личное состояние совладельца Норильского Никеля В. Потанина к началу 2020 г. оценено агентством Bloomberg в 28,2 млрд долл. США, нефтяного магната В. Алекперова – в 22,3 млрд долл. В целом капиталы российских миллиардеров увеличились в 2019 г. на 52,9 млрд долл. [30].

Ярким примером принятия государственных решений в пользу крупных экспортеров сырья является неоднократная девальвация национальной валюты (2008–2009, 2014–2015, 2020). После девальвации национальной валюты, искусственного изменения курса рубля к доллару нефтяные компании смогли

не только компенсировать часть потерь, связанных с падением цен на «черное золото», но и существенно обогатиться. Продавая нефть, бензин, дизельное топливо, мазут за валюту, нефтяные магнаты обменивают ее на рубли по очень выгодному для них курсу, а зарплату, налоги и долги смежникам платят в подешевевших рублях.

При девальвации рубля одновременно происходят большие потери у основной массы россиян, которые держат свои заработанные деньги, как правило, в национальной валюте и имеют незначительные накопления в твердой валюте – долларах и евро. С ростом курса иностранной валюты дорожают все импортные товары. Цены на заграничные автомашины, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, продовольствие и другие товары из-за рубежа возросли за последнее десятилетие в 1,5–2 раза. При масштабной девальвации многим слоям нашего в целом бедного населения приходится отказываться от импортных товаров.

Таким образом, девальвация ухудшает положение значительной части населения, так как влечет за собой повышение цен на товары импортного производства и падение реальной заработной платы. В результате проведения социально-экономической политики в интересах исключительно российской корпоративной элиты в России произошло резкое социальное расслоение, сопровождаемое обнищанием большинства населения. Даже по официальным данным число бедных в стране превышает 19 млн человек [28]. На самом деле количество бедных россиян в разы больше. Считать таких людей надо не по их нищенским доходам, а по реальным возможностям людей получать образование, поддерживать свое здоровье, ездить в отпуск, приобретать необходимую одежду себе и детям, сбалансировано питаться и т.д. Именно от этих важнейших условий, определяющих уровень жизни, во многом зависит формирование, развитие и использование человеческого капитала государства.

Но правящая элита и не стремится использовать человеческий капитал наших граждан для роста экономики, его доля в производстве продукции незначительна. Если в развитых странах (Германия, Япония, Южная Корея, Сингапур и др.) этот показатель достигает 80%, то в России он менее 15% [31].

На фоне значительного увеличения налогового бремени на рядовых граждан правящая элита России упорно не желает затрагивать интересы сверхбогатых россиян, вводить прогрессивную шкалу налогообложения под предлогом, что это будет способствовать выводу капитала из страны (как будто этого не происходит в действительности уже много лет). Предложение В. Путина повысить НДС для физических лиц, чей доход свыше 5 млн руб. в год, с 13 до 15% первый позитивный, но недостаточный шаг в решении данной проблемы [32]. Имея профицитный бюджет, российское правительство вместо оказания реальной социальной помощи малообеспеченным россиянам, установления достойных пенсий и пособий инвалидам и ветеранам труда, многодетным семьям и другим категориям нуждающихся россиян, предпочитает накапливать деньги в Фонде национального благосостояния. К концу 2019 г. в ФНБ сосредоточилось более 7,95 трлн руб., которые вложены в банки США и европейских стран, не работают на российскую экономику [33, 34]. Из этих денег правительство планирует вложить в эконо-

мику в 2020 г. только 1,8 трлн руб., чего явно недостаточно для создания условий успешного развития инновационной экономики и лучшего применения человеческого капитала нашей страны.

Экономия на зарплатах бюджетников, российская элита уже сегодня сталкивается с серьезным дефицитом высококвалифицированных кадров. За границу в поисках лучшей доли на ПМЖ уехали более 1,5 млн хорошо образованных и конкурентоспособных россиян, высококвалифицированных специалистов [35]. В известной компании Билла Гейтса, например, сегодня успешно трудятся более 22% сотрудников – выходцев из России. Еще 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, по утверждению Левада-Центра, хотели бы навсегда уехать из России [36].

Данная политика является результатом одностороннего мышления российской правящей элиты, которая опасается, что излишние денежные вложения в развитие социально-экономической сферы российского общества приведут к инфляции. Не желая расставаться с давно устаревшей монитаристской концепцией, она делает акцент только на одном из аспектов, способствующих инфляции. То, что к инфляции приводят низкий покупательный спрос населения, монополизм крупных компаний, неразвитость экономики в целом, снижение курса национальной валюты и ряд других факторов, – все эти обстоятельства просто игнорируются.

В результате ошибочной политики правящей элиты в отношении оплаты труда и налогообложения население вынуждено брать займы в банках на неотложные нужды (покупку одежды, обуви, чтобы собрать ребенка в школу и т.п.). Росстат отмечает, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. Недостающие деньги россияне вынуждены брать в займы в банках и других кредитных организациях. К началу 2020 г. общая сумма кредитов россиян достигла астрономической величины – свыше 15,5 трлн рублей. Причем, по данным Минэкономразвития, в 2019 г. половина российских заемщиков направляла на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. 16% из этих кредитов являются проблемными: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней [37].

Настораживает и отношение российской элиты к представителям малого и среднего бизнеса. На словах обещая им всемерную поддержку и помощь, правящая элита через силовые структуры и зависимые суды проводят явно противоположную линию. Российские предприниматели на своем горьком опыте убедились, что в России нет никаких гарантий для защиты их прибыльных предприятий. На это указывает, в частности, тот факт, что за последние 25 лет ими было выведено за рубеж около 750 млрд долл., или почти три годовых бюджета страны. [38] Вернуть эти огромные деньги в Россию не удастся: бизнесмены предпочитают держать свои накопления в западных банках. Если бы эти активы были вложены в отечественную экономику, они могли бы увеличить объемы производства и доходы бюджета от налогов, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы. Но вместо этого большая их часть пошла на покупку зарубежных активов, в том числе и шикарных яхт, которые используются российской элитой в качестве развлечения и отдыха.

Влияние кадрового потенциала российской политической элиты на социально-экономическую политику

Став законно избранным президентом, В. Путин начал реформу государственного управления, в результате которой была создана новая вертикаль власти, основанная на огромных полномочиях главы государства, вокруг которого сплотилась правящая элита. Данное обстоятельство снижало возможности других высших должностных лиц в разработке стратегии развития страны, объективно подвигало их к демонстрации своей преданности президенту, а не к разработке и отстаиванию собственной позиции при принятии важнейших государственных социально-экономических решений. В результате при проведении кадровой политики произошло снижение требования профессионализма к отбору кадров на высшие руководящие должности. Именно по этой причине в разработке экономической стратегии государства была допущена серьезная ошибка: вместо развития экономики, основанной на знаниях, инновациях, IT-технологиях, ставка была сделана на добычу и экспорт сырья, прежде всего нефти, газа, за рубеж как наиболее легко осуществимую стратегию, дивиденды от которой получала узкая группа правящей элиты. Развитию инновационного производства, основанного на современных высоких технологиях и рациональном использовании человеческого капитала, уделялось второстепенное внимание.

С принятием широкомасштабной программы в мае 2012 г. у российской правящей элиты появился реальный шанс на ускорение экономического и социального развития страны. Реализация этой программы могла иметь успешное завершение при одном очень важном условии: сформировать правительство из компетентных, высокообразованных людей, профессионалов в своем деле. Решение о формировании нового состава Правительства РФ в январе 2020 г. привело к некоторому обновлению элиты. В его состав вошли такие высококвалифицированные профессионалы, как А. Белоусов, Ю. Борисов, В. Фальков, М. Решетников и ряд других, которые уже внесли свои предложения по улучшению финансирования развития российской экономики. Одновременно, к сожалению, на министерские должности вновь были назначены так называемые «универсальные управленцы», не имеющие базового образования, опыта работы в отрасли, которой нужно управлять. Так, министерством промышленности и торговли руководит социолог Д. Мантуров; главой космической отрасли (Роскосмос) является журналист-международник Д. Рогозин; Э. Набиуллина, ни дня не работавшая в банковской системе, стоит во главе Центрального банка России; Т. Голикова, бухгалтер по образованию, курирует социальную сферу, негативные результаты развития которой хорошо известны; Д. Патрушев, не являющийся специалистом в сельском хозяйстве, стоит во главе Минсельхоза России и т.д.

Даже при определенных ограничениях, связанных с интересами узкой элитной группы, высококвалифицированные, хорошо знающие свое дело руководители российской экономики и социальной сферы могли бы сделать для России значительно больше, чем данные «универсальные управленцы». Поэтому неудивительно, например, что министру-социологу с непрофильным образованием не удалось успешно решить задачу импортозамещения. Как признавал Д. Мантуров, зависимость России от импорта колоссальна. Так, в

тяжелом машиностроении доля импорта составила 60–80%, в легкой промышленности – 70–90%, в радиоэлектронной промышленности – 80–90%, в фармацевтике и медицинской промышленности – 70–80% [39. С. 7–8].

В результате реального выполнения хорошей, в сущности, программы восьмилетнего социально-экономического развития страны не получилось. Да и сегодня успешную реализацию национальных проектов тормозит нежелание некоторых представителей российской элиты взять на себя ответственность в решении ряда вопросов в процессе конкретного их выполнения, а порою и отсутствие компетентности и профессионализма.

Выводы

Проведенное исследование позволяет авторам сделать вывод о том, что современная российская элита рекрутируется и воспроизводится явно не по меритократическому принципу, а на основе поддерживающей модели. В последние десятилетия в рамках правящей элиты сформировалась «статусная группа», составляющая ее ядро, имеющая свои устойчивые интересы и правила поведения, которым подчиняются представители российской элиты. В соответствии с этим все решения и действия в социально-экономической политике правящей элиты принимаются в интересах узкой социальной прослойки российского общества, в первую очередь крупного корпоративного бизнеса, связанного с высшей управленческой бюрократией, действующей часто в личных, а не в общественных интересах.

В этом заключается причина слабой ротации правящей элиты России. При таком развитии ситуации требуются не высокопрофессиональные, компетентные кадры для руководства нашей социально-экономической политикой, а простые исполнители воли определенной «статусной группы». Поэтому только кажется, что многие действия государственных топ-менеджеров в социально-экономической сфере являются некомпетентными, не обеспечивающими эффективную социально-экономическую политику в интересах подавляющего большинства российских граждан. В действительности от проводимой властью социально-экономической стратегии с акцентом на экспорт сырья, офшорной экономики, широкомасштабной коррупции в органах государственной власти выигрывает только небольшая элитная «статусная группа» российского общества. Эта группа фактически монопольно сосредоточила в своих руках всю полноту власти и не стремится проводить социально-экономическую политику в интересах большинства населения России. Под влиянием данного обстоятельства характерными свойствами человеческого капитала современной российской элиты стали алчность, стремление обогатиться любой ценой, невзирая на действующие законы и морально-этические принципы, что негативно сказывается на социально-экономическом развитии России.

Сегодня стало очевидным, что без серьезного обновления российской элиты невозможны модернизация и дальнейшее успешное развитие российского общества.

Литература

1. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М. : Прогресс, 1978. 275 с.
2. Lucas R.E. Lectures on economic growth. Cambridge ; London : Harvard University Press, 2004. XI, 204 с.

3. *Schultz T.* Investment in Human Capital // *American Economic Review*. 2004. March. P. 1–17.
4. *Thurow L.* Investment in Human Capital. Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1970. 15 p.
5. *Ben-Porath Y.* The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings // *The Journal of Political Economy*. 1967. Vol. 75, № 4, pt. 1. P. 352–365.
6. *Denison E.* The Sources of Economic Growth in US and Alternative before. New York : Committee for Economic Development, 1962. 308 p.
7. *Быстрова А.С., Даугавет А.Б., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В., Тев Д.Б.* Институционализация политической элиты: источники рекрутирования и карьера // *Власть и элиты*. 2019. Т. 6, № 2. С. 24–66.
8. *Тимофеев А.А.* Смена политической элиты как необходимый фактор экономического развития страны // *Коммуникология*. 2016. № 5. С. 140–153.
9. *Тимофеев А.А.* Современная политическая элита России и наследие советской партийной номенклатуры // *Теории и проблемы политических исследований*. 2016. № 4. С. 45–51.
10. *Тимофеева Л.Н.* Политическое лидерство и формирование элиты государственного управления в России // *Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование: политология, экономика, право*. 2010. Т. 3. С. 3–113.
11. *Андросенко И.А.* Формирование российской политической элиты как фактор эффективного государственного управления // *Вестник государственного и муниципального управления*. 2016. № 3 (22). С. 30–33.
12. *Ашин Г.К.* Формы рекрутирования политических элит // *Общественные науки и современность*. 1998. № 3 С. 85–96.
13. *Ашин Г.К.* Понятие «элита» и его роль в политических исследованиях // *Философские науки*. 2005. № 7. С. 23–45.
14. *Баранов Н.А.* Правящая элита современной России // *Научный общественно-политический журнал*. 2006. № 2. С. 142–150.
15. *Гаман-Голутвина О.В.* Политические элиты России: веки исторической эволюции. М. : Росспэн, 2006. 446 с.
16. *Григорян Д.К.* Позиционирование политической элиты современной России в контексте сравнений различных политических систем и режимов // *Коммуникология*. 2016. № 1 (11). С. 109–117.
17. *Дука А.В.* Власть и общество в потоках перемен // *Власть и элиты*. 2018. Т. 5, № 1. С. 7–25.
18. *Кочетков А.П.* Демократия и элиты. М. : ПрофЭко, 2009. 176 с.
19. *Кочетков А.П.* Особенности формирования и развития политического класса современной России // *Власть*. 2017. № 1. С. 12–18.
20. *Крыштановская О.* Анатомия российской элиты. М. : Захаров, 2005. 381 с.
21. *Понделков А.В., Воронцов С.А.* Лидерско-элитная составляющая современного российского политического управления на региональном уровне // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС*. 2015. № 1. С. 134–138.
22. *Человеческий капитал российских политических элит. Политико-психологический анализ* / под ред. А.В. Селезнева, Е.Б. Шестопаля. М. : РОССПЭН, 2012. 342 с.
23. *Попонов Д.В.* Проблемы воспроизводства человеческого капитала политической элиты // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Социология. Политология*. 2008. Т. 8, вып. 2. С. 89–94.
24. *Ущерб от коррупции в России за 2018 год составил 65,7 миллиарда рублей*. 2019. URL: https://www.znak.com/2019-04-09/ucherb_ot_korrupcii_v_rossii_za_2018_god_sostavil_65_7_milliarda_rubley (дата обращения: 23.03.2020).
25. *Селезнева А.В., Розозарь-Колпакова И.И., Филистович Е.С., Трофимова В.В., Добрынина Е.П., Стрелец И.Э.* Российская политическая элита: анализ с точки зрения концепции человеческого капитала // *Полис. Политические исследования*. 2010. № 4. С. 90–106.
26. *Гаман-Голутвина О.В.* Бюрократия или олигархия? // *Куда идет Россия? Власть, общество, личность*. М., 2000. С. 162–172.
27. *Заславская Т.И.* Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М. : Дело, 2004. 400 с.
28. *Послание Президента Федеральному Собранию*. 2020. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/62582/> (дата обращения: 23.03.2020).
29. *Шерункова О.* Бедная Россия: миллиардеров все больше // *Газета.Ру*. 2019. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2019/10/21/12768116.shtml> (дата обращения: 12.03.2020).

30. *Богатые россияне*: Потанина поставили на первой место // Газета.Ру. 2019. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2019/12/30/12891056.shtml> (дата обращения: 19.03.2020).
31. *Global Intangible Finance Tracker (GIFT™)*. 2017. URL: <https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/global-intangible-finance-tracker-gift-2017/> (accessed: 12.03.2020).
32. *Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом*. 2020. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/23/833230-putin-podnyat-stavku-ndfl> (дата обращения: 25.06.2020).
33. *Бюджет РФ в 2018 году исполнен с профицитом впервые за 7 лет*. 2019. URL: https://finance.rambler.ru/realty/41599364/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 21.03.2020).
34. *Объем ФНБ за октябрь 2019 года вырос до 7,95 трлн. рублей*. 2019. URL: <https://tass.ru/ekonomika/7080057> (дата обращения: 21.03.2020).
35. *Число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн*. 2017. URL: Retrieved from: <https://www.interfax.ru/business/545024> (дата обращения: 11.02.2020).
36. *Савицкая В.* Хорошо там, где их нет? Почему молодежь готова бежать из России. 2019. URL: Retrieved from: <https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191202-horoshho-tam-gde-ih-net> (дата обращения: 15.03.2020).
37. *Не умереть с голоду: сколько денег нужно россиянам* // Газета.Ру. 2019. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2019/04/03/12281539.shtml> (дата обращения: 20.03.2020).
38. *Объем вывоза денег из РФ превысил три годовых бюджета*. 2019. URL: http://www.ng.ru/economics/2019-03-13/1_7529_money.html (дата обращения: 18.03.2020).
39. *Глаголев С.Н., Моисеев В.В.* Импортзамещение в экономике России. Белгород : Изд-во БГТУ, 2015. 275 с.

Alexandr P. Kochetkov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: apkoch@mail.ru

Vladimir V. Moiseev, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (Belgorod, Russian Federation).

E-mail: din_prof@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 244–256.

DOI: 10.17223/1998863X/57/23

RUSSIAN POLITICAL ELITE AS A SUBJECT OF SOCIOECONOMIC POLICY

Keywords: human capital; public administration; Russia; socioeconomic policy; Russian elite; Russian citizens; bureaucracy.

The article examines the activities of the Russian political elite in governing socioeconomic policy in modern Russia. The article analyzes the influence of the quality of human capital of the Russian elite on the effectiveness of Russia's modern socioeconomic policy. Focusing on the qualitative characteristics of the Russian elite, the authors pay special attention to the analysis of the main components and consequences of its socioeconomic policy. As the present study shows, the lack of professionalism and incompetence of the majority of the Russian elite in matters of socioeconomic policy and their disregard of economic laws negatively affect the development of Russia, do not allow creating an innovative economy, ensuring a high quality of life for the majority of Russian citizens. The huge property differentiation of Russian society and the low standard of living of most Russians not only contribute to the growth of social tension in society, but also hinder the development of Russia as a whole. According to the authors, the human capital of the Russian elite has not yet reached quality indicators comparable to the developed countries of the world and is not always a decisive factor in the innovative development of the regions and the national economy. Therefore, the modernization of the human capital of the Russian elite should become a priority direction of the state policy of modern Russia.

References

1. Kendrick, J. (1978) *Sovokupnyy kapital SShA i ego formirovanie* [The aggregate capital of the United States and its formation]. Translated from English. Moscow: Progress.
2. Lucas, R.E. (2004) *Lectures on economic growth*. Cambridge; London: Harvard University Press.
3. Schultz, T. (2004) Investment in Human Capital. *American Economic Review*. March. pp. 1–17.
4. Thurow, L. (1970) *Investment in Human Capital*. Belmont: Wordsworth.

5. Ben-Porath, Y. (1967) The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings. *The Journal of Political Economy*. 75(4-1). pp. 352–365.
6. Denison, E. (1962) *The Sources of Economic Growth in US and Alternative Before*. New York: Committee for Economic Development.
7. Bystrova, A.S., Daugavet, A.B., Duka, A., Kolesnik, N.V., Nevsky, A.V. & Tev, D.B. (2019) Institutionalization of the political elite: sources of recruitment and career. *Power and Elites*. 6(2). pp. 24–66. (In Russian)
8. Timofeev, A.A. (2016) Change of political elite as a necessary factor of economic development of the country. *Kommunikologiya – Communicology*. 6. pp. 140–153. (In Russian).
9. Timofeev, A.A. (2016) Sovremennaya politicheskaya elita Rossii i nasledie sovetской party-noy nomenklatury [Modern political elite of Russia and the legacy of the Soviet party nomenclature]. *Teorii i problemy politicheskikh issledovaniy*. 4. pp. 45–51.
10. Timofeeva, L.N. (2010) Politicheskoe liderstvo i formirovanie elity gosudarstvennogo upravleniya v Rossii [Political leadership and formation of the state administration elite in Russia]. *Problemy analiz i gosudarstvenno-upravlencheskoe proektirovanie: politologiya, ekonomika, pravo – Problem Analysis and Public Administration Projection*. 3. pp. 3–113.
11. Androsenko, I.A. (2016) Formirovanie rossiyskoy politicheskoy elity kak faktor effektivnogo gosudarstvennogo upravleniya [Formation of the Russian political elite as a factor of effective public administration]. *Vestnik gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya*. 3(22). pp. 30–33.
12. Ashin, G.K. (1998) Formy rekrutirovaniya politicheskikh elit [Forms of recruitment of political elites]. *Social Sciences and Modernity – Social Sciences and Contemporary World*. 3. pp. 85–96.
13. Ashin, G.K. (2005) Ponyatie “elita” i ego rol' v politicheskikh issledovaniyakh [The concept of “elite” and its role in political research]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 7. pp. 23–45.
14. Baranov, N.A. (2006) Pravyashchaya elita sovremennoy Rossi [The ruling elite of modern Russia]. *Nauchnyy obshchestvenno-politicheskiy zhurnal*. 2. pp. 142–150.
15. Gaman-Golutvina, O.V. (2016) *Politicheskie elity Rossii: vekhi istoricheskoy evolyutsii* [Political elites of Russia: milestones of historical evolution]. Moscow: ROSSPEN.
16. Grigoryan, D.K. (2016) Positioning of the political elite of modern Russia in the context of comparisons of different political systems and regimes. *Kommunikologiya – Communicology*. 4(6). pp. 109–117. (In Russian).
17. Duka, A.V. (2018) Vlast' i obshchestvo v potokakh peremen [Power and society in the flow of change]. *Vlast' i elity – Power and the Elite*. 5(1). pp. 7–25. (In Russian).
18. Kochetkov, A.P. (2009) *Demokratiya i elity* [Democracy and Elites]. Moscow: OOO RITS Profeco.
19. Kochetkov, A.P. (2017) Features of Formation and Development of Political Class of Modern Russia. *Vlast' – Power*. 1. pp. 12–18. (In Russian).
20. Kryzhanovskaya, O. (2005) *Anatomiya rossiyskoy elity* [Anatomy of the Russian Elite]. Moscow: Zakharov.
21. Ponedelkov, A.V. & Vorontsov, S.A. (2015) Liderstvo-elitnaya sostavlyayushchaya sovremennoy rossiyskoy politicheskoy upravleniya na regional'nom urovne [Leadership and elite component of modern Russian political management at the regional level]. *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS*. 1. pp. 134–138.
22. Seleznev, A.V. & Shestopal, E.B. (ed.) (2012) *Chelovecheskiy kapital rossiyskikh politicheskikh elit. Politiko-psikhologicheskii analiz* [Human capital of Russian political elites. Political and psychological analysis]. Moscow: ROSSPEN.
23. Poponov, D.V. (2008) Problemy vosproizvodstva chelovecheskogo kapitala politicheskoy elity [Problems of reproduction of human capital of the political elite]. *Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Sociology. Politology – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Sociology. Politology*. 8(2). pp. 89–94.
24. Nokhrina, Ya. (2018) *Ushcherb ot korruptsii v Rossii za 2018 god sostavil 65,7 milliarda rubley* [Damage from corruption in Russia in 2018 amounted to 65.7 billion rubles]. [Online] Available from: https://www.znak.com/2019-04-09/ucherb_ot_korruptcii_v_rossii_za_2018_god_sostavil_65_7_milliarda_rubley (Accessed: 23th March 2020).
25. Selezneva, A.V., Rogozar-Kolpakova, I.I., Filistovich, E.S., Trofimova, V. V., Dobrynina, E.P. & Strelet, I.E. (2010) Russian political elite: analysis from the perspective of the human capital concept. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 90–106. (In Russian).
26. Gaman-Golutvina, O.V. (2000) Byurokratiya ili oligarkhiya? [The bureaucracy or an oligarchy?]. In: Zaslavskaya, T.I. (ed.) *Kuda idet Rossiya? Vlast', obshchestvo, lichnost'* [Where is Russia

going? Power, society, personality]. Moscow: Moscow Higher School of Social and Economic Sciences. pp. 162–172. (In Russian)

27. Zaslavskaya, T.I. (2004) *Sovremennoe rossiyskoe obshchestvo: Sotsial'nyy mekhanizm transformatsii* [Modern Russian Society: Social Mechanism of Transformation]. Moscow: Delo.

28. The President of the Russian Federation. (2020) *Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniyu. 2020* [Message from the President to the Federal Assembly. 2020]. [Online] Available from: <http://kremlin.ru/events/president/news/62582/>

29. Sherunkova, O. (2019) *Bednaya Rossiya: milliarderov vse bol'she* [Poor Russia: more and more billionaires]. [Online] Available from: <https://www.gazeta.ru/business/2019/10/21/12768116.shtml> (Accessed: 12th March 2020).

30. Gazeta.ru. (2019) *Bogatye rossiyan: Potanina postavili na pervoy mesto* [Rich Russians: Potanin was put in first place]. [Online] Available from: <https://www.gazeta.ru/business/2019/12/30/12891056.shtml> (Accessed: 19th March 2020).

31. Brandfinance.com. (2017) *Global Intangible Finance Tracker (GIFT™)*. [Online] Available from: Retrieved from: <https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/global-intangible-finance-tracker-gift-2017/> (Accessed 12th March 2020).

32. Vedomosti.ru. (2020) *Putin predlozhit podnyat' stavku NDFL do 15% dlya rossiyan s vysokim dokhodom* [Putin proposed raising the personal income tax rate to 15% for high-income Russians]. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/23/833230-putin-podnyat-stavku-ndfl> (Accessed: 25th June 2020).

33. The Russian Federation. (2019) *Byudzhel RF v 2018 godu ispolnen s profitsitom v pervye za 7 let* [The budget of the Russian Federation in 2018 was executed with a surplus for the first time in 7 years]. [Online] Available from: https://finance.rambler.ru/realty/41599364/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (Accessed: 21st March 2020).

34. TASS. (2019) *Ob'em FNB za oktyabr' 2019 goda vyros do 7,95 trln. rubley* [The volume of the NWF in October 2019 increased to 7.95 trillion rubles]. [Online] Available from: <https://tass.ru/ekonomika/7080057> (Accessed: 21st March 2020).

35. Interfax. (2017) *Chislo rabotayushchikh za granitsey vysokokvalifitsirovannykh rossiyan prevysilo 1,5 mln. 2017* [The number of highly qualified Russians working abroad exceeded 1.5 million]. [Online] Available from: <https://www.interfax.ru/business/545024> (Accessed: 11th February 2020)

36. Savitskaya, V. (2019) *Khorosho tam, gde ikh net? Pochemu molodezh' gotova bezhat' iz Rossii* [Is it good where they are not? Why are young people ready to flee Russia]. [Online] Available from: <https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191202-horosho-tam-gde-ih-net>. (Accessed: 15th March 2020).

37. Gazeta.ru. (2019) *Ne umeret' s golodu: skol'ko deneg nuzhno rossiyanam* [To starve not: how much money do Russians need?]. [Online] Available from: <https://www.gazeta.ru/business/2019/04/03/12281539.shtml> (Accessed: 20th March 2020).

38. Komrakov, A. (2019) *Ob'em vyvoza deneg iz RF prevysil tri godovykh byudzheta* [The volume of money export from Russia exceeded three annual budgets]. [Online] Available from: http://www.ng.ru/economics/2019-03-13/1_7529_money.html (Accessed: 18th March 2020).

39. Glagolev, S.N. & Moiseev, V.V. (2015) *Importozameshchenie v ekonomike Rossii* [Import Substitution in the Russian Economy]. Belgorod: BSTU.

УДК 32

DOI: 10.17223/1998863X/57/24

В.В. Титов

К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Анализируются специфика и основные проблемные аспекты конструирования национально-гражданской идентичности молодежи в условиях новой – цифровой – эпохи. В числе основных факторов, определяющих развитие процесса идентификационной трансформации массового сознания молодых россиян, выделены изменение коммуникативного ландшафта, слабость когнитивного и символического фундамента гражданской самоидентификации, расплывчатость темпоральных границ «образа нас», аморфность наполнения «образа коллективного будущего».

Ключевые слова: национально-гражданская идентичность, российская молодежь, политическая социализация, политическое сознание, симулятивные идентичности.

Постановка проблемы

Одной из важных проблем социально-политического и культурного развития российской государственности в начале XXI в. является формирование национально-гражданского самосознания молодежи в условиях кристаллизации новых вызовов современности. Указанная проблема носит многомерный характер и содержит в себе целый ряд взаимосвязанных социокультурных, гуманитарных и политических аспектов – от фактора возрастной психологической динамики до политического климата, в котором происходит социализация молодого поколения [1. С. 62]. Одной из таких проблемных ниш, оказывающих влияние на становление и трансформацию национально-гражданской идентичности молодых россиян, является «цифровой фактор» – радикальная трансформация коммуникативного ландшафта современности.

В рамках данной статьи акцент сделан на эффектах и следствиях трансформации информационно-психологического пространства современной России, воздействии цифровых технологий не только на «социальную повседневность», но и на установки национально-гражданской идентичности молодых россиян.

Предваряя анализ обозначенной проблематики, необходимо сделать две оговорки, которые представляются существенными. Во-первых, говоря о цифровых технологиях, их воздействии на социальное (и более узко – на политическое) сознание российской молодежи, следует все же акцентировать внимание не на самом общеизвестном факте трансформации коммуникативного пространства российского социума («интернетизации» общественно-политических отношений и процессов), а на культурно-психологических и отчасти макрополитических эффектах, порождаемых новой информационной реальностью. Во-вторых, важным моментом в понимании особенностей макрополитического сознания российской молодежи, ее политической самоиден-

тификации является учет сегментарных и субпоколенческих размежеваний. Очевидно, что «российская молодежь» сегодня – это сложный социально-возрастной конгломерат, бинарным ядром которого выступают, с одной стороны, старшая и средняя возрастные группы, принадлежащие по большинству параметров к поколению «Y», а с другой – поколение 20-летних «цифровых аборигенов» – так называемое поколение «Z», все более выразительно проявляющее собственную социальную субъектность и отчетливо заметное на политическом ландшафте России [2. С. 195; 3. С. 294].

Таким образом, *цель исследования* состоит в выявлении специфики конструирования национально-государственной идентичности российской молодежи с учетом радикальных цифровых трансформаций, которые переживает современное российское общество.

Степень научной разработанности проблемы

Указанная проблема является многовекторной и занимает значительное место в системе приоритетов российской политической науки. Поэтому имеет смысл обозначить основные направления ее осмысления на современном этапе. Так, влияние полифонии цифровых факторов на гражданскую социализацию и самоидентификацию российской молодежи, различных ее возрастных групп отражено в исследованиях Е.В. Бродовской, А.Ю. Домбровской, А.В. Синякова, Р.В. Пырмы, Н.Л. Смакотиной и др. В фокусе внимания А.И. Щербинина находится проблема политической социализации молодежи в крупном (университетском) городе. Е.Б. Шестопап и А.В. Селезнёва рассматривают ценностные и поведенческие аспекты политической самоидентификации молодых россиян в условиях трансформаций политической системы современной России. В центре внимания Т.Н. Самсоновой – вопрос конструирования гражданского самосознания молодых россиян, прежде всего в контексте структурно-функционального подхода. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, опираясь на традицию отечественной социологии, уделяют особое внимание «повседневности» и стилю жизни различных возрастных групп российской молодежи. В работах И.В. Самаркиной и А.Л. Зверева поставлен вопрос о специфике и формах участия молодых россиян в политическом процессе.

Методология и методика исследования

Анализируя современные политические исследования в области национально-гражданской идентичности российской молодежи, наиболее важные с теоретико-методологической точки зрения, можно выделить три основных направления научного поиска.

Первое может быть определено как *социализационное*. Оно акцентирует внимание на институциональных и психологических особенностях политической социализации молодых россиян. Так, особого внимания заслуживают работы Т.Н. Самсоновой, Ю.А. Зубок, И.В. Самаркиной, А.Л. Зверева, А.И. Щербинина и др. [4–8]. Второе направление – *широкий спектр политико-психологических трудов*, в которых описываются основные содержательные компоненты национально-гражданского самосознания молодежи: символические репрезентации, темпоральные представления, политические ценности и стереотипы (работы И.В. Самаркиной, А.В. Селезнёвой, Н.Л. Смакотиной,

и др.) [6–10]. Третье направление связано с осмыслением политического поведения и реализацией *жизненных стратегий молодых россиян в условиях формирования контуров информационного общества*, все более заметной «*виртуализации*» *политических практик и отношений* [11].

Таким образом, методологической основой данной работы выступает синтез исследований в области политической социализации и становления гражданского сознания молодежи, политико-психологических теорий национальной идентичности и современных концепций «цифрового общества», его влияния на паттерны политического поведения российской молодежи. Представляется, что указанные методологические основания открывают возможности для рассмотрения национально-гражданской идентичности как динамического макрополитического конструкта, тесно взаимосвязанного с информационно-психологическими изменениями, происходящими в российском обществе в начале третьего тысячелетия.

Эмпирическая база исследования

В основание данной статьи положены результаты прикладного политико-психологического исследования, проведенного в 2017–2018 гг. под руководством автора в Московском педагогическом государственном университете и Финансовом университете при Правительстве РФ. В рамках данного исследования методом *фокусированного интервью* были опрошены 214 молодых респондентов (возраст 16–29 лет) из 13 субъектов Российской Федерации. Указанное исследование, безусловно, не претендует на всеобъемлющий характер и социологическую репрезентативность в общероссийском масштабе, но позволяет диагностировать «болевы́е точки» формирования национально-гражданского самосознания молодых россиян [12].

Результаты исследования

Важно отметить, что проблемы конструирования национально-гражданской идентичности российской молодежи в цифровую эпоху во многом характеризуются синтезной природой, являют собой сочетание проблем традиционных, наследуемых из 1990–2000-х гг., институциональных, связанных с функционированием институтов политической социализации сегодня, и новых, связанных с цифровизацией политической реальности.

Первая проблема, которая четко прослеживается в ходе проведенных исследований, – слабость когнитивного и символического фундамента гражданской самоидентификации молодых россиян. История России в сознании молодых россиян в целом персонализирована и предстает как совокупность символов-персон и в меньшей степени символов-событий. Из символов-персон следует отметить сохраняющееся на протяжении последних 10 лет (начиная с исследований, проведенных кафедрой социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова в 2008–2010 гг.) «первенство» таких фигур, как Петр I и В.В. Путин, которые воспринимаются молодыми респондентами, скорее, позитивно. К «традиционным» символам-персонам российской истории, наиболее часто упоминаемым респондентами, относятся такие правители, как Иван Грозный, Екатерина Великая, И.В. Сталин, Александр Невский, Дмитрий Донской. При этом по-прежнему актуальной является проблема «привязанности» указанного символического пантеона пре-

имущественно к политической сфере. Можно предположить, что фигуры российской истории, относящиеся к иным областям деятельности – науке, искусству, спорту, – занимают менее значимое место в политическом сознании молодых россиян.

Симптоматично, что и исследование «Национально-государственная идентичность в современной России» (2017–2018), и более ранние исследования показывают факт «выпадения» из социальной памяти молодежи целых исторических эпох. Например, XVII в. ассоциируется исключительно с событиями Смуты, XVI в. воспринимается сквозь призму фигуры Ивана Грозного, а XV в. в представлении респондентов является символической и когнитивной лакуной. Очевидно, что восприятие истории в событийной и персоналистской оптике – ситуация, типичная для «остаточных знаний» в рамках официального исторического нарратива. Но вместе с тем можно предположить, что перед российской системой гуманитарного образования и культурной политики вырисовывается важная задача формирования целостного и сбалансированного образа прошлого, лишённого темпоральных «провалов», когда прерывается «нить времен».

Вторая проблема конструирования национально-гражданской идентичности российской молодежи связана с аморфностью темпоральных рамок образа «нас» в сознании молодых россиян. В частности, речь идет о расплывчатости коллективного образа будущего, которая проявляется не только в депрессивных социальных настроениях, утилитарных стратегиях социального и политического поведения (живу «одним днем», поэтому «политикой не интересуюсь»). Представляется, что указанная ситуация таит в себе потенциальную опасность по двум причинам. Во-первых, отсутствие образа общенационального будущего усиливает *чувство социально-политической депривации* (и, как следствие, массовые протестные настроения в молодежной среде) и параллельно снижает мотивацию позитивного политического участия. Во-вторых, отказ от рассмотрения «нас» как некой целостности в исторической перспективе неизбежно приводит к выстраиванию *конструктов конфликтной идентичности*. Отказ от проектирования будущего, стремление жить «здесь и сейчас» во многих случаях прямо предполагает негативную самоидентификацию – поиск всевозможных «чужих», чтобы оправдать смысл существования «нас» как макрополитического сообщества.

Представляется, что обозначенные выше проблемы во многом связаны не только с последствиями кризиса российской национально-гражданской идентичности, наиболее острая фаза которого пришлась на 1990-е – начало 2000-х гг., но и с интенсивными процессами формирования принципиально нового информационного ландшафта российского общества: технологической цифровизацией и психологической «виртуализацией» социальной (а вместе с ней и политической) повседневности. В этих условиях среднестатистический молодой россиянин оказывается погруженным в пространство симулятивной политической реальности, представляющей собой «ускользающий мир» политических симулякров, переполненный эмоциями в ущерб ценностно-смысловым конструктам и лишенный устойчивости. Динамизм «виртуальной политики» (а в случае поколения «Z» можно говорить и о «виртуальной социализации» в целом) приводит к девальвации исторических

оснований национально-гражданского самосознания, которые «теряются» в пространстве всевозможных симулякров.

Среди указанных симулякров особое место занимают «виртуальные» архаические идентичности, получившие особое распространение в социальных сетях Рунета («мешера», «ингерманландцы» и т.д.). Отличительная черта многих таких «виртуальных идентичностей» – обращение к негативной самоидентификации, стремление противопоставить себя и собственную культурно-историческую «уникальность» общероссийскому политическому сознанию. На сегодняшний день указанные идентификационные конструкты, имеющие симулятивную природу, безусловно, не способны полномасштабно конкурировать с российской национально-государственной идентичностью. Тем не менее сам факт их появления и распространения в социальных сетях свидетельствует о том, что традиционные механизмы гражданско-политической социализации молодежи (семья, школа и массмедиа, функционирующие в «вертикальном» формате) все более уступают позиции стихийным формам конструирования политического самосознания. Однако, несмотря на расплывчатость и локальный характер таких идентификационных симулятивных конструктов, нельзя не отметить утрату государством «проективной» функции, фактическое отсутствие стратегических приоритетов в сфере молодежной политики.

Третья проблема, характеризующая процессы формирования национально-гражданской идентичности молодежи, обусловлена фундаментальной спецификой социализации поколения «Z». Избыток информации и превалирование эмоционально-негативного контента в Интернете приводит к кристаллизации таких ментальных схем, как «клиповое» и «сериальное» политическое сознание, в основе которого лежит неготовность воспринимать сложные в когнитивном плане конструкты, стремление «упростить» смыслы и образы в структуре собственной «Мы-концепции», осознать «нас» через призму конфликта со всевозможными «врагами».

Одновременно, опираясь на исследования Т.Н. Самсоновой и А.И. Щербинина, мы фиксируем деструктивное влияние синергии таких факторов, как неспособность или нежелание элит проектировать образ будущего для молодежи, продуцировать новые смыслы; деградация институтов, прежде активно участвовавших в политической социализации личности, и связанное с ней ослабление влияния национального государства на этот процесс; во многом стихийный характер формирования политической картины мира у молодежи; рост значимости элемента самоконструирования в рамках формирования идентичности молодежи, в первую очередь – поколения «Z». Результатом их сочетания становятся, с одной стороны, обесценивание долговременной групповой (или культурной) памяти, а с другой – возникновение «символического вакуума» на месте образа будущего и утрата олигополии государства, партий, церкви и иных традиционных институтов на формирование соответствующего комплекса смыслов. Роль катализатора данного процесса играет все большее вытеснение в молодежной среде институциональной коммуникации сетевыми ее формами [8. С. 205–206, 213].

Параллельное развитие «клипового» восприятия и «кликерного» поведения (стремление подменить реальную деятельность «кликом мышки» и действиями в виртуальном пространстве Интернета) может рассматриваться как

серьезный культурно-психологический вызов для современной системы российского социогуманитарного образования. Очевидно, что конструирование гражданского самосознания у представителей поколения «Z», которое в скором времени, по мере старения поколения «Y», станет доминирующим сегментом российской молодежи, требует поиска новых технологических и педагогических форматов политической социализации. Указанный поиск не может быть ограничен компьютеризацией средней школы со всеми вытекающими последствиями (такими как визуализация образовательного процесса, распространение игровых и проектно-поисковых форматов обучения). По существу, речь идет о выстраивании целостной, устойчивой национально-гражданской идентичности, предполагающей в том числе позитивный образ будущего и конвенциональные формы реального, а не только виртуального политического участия. Выработка новых технологий формирования гражданской идентичности российской молодежи неизбежно будет проходить в условиях ценностно-смысловой фрагментации и психоэмоциональной негативизации политической реальности.

Выводы

Важно отметить, что проблема конструирования национально-гражданской идентичности российской молодежи в цифровую эпоху носит многогранный характер и обусловлена своеобразным межпоколенческим синтезом «издержек социализации». Так, старшая когорта российской молодежи – представители поколения «Y» – очевидно, менее подвержена влиянию симулятивной реальности. Ее взросление пришлось на 1990-е – начало 2000-х гг. – время доминирования «телевизионного» формата политической социализации и масштабного кризиса российской национально-государственной идентичности. В свою очередь, «цифровые аборигены» (представители поколения «Z») в силу более молодого возраста уже не ощутили на себе наиболее негативные эффекты кризиса российской идентичности и распада советской модели образования. Однако именно эта возрастная когорта оказалась в эпицентре процессов формирования неустойчивой по своей природе «виртуальной» политической реальности, в которой традиционные инструменты гражданской социализации теряют эффективность, уступая место стихийным формам политического самосознания и самоидентификации.

Литература

1. Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики российского политического процесса и стратегия развития страны // Полис. Политические исследования. 2014. № 2. С. 61–71.
2. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. Гражданские и политические онлайн-практики в оценках российской молодежи (2018) // Политическая наука. 2019. № 2. С. 180–197.
3. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Синяков А.В. Стратегии использования социальных сетей в современной России: результаты многомерного шкалирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 1. С. 283–296.
4. Самсонова Т.Н., Титов В.В. К вопросу о становлении национально-гражданской идентичности российской молодежи в условиях глобальных социокультурных трансформаций начала XXI века // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2017. Т. 23, № 3. С. 156–173.
5. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Культура в жизни молодежи: потребность, интерес, ценность // Вестник Института социологии. 2018. № 27. С. 170–191.

6. Самаркина И.В., Логанова В.П. Абсентеизм молодежи как форма политического участия // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 2. С. 14–15.
7. Зверев А.Л. Мотивационный профиль политического участия молодежи в российских политических партиях // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2018. № 2. С. 45–56.
8. Щербинин А.И. Особенности политической социализации молодежи в университетском городе // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 51. С. 205–214.
9. Селезнёва А.В. Ценностные основания российской национально-государственной идентичности // Вестник Российской нации. 2017. № 4. С. 82–94.
10. Смакотина Н.Л., Мельникова Н.В. Влияние цифровой рекламы на социальную идентификацию подростков // Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» / под ред. С.В. Ивановой. М., 2018. С. 373–379.
11. Паутова Л.А. Новое поколение в обществе и в исследованиях. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/marathon2017/02_pautova.pdf. (дата обращения: 08.12.2019).
12. Титов В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции. М. : Ваш формат, 2017. 184 с.

Viktor V. Titov, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

E-mail: VVTitov@fa.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 257–264.

DOI: 10.17223/1998863X/57/24

ON THE CREATION OF THE NATIONAL IDENTITY OF RUSSIAN YOUTH IN THE DIGITAL AGE

Keywords: national-civic identity; Russian youth; political socialization; political consciousness; simulated identities.

The article analyzes the specifics and the main problematic aspects of the national-civic identity design of youth in the new–digital–era. The author pays special attention to such factors of the identificational transformation of the mass consciousness of young Russians as change in the communicative landscape of Russian society, a comprehensive “Internetization” of sociopolitical practices, and the cultural and psychological effects associated with it. Among the problems associated with the construction of the national-civic identity of modern Russian youth, the author identifies the weakness of the cognitive and symbolic foundation of the civic self-identification of young Russians, the dominance of fragmentary, rather than holistic, ideas about Russian history as particularly significant. An equally significant problem is the vague temporal frames of the “image of us”, the amorphousness and poor cognitive content of the “image of a collective future”. In the political consciousness of Russian youth, this image is usually extremely amorphous and often contains depressive elements. At the same time, the lack of the image of a nationwide future enhances the feeling of sociopolitical deprivation, reduces the motivation for positive political participation, and provokes protest moods among young people. Another significant problem of the national-civic self-identification of Russian youth is also related to the specifics of information consumption in the digital era. It is rooted in the fact that youth as a whole, especially representatives of Generation Z, have a predominantly mosaic political consciousness, which is based on the unwillingness to perceive cognitively complex constructs and on the orientation to the emotional component of political reality perception. It is important to note that the older Russian youth–representatives of Generation Y–are less affected by simulated reality. At the same time, “digital natives”–representatives of Generation Z–are at the epicenter of the formation of a “virtual” political reality, in which the traditional tools of civil socialization lose their effectiveness.

References

1. Shestopal, E.B. (2014) Value characteristics of the Russian political process and the country's development strategy. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 2. pp. 61–71. (In Russian).
2. Brodovskaya, E.V., Dombrovskaya, A.Ju., Pyrma, R.V. & Azarov, A.A. (2019) Civil and political online practices in the evaluation of Russian youth (2018). *Politicheskaya nauka – Political Science*. 2. pp. 180–197. (In Russian).

3. Brodovskaya, E.V., Dombrovskaya, A.Yu. & Sinyakov, A.V. (2016) Strategii ispol'zovaniya sotsial'nykh setey v sovremennoy Rossii: rezul'taty mnogomernogo shkalirovaniya [Strategies for using social networks in modern Russia: the results of multidimensional scaling]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 1. pp. 283–296.
4. Samsonova, T.N. & Titov, V.V. (2017) On national civic identity formation of the Russian youth in global socio-cultural transformations at the beginning of the 21st century. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 23(3). pp. 156–173. (In Russian).
5. Zubok, Yu.A. & Chuprov, V.I. (2018) Culture in the lives of young people: necessity, interest, value. *Vestnik Instituta sotsiologii – Bulletin of the Institute of Sociology*. 27. pp. 170–191. (In Russian).
6. Samarkina, I.V. & Logunova, V.P. (2017) Absenteeism of the youth as a form of political participation. *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo – Society: Politics, Economics, Law*. 2. pp. 14–15. (In Russian). DOI: 10.24158/pep.2017.2.2
7. Zverev, A.L. (2018) Motivatsionnyy profil' politicheskogo uchastiya molodezhi v rossiyskikh politicheskikh partiyakh [Motivational profile of the political participation of youth in Russian political parties]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki – Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. 2. pp. 45–56.
8. Shcherbinin, A.I. (2019) Features of political socialization of youth in a university city. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 51. pp. 205–214. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/51/21
9. Selezneva, A.V. (2017) Values Russian national-state identity. *Vestnik Rossiyskoy natsii – Bulletin of Russian Nation*. 4. pp. 82–94. (In Russian).
10. Smakotina, N.L. & Melnikova N.V. (2018) Vliyanie tsifrovoy reklamy na sotsial'nuyu identifikatsiyu podrostkov [The influence of digital advertising on the social identification of adolescents]. In: Ivanova, S.V. (ed.) *Obrazovatel'noe prostranstvo v informatsionnuyu epokhu* [Education Environment for the Information Age]. Moscow: Institute for the Education Development Strategy. pp. 373–379.
11. Pautova, L.A. (2017) *Novoe pokolenie v obshchestve i v issledovaniyakh* [New generation in society and studies]. [Online] Available from: https://wciom.ru/fileadmin/file/marathon2017/02_pautova.pdf (Accessed: 8th December 2019).
12. Titov, V.V. (2017) *Politika pamyati i formirovanie natsional'no-gosudarstvennoy identichnosti: rossiyskiy opyt i novye tendentsii* [Politics of memory and the formation of national-state identity: Russian experience and new trends]. Moscow: Vash format.

323.22/.28: 911.375.4:378.4
DOI: 10.17223/1998863X/57/25

А.И. Щербинин, А.В. Севостьянов

ИМИДЖЕВАЯ СТРАТЕГИЯ В СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ¹

На примере университетских городов рассматриваются проблемы разработки бренда, формирования стратегии, связанной с брендингом в 'не-товарных' сферах современного общества, фактически уже ставшего «обществом знания». Широкое поле теорий и анализ зарубежного опыта позволили авторам выделить в качестве самостоятельной теоретическую проблему разработки стратегии брендинга университетского города, основанной на конструировании смыслов, формировании культуры коммуникации, прежде всего, органов власти региона, университетов и горожан.

Ключевые слова: смысл, имиджевая стратегия региона, университетский город, брендинг.

На место, отводящееся имиджевой стратегии в перспективном развитии региона и города, влияют различные факторы, включая и подходы к позиционированию. Если 'товарный' подход к деятельности регионального субъекта ориентирован на продвижение всех наличных отраслей экономики, то и имиджевая стратегия будет носить комплексный характер, что пытаются подвести под определение «мультибренд» или «зонтичный бренд». Если выбрано одно-два наиболее выигрышных направлений для отстройки от конкурентов, то имиджевой стратегии отводится главная, смыслообразующая роль. Паллиативный подход предполагает сочетание первых двух, где выигрышное направление развития региона представлено в той или иной степени в различных отраслях народного хозяйства, составляющих «позицию» региона.

Поясним это на примере роли университетов в разработке и реализации имиджевой стратегии региона и города. Среди фундаментальных теоретических оснований для понимания данной роли следует выделить по степени значимости: во-первых, концепцию постиндустриального общества как «общества знания», важной черты складывающегося миропорядка, и, во-вторых, глобализирующий характер мира, где в конкуренции участвуют не только крупные отрасли, фирмы и национальные экономики, но и субъекты мезо- и микроуровней. Один из наиболее известных теоретиков «общества знания» Нико Штер писал: «Поскольку знание становится определяющим не только для современной экономики и ее производственных процессов, но и для социальных отношений в целом – как основной источник его проблем и конфликтов, термин „общество знаний“ становится уместным обозначением для понимания природы современного общества. Это означает, что мы все больше упорядочиваем и производим реальность, в которой мы существуем, на основе нашего знания» [1. Р. 5]. В силу этого университеты как носители и генераторы становятся центральными акторами знания, превращенного в ре-

¹ Статья подготовлена в рамках научного проекта, выполненного при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ № 8.1.19.2020.

альную социальную силу, и одним из субъектов, влияющих на политику стран, регионов и городов. Е.А. Найман отмечает важную для нашего исследования особенность эпохи, а именно то, что понятия «обучающийся город», «обучающийся регион», «обучающееся сообщество», «обучающаяся экономика» стали маркерами успешного развития: «...конкурентоспособность любого региона в современном мире определена его способностью к обучению» [2. С. 81]. Логической составляющей данного направления можно считать превращение высшего образования в услугу на внутреннем и международном рынках.

Д. Хемсли-Браун и И. Оплатка отмечают, что «рынок высшего образования в настоящее время хорошо зарекомендовал себя как глобальное явление» [3. Р. 316]. Несмотря на непоследовательность и повторяющуюся ошибочность приравнивания высшего образования к сервисным услугам [Ibid. Р. 317], с той или иной степенью успешности университетское знание включается в стратегию концептуализации и использования в практике конструирования knowledge society. Так, исследовательница из Германии Анна-Катарина Хорнидж, выделила, опираясь на «теорию субсфер» Никласа Лумана, следующих акторов, причастных к разработке и реализации стратегии k-society: власть (правительство и входящие в него политические силы); научное сообщество; гражданское общество и его структуры; медиа [4]. Указанные субсферы формируют, обсуждают, согласовывают концепт «общества знания». При этом отметим, что проблема переводимости научного концепта на политический (управленческий), обыденный, медийный языки остается одной из важных, а поэтому роль коммуникации при выборе, согласовании и реализации стратегии весьма существенна. Другая проблема: что заставляет эти субсферы обсуждать данный концепт и конструировать реальность? То, что они являются стейкхолдерами (заинтересованными сторонами). Для того чтобы разрозненные и концептуально не оформленные интересы сторон созрели до политической реальности, необходимы стратегический интерес и политическая воля. В данном случае носителем такой воли должна выступить власть как сторона, обладающая наибольшими ресурсами – организационными, бюджетными, коммуникативными. При этом не умаляется значение ни одной из сторон, поскольку без полноценного вклада каждого из участников конструирование реальности выльется в административный проект, в лучшем же случае, – в скоротечную кампанию.

Если у Хорнидж инициатором разработки и продвижения концепта выступает научная субсфера, то в случае с «обучающимся регионом» (Е. Найман) отмечена первичность практики: «Сети и ассоциации „обучающихся регионов“ и поддерживающие их международные программы возникли несколько раньше, чем началась история академической теоретизации. Для „обучающегося региона“ как доктрины регионального развития важнейшими являются развитие человеческого капитала и поддержка сетевого взаимодействия в регионах. Именно этим объясняется ее привлекательность для создателей региональных политических программ» [2. С. 81]. Обратим внимание на то, что политическому проекту «образованных городов» почти полвека. Внутри стран сеть «образованных» (education), впоследствии «обучающихся» (learning) городов весьма впечатляющая – в Великобритании их 80, в Германии – 72. Именно к ним привязаны стратегические программы, связан-

ные с инновациями, технологиями. Е.А. Найман отмечает, что «обучающий регион», во-первых, фактически является региональной инновационной стратегией, во-вторых, лежит в основе инновационных и технологических инициатив ЕС. Наконец, принципиально важен для нашего исследования пятый тезис Доклада TELS (Towards a European Learning Society), непосредственно касающийся современного понимания позиции властей: «Разработайте Хартию европейских обучающихся городов, которая должна быть подписана городами, с изложением обязательств города как по отношению к своим жителям как учащимся, так и относительно общеевропейского обучающегося сообщества» [2. С. 82–83]. Отметим, что политическая составляющая концепта подводит к смыканию, например, описанного в статье Наймана «идеополиса» Т. Кэннона с «университетским городом» и фактически подкрепляет (в политико-культурном плане) идеополис как город идей, смыслов – «умный город». Таким образом, концепт «общество знание» получил региональную и городскую прописку, оставаясь при этом открытым для «достройки» как в отдельных субсферах, так и комплексно.

Для нашей работы принципиально важны все субсферы, но точкой обзора в данном случае будут университеты. Этому есть причины. Например, нюансы в концептах *knowledge society* и *knowledge based society* не столь поверхностны. При втором подходе знание не является первичным, что типично для большинства сохраняющихся поныне экономических теорий и стратегических подходов. Оно как бы дополняет так называемый «реальный сектор экономики». С подобным пониманием будет учитываться только прикладное или коммерциализируемое знание, составляющее весьма узкий сектор в стратегическом планировании и перспективном развитии регионов и стран. Нам предстоит доказать, что не просто «экономически выгодные» инвестиции в узкую разработку, а университетское знание и университетская среда, в том числе в масштабе города, стратегически более важны. Прежде всего сошлемся на статью А.И. Щербинина, который анализирует результаты исследований Ричарда Флориды, известного специалиста по креативному капиталу, опубликованные им в 2019 г. В рейтинге американских городов, составленном на основе анализа удельного веса выпускников колледжей среди горожан, показана прямая зависимость успешности города от результатов университетской науки. Из 50 городов, включенных в исследование 2012–2017 гг., 50% населения с высшим образованием сосредоточено в шести городах (Сиэтл, Сан-Франциско, Федеральный округ Колумбия и др.). Р. Флорида делает основной вывод, что «...увеличивается разрыв между городами в концентрации горожан с учеными степенями между топовыми и отстающими городами. Если в первых он составляет от 20 до 33% среди взрослого населения, то в городах с низким рейтингом – от 6 до 10%. Талант ведущего города растет в десять раз быстрее, чем самого отсталого города» [5. С. 216–217]. Именно городская стратегия обеспечивает успешность данных городов; например, в Майами численность лиц с высшим образованием равна 50% (и годовой прирост 10%). Несомненно, имиджевая стратегия обеспечивает значительную часть успеха.

Стратегию, зафиксированную Флоридой, мы можем отнести к разряду развития и опережения (не отбрасывая при этом задач поддержания и укрепления устойчивости города). Не следует забывать о том, что зачастую обра-

шение к стратегическому планированию вызвано проблемами выживания. И, в отличие от первого случая, разработка бренда играет еще более существенную роль. Рассмотрим кейс области Марке в Италии. А. Кавикки, К. Ринальди и М. Корси поставили цель исследовать, как брендинг места влияет на развитие аграрной области, как объединились в сеть местные производители и поставщики услуг и какую роль в этом сыграл университет в качестве двигателя экономики [6]. Опыт области Марке интересен тем, что университет выбран связующим звеном для решения сложных проблем сельской местности, связанных с продвижением местных продуктов и услуг на национальный и международный рынки. Таким связующим звеном стал университет города Мачерате, один из старейших в Европе (основан в 1290 г.), миссия которого включает задачу «расширения международной сети для поддержки местного развития». На наш взгляд, в данном конкретном случае университету удалось справиться с базовой задачей – объединить своим авторитетом разноплановые и зачастую противоречивые взгляды на развитие и бренд региона. Дело в том, что количество стейкхолдеров (с учетом большого числа малых и средних предприятий), разноплановых интересов, условий, нередко многовекового опыта и традиций – все это усложняло задачу даже организации переговоров. Однако было понимание, что невозможно создать типовой стратегический проект для нескольких предприятий и потом тиражировать на всю экономику области. Объединенный университетом «проект развивался как „лаборатория идей“ с целью стимулирования новых исследований, а также продвижения и мониторинга бренда „Сделано в Марке“ с целью поддержки производительных и экономических инициатив, которые способствуют устойчивому развитию в соответствии с идентичностью Марке. Туризм и все связанные с ним цепочки поставок стали доминирующей инициативой» [6. Р. 58]. Авторитет университета был настолько велик, что участники совещаний подписали бренд-соглашение, преодолев исторические разногласия относительно видения региона.

Еще один пример, связанный с проблемами выживания, проанализировал А.И. Щербинин при изучении кейса Кливленда, штат Огайо. Так называемый «ржавый пояс» США – это в прошлом индустриальные центры Детройт, Кливленд, Милуоки, Питсбург и еще десятки городов, потерявших заказы в условиях перемещения производств в страны с более дешевой рабочей силой. Кливленд сделал ставку на известный государственный университет, стал инициатором создания «Большого университетского круга». А.И. Щербинин назвал это фактическим гиперкластером с ресурсами университета, колледжей, медицинских учреждений. Отметим, что инициатива здесь принадлежала Кливлендскому университету. Впоследствии к проекту присоединился фонд «Живые города». Далее мы видим практически ту же стратегию, что и в кейсе области Марка. Стратегия включала четыре позиции: «Покупать местное», «Нанимать местных», «Жить местно», «Соединять». Последнее интересно тем, что работа с имиджем попадала в сферу, включающую сбор сведений, статистики, поддержку коммуникации. «Роль университета в проекте заключалась в том, что это хаб и ключевой игрок. В сферу его компетенций и интересов входят: образование и переподготовка; генерирование рабочих мест; общественные пространства и кампусы; экспертная поддержка и вывод на федеральный и международный уровни; пло-

щадка для обсуждений и научных обоснований; координация» [5. С. 215–216].

Не стоит отбрасывать и кейсы городов, для которых университет фактически является единственным ресурсом. В данном случае стратегия города в целом и стратегия брендинга, по идее, должны быть завязаны на высшем учебном заведении. Кейс интересен градацией отношения властей различных муниципалитетов к роли университетов, находящихся в городах, объявленных «Культурной столицей Европы» (проект ЕС с 1985 г.). Показательны ресурсы взаимодействия г. Печ (Венгрия) и его университета. Отметим, что университет был открыт в 1367 г., при короле Людовике I Великом (Анжуйская династия). Но с той поры в разные периоды неоднократно закрывался, преобразовывался, так что действующий ныне университет был открыт в 2000 г. Налицо необходимость политической стратегии города в отношении брендинга университета. В основе выбора ресурсов стратегического развития города лежит быстрорастущий рынок иностранных студентов. Данная тенденция совпадает с обозначенными нами в начале статьи характеристиками эпохи как «общества знания» и глобализации. «Одним из многих характерных изменений в высшем образовании в последние десятилетия стал рынок быстрорастущего числа иностранных студентов. Если в 2001 г. только 1 млн иностранных студентов учились по всему миру, к 2009 г. их число выросло до 3,7 млн. По оценке ЮНЕСКО, к 2025 г. будет 8 млн иностранных студентов, обучающиеся за границей» [7. С. 14]. Указав на растущий в этих условиях интерес университетов к теории и практике брендинга, авторы работы справедливо отмечают нередкое игнорирование отличия университетского образования от шаблонов, применяемых в теории и практике бизнес-маркетинга, и в этой связи сосредотачиваются на значении брендинга мест и взаимодействия в данной сфере города и университета. Их классификация городов, получивших звание «Культурная столица Европы», показательна не только конкретным использованием этого шанса для продвижения бренда, но, на наш взгляд, и места университета в брендинге городов. Авторы выделяют три типа городов, получивших почетное звание: а) европейские центры культуры и туризма (за прошлые заслуги), для них звание – одно из событий, а университет, добавим, далеко не центральная фигура брендинга (Люксембург, Авиньон, Антверпен и т.д.); б) в прошлом индустриальные центры, которые в новых условиях готовы изменить бренд (Ливерпуль, Эссен, Марсель и т.д.); в) города, для которых звание – большое событие культурной и политической значимости, шанс на «раскрутку» известности, строительство новых объектов культуры, приток туристов (Сибиу, Печ, Марибор, Кошице и т.д.) [7. С. 19]. При этом, как показали экспертные опросы, особого интереса к роли университета при составлении городских программ городские власти не проявили. Университет г. Печ по собственной инициативе в 2006 г. создал Университетскую сеть культурных столиц Европы (UNeECC; <https://uneecc.org/>), в которой вначале было 15 университетов-учредителей, а сегодня уже более 50 полных и ассоциированных членов.

Предварительно обобщая взаимодействия университета и города с учетом особенностей эпохи, в вышеописанных кейсах можно выделить следующие тренды:

1. Сеть стала полноправной формой взаимосвязи субъектов рынка бизнеса, основанного на знаниях (университеты, местные предприятия как основа конструируемого кластера, «обучающиеся города»).

2. Как правило, местная власть, вне зависимости от масштабов и ресурсов города, не включает потенциал университета в свои стратегии, в том числе и стратегию позиционирования.

3. Университеты в большей степени участвуют в брендинге мест, следовательно, степень взаимодействия города и университета («университет в городе», «город-университет», «университетский город») напрямую связана со смыслообразованием.

Вернемся к акторам, участвующим, по А.-К. Хорнидж, в формировании и продвижении концепта «общество знания», и попытаемся применить ее схему к процессу смыслообразования как основе позиционирования. Поскольку университеты мыслятся и являются, в сущности, «обществами знания», то вполне уместны и составные компоненты: научная среда, власти, горожане и медиа. Положим в основу дальнейшего рассуждения также таблицу Хорнидж, иллюстрирующую вклад различных земель Германии в науку (и распределение по сферам исследования), исключительно для того, чтобы подчеркнуть лидирующую позицию федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия по инвестициям в университетскую науку и образование. Неслучайно именно в этой земле реализован проект Мюнстера как университетского города (рис. 1).

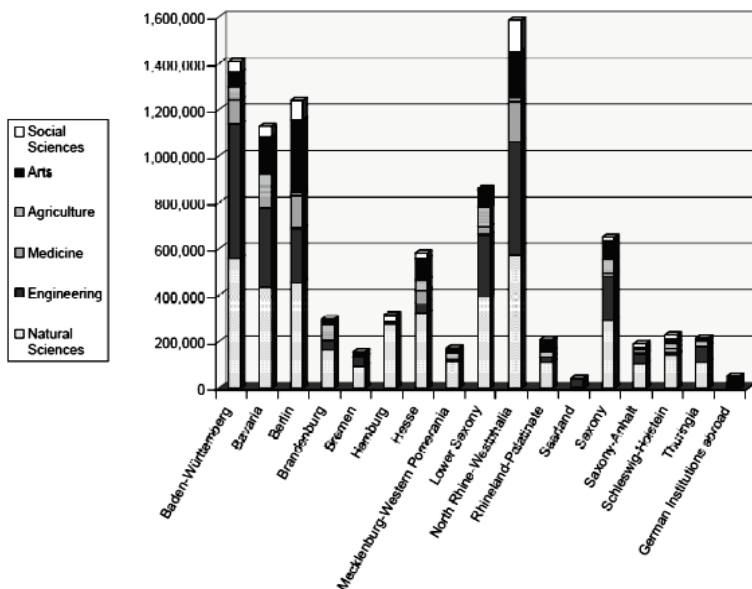


Рис. 1. Инвестиции в университетскую науку и образование по регионам Германии и отраслям исследований

Отметим, что в сентябре 2011 г. в Томске стартовал российско-германский исследовательский проект «Имидж университетского города» под руководством Клауса Шуберта из Вестфальского университета им. Вильгельма и Алексея Щербинина из Томского государственного университета [8]. Обратим внимание, как на практике формировалась политика позицио-

нирования университетского города в Мюнстере. Хотя креатив и первоначальное предложение, включая и слоган *Wissenschaft und Lebensart* («наука и искусство жить»), сокращенно «*wissen.leben*» («знать.жить»), исходили от университета, важна была позиция главного бургомистра – и ее в течение десяти лет проводил Б. Тилльманн, всего муниципалитета, общественности, бизнеса и, бесспорно, университета. К. Шуберт заметил, что «город Мюнстер пришел к этой идее не сразу, а лишь после внимательного изучения международного опыта – в первую очередь опыта Кембриджа, который наглядно продемонстрировал, что конкурентоспособность университетского города обусловлена взаимодействием университета, города и экономики» [8. С. 16–17]. В данном случае сторонами дискуссии было достигнуто взаимопонимание, что основой экономики могут стать наукоемкие производства, связанные с университетами.

Все вышесказанное формирует более или менее оптимистическую модель привязки инноваций к университетам, а университетов – к муниципальным, региональным, национальным и глобальным стратегиям нашего времени. Не секрет, что есть и пессимистическая точка зрения, где критике подвергается главное звено цепи – университет. Как ни парадоксально, он одновременно и слабое звено. Наверное, дело не в том, что сегодня критически тестируется парадигма университета по В. фон Гумбольдту (в том числе и в самой Германии, как отмечает Хорнидж), она тоже не конечна, как и в случае со средневековыми университетами. Главный вопрос сегодня заключается в том, что является конечным продуктом университета: научное знание, истина или товар? Отсюда вытекает видение миссии университета, а она сегодня весьма неоднозначна: элитарное или массовое (социальное или, напротив, коммерческое) образование; истина или польза (доход) от университетской науки или вообще отказ от нее; университет – это предприятие или храм науки? Пока исследователи и практики в данном вопросе не определились.

Другим «слабым звеном» является позиция города в отношении университета. В уже цитированной статье Д. Рекетти и Д. Позгаи прямо было сказано, что не только «раскрученные» центры туризма, но и малые города зачастую игнорируют университет как ресурс, не ведут работу по позиционированию города как центра университетской науки.

Третьим фактором, мешающим продвижению города как университетского центра, является отсутствие идентичности со стороны горожан, а, по А.-К. Хорниджу, горожане и есть гражданское общество. В этой связи в науке существуют различные позиции. Например, пробивает дорогу идея о новых горожанах. Так, К. Навратек утверждает, «что люди приходят и уходят, у нас огромное количество пользователей городов – таких как студенты, туристы, иммигранты – непостоянные жители. Городские пространства – это редко места, где люди живут годами» (цит. по: [9. С. 262.]). Но наряду с новыми веяниями в брендинге городов мы находим в литературе вполне обоснованный протест в отношении того, что в классических «библиях» маркетинга (Ф. Котлер и др.), с которых снимают «кальку» теоретики городского брендинга, горожане (в целом) как стейкхолдеры не учитываются. Акцент продолжает делаться на привлечении креативного класса, богатых семей, студентов (Р. Флорида и др).

Э. Браун, М. Каварацис, С. Зенкер в статье «Мой город – мой бренд» отстаивают право горожан на формирование бренда города. Во-первых, это целевые группы самого маркетинга места и, следовательно, основная аудитория как минимум нескольких маркетинговых акций. Во-вторых, жители являются неотъемлемой частью бренда места. Их характеристики, поведение и репутация могут сделать город более привлекательным для посетителей, новых жителей, инвесторов и компаний. В-третьих, жители могут выступать в качестве послов своего бренда. Они в состоянии придать достоверность любому сообщению городских властей, «создавая или разрушая» имидж и бренд своего города. В-четвертых, они также являются гражданами и имеют жизненно большое значение для политической легитимизации всей маркетинговой деятельности [10].

Противоречие между данными точками зрения достаточно относительное. В конечном счете не только студенты и преподаватели, но и городское сообщество должно номинировать город «университетским». Здесь горожане выступают как послы бренда. Обратим внимание на трехуровневую модель коммуникации бренда города, предложенную Каварацисом: «(а) первичная коммуникация, которая может быть описана как действия самого города, хотя коммуникация не является основной целью этих действий. Она включает в себя архитектуру и предложения реальных мест, а также поведение города; (б) вторичная коммуникация – это формальное общение, как и все формы рекламы или связи с общественностью; (с) третичное общение, наконец, относится к устной речи жителей города. Поскольку „сарафанное радио“ обычно воспринимается как очень достоверное и заслуживающее доверия, это еще раз подчеркивает важную роль жителей в процессе коммуникации с брендом» [10].

Авторы статьи показывают, как погоня за «заказным» или модным брендом сталкивается с контрбрендингом жителей города. «Например, когда организация, ответственная за маркетинг города Амстердам, представила свой бренд „I Amsterdam“, группа жителей ответила встречным предложением „I Amsterdamned“ (Проклятый Амстердам). Возможно, наиболее известным примером является веб-сайт и блог „Бирмингем: это не дерьмо!“ (www.birminghamitsnotshit.co.uk), который в значительной степени противостоит разработанному городом официальному бренду „Bi Birmingham« (Будь Бирмингемом) и предлагает альтернативные политики в нескольких областях» [10]. Практика создания отечественных брендов городов и регионов может дополнить эту иллюстрацию игнорирования общественного мнения.

Все вышеперечисленное может означать, что в принципе отсутствует не только политика, но и осмысление основ городской политики, традиционно вращающейся вокруг проблем бюджета, сезонного ремонта, коммунального хозяйства и т.п. Но если понизить пафос рассуждений, то можно заметить своеобразный раскол между составляющими брендинга мест – основы того, что С. Анхольт называл конкурентной идентичностью. Исследование шведских авторов, основанное на адаптированной методологии Аакера, показало, что *две силы* (мы опять вернулись к перечню Хорнидж, который в начале статьи взяли на вооружение), а именно *городская власть* и *горожане*, в рамках на первый взгляд общей задачи позиционирования одного, кстати, университетского, города Лулео мыслят в разных направлениях. Тем самым отноше-

ние к индивидуальному бренду места, разработанному властями в расчете на туристов, инвесторов и переселенцев, и восприятие города как бренда горожанами закладывают стратегическую ошибку, поскольку горожане как составная часть бренда и его непосредственные проводники вступают в конфликт на основе идентичности, а это не учитывается [11].

Применительно к университетским городам выбор стратегии усложняется рядом факторов. Дело в том, что интерес к брендингу высшего образования, во-первых, как уже отмечалось, нередко связан с переносом маркетинговых разработок и рекомендаций из сферы материальных товаров и потребительских услуг в область, в значительной степени связанную с воображением, символизмом. Во-вторых, даже если предметом исследования становятся университеты, трудно отделить брендинг от других механизмов рыночного влияния. В-третьих, чрезвычайно мало работ, посвященных городу как образовательной среде, а тем более брендинговой связке города и университета (в «Библиографии брендинга высшего образования» Дэвида Перлматтера отмечены работы Дж.А. МакАлександра, Х.Ф. Кёнига, Дж.У. Схаутена «Построение взаимоотношений бренд-сообщества в высшем образовании: стратегическая основа для развития университета» [12] и «Создание университетского бренд-сообщества: долгосрочное влияние совместного опыта» [13]; подробнее см.: [14]).

Разработка стратегии брендинга начинается с наполнения смыслом самого бренда. И здесь мы солидарны с аргументами К. Шаплео, М. Карилло-Дюран и А. Диас [15], которые отмечают смысловой дефицит «классического» брендинга и на примере университетов показывают, что брендинг, полагаемый как решение проблем университета, заставляет исследовать его *raison d'être* (смысл существования) и формировать уникальное и последовательное определение его организационной идентичности. Процесс брендинга вызывает экзистенциальные вопросы, такие как «что мы отстаиваем?», а также «что мы хотим отстаивать?» Авторы осознают трудности формулирования последовательных ответов, поскольку ведущие университеты остаются в состоянии постоянного и проблемного самоопределения, не переходя к следующему шагу – передаче идентичности аудитории.

Перед тем как начать коммуникацию, университеты должны разработать свое «обещание бренда». Авторы приводят в пример Гавайский университет, который утверждает, что бренд не является «нашим логотипом, нашей рекламой, нашими кампусами или даже нашими людьми. В простейшем виде наш бренд – это не что иное, как обещания системы ценностей всей своей аудитории. Обещание нашего бренда делает нас уникальными и отличает нас от любой другой университетской системы в мире» [Ibid.]. Таким образом, модель эволюции бренда предполагает, что наиболее важные изменения – это эволюция от корпоративной личности (как вы определяете и показываете свой бренд) к обещанию бренда (Виллафанье). Обещание бренда – центральная тема «восприятия бренда» [Ibid.]. Такое понимание ведет создателей и хранителей бренда к сотрудничеству всех заинтересованных сторон (мы вслед за Хорнидж выделили четыре основные субсферы, а количество стейкхолдеров зависит от запросов «потребителей») и к дальнейшей *многоканальной* интеракции на стадии продвижения бренда: город должен обещать, должен *говорить* (Каварацис).

Стратегия, в основе которой лежит желаемое будущее, а в бренде и обещаемое, вместе с тем на этом будущем построена быть не может, так как его еще не было и «нет протоколов» о нем. Следовательно, желаемое будущее строится из «кирпичиков» наличного настоящего, проецируемого в желаемое будущее. Здесь стратегическое мышление, основанное на теоретических разработках, политической воле, осознанной заинтересованности сторон, вынуждено выбирать между количественно подправленным настоящим и настоящим, находящимся в ином потоке времени (в то же самое фиксированное календарем время техническое и социальное состояние обществ для одних будет прошлым, для других – будущим). Как уже нами говорилось ранее, инновации означают попытку прорыва во времени креативных групп из сложившегося миропорядка. Увидеть эти инновации, взять их в стратегический арсенал, не приземлить их до горожан, а понять последних и поднять до уровня грядущего – вероятно, в этом и состоит искусство современных стратегий.

Литература

1. *Stehr N.* The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age. 1 ed. London : SAGE Publications Ltd, 2001. 240 p.
2. *Найман Е.А.* Становление концепции «обучающегося региона» в западной науке // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 1 (9). С. 81–91.
3. *Hemsley-Brown J.V., Oplatka I.* Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing // International Journal of Public Sector Management. 2006. Vol. 19, № 4. P. 316–338.
4. *Hornidge A.-K.* Knowledge Society. Vision & Social Construction of Reality in Germany & Singapore. Münster : LIT Verlag, 2007. 386 p.
5. *Щербинин А.И.* От «живых лабораторий» к «живому городу»: пространство и миссия университетов в эпоху умных городов // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2020. Вып. 1 (23). С. 208–220.
6. *Cavicchi A., Rinaldi Ch., Corsi M.* Higher Education Institutions as Managers of Wicked Problems: Place Branding and Rural Development in Marche Region, Italy // International Food and Agribusiness Management Review. 2013. Vol. 16, special is. A. P. 51–68.
7. *Reketye G., Pozsgai G.* University and place branding: the case of universities located in ECC (European Capital of Culture) cities // Ekonomski vjesnik – Ekonews. 2015. God. XXVIII, posebno izd. S. 13–24.
8. *Кочева Е.Э., Кочев И.А.* Обсуждение международного научно-практического проекта «Имидж университетского города» // Имидж университетского города: российско-германские исследования / под ред. К. Шуберта, А.И. Щербинина. Томск : Курсив, 2012. Т. 1. С. 8–48.
9. *Щербинин А.И.* Россия в условиях поворота к сетевому обществу: новый глобальный вызов за пределами современности // Русин. 2019. Т. 58. С. 255–265.
10. *Braun E., Kavaratzis M., Zenker S.* My City – My Brand: the Different Roles of Residents in Place Branding // Journal of Place Management and Development. 2013. № 6 (1). P. 18–28. URL: <https://doi.org/10.1108/17538331311306087> (access date: 02.09.2020).
11. *Peighambari K., Sattari S., Foster T., Wallström Å.* Two tales of one city: Image versus identity // Place Branding and Public Diplomacy. 2016. Vol. 12. P. 314–328.
12. *McAlexander J.A., Keonig H.F., Schouten J.W.* Building relationship of brand community in higher education: A strategic framework for university advancement // International Journal of Education Advancement. 2006. Vol. 6 (2). P. 107–118.
13. *McAlexander J.A., Keonig H.F., Schouten J.W.* Building a university brand community: The long-term impact of shared experiences // Journal of Marketing for Higher Education. 2005. Vol. 14 (2). P. 61–79.
14. *Perlmutter D.D.* Branding Higher Education Bibliography. URL: <https://www.davidperlmutter-research.com/branding-higher-education-bibliography/>

15. Shapleo C., Carrillo-Durán M.V., Díaz A.K. Do UK universities communicate their brands effectively through their websites? // *Journal of Marketing for Higher Education*. 2011. June. P. 25–46.

Alexey I. Shcherbinin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: Shai52@mail.ru

Alexey V. Sevostianov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: 9410@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 265–276.

DOI: 10.17223/1998863X/57/25

IMAGE STRATEGY IN THE SEMANTIC SPACE OF REGIONAL POLICY

Keywords: meaning; regional image strategy; university city; branding.

The article discusses the role of universities in the formation of the regional and city brand. The authors reveal a whole range of problems showing step by step that the traditional marketing approach to branding, transferred from the commodity sphere to the sociopolitical one, even when equipped with extensive marketing research and presentations, is doomed to failure. The reasons are as follows. Today, the modern economy is inscribed in the “knowledge” paradigm. As for universities and university cities, they are (or are to be) on the front line of the socioeconomic frontier. Since their inception, the few universities have been a distinctive feature that elevates the city above others, an important support for the urban economy, a special lifestyle; they took an active part in the formation of meaning. The university has since become an indicator of wisdom, enlightenment, and knowledge. In the era of the Third Industrial Revolution, Ford’s approach to the sociopolitical sphere turned not only cities, but also universities into an appendage of the production site, and reduced knowledge to the applied one, inscribing its share in the cost of goods. The contemporary “knowledge society” and the global economy are built on the ruins of the previous era, and universities are becoming not only centers for the export of knowledge, but also arbiters in the development of a branding strategy for “unpromising” regions (Italy), the core of the “living cities” of the devastated industrial belt (USA); they seek recognition and set networks within EU projects (Hungary). At the same time, there remains a contradiction that raises the question of the timeliness of referring to the city as a “political idea” that would allow uniting the leading forces – science, government, citizens (civil society), and the media – in the development of the city branding strategy. Undoubtedly, the number of stakeholders is much larger, but it is these forces that are capable of giving meaning to empty slogans and unreadable images – far from both the brand identity and the necessary residents’ loyalty to it – that are so often found in the practice of regional strategies.

References

1. Stehr, N. (2001) *The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age*. London: SAGE.
2. Nayman, E.A. (2013) Formation of the concept of “learning region” in western science. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 1(9). pp. 81–91. (In Russian).
3. Hemsley-Brown, J.V. & Oplatka, I. (2006) Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing. *International Journal of Public Sector Management*. 19(4). pp. 316–338. DOI: 10.1108/09513550610669176
4. Hornidge, A.-K. (2007) *Knowledge Society. Vision & Social Construction of Reality in Germany & Singapore*. Münster: LIT Verlag.
5. Shcherbinin, A.I. (2020) From “living laboratories” to “living city”: social space and university mission in the era of smart cities. *Praksema. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics*. 1(23). pp. 208–220. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-1-208-220
6. Cavicchi, A., Rinaldi, Ch. & Corsi, M. (2013) Higher Education Institutions as Managers of Wicked Problems: Place Branding and Rural Development in Marche Region, Italy. *International Food and Agribusiness Management Review*. 16(A). pp. 51–68.
7. Rekettye, G. & Pozsgai, G. (2015) University and place branding: The case of universities located in ECC (European Capital of Culture) cities. *Ekonomski viesnik – Ekonews*. 28. pp. 13–24.
8. Kocheva, E.E. & Kochev, I.A. (2012) Obsuzhdenie mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo proekta “Imidzh universitetskogo goroda” [Discussion of the international scientific and practical project “Image of the University City”]. In: Shubert, K. & Shcherbinin, A.I. (eds) *Imidzh universi-*

tetskogo goroda: Rossiysko-germanskie issledovaniya [Image of the University City: Russian-German Studies]. Vol. 1. Tomsk: Kursiv. pp. 8–48.

9. Shcherbinin, A.I. (2019) Russia in the turn to a network society: new global challenge beyond modernity. *Rusin*. 58. pp. 255–265. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/58/17

10. Braun, E., Kavaratzis, M., & Zenker, S. (2013) My City – My Brand: The Different Roles of Residents in Place Branding. *Journal of Place Management and Development*. 6(1). pp. 18–28. DOI: 10.1108/17538331311306087

11. Peighambari, K., Sattari, S., Foster, T. & Wallström, Å. (2016) Two tales of one city: Image versus identity. *Place Branding and Public Diplomacy*. 12. pp. 314–328. DOI: 10.1057/pb.2015.25

12. McAlexander, J.A., Keonig, H.F. & Schouten, J.W. (2006) Building relationship of brand community in higher education: A strategic framework for university advancement. *International Journal of Education Advancement*. 6(2). pp. 107–118. DOI: 10.1057/palgrave.ijea.2150015

13. McAlexander, J.A., Keonig, H.F., Schouten, J.W. (2005) Building a university brand community: The long-term impact of shared experiences. *Journal of Marketing for Higher Education*. 14(2). pp. 61–79.

14. Perlmutter, D.D. (n.d.) *Branding Higher Education Bibliography*. [Online] Available from: <https://www.davidperlmutter-research.com/branding-higher-education-bibliography/>

15. Shapleo, C., Carrillo-Durán, M. V. & Diaz, A.K. (2011) Do UK universities communicate their brands effectively through their websites? *Journal of Marketing for Higher Education*. 21(1). pp. 25–46. DOI: 10.1080/08841241.2011.569589

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 323.22.

DOI: 10.17223/1998863X/57/26

Ю.А. Пустовойт

ПРОТЕСТ КАК КРИК, РАБОТА И ВЕРА: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИБИРСКИХ ГОРОДАХ)¹

В рамках подхода теории городских режимов и революции четвертого поколения Дж. Голдстоуна предлагаем выделить совокупность элементов, способствующих возникновению и развитию протестной идентичности. Полученная модель сопоставлена с данными интервью и комплексом эмпирических данных о числе и характере протестов в сибирских городах. В результате делается вывод о трех основных типах протестных объединений (государственно-патриотические, социалистические и либеральные) и возможных сценариях развития ситуации в сибирских городах.

Ключевые слова: революции, городской режим, коалиции власти, протестное сообщество, Сибирь.

«В (год) я была заявителем (...называет мероприятие). Нас стали жестко прессовать, что мы проводим незаконное мероприятие... там был один молодой человек, который... ну может громче кричал... какие-то „кричалки“... к нему подошли люди в штатском без удостоверений... И куда-то стали увозить. Я подошла как заявитель и поехала с ними... Это был безумный и опрометчивый поступок. Надо было кричать. Привлекать внимание. Требовать наряда. Мы приехали. Его увели в одну комнату, меня в другую... Был очень долгий и нудный разговор... Кто вы? Откуда вы? Зачем вы? Много говорили. Страха не было. Была злость. Страх появился позже. Сказали: „Все, вы можете подождать в коридоре ждать своего друга“... Жду его... Цепляю всех проходивших, пытаюсь понять, что происходит... Пробегая мимо разворачивается здоровенный мужик с кобурой. Говорит: „Ты что-то много разговариваешь. Наркоты у тебя найти в сумке? Сейчас проведем личный досмотр и найдем“. Я смотрю на него такими глазами, мне смешно. У меня? Наркоту? Он смотрит на меня как на идиотку: „Найти можно у всех“. И тут в голове у меня щелкнуло. ОК. Это угроза. И тут мне стало страшно. Потом отпустили этого парня. Мы вышли из здания. И там нас встречала толпа друзей и знакомых, журналистов, прихватили даже немецкую журналистку. Было здорово, какой-то момент единения оказалось... Оказывается наши начали звонить. Что неизвестные увезли друзей... Кто-то успел записать номер машины...» (крупный сибирский город, общественный лидер и организатор мероприятий).

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Как создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ в городах Сибири» № 18-011-00866.

Раздражение, возмущение, страх, гнев, эйфория – так обычно обозначают свои переживания участники протеста, ситуации отрицания ими каких-либо политических, социальных, экономических властных или провластных инициатив. Когда и как неприятие доминирующего субъекта переходит в совсем иное качество и обычное тихое ворчание сменяется митинговой активностью, готовностью рисковать своим социальным, экономическим благополучием, а иногда свободой и собственностью – тема, выходящая далеко за рамки предлагаемого материала, однако без ее обозначения фокус исследования будет постоянно размываться по множеству частных и очень разных по причинам, содержанию и результатам мероприятий. Итогом многочисленных расколов между управляющими и управляемыми является рост числа участников и акций протестных сообществ – групп, взаимодействующих на регулярной основе, ориентированных на реализацию заявленных целей через прямые и открытые (в первую очередь уличные) формы борьбы. Как, при каких обстоятельствах формируется протестная идентичность, какой смысл приносят их участники в свою деятельность и как это определяет их жизненные приоритеты – тот круг вопросов, которые мы рассмотрим в этом материале. Его эмпирической базой послужили вторичный анализ исследований российских городов, проведенных STRELKA KB [1–3], статистические данные, анализ хода и результатов избирательных кампаний, публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, регулярные наблюдения митингов, интервью, беседы с активистами (более 50), участниками нескольких фокус-групп и семинаров.

Отметим, что данные по количеству протестов, их тематике, эффектам от публичных прямых действий труднодоступны. Считаем, что сведения, публикуемые в СМИ¹, позволяют на этом этапе исследования дать хоть и не совершенную, но более или менее адекватную картину событий.

Если оценить протестные (здесь только «уличные») мероприятия, то высшую оценку на конец 2019 г. (митинги по общероссийской и локальной повестке проходят регулярно, есть относительно стабильное «ядро» активистов, события обсуждаются в городских, региональных и федеральных СМИ) получают Омск, Новосибирск, Иркутск, Томск, Красноярск (список составлен по относительному падению активности). Среднюю – Барнаул (здесь активность подпитывается региональными городами Бийском и Рубцовском), Улан-Удэ (рост активности с 2019 г.), Абакан и Новокузнецк. В двух последних городах за последний год рост общественных выступлений имеет ярко выраженную экологическую составляющую, направленную против угольных компаний. Минимальную оценку получают города Кемерово, Чита, Горно-Алтайск, Кызыл. Здесь относительно немногочисленные акции, обычно не попадающие в новостную повестку.

Главным источником вдохновения для нас служит работа Дж. Голдстоуна о революциях четвертого поколения. На основе синтеза основных направ-

¹ 12 июня на улицы вышло больше людей, чем 26 марта. Карта протестов «Медузы» и «ОВД-Инфо». Самые полные данные // Медуза. 2017. URL: <https://meduza.io/feature/2017/06/13/skolko-lyudey-protestovali-12-iyunya-i-skolko-zaderzhali> (дата обращения: 02.11.2019); Акции протеста в день выборов. Хроника. Как в России протестовали против повышения пенсионного возраста // Медуза. 2018. URL: <https://meduza.io/live/2018/09/09/aktsii-protesta-protiv-pensionnoy-reformy-v-den-vyborov-hronika> (дата обращения: 02.11.2019).

лений анализа революций, социальных движений и протестов автор приходит к выводу о том, что в современном мире стабильность режима следует считать неочевидным состоянием, и революционные процессы необходимо рассматривать как итог взаимодействия многочисленных сил. Американский исследователь предлагает прогностическую модель экстраординарных событий различных масштабов от государственных национальных до организационных (тюремный бунт). В ее основе – эффективность правления (способность государства воспроизводить социальные институты и соответствовать культурным ожиданиям), мера недовольства и степень конкуренции элит, представления протестующих о режиме [4. С. 101–103]. Эффективность правления предлагаем определять через уровень городского благополучия, конфликт элит – через данные о степени формальной и неформальной конкуренции элит, представления протестующих о режиме – через степень преданности протестной группе или идентичность, которую, опираясь на идеи Дж. Голдстоуна [4] и М. Дуглас [5], можно представить как формирование солидарности, чувства «мы» на основе интерпретации «они (враги)» и соотношений формальных и неформальных правил принятия и исключения.

«По-видимому, протестная идентичность – чувство привязанности и преданности к протестной группе – имеет в своей основе три источника. Во-первых, принадлежность к группе в значительной степени оправдывает и легитимизирует недовольство и гнев отдельных лиц, вызванные существующим порядком. Во-вторых, группа, если она обеспечивает конкретные выгоды либо предпринимает результативные действия, защищая своих членов и добиваясь перемен, наполняет своих участников чувством силы, независимости и эффективности, тем самым завоевывая их коллективную приверженность. В-третьих, само государство может создать или укрепить чувство оппозиционной идентичности, назвав какую-либо группу своим врагом либо предприняв действия против этой группы, тем самым продемонстрировав, что та не может рассчитывать на защиту и справедливость государства. В результате она остается в глазах своих членов единственным источником справедливости и защиты. Иными словами, протестная группа вербует сторонников, провозглашая себя носителем тех качеств, которые ожидаются от государства, а именно справедливости и эффективности» [1. С. 76]. Гнев, выгода и враг – так можно обозначить ключевые составляющие протестной идентичности.

«Роль протестов в моей жизни... Фатальная. Негативная. Нежелательная. Вынужденная. То есть это, конечно, не от хорошей жизни. Когда невозможно поступать. Я была обычным обывателем. Закопослушной. И даже тест проходила: конфликтный ли вы человек... И еще была такая книга – конфликтология... У меня там самые низкие показатели. Но когда затрагиваются мои интересы, я, как и каждый человек, начинаю качать права. Да и не только мои, тут ведь и государственные...» (Новосибирск, лидер экологического объединения)

Протест начинается с «крика», возмущения. Общим для всех нарративных повествований является присутствие некоего «Мы», выступающего как некий общий конструкт, которому грозит опасность. Смысл и рамки этого «Мы», объект его идентификации существенно различаются: «государство», «приятные люди», «активисты», «добросовестная бюрократия». Основой

эмоциональной реакции выступает нарушение «ими» (властью, государством, застройщиками, корпорациями, коррупционерами) привычных границ «Я» и «Мы» (народа, россиян, граждан, жителей города и района, персонала, налогоплательщиков...). «Мы» как актуализированный базовый фрейм, привычные рамки восприятия ситуации лежит в основе осознанной или неосознанной групповой идентичности, с которой отождествляет себя индивид и которая для него представляет определенную ценность (иначе бы не было реакции). Гнев – реакция на внешнее вторжение «чужого» (неизвестного, а потому опасного), потенциально угрожающее привычному самовосприятию собственного положения индивида в социальной структуре, его личной самооценке, планам, накопленному экономическому, социальному и культурному капиталу, складывающемуся как его взаимоотношения между привычными «Я» и «Мы». С одной стороны, это говорит о том, что российское общество не так индивидуализировано и атомизировано, как время от времени представляется в различных алармистских текстах, сетующих на отсутствие дружбы, солидарности и доверия между людьми, с другой стороны, выявленная нами в интервью и беседах эта множественность «Мы» и отсутствие общих разделяемых ценностей, авторитетов и программ приводят к отсутствию общих норм (точнее, множеству их интерпретаций), что затрудняет объединение и координацию усилий между сообществами. Тема «несправедливости» по-разному интерпретируется жителем провинциального города около угольного разреза и московским либертарианцем, бизнесменом и врачом, коммунистом, выпускником вуза, пенсионером, бывшим диссидентом, депутатом и т.д. Обычной реакцией в этом случае выступает «отторжение», исключение «других», как противоположной стороны конфликта, так и потенциальных союзников. Это хорошо прослеживается во многих интервью, где накал страстей усиливается по мере близости темы разговора «о своих», «столичном начальстве» и «союзниках».

«Вот до прихода в штаб у меня зарплата была выше, чем там. Раньше она была неплохая по нашим меркам. Вот почему я и говорю, что расходы на штабы охеренные, за те деньги можно было бы действительно конкретно выборную компанию хорошую провести. Тем более основная масса людей были бы волонтерами, пришлось бы тратиться на полиграфию, на ролики, а в основном были бы люди бесплатные. Возвращаясь ко мне, я-то на этом этапе пришел, я потерял и в зарплате, и потерял в том, что работа у меня была ближе, масса негативных фактов на самом деле. Но здесь вопрос был в самореализации» (Новокузнецк, лидер протестного объединения).

Подозрения «в корысти» постоянно звучат в адрес активистов, и тема «проплачивания» регулярно появляется в СМИ. Пока нам не удалось найти ни одного разбогатевшего в ходе политической борьбы (все больше встречались по социально-биографическим характеристикам «средние», «бедные», «побитые», «уволенные» и «отсидевшие»). Выбирая из списка мотивы, которыми руководствуются лидеры, наши информанты вполне доброжелательно относятся к тому, что лидеры делают политическую или социальную карьеру, но в отношении себя всегда настаивают на альтруизме и борьбе за ценности сообщества. Фрейм «моральной чистоты» и отказа от материальных личных выгод здесь выступает как доминирующий, что вообще-то не удивительно, учитывая, что базовые социальные слои для сообщества находятся, скорее,

внизу стратификационной структуры. Понятно, что это существенно затрудняет организацию, так как для работы требуются как минимум время и средства на организацию каких-либо действий.

Перевод протестных требований в рациональную и прагматическую плоскость («работу») как правило, не выступает основой уличных протестов. Стихия лозунга «Нет» (росту тарифов, увеличению пенсионного возраста, коррупции и беспределу властей) здесь поглощает все возникающие по ходу «Ну а дальше, что...» Обычный сценарий уличного мероприятия: «возмущение – социальные требования – политические лозунги (здесь преобладает исключение – „Вон“, „В отставку“»), после чего объявляется о следующем митинге и продолжении борьбы. В случаях победы кто-то приносится в жертву (снимается очередной чиновник, отбирается бизнес, кто-то отправляется в тюрьму), но социальные проблемы не решаются и относятся «на потом».

«...Да ей все равно, ей все равно! У нее есть задача, она ее решает. Ну... есть люди, которые тебя, допустим, ненавидят. Ну ты как-то... нормально, ну работа такая, есть люди, которые тебя ненавидят. С ними даже как-то психологически проще, ты понимаешь, что разные взгляды и что кому-то дорогу перешел. А против такой девочки ты (по контексту – работник прокуратуры. – Ю.П.) ничего не можешь. Потому что такая девочка... после нее завтра будет другая, ей все равно. И сплошь и рядом в нашей ситуации я сталкивался с такими и девочками, и мальчиками.» (Томск, руководитель СМИ)

Сами интервьюируемые очень редко оценивают действующую власть как «врага» и активно требуют его уничтожения. Скорее, речь идет об оппонировании решениям властных групп по конкретным проблемам, требовании соблюдения законов или возбуждении уголовных дел в отношении конкретных чиновников и бизнесменов. Причем если до 2011 г. протестные сообщения строились вокруг проблем социального комплекса: порядка выплаты льгот пенсионерам, тарифов ЖКХ, выплаты и размеров заработной платы на предприятиях, – то сейчас повестка большинства протестных мероприятий сконцентрирована вокруг обеспечения конституционных прав и соблюдения законности, социальной справедливости и экологии. Интерпретация этих тем, определение стратегии приложения усилий и образа противоборствующей стороны позволяют выделить три условных типа протестных объединений, три основные разновидности «веры».

Государственно-патриотические сообщества действуют в русле государственной геополитики, в качестве врага обозначают условный «Запад» и его коллаборационистов на местном уровне, требуют разорвать с ними все отношения; активность сосредоточена против конкретных персон или решений местных властей. Патриотизм обычно означает изоляцию православной цивилизации и борьбу с миграцией. Достаточно дисциплинированное и устойчивое сообщество с хорошим, по нашим наблюдениям, финансированием, наличием близких по позициям депутатов во всех законодательных органах и сочувствующих чиновников в администрации.

Социалистические и коммунистические сообщества, как правило, можно поделить на две группы, одна из которых ближе к КПРФ, другая ей оппонировать в отношении стратегии и тактики. Обычно в качестве врага рассматривают не столько капитал, сколько отдельных капиталистов (в основном из

Единой России), а также отдельные решения партии власти. Практически весь политический пафос направлен на защиту Сталина и сталинской политики, причем на местном уровне критикуются исключительно активисты из либеральной общественности, хотя с последними время от времени проводятся совместные мероприятия. В этих сообществах разделение проходит, скорее, по возрасту: более молодые в основном ориентированы на политические и социальные программы, более пожилые – на защиту своих воспоминаний.

Либеральные сообщества обычно включают в себя сторонников Навального, «Яблока» и либертарианцев. Особенность этих групп в том, что именно их регулярно делают врагами и ответственными за все, что происходит. Ядро сообщества – молодые, обычно регулярно встречающиеся люди, ориентированные на ценности развития. С одной стороны, здесь, как правило, постулируются приоритет индивидуального выбора и приоритеты самовыражения, с другой – солидарность и взаимоподдержка. Подчеркивается значимость соблюдения законности и отказ от насильственных методов борьбы.

Ориентируясь на принципы Дж. Голдстоуна, выделим три группы сибирских городов, в которых мы будем наблюдать изменения характера протестной активности в течение ближайших четырех-пяти лет. Здесь мы не учитываем действия федеральных властей, возможные локальные экстраординарные ситуации, кризисы и катастрофы. Считаем, что определяющими будут два фактора: степень благополучия и степень конкурентности элит в городе [6].

В благополучных демократичных городах с развитыми средствами массовой информации (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Томск и с недавних пор Абакан) протестные объединения станут элементом формальной политической конкуренции. Политическая борьба сместится в электоральное и символическое поле. Уличная политика будет весомым дополнением, демонстрацией силы, способом объединения вокруг лидеров всех трех направлений (государственно-патриотического, социалистического и либерального). Успех будет зависеть от эффективного распоряжения ресурсами лидерами нового поколения. Действующая коалиция власти, скорее, сохранит свое доминирующее положение, но суммарно количество депутатских мест, полученных политиками, отождествляющими себя с оппозицией, будет больше, чем сейчас.

В городах среднего экономического благополучия Кемерово, Новокузнецк, Омск, Чита, где есть серьезный комплекс экологических (первые два) и социальных (вторые два) проблем, возможны локальные вспышки протеста, которые будут иметь кратковременный характер, но в целом, вероятно, во властных коалициях не произойдет серьезных изменений. Сложившиеся авторитарные традиции могут только усилиться, хотя не исключено появление новых акторов из системной оппозиции (ЛДПР и государственно-патриотических объединений). Экологический (разрезы) и трудовой (выплата зарплаты шахтерам) конфликты в Кузбассе будут решать действующие на территории корпорации; несистемные, в первую очередь либеральные, политики будут выдавлены на периферию.

В Горно-Алтайске, Кызыле, Улан-Удэ, Барнауле – городах с тяжелой экономической и социальной ситуацией – изменения действующей власти маловероятны, хотя возможны ситуативные вспышки протестов, прежде все-

го в Улан-Удэ и Барнауле. В первом случае это обусловлено ростом экономической привлекательности региона и развитием туризма, что стимулирует экономическую и политическую активность, так как ставит в центр внимания вопросы землепользования в районе Байкала. Во втором – сложная социальная ситуация, отток населения из некогда благополучных городов Алтайского края время от времени будут порождать попытки изменения положения через политическую борьбу.

Литература

1. *Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым*. 2017 год // STRELKA KB. URL: <http://citybudget.strelka-kb.com/> (дата обращения: 22.11.2019).
2. *Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования* // ДОМ.РФ. URL: <https://xn--d1achkmla.xn--d1aqf.xn--p1ai/search/city/7> (дата обращения: 22.11.2019).
3. *Куда податься: лучшие города для первой работы привлекательность городов для выпускников вузов* [Электронный ресурс] // STRELKA KB. URL: <https://gradurating.strelka-kb.com/> (дата обращения: 22.11.2019).
4. *Голдстоун Дж.* К теории революции четвертого поколения // Логос. 2006. № 5. С. 58–103.
5. *Douglas M.* In the Active Voice. London ; Boston: Routledge and Reagan Paul with Russel Sage Foundation, 1982. 306 p.
6. *Пустовойт Ю.А.* Как создается режим: властные коалиции в сибирских городах // Полис. Политические исследования. 2019. № 4. С. 104–118. URL: <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.08> (дата обращения: 22.10.2019).

Yuri A. Pustovoyt, Siberian Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: pustovoit1963@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 57. pp. 277–284.

DOI: 10.17223/1998863X/57/26

PROTEST AS SCREAM, WORK, AND FAITH: THE FORMATION OF A PROTEST IDENTITY (BASED ON STUDIES IN SIBERIAN CITIES)

Keywords: revolutions; urban regime; coalitions of power; protest community; Siberia.

The article discusses how a protest identity is formed, what the meaning of protesters' activities is, and how this meaning determines protesters' life priorities. The empirical basis of the article is a secondary analysis of studies on Russian cities, statistical data, analysis of the course and results of election campaigns, publications in the media and social networks, regular observations of rallies, interviews, conversations with activists (more than 50), several focus groups and seminars. The theoretical framework of the study is set by Jack Goldstone's model, which proposes a prognostic model of extraordinary events of various – from state and national to organizational – scales. The model is based on the effectiveness of government (the ability of the state to reproduce social institutions and meet cultural expectations), on the degrees of dissatisfaction and of competition of elites, and on protesters' ideas about the regime. Based on the collected data, the author argues that the basis of protest is a complex of emotional reactions associated with the violation of the usual perception of the position of the group the individual identifies himself with (scream). The next stage is the organization of the community, establishment of regular interaction, development of goals and means to achieving them, nomination of leaders (work). Notably, this activity is rather selfless in nature. Over time, interacting with enemy opponents, protest becomes an element of personal life (faith). The main directions of modern protest are: state patriotic, socialist, and liberal. Presumably, in prosperous, democratic cities with developed media (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tomsk, Abakan), protest associations will become an element of formal political competition. Street politics will be a significant complement, a demonstration of strength, a way of uniting around the leaders of all the three directions (state patriotic, socialist, and liberal). In cities of average economic prosperity with serious environmental and social problems (Kemerovo, Novokuznetsk, Omsk, Chita), protest is more likely to occur in the form of

short-term local outbreaks. In cities with a difficult economic and social situation (Gorno-Altaysk, Kyzyl, Ulan-Ude, Barnaul), effective protests are unlikely.

References

1. Strelka-KB. (2017) *Bogatstvo i samostoyatel'nost': chto delaet byudzhetskiy gorod ustoychivym. 2017 god* [Wealth and independence: what makes the city budget sustainable. 2017]. [Online] Available from: <http://citybudget.strelka-kb.com/> (Accessed: 22nd November 2019).
2. DOM. RF. (n.d.) *Indeks kachestva gorodskoy sredy – instrument dlya otsenki kachestva material'noy gorodskoy sredy i usloviy ee formirovaniya* [Urban environment quality index as a tool for assessing the quality of the material urban environment and conditions for its formation]. [Online] Available from: <https://xn--d1achkmla.xn--d1aqf.xn--p1ai/search/city/7> (Accessed: 22nd November 2019).
3. Strelka-KB. (n.d.) *Kuda podat'sya: luchshie goroda dlya pervoy raboty, privlekatel'nost' gorodov dlya vypusknikov vuzov* [Where to go: the best cities for the first job, attractiveness of cities for university graduates]. [Online] Available from: <https://gradurating.strelka-kb.com/> (Accessed: 22nd November 2019).
4. Goldstone, J. (2006) K teorii revolyutsii chetvertogo pokoleniya [To the theory of revolution of the fourth generation]. *Logos*. 5. pp. 58–103.
5. Douglas, M. (1982) *In the Active Voice*. London; Boston: Routledge and Reagan Paul with Russel Sage Foundation.
6. Pustovoyt, Yu.A. (2019) How the regime is created: power coalitions in Siberian cities. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 104–118. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2019.04.08

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

KACERAUSKAS Tomas (КАЧЕРАУСКАС Томас) – Prof. Dr., Prof., head of department, Department of Philosophy and Cultural Studies (кафедра философии и культурологии), Vilnius Gediminas Technical University (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса) (Vilnius, Lithuania).

E-mail: tomas.kacerauskas@vgtu.lt

KAMIONKA Mateusz (КАМИОНКА Матеуш Мирославович) – Master of Political Science and International Relations, graduate of doctoral studies at the Institute of Political Science at the Pedagogical University of Krakow (магистр политологии и международных отношений, выпускник докторантуры, Институт политологии, Педагогический Университет им. Комиссии Национального Образования в Кракове) (Krakow, Poland).

E-mail: mattkamionka@gmail.com

АХМАТОВ Всеволод Викторович – аспирант, младший научный сотрудник Школы инженерного предпринимательства Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: maryatirsa@yandex.ru

БЕЛИКОВ Александр Александрович – кандидат философских наук, специалист по учебно-методической работе кафедры логики философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва), научный сотрудник Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: belikov@philos.msu.ru

БОДРОВА Ольга Александровна – аспирант кафедры общей социологии департамента социологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: olgabodrova.ss.hse@gmail.com

ГАБЕРКОРН Алёна Игоревна – ассистент кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета (г. Сургут).

E-mail: gab_alena@mail.ru

ГАПОНОВ Александр Сергеевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Томского научного центра СО РАН, старший преподаватель кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: gaponov@sibmail.com

ГАРИН Сергей Вячеславович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Кубанского государственного университета, директор центра по изучению и продвижению древнегреческого интеллектуального наследия «Диалектикѣ» (г. Краснодар).

E-mail: svgarin@gmail.com

ГЛУХОВ Павел Павлович – научный сотрудник научно-исследовательского сектора «Открытое образование» научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, эксперт лаборатории компетентностных практик образования Московского городского педагогического университета (г. Москва).

E-mail: gluhovpav.pav@gmail.com

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Владимирович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры логики философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: zaitsev@philos.msu.ru

ЗАЯКИНА Раиса Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления – НИИХ (г. Новосибирск).

E-mail: raisa_varygina@mail.ru

КАРПОВ Глеб Викторович – кандидат философских наук, ассистент Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: glebsight@gmail.com

КОЧЕТКОВ Александр Павлович – доктор философских наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: apkoch@mail.ru

КОЧНЕВ Роман Леонидович – аспирант кафедры истории, философии и социальных коммуникаций Омского государственного технического университета (г. Омск).

E-mail: r-kochnev@mail.ru

КУЛИКОВ Михаил Вячеславович – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин Кузбасского института ФСИН России (г. Новокузнецк).

Email: philosophy_mk@mail.ru

ЛАМБЕРОВ Лев Дмитриевич – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры онтологии и теории познания Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: lev.lambergov@urfu.ru

МАГУН Артемий Владимирович – PhD (философия), PhD (политология), профессор политической теории демократии факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург).

E-mail: amagun@eu.spb.ru

МАРТЫНЕНКО Татьяна Сергеевна – кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры современной социологии социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ts.martynenko@gmail.com

МАРТИНОВ Михаил Юрьевич – доктор политических наук, доцент, главный научный сотрудник Сургутского государственного университета (г. Сургут).

E-mail: martinov.mu@gmail.com

МИКИРТУМОВ Иван Борисович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры логики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: i.mikirtumov@spbu.ru

МОИСЕЕВ Владимир Викторович – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры социологии и управления Белгородского государственного технологического университета В.Г. Шухова (г. Белгород).

E-mail: din_prof@mail.ru

ОВОДОВА Светлана Николаевна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры теологии и мировых культур факультета теологии, философии и мировых культур Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск).

E-mail: sn_ovodova@rambler.ru

ПАРХОМЕНКО Андрей Андреевич – студент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: aap-91@yandex.ru

ПОЛЯНИНА Алла Керимовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), доцент Самарского государственного университета путей сообщения (г. Самара).

E-mail: Alker@yandex.ru

ПУСТОВОЙТ Юрий Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и технологий факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Новосибирск).

E-mail: pustovoi1963@gmail.com

СЕВОСТЬЯНОВ Алексей Владимирович – старший преподаватель Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: 9410@mail.ru

СЫРОВ Василий Николаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: narrat59@gmail.com

ТИТОВ Виктор Валериевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: VVTitov@fa.ru

ХАМИДУЛИН Артем Маратович – кандидат богословия, магистр профессионального обучения, старший преподаватель Нижегородской духовной семинарии (г. Нижний Новгород), аспирант Московской духовной академии (г. Москва).

E-mail: captain.nemo.2012@yandex.ru

ХИТРУК Екатерина Борисовна – доктор философских наук, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: lubomudreg@gmail.ru

ШИПОВАЛОВА Лада Владимировна – доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии науки и техники Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: l.shipovalova@spbu.ru

ЩЕРБИНИН Алексей Игнатьевич – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: shai52@mail.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2020. № 57

Редактор *Е.Г. Шумская*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 30.10.2020 г. Дата выхода в свет 13.11.2020 г.

Формат 70х100¹/₁₆. Печ. л. 18; усл. печ. л. 23,4; уч.-изд. л. 24,7.

Тираж 50 экз. Заказ № 4485. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru